ISSN 2227-2283 (print)
ISSN 2587-6929 (online)

Уральский федеральный университет

ИЗВЕСТИЯ

Серия 2 Гуманитарные науки

2019 Т. 21
№ 3 (190)

Том I. 1920 Vol. I.

ИЗВЕСТИЯ
Уральского Государственного УНИВЕРСИТЕТА.

ANNALES
DE L'UNIVERSITÈ DE L'OURAL

ЕКАТЕРИНБУРГ
Издание Уралуниверситета

ИЗВЕСТИЯ

Уральского федерального университета

Серия 2
Гуманитарные науки

2019. Т. 21 № 3 (190)

IZVESTIA

Ural Federal University
Journal

Series 2
Humanities and Arts

2019. Vol. 21 № 3 (190)

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

ISSN 2227-2283 (print)
ISSN 2587-6929 (online)

ИЗВЕСТИЯ

Уральского федерального университета

Серия 2
Гуманитарные науки

Журнал основан в 1920 г.
Серия «Гуманитарные науки» выходит с 1999 г. 4 раза в год

Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

Издатель: Издательство Уральского университета
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77-48320 от 27 января 2012 г.

Входит в Перечень рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Журнал индексируется в БД:
Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index;
DOAJ; European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS);
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web of Science (WoS);
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

Включен в объединенный каталог «Пресса России. Газеты и журналы. Т. 1», подписной индекс — 43143

В журнале публикуются научные статьи и рецензии в области истории, филологии и искусствоведения. Редакционная политика журнала ориентируется на современные гуманитарные исследования, свободные от идеологических штампов, базирующиеся на использовании различных научных парадигм, введении в научный оборот новых источников. Редколлегия журнала следует правилам научного либерализма, предусматривающего публикацию мнений вне зависимости от идеологических взглядов. Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе.

E-mail: izvestia.2@yandex.ru
Сайт: http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2
Адрес редакции: 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.
«Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки»

Все материалы журнала доступны по лицензии
Creative Commons «Attribution-NonCommercial» 4.0 Всемирная
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
© Уральский федеральный университет, 2019

Ural Federal University
named after the first President of Russia B.N.Yeltsin

IZVESTIA
Ural Federal University Journal

Series 2
Humanities and Arts

ISSN 2227-2283 (print)
ISSN 2587-6929 (online)

The Journal was founded in 1920
Series *Humanities and Arts* has been issued quarterly since 1999

Founded by Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin
19, Mira Str., 620002 Yekaterinburg, Russia

Publisher: Ural University Press
4, Turgenev Str., 620000 Yekaterinburg, Russia

The Journal is registered by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media.
Mass media registration certificate PI FS77-48320 as of January 27, 2012.

The Journal is included in the State Commission for Academic Degrees and Titles (VAK) list of leading peer-reviewed academic journals prescribed for the publication of research results for scholars seeking advanced academic degrees.

The Journal is indexed in:
Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index;
DOAJ; European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS);
Russian Science Citation Index (RSCI, Web of Science Platform);
Science Index (eLibrary)

The Journal is included in the general catalogue
Press of Russia. Newspapers and magazines. Volume 1, index number 43143

The Journal publishes academic articles and reviews in the fields of History, Philology, and Art Studies. The editorial policy of the Journal relies on modern research principles, free from ideological clichés and based on the use of different research paradigms, and the introduction of new sources into the research field. The Editorial Board is committed to the rules of academic liberalism which means the publication of opinions regardless of ideological views. The Journal uses double-blind peer review. The Journal does not charge authors or their respective institutions a paper submission, processing or publication fee.

Email: izvestia.2@yandex.ru
http://journals.urfu.ru/index.php/Izvestia2
Editorial Office Address: 51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia.
Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts

Journal content is licensed under
a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

© Ural Federal University, 2019

Главный редактор

Т. В. Кущ, д-р ист. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

Заместители главного редактора

Е. П. Алексеев, канд. иск., доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
Ю. В. Матвеева, д-р. филол. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Н. Н. Баранов, д-р ист. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
Л. А. Будрина, канд. иск., доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
Е. М. Главацкая, д-р ист. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
Е. В. Дзюба, д-р филол. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский государственный педагогический университет)
А. Ю. Казарян, д-р иск., чл.-корр. РААСН, почетный член РАХ (Россия, Москва, Государственный институт искусствознания)
О. В. Калугина, д-р иск., член правления АИС (Россия, Москва, Российский государственный гуманитарный университет)
А. А. Макарова, канд. филол. наук, ст. науч. сотр. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет; Москва, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН)
А. М. Плотникова, д-р филол. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
Ю. А. Русина, канд. ист. наук, доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
Д. В. Спиридонов, канд. филол. наук, доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
О. Е. Фролова, д-р филол. наук, ст. науч. сотр. (Россия, Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)
О. Р. Хромов, д-р иск., акад. РАХ (Россия, Москва, Московский государственный художественный академический институт им. В. И. Сурикова)
А. В. Шаманаев, канд. ист. наук, доц. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Т. Е. Автухович, д-р филол. наук, проф. (Республика Беларусь, Гродно, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы)
А. Е. Аникин, д-р филол. наук, акад. РАН (Россия, Новосибирск, Институт филологии СО РАН)
Л. И. Бородкин, д-р ист. наук, чл.-корр. РАН (Россия, Москва, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)
Дж. Боулт, PhD (Art Studies), проф. (США, Лос-Анджелес, Университет Южной Калифорнии)
М. А. Бусев, канд. иск., чл.-корр. РАХ (Россия, Москва, Государственный институт искусствознания)
П. Бушкович, PhD (History), проф. (США, Нью-Хейвен, Йельский университет)
А. Варда, Dr. Hab. (Philology), проф. (Польша, Лодзь, Лодзинский университет)
О. В. Зырянов, д-р филол. наук, проф. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)
С. А. Кибальник, д-р филол. наук, проф. (Россия, Санкт-Петербург, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Санкт-Петербургский государственный университет)
О. А. Коростелев, канд. филол. наук, зам. директора по научной работе (Россия, Москва, Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН)
Т. Краус, д-р ист. наук, проф. (Венгрия, Будапешт, Университет Лоранда Этвеша)
К. Кроо, д-р филол. наук, проф. (Венгрия, Будапешт, Университет Лоранда Этвеша)
И. Лай, PhD (Philology), проф. (Тайвань, Тайбэй, Национальный университет Чжэнчжи)
М. Н. Липовецкий, д-р филол. наук, проф. (США, Нью-Йорк, Колумбийский университет)
Е. П. Мартынова, д-р ист. наук, проф. (Россия, Тула, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого)
А. Мустайоки, PhD (Philology), проф. (Финляндия, Хельсинки, Хельсинкский университет)
И. А. Ндяй, д-р филол. наук, проф. (Польша, Ольштын, Варминско-Мазурский университет)
Б. Ю. Норман, д-р филол. наук, проф. (Республика Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет)
М. Перри, M. A. (History), проф. (Великобритания, Бирмингем, Бирмингемский университет)
Х. Рюсс, Dr. Hab. (History), проф. (Германия, Мюнстер, Мюнстерский университет)
Ф. Сенешаль, д-р иск., проф. (Франция, Амьен, Университет Пикардии имени Жюля Верна)
Г. Торвальдсен, PhD (History), проф. (Норвегия, Тромсё, Университет Тромсё)
А. В. Чудинов, д-р ист. наук, гл. науч. сотр. (Россия, Москва, Институт всеобщей истории РАН)
А. Х. Элерт, д-р ист. наук, гл. науч. сотр. (Россия, Новосибирск, Институт истории СО РАН)

Ответственный секретарь

Н. В. Мосеева (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

Editor-in-Chief

T. V. Kushch, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

Deputy Editors

E. P. Alekseev, PhD (Art Studies), Associate Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
Yu. V. Matveeva, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

EDITORIAL BOARD

N. N. Baranov, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
L. A. Budrina, PhD (Art Studies), Associate Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
E. V. Dziuba, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural State Pedagogical University)
O. E. Frolova, Dr. Hab. (Philology), Senior Researcher (Russia, Moscow, Moscow State University)
E. M. Glavatskaya, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
O. V. Kalugina, Dr. Hab. (Art Studies), Member of the Board of the Association of Art Historians (Russia, Moscow, Russian State University for the Humanities)
A. Yu. Kazaryan, Dr. Hab. (Art Studies), Corresponding Member of RAACS, Honorary Member of RAA (Russia, Moscow, State Institute for Art Studies)
O. R. Khromov, Dr. Hab. (Art Studies), Full Member of RAA (Russia, Moscow, V. I. Surikov Moscow State Academic Art Institute)
A. A. Makarova, PhD (Philology), Senior Researcher (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University; Moscow, V. V. Vinogradov Russian Language Institute, RAS)
A. M. Plotnikova, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
Yu. A. Rusina, PhD (History), Associate Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
A. V. Shamanaev, PhD (History), Associate Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)
D. V. Spiridonov, PhD (Philology), Associate Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

EDITORIAL COUNCIL

A. E. Anikin, Dr. Hab. (Philology), Full Member of RAS (Russia, Novosibirsk, Institute of Philology, SB RAS)
T. E. Avtukhovich, Dr. Hab. (Philology), Professor (Republic of Belarus, Grodno, Yanka Kupala State University of Grodno)
L. I. Borodkin, Dr. Hab. (History), Corresponding Member of RAS (Russia, Moscow, Moscow State University)
J. Bowlt, PhD (Art Studies), Professor (USA, Los Angeles, University of Southern California)
M. A. Busev, PhD (Art Studies), Corresponding Member of RAA (Russia, Moscow, State Institute for Art Studies)
P. Bushkovitch, PhD (History), Professor (USA, New Haven, Yale University)
A. H. Elert, Dr. Hab. (History), Chief Researcher (Russia, Novosibirsk, Institute of History, SB RAS)
S. A. Kibalnik, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, St Petersburg, Institute of Russian Literature (Pushkin House), RAS, St Petersburg State University)
O. A. Korostelev, PhD (Philology), Deputy Director (Russia, Moscow, Gorky Institute of World Literature, RAS)
T. Krausz, Dr. Hab. (History), Professor (Hungary, Budapest, Eötvös Lorand University)
K. Kroo, Dr. Hab. (Philology), Professor (Hungary, Budapest, Eötvös Lorand University)
Y. Lai, PhD (Philology), Professor (Taiwan, Taipei, National Chengchi University)
M. N. Lipovetsky, Dr. Hab. (Philology), Professor (USA, New York, Columbia University)
E. P. Martynova, Dr. Hab. (History), Professor (Russia, Tula, Tula State Pedagogical University)
A. Mustajoki, PhD (Philology), Professor (Finland, Helsinki, University of Helsinki)
I. A. Ndiaye, Dr. Hab. (Philology), Professor (Poland, Olsztyn, University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
B. Yu. Norman, Dr. Hab. (Philology), Professor (Republic of Belarus, Minsk, Belarusian State University)
M. Perrie, M. A. (History), Professor (UK, Birmingham, University of Birmingham)
H. Rüß, Dr. Hab. (History), Professor (Germany, Münster, University of Münster)
P. Sénéchal, Dr. Hab. (Art Studies), Professor (France, Amiens, University of Picardie Jules Verne)
A. V. Tchoudinov, Dr. Hab. (History), Chief Researcher (Russia, Moscow, Institute of World History, RAS)
G. Thorvaldsen, PhD (History), Professor (Norway, Tromsø, University of Tromsø)
A. Warda, Dr. Hab. (Philology), Professor (Poland, Lodz, University of Lodz)
O. V. Zyryanov, Dr. Hab. (Philology), Professor (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

Managing Editor

N. V. Moseeva (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

СОДЕРЖАНИЕ

К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АННЫ АХМАТОВОЙ

Меньщикова А. М., Снигирева Т. А. Бег времени Анны Ахматовой: от личной сигнатуры до эмблемы поколений 11

Налегач Н. В. Анна Ахматова и «парижская нота»: к вопросу о поэтическом влиянии 24

Ерохина И. В. Проблема недостоверных мемуаров: случай Ахматовой 36

Михайлова Г. П. Ахматова и загадка Шекспира 51

Серова М. В. Семантика Нового года в поэзии Анны Ахматовой 66

Рогачева Н. А. Сибирь в художественной оптике Анны Ахматовой (контекст стихотворения «Немного географии») 75

НОМИНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ В ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: ВОСТОК И ЗАПАД

Ори П. Брак и рождение первого ребенка в Венгрии XVIII — первой половины XX в. (на примере поселения Жамбек) 85

Главацкая Е. М., Бобицкий А. В., Заболотных Е. А., Вишневская А. В. Брачность в Екатеринбурге начала XX в.: квантитативный анализ 104

Грубер З. Рождаемость в Албании во время Первой мировой войны по материалам переписи 1918 г. 122

Эппель М., Сореску-Иудеан О. Духовенство православной и греко-католической церквей Трансильвании: опыт создания базы данных 138

Брюханова Е. А. Перепись 1897 г.: обретение «утраченных» материалов и их предварительный анализ 152

СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ: ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО

Мазур Л. Н. Демографические катастрофы как фактор трансформации крестьянской семьи в России первой половины XX в. 168

Малышева С. Ю. Национально-конфессиональное разнообразие населения в советских проектах и документах, регулировавших погребение 188

Морозова Т. И. Динамика численности и персонального состава партийно-советской элиты Сибири в 1920-е гг. 202

Воробьев С. В. Социальные настроения рабочих Уральской области в середине 1920-х гг. (по информационным сводкам ОГПУ) 217

Барышева Е. В. Коммеморация революции в советской праздничной культуре 1920–1930-х гг. 235

Амиров В. М. «Малой кровью, могучим ударом...»: Особенности конструирования образа Красной армии в советском предвоенном газетном дискурсе. 245

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Норман Б. Ю. Особая прагматика 3-го лица 255

Осипова К. В. К реконструкции традиционного рациона крестьян Русского Севера по лингвистическим данным (на примере названий блюд из толокна) 269

РЕЦЕНЗИИ

Козлов А. С. Проблема границ позднеантичной цивилизации. Рец. на кн.:

Late Antiquity in Contemporary Debate / ed. R. L. Testa. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2017. 280 p. 286

Нефёдов С. А. Горнозаводский Урал второй половины XIX в.: непрерывный социальный конфликт. Рец. на кн.: *Гаврилов Д. В.* Горнозаводский Урал 1861–1900 гг.: власти, предприниматели, рабочие. От согласия — к конфронтации. М. ; СПб. : Нестор-История, 2018. 464 с., ил. 294

TABLE OF CONTENTS

FOR ANNA AKHMATOVA'S 130TH BIRTHDAY

Menshchikova, A. M., Snigireva, T. A. *The Flight of Time* by Anna Akhmatova: Through Personal Signature to Generational Emblem 11

Nalegach, N. V. Anna Akhmatova and the Paris Note: On the Issue of Poetic Influence 24

Erokhina, I. V. The Problem of Inauthentic Memoirs: Akhmatova's Case 36

Mikhailova, G. P. Anna Akhmatova and the Riddle of Shakespeare 51

Serova, M. V. New Year Semantics in Anna Akhmatova's Poetry 66

Rogacheva, N. A. Siberia in the Artistic Vision of Anna Akhmatova (the Context of *A Little Geography*) 75

NOMINATIVE SOURCES IN DEMOGRAPHIC STUDIES: EAST AND WEST

Őri P. Marriage and the First Birth in Zsámbék, Hungary (18th — Early 20th Centuries) 85

Glavatskaya, E. M., Bobitsky, A. V., Zabolotnykh, E. A., Vishnevskaja, A. V. Nuptiality in Early 20th Century Yekaterinburg: Quantitative Analysis 104

Gruber, S. Fertility in Albania during World War I according to the 1918 Census 122

Eppel, M., Sorescu-Iudean, O. The Clergy of the Orthodox and Greek Catholic Churches of Transylvania: An Attempt at Building a Database 138

Bryukhanova, E. A. The 1897 Census: The Acquisition of "Lost" Materials and Their Preliminary Analysis 152

THE SOVIET PROJECT: A VIEW FROM THE FUTURE

Mazur, L. N. Demographic Catastrophes as a Factor of Transformation of the Peasant Family in Russia in the First Half of the 20th Century ... 168

Malysheva, S. Yu. The National and Confessional Diversity of the Population in the Soviet Projects and Documents Regulating Burial 188

Morozova, T. I. The Dynamics of Number and Personal Composition of the Party and Soviet Elite of Siberia in the 1920s 202

Vorobyev, S. V. The Social Sentiments of Workers of Ural Region in the Mid-1920s (with Reference to Information Bulletins of JSPD) 217

Barysheva, E. V. The Commemoration of Revolution in the Soviet Festive Culture in the 1920s–1930s 235

Amirov, V. M. "With Little Blood Shed and a Mighty Blow...": The Peculiarities of Designing an Image of the Red Army in Soviet Prewar Newspaper Discourse 245

LINGUISTIC STUDIES

Norman, B. Ju. Special Pragmatics of the Third Person 255

Osipova, K. V. The Reconstruction of the Traditional Peasant Diet of the Russian North according to Linguistic Data (with Reference to Oatmeal Dishes Names) 269

REVIEWS

Kozlov, A. S. The Problem of Borders of the Civilization of Late Antiquity. *Review of*: Testa, R. L. (Ed.). (2017).

Late Antiquity in Contemporary Debate. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 280 p. 286

Nefedov, S. A. The Mining Industry Urals of the Second Half of the 19th Century: Continuous Social Conflict. *Review of*: Gavrilov, D. V. (2018). *Gornozavodskii Ural 1861–1900 gg.: vlasti, predprinimateli, rabochie. Ot soglasiia — k konfrontatsii* [Ural Industrial Mining 1861–1900: Authorities, Businessmen, Workers. From Consent to Confrontation]. Moscow; St Petersburg: Nestor History. 464 p., ill. 294

К 130-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АННЫ АХМАТОВОЙ

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.043
УДК 821.161.1-14 Ахматова + 808.1

А. М. Меньщикова
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

Т. А. Снигирева
1) Уральский федеральный университет
2) Институт истории и археологии УрО РАН
Екатеринбург, Россия

БЕГ ВРЕМЕНИ АННЫ АХМАТОВОЙ: ОТ ЛИЧНОЙ СИГНАТУРЫ ДО ЭМБЛЕМЫ ПОКОЛЕНИЙ*

Логика статьи подчинена исследованию сложного «скрещения судеб» творческого пути Анны Ахматовой и жизни трех поколений, участником и свидетелем которой она была. Показано, что преломление трех эпох в биографии и творчестве поэта, обеспечившее образу Ахматовой эмблематичность, обусловлено историзмом как доминантной чертой ее поэтического мировидения. Выделены и описаны три личные сигнатуры поэта, востребованные временем: лунная дева, колдунья, пророчица Серебряного века; плакальщица, мать, жена, взявшая на себя миссию поминовения погибших в тюрьмах, лагерях, во время войны — в 1930–1940-е гг.; классик русской поэзии, ставший подлинным воплощением связи времен для молодого поколения поэтов в 1960-е гг., что отразилось в множественности и разнообразии «царских» сигнатур-инсигний Ахматовой, создаваемых ею на страницах «Записных книжек», моделируемых ее современниками в мемуарах (зачастую при известном участии поэта), а также — в визуальном коде: от портретов до фотографий, относящихся к разным десятилетиям. Важно, что образ поэта, преломившись в зеркалах каждой из непохожих друг на друга эпох, позволяет и самому времени отразиться в «ахматовских зеркалах».

Наиболее драматичные моменты «некалендарного двадцатого века» во многом связаны с ее личной и поэтической судьбой, ставшей одним из воплощений

* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-512-23003 «Самосознание и диалог поколений в русской и венгерской литературной практике XX–XXI веков».

© Меньщикова А. М., Снигирева Т. А., 2019
CC BY-NC

судьбы — «трагической симфонии» ее поколения. Особое внимание уделяется самообозначению сакрального характера, которое предназначено Ахматовой не для времени, но для вечности, является своеобразным тайным кодом, могущим быть расшифрованным только поэзией и поэтами.

К л ю ч е в ы е с л о в а: Анна Ахматова; сигнатура; эмблема; поколение; время; история.

Ц и т и р о в а н и е: *Меньщикова А. М., Снигирева Т. А. Бег времени* Анны Ахматовой: от личной сигнатуры до эмблемы поколений. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.043 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 11–23.

Поступила в редакцию 18.05.2019
Принята к печати 21.06.2019

Anna M. Menshchikova
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

Tatyana A. Snigireva
1) Ural Federal University
2) Institute of History and Archaeology UB RAS
Yekaterinburg, Russia

THE FLIGHT OF TIME BY ANNA AKHMATOVA: THROUGH PERSONAL SIGNATURE TO GENERATIONAL EMBLEM

The logic of this article comes from the research of the intricate “crossing of destinies” in the life and creative journey of Anna Akhmatova and in the life of three generations which she witnessed and shared. The study demonstrates that the deflection of the three epochs in Akhmatova’s biography and creative work, which made her image emblematical, is integral to historicism as a dominant feature of her poetical world perception. The authors distinguish and characterise three personal signatures of the poet demanded by the time: a lunar maiden, sorceress, and prophetess of the Silver Age; a mourner, mother, and wife who took up the mission of praying for those who died in prisons and camps during the war between the 1930s and 1940s; a classic of Russian poetry, who became an authentic incarnation of the link of times for the young generation of poets in the 1960s. It is represented in the multiplicity of Akhmatova’s “imperial” signatures-insignias, which she created in her *Notebooks*, and her contemporaries reflected in their memoirs (sometimes with the participation of the poet). Additionally, they were realised in the visual code, namely portraits and photographs, dating back to different decades. It is important that having been reflected in the mirrors of various epochs, the poet’s image lets time itself be reflected in “Akhmatova’s mirrors”.

The most dramatic moments of “not what the calendars say, but the real Twentieth Century” are mostly the parts of her private and poetic life, as her destiny was the embodiment of the “tragic symphony” of her generation. Special attention is paid in the article to the self-designation of sacral nature, which Akhmatova intends not for

time, but for eternity, it is a unique secret code, which can be decoded only by poets and poetry itself.

K e y w o r d s: Anna Akhmatova; signature; emblem; generation; time; history.

Acknowledgements
The work was supported by *Russian Foundation for Basic Research*, grant 19-512-23003 "Self-Awareness and Dialogue of Generations in Russian and Hungarian Literary Practice of the 20th–21st Centuries".

C i t a t i o n: Menshchikova, A. M., & Snigireva, T. A. (2019). *Beg vremeni* Anny Akhmatovoi: ot lichnoi signatury do emblemy pokolenii [*The Flight of Time* by Anna Akhmatova: Through Personal Signature to Generational Emblem]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 11–23. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.043

Submitted on 18 May, 2019
Accepted on 21 June, 2019

Анна Ахматова всегда умела говорить на языках тех культурных поколений, с которыми время сводило ее на протяжении ее долгой жизни.

Л. Гинзбург

Более чем полвека назад, в 1965 г., на церемонии чествования в театре Шелдон (Оксфорд) в связи с присвоением звания почетного доктора, Анна Ахматова была названа «русской Сафо», той, «чьи стихи знали наизусть три поколения» [Мок-Бикер, с. 13]. Важно, что речь идет о поколениях, судьба которых была определена разными, но отчетливо явленными в отечественной истории эпохами, каждая из которых характеризуется собственной интонацией и характером. Именно поэтому *genius temporis* каждой из них могли быть скорее противопоставлены друг другу. Тем не менее, Ахматова во многом стала «образом века своего», эмблемой каждого из периодов, определяющих характер поколений XX в. — старших и младших современников поэта: Серебряный век, страшные годы террора и войны, «вегетарианские времена» 1960-х гг. Не случайно, характеризуя воспоминания об А. Ахматовой, Д. Лихачев замечает, что они освещают не только ее личность, сборник мемуаристов разных поколений посвящен «не только ей: он о ее эпохах, а пережила она их несколько, и очень несхожих» [Лихачев, с. 4].

Очевидно, особое место Ахматовой в «русском поэтическом алфавите» (И. Бродский) позволило А. К. Жолковскому, анализируя характер восприятия ее личности и судьбы на протяжении десятилетий, емко сформулировать свойство поэта отражаться во множестве зеркал[1] (и при жизни, и даже после

[1] Позволим себе акцентировать внимание на приеме, столь характерном как для поэзии А. Ахматовой, так и для пишущих о ней: «Анна Ахматова в сто первом зеркале» (В. Я. Виленкин), «В минус первом и минус втором зеркале...» (А. К. Жолковский), «Ахматовские зеркала» (А. Демидова) и т. д.

смерти): «Либералам дорог ее оппозиционный ореол, верующим — православие, патриотам — русскость, прокоммунистам — чистота анкеты от антисоветских акций, монархистам — ее имидж императрицы и вся ее имперско-царскосельская ностальгия, мужчинам — женственность, женщинам — мужество» [Жолковский, с. 141].

В сентенции А. К. Жолковского слышна ирония над созданием культа поэта, что в XXI в., времени переосмысления незыблемости авторитетов поэтов-классиков, времени свержения кумиров, «одинаково удобных для восхваления и для ниспровержения» (Ю. Лотман), стало уже ощутимой тенденцией. Однако при свойственном ныне для отечественной гуманитаристики скепсисе нельзя оспорить сложно зачеркиваемый факт: поэзия, личность, судьба А. Ахматовой, будучи связанной с узловыми моментами отечественной истории двадцатого столетия и отразившись в зеркале сменяющихся эпох, стала образом не только своего времени, но и поколения. М. Фуко, переводя «учение о сигнатурах»[2] в философскую плоскость, настаивая на том, что мир состоит из подобий, замечает, что эта «система не является замкнутой», без разомкнутости «вся система сходств рисковала бы избавиться от себя самой или остаться невидимой, если бы новая фигура подобия не завершала бы круга, делая его одновременно и совершенным, и явным» [Фуко, с. 43]. Каждая эпоха, свидетелем которой была Ахматова, на основаниях *пригнанности*, *соперничества*, *аналогии* и *симпатии* (рядоположение М. Фуко) [Там же, с. 43–44] избирала в ее фигуре и судьбе собственную грань, затемняя другие, подчас неудобные или несвоевременные стороны.

Преломление времени в биографии и творчестве, обеспечившее образу Ахматовой эмблематичность, обусловлено историзмом как доминантной чертой ее поэтического мировидения. Афористически точна расшифровка смыслового значения взятого псевдонима, сделанная И. Бродским: «Пожалуй, это была ее первая удачная строка, отлитая акустически безупречно, с “Ах”, рожденным не сентиментальностью, а историей» [Бродский, с. 67]. В. Н. Топоров, определяя историзм поэта как «органичнейшее пресуществление биографии в историю и истории в биографию» [Топоров, с. 263–264], замечает: «История и знание о ней, память истории устроена, как и сама память, память жизни, память Я <...> Поэт ставит себя в пересекающейся части двух памятей – личной и исторической, и каждая из них “заражается” свойствами соприсутствующей ей другой части» [Там же, с. 267–268].

Ахматова, «свидетель истории — и отечественной, и мировой», «поэт истории», сополагая личное и историческое, уделяла пристальное внимание тому, как пишутся воспоминания о встречах с ней и создаются наброски для будущей биографии [Седакова]. Красноречивы воспоминания Ан. Наймана, литературного секретаря поэта в 1960-е гг., цитирующего замечание Ахматовой: «У меня есть такой прием: я кладу рядом с человеком свою мысль, но незаметно. И через некоторое время он искренне убежден, что это ему самому в голову пришло»

[2] Сигнатура — от лат. *signature* «обозначение», также «подобие, соответствие».

[Найман, с. 72]. Так, на страницах воспоминаний П. Н. Лукницкого, одного из первых «летописцев» Ахматовой, встречается немало примеров применения обозначенного приема: «Показала мне свинцовую медаль с ее профилем, сказала, что любит ее. Я заметил, что профиль тяжел. “Это мне и нравится... Это придает “античности”...”» [Лукницкий, с. 34]; «Я принес АА свой литературный дневник и стал читать. АА делала свои замечания — некоторые фактические поправки. АА очень огорчили дневники: “По этому дневнику выходит, что я злая, глупая и тщеславная... Это, вероятно, так на самом деле и есть”» [Там же, с. 86]. В продолжение этой записи автор дневников дает пространное и подробное объяснение искажения текста, а также перечисляет факты, опровергающие *неверное* представление о поэте как «злой» личности.

Помимо прямых исправлений дневниковых записей, о которых известно из разных источников[3], более существенным представляется ахматовское внимание к языку, его изменениям во времени. Ан. Найман пишет о работе Ахматовой над записями о Серебряном веке в последние годы ее жизни: «Она объясняла причины, разоблачала клеветы и ложь, исправляла ошибки и неточности и, по-моему, вообще немножко исправляла то ту, то другую черточку ушедшей действительности — не для того, чтобы приукрасить, не ради будущей выгоды, а скорее *mutatis mutandis*, применительно к изменяющимся обстоятельствам» [Найман, с. 30]. Ахматовские «поправки» нередко вызывают некоторое недоумение как у мемуаристов, так и у современных исследователей, но необходимо помнить главную мотивировку их появления: последовательную защиту от прямых искажений. Небезосновательно замечание в «Записных книжках» о «...возникновении еще одного оборотня, кот<орый> циркулирует в зарубежной прессе и носит мое имя» [Записные книжки, с. 116]. В любом случае, с коррективами или без них, Ахматова постоянно идет на «скрещение судеб» истории и автобиографии, в результате чего остается «человеком своего времени», одновременно становясь его эмблемой [Найман, с. 30].

Зеркало Серебряного века утверждает и навсегда закрепляет внешний облик Ахматовой, запечатленный в портретах: угловатая, тонкая, ломаные линии силуэта, узнаваемый горбоносый профиль с незавитой челкой – в изображениях Н. И. Альтмана, Ю. П. Анненкова, А. Модильяни, чуть позже — Н. Коган. Через портретные образы Ахматову воспринимали впервые встретившиеся с ней, сверяя поэта с портретами, как с подлинниками. Ф. Раневская о первой встрече с Ахматовой в 1912 г.: «Анна Андреевна открыла сама и стояла в дверях царственно-красивая, с челкой, остро-угловатая, как на полотне Альтмана» [Скороходов, с. 69]; Л. Гинзбург о встрече в конце 1920-х гг.: «Я помню Ахматову еще молодую, худую, как на портрете Альтмана, удивительно красивую, блистательно остроумную, величественную» [Гинзбург, с. 126]. Незавитая челка, узкая черная юбка, шаль, воспетая Мандельштамом, нарочитая угловатость, сродни изломанности, и другие детали облика Ахматовой, нередко определяемые ею самой

[3] См. записи Л. К. Чуковской, Ан. Наймана, В. Виленкина и др.

в стихах 1910-х гг., стали импульсом создания в поэзии и живописи конфликтной к общепринятой иной красоты как знака модернистского варианта поведения. Точно угадал появление нового канона Г. Адамович: «Анна Ахматова поразила меня своей внешностью. Теперь, в воспоминаниях о ней, ее иногда называют красавицей: нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица» [Адамович, с. 66]. Показательно, что этот облик привязан именно к Серебряному веку, «застыл» в нем. Например, биограф Ольги Глебовой-Судейкиной Элиан Мок-Бикер, впервые встретившаяся с поэтом в 1965 г. в Оксфорде, замечает: «Черная шаль и челка, воспетые столькими писателями и поклонниками, были единственными приметами, соотносившими ее — в моем сознании – с привычным образом. Я как будто перенеслась за рамки пространства и времени...» [Мок-Бикер, с. 14].

Обращенность Серебряного века к оккультному, иллюзорному, мистическому нашла отражение в ахматовских личных сигнатурах лунной девы, колдуньи, пророчицы, которые она культивировала на протяжении всей жизни в поэзии, в записных книжках и даже в бытовом поведении. Ей, по воспоминаниям многих, нравилось домашнее прозвище «Акума»: «...это шуточное название означает в японском языке “ведьма, колдунья” <...> да она в какой-то мере и была такой...» [Дувакин, с. 140–141]. Упоминания о вещих снах Ахматовой и ее способности знать о предстоящих встречах и событиях постоянны, как и о лунатизме в качестве того пограничного состояния, в котором смешаны сон и явь и которое способствует особому видению сути вещей. В середине 1920-х гг. П. Н. Лукницкий с ее слов записывает: «...луна стала на нее действовать. Ночью вставала, уходила на лунный свет в бессознательном состоянии. Отец всегда отыскивал ее и приносил домой на руках. “У меня осталось об этом воспоминание – запах сигары... И сейчас еще при луне у меня бывает это воспоминание о запахе сигары...” <...> Я увидела какой-то сон и во сне встала, дошла до середины комнаты и громко говорила: “Пришел, пришел...” <...> Подумайте: другие видят сны, но не ходят по комнате» [Лукницкий, с. 56]. Впоследствии переплетение мотива сна / яви и появление гостя (из будущего), очевидно, будет воплощено в строках стихотворения «Наяву»:

И время прочь, и пространство прочь,
Я все разглядела сквозь белую ночь:
И нарцисс в хрустале у тебя на столе,
И сигары синий дымок...

[Ахматова, 1999, с. 123]

«Серебряный век, — по замечанию М. В. Серовой, — обладал исключительно мощным мифотворческим потенциалом. Миф века складывался из множества частных автобиографических мифов» [Серова, с. 6–7]. Чеканность ахматовского профиля стала значимой частью портрета целой эпохи, первой эпохи в ее судьбе.

Ахматова в записных книжках сама точно определила начало нового периода в своем творчестве: «С 1935 г. я снова начинаю писать, но почерк у меня изменился,

но голос уже звучит по-другому <...> 1940 — апогей...» [Записные книжки, с. VII]. Одним из знаков прихода следующего этапа становится своеобразная «драма местоимений» [Меньщикова, Снигирева, с. 117]. Сложность смыслового чередования «я» — «мы» — «она» порой заменяется указанием «кто-то другой»[4], что отмечает Ан. Найман, останавливаясь на значимости прямого отождествления судьбы героини «Реквиема» и биографии поэта: «“Кто-то другой” – это “я”, вставшее в тюремную очередь, ставшее одной из частиц очереди, равных друг другу» [Найман, с. 179]. Принципиальность позиции — «Я – голос ваш...», усиленной адекватностью и взаимозаменяемостью своей судьбы с судьбой своего народа, позволила И. Бродскому спустя годы назвать Ахматову народным поэтом:

А за проволокой колючей,
В самом сердце тайги дремучей
Я не знаю, который год,
Ставший горстью лагерной пыли,
Ставший сказкой из страшной были,
Мой двойник на допрос идет...

[Ахматова, 1989, с. 252]

Образ плакальщицы, матери, жены, взявшей на себя миссию поминовения погибших в тюрьмах, лагерях, во время бомбежек в Ленинграде, явлен во всем ахматовском тексте предвоенных, военных лет и послевоенном десятилетии. Так, «Эпилог» «Реквиема» — своего рода поэтический кенотаф жертв репрессий конца 1930-х гг.:

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

[Ахматова, 1998, т. 3, с. 30]

Именно в «Реквиеме» поэт определяет *свое* место, отменяя все предыдущие, хронологически и символически связанные с Серебряным веком:

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем — не ставить его
Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,
Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня,
А здесь, где стояла я триста часов
И где для меня не открыли засов.

[Там же]

[4] Ср. строки «Реквиема»: «Нет, это не я, это кто-то другой страдает» [Ахматова, 1998, т. 3, с. 24].

В «Поэме без героя» (впервые — в редакции 1943 г.) темой поминовения скрепляется весь текст: «Всю поэму я посвящаю памяти ее первых слушателей, погибших в Ленинграде во время осады». Трагичность судьбы Ахматовой, матери и жены, закрепленная поэтическим словом, сделала ее эмблемой страдания и скорби, одновременно — мужества и стойкости, что позволяло ей стать доверенной для своих сограждан, которой поручено говорить голосом «стомильонного» народа и представлять его.

Самообозначение — Мать и Жена — оттенено сигнатурой Пророчица, как обязательного свойства истинной женщины. Т. В. Цивьян замечает, что «мотив Кассандры как пророчицы несчастий появляется у Ахматовой очень рано, когда, казалось бы, нельзя было провидеть бед и катастроф» [Цивьян], однако именно зеркало страшной эпохи свершившихся трагедий (и собственных, и всеобщих) закрепляет эту ипостась Ахматовой. Вслед за Т. В. Цивьян, предложим и дополним ряд примеров:

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар...
1915 [Ахматова, 1998, т. 1. с. 231]

Вдруг запестрела тихая дорога, Плач полетел,
серебряно звеня. Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня <...>
...Ей — опустевшей — приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей.
1916 [Там же, с. 269]

И всегда в духоте морозной
Предвоенной, блудной и грозной
Потаенный носился гул...
1942 [Ахматова, 1998, т. 3, с. 72]

И наконец: «Мне ведомы начала и концы...» (1945) [Ахматова, 1999, с. 108][5].

Повторим, личные сигнатуры Ахматовой, «взятые временем напрокат», отлитые им в эмблемы, в каждый из периодов поддерживаются устойчивым визуальным рядом, созданным скульпторами, живописцами (Н. А. Тырса, Г. Верейский, А. Г. Тышлер), закрепленным в фотографиях (Л. Горнунг, В. Виноградов, М. Наппельбаум, Н. Глен, Н. В. Фок и др.). Пожалуй, начиная с этого времени в дневниках, записках и воспоминаниях все активнее начинают доминировать такие определения, как «величественная» и «царственная», впоследствии ставшие общим местом мемуаристов, кроме, пожалуй, Н. Мандельштам,

[5] Более подробно об отражении Ахматовой в зеркале античных фигур, в том числе Кассандры, см. [Цивьян].

назвавшей Ахматову «голубкой и хищницей», и как свидетель чрезвычайно пристрастный, но знающий, передавшей оценку Ахматовой манеры изображать ее «как на медали» (определение Л. Чуковской). Со слов Н. Мандельштам, Ахматова всегда повторяла: «Не хочу быть “великим металлистом...”. “Великий металлист” — это фарфоровая статуэтка Данько, где Ахматова стоит во весь рост со всеми полагающимися ей атрибутами: ложноклассическая, фарфоровые складки и тому подобное...» [Мандельштам, с. 315].

Новое время взывало к иной эмблеме, иному образу, который бы свидетельствовал и о трагедии, и о силе ее преодоления. В описаниях облика и поведения Ахматовой начинают доминировать приемы, подчеркивающие статуарность (несгибаемость), скульптурность (царственность), мистериальность (трагичность): «высокая женщина с гордо откинутой головой, вся ее фигура выражала напряженное страдание» [Попова, Рубинчик, с. 119]; «Ахматова сидела прямо, неподвижно, как изваяние, и слушала музыкальный гул своих стихов с выражением спокойным и царственно снисходительным <...> Эту монументальную, мистериальную и единственную в своем роде сцену — Ахматова наедине с эхом своего голоса — я прочно запомнил» [Максимов, с. 110]; «...грандиозна, неприступна, далека от всего, что рядом, от людей, от мира, безмолвна, неподвижна. <...> Держалась очень прямо, голову как бы несла, шла медленно и, даже двигаясь, была похожа на скульптуру, массивную, точно вылепленную — мгновениями казалось, высеченную, — классическую и как будто уже виденную как образец скульптуры» [Найман, с. 16].

В последнее десятилетие своей жизни Ахматова стала одной из немногих представителей поэтического круга Серебряного века — поколения, судьбе которого посвящена «трагическая симфония» (определение «Поэмы без героя», принадлежащее М. Зенкевичу и записанное Ахматовой с пометой «отзыв современника») [Записные книжки, с. 134]. Став свидетелем революции, страшных лет террора, блокады и эвакуации, войны и Победы, жестокости послевоенного десятилетия, неоднократно пережив «гражданскую смерть», в шестидесятые годы она, окруженная новым поэтическим поколением, заняла место «живого классика», став подлинным воплощением связи времен, подводила черту под описанием собственной судьбы и пережитых ею эпох.

В третью эпоху своей жизни, став для нового поколения эмблемой «царственного слова», Ахматова дописывает свою «Книгу Судьбы», сюжет которой потаенно или, напротив, открыто связан с сакральными самообозначениями [см. об этом подробнее: Снигирева]. Привычный сюжет движения «от Женщины к Жене» может быть дополнен вектором «от Матери к Творцу». В работе Н. В. Недоброво одной из основных стала мысль о «сильнейших выражениях религиозного чувства» [Недоброво, с. 63–64] как основе формирующегося поэтического Космоса Ахматовой. Тема сознательно избранного / предугаданного особого, заведомо «страдальческого» пути — сигнал будущего «потаенного сюжета» творческой судьбы поэта. Поздняя Ахматова постоянно возвращается к важнейшей для нее мысли о взаимозаменяемости Творца и его творения,

поскольку именно Слово художника и является пропуском в бессмертие. Ахматова вплотную подходит к одному из важнейших для русской поэзии XX в. постулатов — к «оправданию языка» или «лингводицее», что присуще только поэзии, которая способна выразить неизъяснимое и впрямую связана с возможностью (воспринимаемой как дар и как наказание) творца к божественному / метафизическому постижению мира / человека. Лингводицея — ядро общей картины мира русской поэзии и являет себя в создании особого, порой тайного кода, понятного только посвященным; в утверждении власти Слова над Поэтом, ведомости Поэта Словом, экзистенциальной подчиненности Поэта Слову / Языку («поэт — часть речи»). С точки зрения метафизики, лингводицею русской поэзии определяет следующая система поэтико-философской версии бытия: профетическая сила поэтического слова; сакральный характер самоидентификации русского поэта; мученическая судьба поэта в России как знак его избранничества и мессианства; стихотворение как Жизнетворение и Боготворение («и творчество и чудотворство»); Слово как преодоление смерти и выход в бессмертие; поэзия как высшая этика, оправдывающая существование человека и человечества.

Возможно, только И. Бродский и В. Н. Топоров подошли вплотную (конечно, не только без осуждения, но и с известным восхищением перед смелостью, возможно, безрассудной, как это и принято у больших поэтов) к «еретической тайне» Ахматовой. В. Топоров обращает внимание на множественность и разнообразие «царских» сигнатур-инсигний Ахматовой. Исследователь называет ряд образов, поддерживающих создаваемый поэтом и одновременно современниками Ахматовой статус ее царственной принадлежности: «знаменитые царицы древности — Дидона, Федра, Клеопатра — избирались ею своими зеркалами», образы царевичей как суженых лирической героини, но это и темы венца, символа царской власти и смертных мучений, и трона-плахи» [Топоров, с. 357–358]. К этому ряду примыкают очень редкие, а потому, может быть, особо значимые прямые сопоставления своей судьбы и предназначения с судьбой и предназначением Царя Божьего, открытого соединения Его страдальческого пути и пути Поэта, вплоть до прямого сопоставления своей судьбы и судьбы Спасителя:

Как вышедший из западных ворот
Родного города и землю обошедший,
К восточным воротам смущенно подойдет
И думает: «Где дух, меня так мудро ведший?! –
Так я...»

[Ахматова, 1989, с. 291]

И. Бродский, не без внутреннего трепета, настолько в принципе ему несвойственного, замечает: «И чем она усерднее пряталась, тем неуклоннее ее голос таял в Чьем-то Другом (насколько важны здесь заглавные буквы. — *А. М., Т. С.*), бросавшем в дрожь при попытке увидеть, как в “Северных элегиях”, кто скрыт за местоимением “я”» [Бродский, с. 67]. Скорее всего, речь идет о Второй элегии,

основным лирическим сюжетом которой становится приход Поэта в мир, прозрение своей Судьбы и готовность ее принять:

И выходили люди и кричали:
«Она пришла, она пришла сама!»
И чем сильней они меня хвалили,
Чем мной сильнее люди восхищались,
Тем мне страшнее было в мире жить,
И тем сильней хотелось пробудиться,
И знала я, что заплачу сторицей
В тюрьме, в могиле, в сумасшедшем доме,
Везде, где просыпаться надлежит
Таким, как я, – но длилась пытка счастьем.

[Ахматова, 1989, с. 216]

Безусловно, столь дерзкая сигнатура, впрямую соотносящая приход в мир Поэта с приходом Спасителя могла быть адресована только посвященным, т. е. самой поэзии и поэтам, которые способны «считать» ее.

Т. Цивьян писала: «...речь идет не о том, что Ахматова находила — или хотела найти — в себе сходство с импонирующими ей образами, а в том, что она обладала способностью воссоздавать и в жизни, и в поэзии некий высший уровень чувств и переживаний, имея в виду хрестоматийные, но не теряющие своей глубины и значимости образцы» [Цивьян]. Именно эти, освященные культурой образы, в которых так нуждались поколения XX в., Ахматова им отдавала, восстанавливая все время находящуюся на грани распада связь времен.

Источники

Адамович Г. Мои встречи с Анной Ахматовой // Воспоминания об Анне Ахматовой / [сост. В. Я. Виленкин, В. А. Черных ; коммент. А. В. Курт, К. М. Поливанова]. М. : Сов. писатель, 1991. С. 65–77.

Ахматова А. А. «Я — голос ваш...». М. : Кн. палата, 1989.

Ахматова А. А. Собрание сочинений : в 6 т. / сост., подгот. текста, коммент., ст. Н. В. Королевой. М. : Эллис Лак, 1998–2002.

Гинзбург Л. Я. Ахматова (несколько страниц воспоминаний) // Воспоминания об Анне Ахматовой / [сост. В. Я. Виленкин, В. А. Черных ; коммент. А. В. Курт, К. М. Поливанова]. М. : Сов. писатель, 1991. С. 126–141.

Дувакин В. Д. Беседы с Виктором Ардовым. Воспоминания о Маяковском, Есенине, Ахматовой и других / подгот. текста М. Радзишевской, С. Петрова ; коммент. Н. Панькова. М. : Common place : Устная история, 2018.

Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / сост. и подгот. текста К. Н. Суворовой ; вступ. ст. Э. Г. Герштейн ; науч. консультирование, вводные заметки к записным книжкам, указатели В. А. Черных. М. ; Torino : Giulio Einaudi editore, 1996.

Лукницкий П. Н. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1 : 1924–25 гг. Paris : YMCA-PRESS, 1991.

Максимов Д. Е. Об Анне Ахматовой, какой помню // Воспоминания об Анне Ахматовой / [сост. В. Я. Виленкин, В. А. Черных ; коммент. А. В. Курт, К. М. Поливанова]. М. : Сов. писатель, 1991. С. 96–125.

Мандельштам Н. Я. Из воспоминаний // Воспоминания об Анне Ахматовой / [сост. В. Я. Виленкин, В. А. Черных ; коммент. А. В. Курт, К. М. Поливанова]. М. : Сов. писатель, 1991. С. 299–325.

Скороходов Г. Разговоры с Раневской. М. : АСТ, 2008.

Исследования

Бродский И. Скорбная муза // Юность. 1989. № 6. С. 67–71.

Жолковский А. К. Избранные статьи о русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты / отв. ред. Л. Г. Панова. М. : РГГУ, 2005.

Лихачев Д. С. Вступительное слово // Воспоминания об Анне Ахматовой / [сост. В. Я. Виленкин, В. А. Черных ; коммент. А. В. Курт, К. М. Поливанова]. М. : Сов. писатель, 1991. С. 3–5.

Меньщикова А. М., Снигирева Т. А. Поэтическое поколение в осмыслении Анны Ахматовой. DOI 10.15826/izv2.2016.18.4.069 // Изв. Урал. федер. Ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2016. Т. 18. № 4 (157). С. 115–126.

Мок-Бикер Э. «Коломбина десятых годов...»: Книга об Ольге Глебовой-Судейкиной. Париж : Изд-во Гржебина ; СПб. : Арсис, 1993.

Найман А. Рассказы об Анне Ахматовой. М. : АСТ : Зебра Е, 2008.

Недоброво Н. В. Анна Ахматова // Рус. мысль. 1915. № 7. С. 50–68.

Попова Н. И., Рубинчик О. Е. Анна Ахматова и Фонтанный Дом. СПб. : Невский диалект, 2012.

Седакова О. «И почем у нас совесть и страх». К юбилею Анны Ахматовой. URL: www.olgasedakova.com/Poetica/235 (дата обращения: 17.05.2019).

Серова М. В. Анна Ахматова: Книга Судьбы (феномен «ахматовского текста»: проблема целостности и логика внутриструктурных взаимодействий). Ижевск ; Екатеринбург : Ин-т компьютерных исследований, 2005.

Снигирева Т. А. Проблемы сакральной идентификации поздней Ахматовой // Психолингвистические аспекты изучения речевой деятельности. 2005. № 3. С. 76–90.

Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы : избр. тр. СПб. : Искусство — СПБ, 2003.

Фуко М. Слова и вещи : Археология гуманит. наук : пер. с фр. / вступ. ст. канд. филос. наук Н. С. Автономовой. М. : Прогресс, 1977.

Цивьян Т. В. Кассандра, Дидона, Федра. Античные героини — зеркала Ахматовой. URL: http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/civyan-kassandra-didona-fedra-antichnye-geroini.htm (дата обращения: 15.05.2019).

References

Brodsky, I. (1989). Skorbnaja muza [The Mournful Muse]. *Yunost'*, 6, 67–71. (In Russian)

Foucault, M. (1977). *Slova i veshchi: Archeologiia gumanitarnykh nauk* [Words and Things: Archaeology of the Humanities]. Moscow: Progress. (In Russian)

Likhachev, D. S. (1991). Vstupitel'noe slovo [Opening Remarks]. In V. Ya. Vilenkin, & V. A. Chernykh (Comps.), *Vospominanija ob Anne Akhmatovoi* [Memories about Anna Akhmatova] (pp. 3–5). Moscow: Sovetskii pisatel'. (In Russian)

Menshchikova, A. M., & Snigireva, T. A. (2016). Poeticheskoe pokolenie v osmyslenii Anny Akhmatovoi [Poetical Generation in Anna Akhmatova's Apprehension]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts,* 18, 4 (157), 115–126. doi: 10.15826/izv2.2016.18.4.069 (In Russian)

Moch-Bickert, E. (1993). *"Kolombina desiatykh godov...": Kniga ob Ol'ge Glebovoi-Sudeikinoi* ["Columbine of the 1910s": A Book about Olga Glebova-Sudeikina]. Paris: Grzebina Press, St Petersburg: Arsis. (In Russian)

Naiman, A. (2008). *Rasskazy o Anne Akhmatovoi* [Stories about Anna Akhmatova]. Moscow: AST; Zebra E. (In Russian)

Nedobrovo, N. V. (1915). Anna Akhmatova. *Russkaja mysl'*, 7, 50–68. (In Russian)

Popova, N. I., & Rubinchik, O. E. (2012). *Anna Ahmatova i Fontannyj Dom* [Anna Akhmatova and the Fountain House]. St Petersburg: Nevskii dialekt. (In Russian)

Sedakova, O. (2007). *"I pochem u nas sovest' i strakh". K iubileiu Anny Akhmatovoi* ["What's Our Price for Conscience and Fear". For Anna Akhmatova's Birthday]. Retrieved from www.olgasedakova.com/Poetica/235. (In Russian)

Serova, M. V. (2005). *Anna Akhmatova. Kniga Sud'by (fenomen "akhmatovskogo teksta": problema tselostnosti i logika vnutristrukturnykh vzaimodeistvii)* [Anna Akhmatova. A Book of Fate (the Phenomenon of Akhmatova's Text: The Issue of Entirety and Logic of Intrastructural Cooperation]. Izhevsk; Yekaterinburg: Computer Research Institute. (In Russian)

Snigireva, T. A. (2005). Problemy sakral'noi identifikacii pozdnei Ahmatovoi [On Sacral Identification of Late Anna Akhmatova]. *Psiholingvisticheskie aspekty izucheniya rechevoi deyatel'nosti*, 3, 76–90. (In Russian)

Toporov, V. N. (2003). *Peterburgskij tekst russkoi literatury: Izbrannye trudy* [The St Petersburg Text of Russian Literature: Selected Works]. St Petersburg: Iskusstvo — SPb. (In Russian)

Tsiv'yan, T. V. (1989). *Kassandra, Didona, Fedra. Antichnye geroini — zerkala Akhmatovoi* [Cassandra, Dido, Phaedra. Ancient Heroines — Akhmatova's Mirrors]. Retrieved from http://ahmatova.niv.ru/ahmatova/kritika/civyan-kassandra-didona-fedra-antichnye-geroini.htm. (In Russian)

Zholkovsky, A. K. (2005). *Izbrannye statii o russkoj poezii: Invarianty, struktury, strategii, interteksty* [Selected Papers on Russian Poetry: Invariants, Structures, Strategies, Intertextuality]. Moscow: Russian State University for the Humanities. (In Russian)

Меньщикова Анна Манасовна
кандидат филологических наук,
старший преподаватель
кафедры русской и зарубежной литературы
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: menanman@inbox.ru

Снигирева Татьяна Александровна
доктор филологических наук, профессор
кафедры русской и зарубежной литературы
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51;
ведущий научный сотрудник
сектора истории литературы
Институт истории и археологии УрО РАН
620990, Екатеринбург,
ул. Софьи Ковалевской, 16
E-mail: tas0905@rambler.ru

Menshchikova, Anna Manasovna
PhD (Philology), Senior Lecturer
Department of Russian and Foreign Literature
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Email: menanman@inbox.ru
ORCID: 0000-0002-2084-9912

Snigireva, Tatyana Aleksandrovna
Dr. Hab. (Philology), Professor
Department of Russian and Foreign Literature
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia;
Leading Researcher
Department of the History of Literature
Institute of History and Archaeology UB RAS
16, Sofia Kovalevskaya Str.,
620990 Yekaterinburg, Russia
Email: tas0905@rambler.ru
ORCID: 0000-0003-3795-963X
Scopus ID: 57200179392

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.044
УДК 821.161.1-14 Ахматова + 801.82 + + 808.1

Н. В. Налегач
Кемеровский государственный университет
Кемерово, Россия

АННА АХМАТОВА И «ПАРИЖСКАЯ НОТА»: К ВОПРОСУ О ПОЭТИЧЕСКОМ ВЛИЯНИИ

Статья посвящена рассмотрению влияния Анны Ахматовой на поэтику «парижской ноты». Такая постановка проблемы диктует обращение к историко-литературному подходу, в рамках которого выполнена работа. В центре внимания лирические системы А. Штейгера и Л. Червинской как наиболее полно воплощающие творческие установки этого течения. Сопоставительный анализ стихотворений А. Штейгера и Л. Червинской с лирикой А. Ахматовой 1910-х — начала 1920-х гг. в контексте ее осмысления в прижизненной критике с акцентом на оценки Г. Адамовича позволил выявить степень усвоения ее поэтических открытий на уровне тематики и стилевых решений. Среди таковых — интимизация содержания, диалогизация композиции, лаконизм поэтической формы, пуантировка лирического сюжета, сдержанность изобразительно-выразительных средств ради усиления психологического воздействия и убедительности лирического переживания. Творческий опыт А. Ахматовой воспринят представителями «парижской ноты» не без воздействия концепций Г. Адамовича о путях развития русской поэзии, в силу чего он мыслится в неразрывной связи с общеакмеистическими установками, традициями А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского и И. Ф. Анненского. Этим объясняется значимость для рассматриваемых поэтических миров мотива совести. Тем не менее, учитывая, что основной период формирования и расцвета «парижской ноты» приходится на 1930-е гг., более востребованной в творчестве представителей «незамеченного поколения» оказывается ее любовная лирика и тема творчества, поскольку их разработка органично сочетается со стремлением младших поэтов русского зарубежья первой волны выразить жизнь отдельной души.

Ключевые слова: А. Ахматова; Г. Адамович; Л. Червинская; А. Штейгер; «парижская нота»; поэтическая традиция; влияние.

Цитирование: *Налегач Н. В.* Анна Ахматова и «парижская нота»: к вопросу о поэтическом влиянии. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.044 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 24–35.

Поступила в редакцию 29.03.2019
Принята к печати 21.06.2019

© Налегач Н. В., 2019
CC BY-NC

Natalia V. Nalegach
Kemerovo State University
Kemerovo, Russia

ANNA AKHMATOVA AND THE PARIS NOTE: ON THE ISSUE OF POETIC INFLUENCE

This article considers the influence of Anna Akhmatova on the poetics of the Paris Note. For the purpose of the study, the author employs the historical and literary approach referring to the lyrical systems of A. Steiger and L. Chervinskaya as they most fully embody the creative attitudes of the movement. Comparative analysis of the poems by Steiger and Chervinskaya and Akhmatova's lyrical poetry of the 1910s — early 1920s in the context of its comprehension in Akhmatova's lifetime criticism with an emphasis on assessments of G. Adamovich makes it possible to reveal the degree of assimilation of her poetic discoveries at the level of themes and style choices. Among these are content intimisation, dialogisation of composition, laconicism of poetic form, usage of special techniques to kindle the reader's interest in the lyrical plot, and restraint of figurative and expressive means for the sake of enhancing the psychological impact and persuasiveness of the lyrical experience. The perception of Akhmatova's creative experience by representatives of the Paris Note was not entirely free from Adamovich's concepts concerning the ways of development of Russian poetry, which is why it is conceived in close connection with common acmeism attitudes and traditions of Pushkin, Dostoyevsky, and Annensky. This explains the significance of the motif of conscience for the poetic worlds under consideration. Nevertheless, given the fact that the main period of the formation and flourishing of the Paris Note happened the 1930s, its love poetry and the topic of creative work were more in demand in the work of representatives of the "unnoticed generation", since their development is organically combined with the desire of younger Russian émigré poets of the first wave to express the life of an individual soul.

K e y w o r d s: A. Akhmatova; G. Adamovich; L. Chervinskaya; A. Steiger; Paris Note; poetic tradition; influence.

C i t a t i o n: Nalegach, N. V. (2019). Anna Akhmatova i "parizhskaia nota": k voprosu o poeticheskom vliianii [Anna Akhmatova and the Paris Note: On the Issue of Poetic Influence]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 24–35. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.044

Submitted on 29 March, 2019
Accepted on 21 June, 2019

В эмиграции сложилось свое отношение к поэзии Анны Ахматовой, к ее стилю и месту в русской литературе. Особую роль в этом сыграли три составляющие — в первой половине XX в. ее участие в группе акмеистов, во второй, после публикации потаенных поэм, ее восприятие как внутренней эмигрантки в СССР, и на протяжении всего столетия спор о выборе «между свободой и Родиной», как определил его Г. Адамович. В историческом зазоре оказывается

ее творческий опыт 1930–1940-х гг., несколько позже учтенный и интерпретированный представителями русского зарубежья. Тем не менее, ее поэтический «голос» обладал своим воздействием и его влияние обнаруживается в исканиях поэтов, пошедших за Г. Адамовичем. Суть этой важной для эмигрантской версии русской литературы тональности уже в начале XXI столетия сформулировал О. Ильинский в статье «Творческий облик Анны Ахматовой»:

> Творчество Анны Ахматовой в группе акмеистов и в русской поэзии в целом следует определить как «трагический лиризм». Если ее коллеги по акмеизму определяются по принципу художественного преображения внешней реальности в объективном аспекте, в энергии действия, в непосредственном переживании культуры как памяти и как одной из целей жизни, то Ахматова сосредоточивает свое художественное внимание на внутренней эмоциональной сфере, на становлении личности, на внутренних конфликтах, через которые проходит личность [Ильинский, с. 220].

Если обратиться к критическим отзывам на публикации поэтов «парижской ноты», легко заметить упреки в слишком пристальном внимании к миру личности в противовес интересу к вопросам общественной жизни. Общий же тон поэзии ключевого выразителя этой ветви русской поэзии Анатолия Штейгера тоже определяется как «трагический лиризм».

Благодаря первым работам В. М. Жирмунского [1977], Б. М. Эйхенбаума [1986], К. В. Мочульского [1999] и др. о поэтике и стиле А. Ахматовой, к началу 1930-х гг., когда получает оформление «парижская нота», за ее поэзией прочно закрепляются такие характеристики, как «благородная простота лирического стиля», «спокойная ясность», «пластическая вещность» (К. В. Мочульский), «эпиграмматичность словесной формы», приближение «стихотворной речи к речи разговорной», «прерывистые, замедленные, синкопированные ритмы», «тонкость наблюдения и точность взгляда», «законченность словесного выражения» (В. М. Жирмунский), «лаконизм и энергия выражения», «напряженность эмоций», «необычная интимность», «речь стала скупой, но интенсивной» (Б. М. Эйхенбаум)[1].

---

[1] В выборке представлены только те работы, вероятность знакомства с которыми Г. Адамовича и, как следствие, поэтов «парижской ноты» более чем высока. Так, статья В. М. Жирмунского «Преодолевшие символизм» впервые была опубликована в 1916 г. в журнале «Русская мысль» (№ 12), более того, многие видные сотрудники этого журнала в 1920-е гг. оказались в эмиграции во Франции, например, З. Гиппиус, Д. Мережковский, Н. Бердяев и др. Статья К. Мочульского «Поэтическое творчество Анны Ахматовой» была опубликована в том же журнале в 1921 г. (№ 3/4), который после его закрытия большевиками в 1918 г. возродился в эмиграции в 1921 г. Первые номера выходили в Софии, последние — в Париже. Более того, К. Мочульский и Г. Адамович в Париже были в одно и то же время сотрудниками еженедельного литературно-политического приложения к газете «Последние новости» «Звено». Наконец, работа Б. Эйхенбаума «Анна Ахматова. Опыт анализа» впервые была опубликована в 1923 г., когда граница между Советской Россией и Европой еще не закрылась окончательно, а благодаря берлинской эмиграции культурный диалог русской интеллигенции по обе стороны границы сохранял свою интенсивность. Следует также отметить, что Г. Адамович в 1923 г. эмигрировал сначала в Берлин и только после этого перебрался во Францию, где и стал вдохновителем «парижской ноты».

Эти наблюдения обобщенно нашли выражение и в статье Г. Адамовича «Анна Ахматова» (1934), поводом для которой стало 25-летие выхода поэтического сборника «Вечер», принесшего ее автору безусловную славу. Помимо синтеза ее творческих установок Г. Адамович в этой статье отмечает влияние ее поэтических открытий на формирование современной русской поэзии по обе стороны границы:

> Не только в эмиграции, где в каждом «поэтическом» разговоре постоянно упоминается ее имя, но и в России знают и читают ее: еще недавно авторитетный свидетель Вера Инбер в припадке социалистического негодования жаловалась, что в доброй половине женских рукописей, поступающих в рассмотрение советских издательств, «живет Ахматова»... [Адамович, 1996, с. 298].

Тем не менее, рассуждая о дальнейших путях освоения ее поэтического опыта, критик выдвигает важный тезис о том, что Ахматова — поэт той России, которой больше нет, и что ее поэтические открытия 1910-х гг. и есть подлинное выражение ее таланта, который достиг предела своего развития:

> А ведь Ахматова еще не стара, — и если ничего и не печатает, то, может быть, все-таки пишет. Но связана она с той Россией, которая «была», а не «есть». Новая Россия ее не прочтет и не поймет, во всяком случае по-другому, чем читали сверстники. Им же, «современникам», все кажется безвозвратно далеким. Им не всегда легко понять и принять, что с революцией не все оборвалось [Там же, с. 300].

И несмотря на то, что сама А. Ахматова с такой оценкой ее творчества была не согласна, в 1930-е гг. во Франции ее мнение не было известно, равно как и новые ее произведения, создаваемые потаенно, и не изменило сущностной интерпретации ее приемов, оказавших влияние на русский Монпарнас. Для поэтов «незамеченного поколения» тезис Г. Адамовича гармонично сочетался с образом залетейской призрачной России, создаваемой в те годы в стихах Г. Иванова, тем самым объединяя поэтов-цеховиков и их «учеников» по обе стороны границы поверх истории. Несколько десятилетий спустя, познакомившись с произведениями А. Ахматовой, созданными с 1930-х по 1960-е гг., Г. Адамович, подводя итог своим размышлениям о ее творчестве в статье «Большой поэт и большой человек», существенно изменит свою оценку, поставив ее в один ряд с другим культовым для поэтов «парижской ноты» именем:

> ...Ахматова — самое крупное женское имя в истории русской поэзии. Замечательно в ее творчестве, однако, то, что, оставшись женщиной, она оказалась способной стать прежде всего человеком, Человеком с прописной буквы, отчего в отношении к ней и неуместно слово «поэтесса». Ахматова — не поэтесса, а поэт, всегда, во всем, о чем бы стихи ее ни говорили. В наше время она — поэт национальный, выразитель своей эпохи, каким был в начале столетия Александр Блок [Адамович, 1967, с. 14].

Столь значимое положение в русской литературе середины столетия обусловлено, с точки зрения Г. Адамовича, тем, что А. Ахматова сумела синтезировать

и развить в своем творчестве традиции А. С. Пушкина и И. Ф. Анненского. В этом итоговом суждении Адамович еще раз обозначил ключевые эстетические ориентиры «парижской ноты» 1930-х гг., соединив их с именем А. Ахматовой и подчеркнув тем самым ее роль в формировании поэзии «незамеченного поколения».

Анализ поэтики стихотворений поэтов «парижской ноты» подтверждает это предположение. Так, выделенные в статье Ю. Терапиано характерные черты поэзии русского зарубежья достаточно полно коррелируют не только с исканиями акмеистов, но и с отдельными особенностями поэтической манеры А. Ахматовой, чье имя указано им в качестве одного из «учителей»:

> 1. Отход от левых течений, от «Хаоса», как говорил Ходасевич. 2. Несогласие с символистами и с их увлечением «безднами и тайнами». 3. Близость к акмеизму — к Гумилеву, Ахматовой, Осипу Мандельштаму (к Мандельштаму первых двух книг, а не последних стихов), к Георгию Иванову. 4. Блок и Марина Цветаева (далеко не у всех) и общее притяжение к XIX веку — к Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Баратынскому. 5. Борис Пастернак, Хлебников, Маяковский, Есенин, Заболоцкий, Кирсанов, Багрицкий и т. д. отразились меньше, чем можно было ожидать [Терапиано, 1960, с. 24].

В современной исследовательской литературе при рассмотрении влияния общеакмеистических установок на поэтику «парижской ноты» больший упор делается на анализе традиций Н. Гумилева и О. Мандельштама, а также «младоакмеистов» Г. Иванова и Г. Адамовича (см. работы К. В. Ратникова [1998], А. А. Хадынской [2016; 2018]). Влияние А. Ахматовой на творчество представителей этого течения отмечено применительно к Л. Червинской в монографии Ю. В. Зобнина [2010] и косвенно затронуто в статье В. А. Соколовой [2010], посвященной осмыслению лирики Ирины Кнорринг, чей поэтический метод, по мысли автора статьи, сближен с представителями «парижской ноты». Все это заставляет обратить более пристальное внимание на выявление ахматовского воздействия на формирование поэтических установок этой ветви «незамеченного поколения».

Наиболее полно, по общему мнению современников, мироощущение и принципы «парижской ноты» воплотили в своем творчестве А. Штейгер и Л. Червинская. Так, уже в 1950-е гг., когда сложилось общее представление об этом явлении в литературе русского зарубежья, Ю. Иваск отметил: «Глубже всего надышались этим воздухом покойный Штейгер и Лидия Червинская» [Иваск, 1950, с. 198], возводя их поэтический опыт в рецензии 1957 г. к «не-пению Анненского» и попытке «договорить» Достоевского [Иваск, 1957], что к тому моменту уже ассоциировалось с провозглашенными А. Ахматовой ученичеством и преемственностью, воплощенными в ее поэмном творчестве и лирике, начиная с 1940-х гг. (см. ее стихотворение «Учитель» (1940), самоопределение лирической героини и ее поколения через художественный мир Ф. М. Достоевского: «Россия Достоевского. Луна. <...> Так вот когда мы вздумали родиться» в «Северных элегиях», а также весь строй «Поэмы без

героя»). Сжатое определение этих общих принципов обнаруживаем в работе Н. В. Барковской: «...предельная искренность и эмоциональность, аскетизм словаря, синтаксиса, рифмы, “дневниковость” и исповедальность, приглушенность тона, каким говорится о любви и смерти» [Барковская, 2001, с. 14]. Более подробному рассмотрению поэтики «парижской ноты» посвящены статьи О. А. Коростелева [2008], С. Р. Федякина [2008], В. Хазана [2008], вошедшие в тематический номер «Литературоведческого журнала» «“Парижская нота”: Материалы и исследования».

Как указывал Ю. Терапиано, сравнение Л. Червинской, как и любой другой поэтессы первой половины XX в., с поэзией А. Ахматовой неизбежно, так как «...на долгие годы вся женская поэзия была отравлена влиянием Ахматовой, ее колея оказалась настолько глубокой, что никому — подчас очень одаренным поэтессам, не удавалось остаться самой собою» [Терапиано, 1937, с. 162]. Заслугу Л. Червинской он видит в том, что она «...была первой и, пожалуй, пока единственной, оказавшейся в состоянии найти свое личное выражение тем, дать самостоятельное и новое, в смысле ощущения, в смысле новой формы» [Там же], став, по утверждению Г. Адамовича, не «подражательницей», а «продолжательницей» поэтической традиции А. Ахматовой, отмеченной «не открытием каких-либо оттенков чувств, а именно точностью и лаконической образностью» [Адамович, 1937]. В той же рецензии на сборник «Рассветы» Г. Адамович подчеркивает синтез поэтического опыта А. Ахматовой и И. Анненского как ту основу, которая позволила Л. Червинской стать преемницей, а не подражательницей, а заодно и точным выразителем поэзии «парижской ноты». Закономерно, что именно вдохновитель «парижской ноты» акцентирует как ценность поэтический опыт А. Ахматовой и его развитие в поэтике «парижской ноты», обозначая ее имя как знаковое и значимое для молодых поэтов.

Примечательно, что оппонент Г. Адамовича в споре о путях русской поэзии В. Ходасевич тоже отметил поэтическое влияние А. Ахматовой на творчество Л. Червинской, хотя и оценил его иначе, усматривая в нем подлинный декаданс, а не развитие искусства. Речь идет о выделенном им «интимизме», который он противопоставляет исконному для искусства принципу преображения действительности:

> Поэзия преображает действительность. Интимизм, напротив, стремится ее запечатлеть в первоначальном виде, схватить на лету, как моментальная фотография, сообщить читателю не поэтический фабрикат, а эмоциональное сырье. Отсюда — вообще его документальность. Этим объясняется и то, что она так часто облекается в формы эпистолярные или дневниковые или близкие к ним. Ростопчина в этом отношении в особенности показательна, Ахматова менее, Червинская в той же степени, как Ростопчина. <...> Таким образом, ее поэзия имеет тенденцию развиваться в сторону документа, «человеческого документа», то есть в действительности — не развиваться, а напротив того — деградировать, вырождаться. <...> К несчастию, такое направление — ложное, к нему, наконец-то, вполне применимо название декадентства, в былые времена с гораздо меньшими основаниями применявшееся к модернизму

и символизму (который был явлением поэтически вполне нормальным и здоровым) [Ходасевич, 1996, с. 400–401].

Опубликованная первой (газета «Возрождение» за 11 июня 1937 г.) из трех здесь приведенных на сборник «Рассветы» (1937) рецензия В. Ходасевича спровоцировала полемику не только о творчестве Л. Червинской, но также о поэзии А. Ахматовой и ценности ее поэтических открытий для творчества всех представителей «парижской ноты».

Примечательно, что в творчестве Л. Червинской есть черты, свидетельствующие о сходной с ахматовской логике эволюции лирической системы, что обнаруживается в появлении мотива Музы-совести, который оформляется у А. Ахматовой начиная с 1930-х гг., и примерно с того же времени, не без влияния идей Г. Адамовича, у Л. Червинской. Показательно здесь не генетическое (с творчеством А. Ахматовой 1930-х гг. представители русского зарубежья познакомились только в 1950-е гг.), а параллельное развитие, обусловленное общим «ученичеством» у И. Ф. Анненского и Ф. М. Достоевского, а также логикой развития акмеистической картины мира, что отметила применительно собственно к акмеистам Л. Г. Кихней [2004], но что обнаруживается и как определенная тенденция в неоакмеистических установках Г. Адамовича, формировавшего поэтическую атмосферу «парижской ноты».

Так, в стихотворении «От зависти, от гордости, от боли...» из первой поэтической книги Л. Червинской «Приближения» (1934) пуант в развитии лирического сюжета приходится как раз на мотив совести, связывающий в узел мотивы любви и творчества, представленные здесь на манер ахматовского «А я не могу взлететь, хоть с детства была крылатой». Заданная в первой строфе тема ранящей душу и, видимо, нравственное чувство лирической героини, любви: «От зависти, от гордости, от боли, / От сложности — такая простота... / Усилие давно покорной воли / И, дрогнув, засветилась темнота» [Червинская, с. 181][2] — в итоге разрешается безусловным приятием, которое, тем не менее, оказывается чуждым совести. Оксюморонный образ «засветившейся темноты», во второй строфе соотнесенный со светом, при виде которого «затихает голос совести», раскрывает сюжетное движение на манер расиновских трагедий между чувством и долгом, например, в «Федре», героиня которой в исполнении Рашель, с легкой руки О. Мандельштама, стала своего рода поэтическим двойником А. Ахматовой. Однако разрешение сюжетной линии ближе к еврипидовскому в переводе И. Анненского: родившееся в горниле страсти нравственное чувство, тем не менее, расплавлено в душе героини под напором ее любви к Ипполиту

[2] Стихотворения Л. Червинской и Б. Заковича приводятся в статье по изданию [В Россию ветром строчки занесет...] с указанием фамилии автора и страниц. Следует отметить методологически актуальный для нашей работы характер выборки, поскольку В. Крейд представляет попытку очертить круг поэтов (Г. Адамович, А. Штейгер, Л. Червинская, И. Чиннов, Б. Закович, Ю. Мандельштам, П. Ставров, Ю. Терапиано), составивших ядро «парижской ноты», а также расставить акценты по степени значимости указанных авторов в раскрытии этого историко-литературного явления.

и приводит к принятому решению, своего рода «засветившейся темноте», далекому от совести — клевете. В стихотворении Л. Червинской коллизия несколько мягче — для оправдания чего бы то ни было достаточно чувства любви. Однако испуганно затихающий голос совести маркирует осознание лирической героиней драматизма произошедшего.

И если в случае с Л. Червинской критики единодушно указывали на тему любви и раскрытие женской души в лаконичной и сдержанной образности как следование традициям А. Ахматовой, в случае с другими поэтами разговор от собственно тематики уходит в сторону авторского стиля и поэтики выразительности. Рассмотрим для примера несколько характерных стихотворений А. Штейгера из итоговой книги «2 × 2 = 4», в которую вошли избранные произведения из трех прижизненных поэтических сборников автора «Этот день» (1928), «Эта жизнь» (1932), «Неблагодарность» (1936) и тексты, написанные в период с 1936 по 1939 г. Книга была подготовлена к печати самим поэтом, но издана была уже посмертно его сестрой Аллой Головиной, автором, тоже близким к этому течению в эмигрантской литературе.

В стихотворении «Так от века уже повелось...» отчетливо проступает ахматовский подтекст «Двадцать первое. Ночь. Понедельник...» посредством сюжетно-тематического и композиционного решений, в основе которых переживание лирическим субъектом шокирующего «разоблачения» мифа о любви. В обоих стихотворениях эффект «прозрения» выражается посредством пуанта, у А. Ахматовой содержащегося в последней строфе, у А. Штейгера в последнем стихе. Но есть и отличия. В стихотворении А. Ахматовой любовь предстает поэтическим вымыслом, у А. Штейгера — обоюдным притворством и ложью, чем вызвано различие в болезненных переживаниях лирических героев. У А. Ахматовой сюжетный поворот строится на перифразе пушкинского «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», что подтверждается итоговым самоопределением лирической героини: «И с тех пор все как будто больна», подчеркивающим ее ощущение отпадения от гармонии бытия. У А. Штейгера иначе: это скорее установка на демифологизацию, отсюда акцент на болезненности открытия всеобщей согласной лжи, создающей иллюзию счастья, прикрывающего основу этого чувства — страдание:

Так от века уже повелось,
Чтоб одни притворялись и лгали,
А другие им лгать помогали,
(Беспощадно все видя насквозь) –
И все вместе любовью звалось...

[Штейгер, с. 39]

Этот мотив согласия с ложью ради умолчания о боли и горе как основной характеристике взросления является сквозным в поэтической книге и обнаруживается в основе таких стихотворений, как «Мимолетные встречи — всегда на виду...», «Конечно, счастье только в малом...», «Мы верим книгам,

музыке, стихам...», «Не получая писем, сколько раз...», «Бедность легко узнают по заплатке...» и др. Так, в последнем из перечисленных мотив обоюдно осознаваемой лжи, которая необходима не для того, чтобы обмануть (никто не обманывается), а чтобы оправдать умолчание о горе и создать удобную для собеседников видимость благополучия:

Бедность легко узнают по заплатке.
Годы — по губ опустившейся складке.
Горе?
но здесь начинаются прятки —
Это любимая взрослых игра.

— «Всё, разумеется, в полном порядке».

У собеседника — с плеч гора.

[Штейгер, с. 43]

Примечательна строфика стихотворения, благодаря которой и интонационно, и графически акцентирована реплика, формально приписанная лирическому я. Но, по сути, благодаря обобщающему образу «игры взрослых», она принадлежит каждому собеседнику в смене речевых ролей «вопрошающий — отвечающий», выступая неписаным правилом взрослого общения. Два моностиха, составляющих две заключительные строфы, усиливают непреложность и единство их соблюдения, иронически обеспечивающие духовную разобщенность людей в этом мире. В таком контексте искренность становится прерогативой детей и поэтов, одни еще не научились взрослой игре, другие, в силу своей отмеченности словом, не способны с нею примириться, поэтому и те, и другие остро ощущают свое сиротство в этом мире, но в то же время не смиряются с ним, отдаваясь отчаянию взрослых, а противопоставляют ему надежду на чудо.

Так, в открывающем книгу стихотворении «Бывает чудо, но бывает раз...» обозначен своего рода компромисс между этими двумя мирами — чудо не противопоставлено формуле, вынесенной в заглавие поэтического сборника «2 × 2 = 4», но вписывается в нее как метафизическая закономерность, проявляющаяся в безжалостной к человеку физической реальности как возможность искренности переживания всего, что облечено словом. Отсюда и пуантировка лирического сюжета обратного типа: не от надежды — к отчаянию, а наоборот, например, в стихотворении «Не эпилог, но все идет к концу...»: «...а если вариант: с ума сводящий жест — / Объятье грубоватое за шею» [Там же, с. 41]. Однако этот поворот лирического сюжета выглядит своего рода чудом, вписывающимся в поэтическую формулу, с которой начинается книга стихов: «Бывает чудо, но бывает раз...» [Там же, с. 21]. И так как чудо обретения любви уже состоялось, то желанный поворот в развитии событий выглядит безнадежной мечтой.

Следует отметить, что такой смысловой эффект достигается не только посредством композиции всей книги и стихотворения, но и благодаря одному

из характерных для А. Ахматовой поэтических приемов изображения чувства в жесте. Так, в том же стихотворении невозможность реализации мечты лирического «я» о взаимности обозначена в первой строфе мимическим выражением: «Мы встретимся. Я очень побледнею. / По твоему надменному лицу / Мелькнет досада на мою “затею”» [Штейгер, с. 41]. Побледневшее от надежды и страсти лицо лирического героя противопоставлено надменному выражению лица собеседника. При этом желание не обидеть влюбленного, но в то же время неспособность разделить его чувства даны именно в мимическом мгновенном движении, отражающем подлинное переживание — досаду и раздражение, которые усиливаются и в приписываемой в воображении лирического героя встречной реплике: «Что за охота к перемене мест?» [Там же]. Такое сочетание выразительного жеста и обычной реплики, в которой поверх привычного житейского смысла угадывается сильное выражение чувства, можно встретить в самых первых узнаваемых стихотворениях А. Ахматовой («Сжала руки под темной вуалью...», «Песня последней встречи», «У меня есть улыбка одна...» и др.). Следует отметить, что сходство лирических систем А. Ахматовой и А. Штейгера обнаруживается, в первую очередь, на уровне авторского стиля, в то время как на уровне тематики близость проявляется лишь в развитии любовной темы. Возможно, это объясняется не только разницей духовного опыта авторов, но и тем, что за образец бралось раннее творчество А. Ахматовой.

В определенном смысле подобным образом усвоение поэтического опыта А. Ахматовой происходит и у других представителей «парижской ноты». Хотя, например, в поэзии Л. Червинской помимо темы любви можно обнаружить развитие темы совести во взаимосвязи с творчеством, что типологически сближает характерный для нее мотивно-тематический комплекс с функционированием образа Музы-совести в творчестве Ахматовой 1930–1960-х гг. В этой связи примечательно, что один из представителей «парижской ноты» Б. Закович посвятил стихотворение «С любителями слов “о добром и о вечном”...» Л. Червинской, подчеркнув тем самым характерный для нее акцент на нравственной проблематике.

Если выделять ключевые узнаваемые ахматовские приемы, усвоенные поэтами «парижской ноты», то особенно распространено обращение к пуанту в развитии лирического сюжета («Зима, зима... Рождественские дни...» Б. Заковича, «Ну что мне в том, что ветряная мельница...» Ю. Мандельштама, «Если Вы не всегда без печали...», «Все-таки мы не об этом тоскуем...», «От пустоты, парижской пустоты...», «Одно осталось: удивленье...» Л. Червинской, «То, что было утешением...» И. Чиннова и др.), а также разработка поэтики выразительного жеста в его организации. Последовательное применение этих приемов коренилось в пристальном внимании к индивидуальной жизни души, интимизации лирически изображенного мира, что приводило к усилению психологизации внешне аскетичных, как того требовал Г. Адамович, средств поэтической выразительности.

Источники

Адамович Г. В. Анна Ахматова // Адамович Г. В. Одиночество и свобода / сост., авт. предисл. и примеч. В. Крейд. М. : Республика, 1996. С. 297–300.

Адамович Г. В. Литературные заметки. Лидия Червинская «Рассветы». Стихи. 1937. — Монахиня Мария. Стихи. «Петрополис». 1937 // Последние новости. 1937. 17 июня. № 5927. С. 3.

Адамович Г. В. Большой поэт и большой человек // Адамович Г. В. О книгах и авторах. Заметки из литературного дневника. Париж : [б. и.], 1967. С. 12–14.

В Россию ветром строчки занесет...: Поэты «парижской ноты» / сост., предисл., примеч. В. Крейда. М. : Молодая гвардия, 2003.

Иваск Ю. О послевоенной эмигрантской поэзии // Новый журн. 1950. № 23. С. 195–214.

Иваск Ю. Лидия Червинская. Двенадцать месяцев. Рифма. Париж. 1956, стр. 87 // Опыты. 1957. Кн. 8. С. 136–139.

Мочульский К. В. Поэтическое творчество Анны Ахматовой // Мочульский К. В. Кризис воображения. Статьи. Эссе. Портреты. Томск : Водолей, 1999. С. 68–87.

Терапиано Ю. О новых книгах стихов // Круг : альманах. Кн. 2. Берлин : Парабола, 1937. С. 160–173.

Терапиано Ю. О зарубежной поэзии 1920–1960 годов // Муза диаспоры. Избранные стихи зарубежных поэтов 1920–1960 / под ред. Ю. Терапиано. Frankfurt am Main : Посев, 1960. С. 7–25.

Ходасевич В. Ф. «Рассветы» // Ходасевич В. Ф. Собр. соч. : в 4 т. Т. 2 : Записная книжка. Статьи о русской поэзии. Литературная критика 1922–1939. М. : Согласие, 1996. С. 396–401.

Штейгер А. 2 × 2 = 4. Стихи 1926–1939 / библиогр. заметка А. Головиной ; предисл. проф. Ю. Иваска. New York : Russica, 1982.

Исследования

Барковская Н. В. Литература русского зарубежья (Первая волна) : учеб. пособие. Екатеринбург : АМБ, 2001.

Жирмунский В. М. Преодолевшие символизм // Жирмунский В. М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л. : Наука, 1977. С. 106–133.

Зобнин Ю. В. Поэзия белой эмиграции: «незамеченное поколение». СПб. : СПбГУП, 2010.

Ильинский О. Творческий облик Анны Ахматовой // Новый журн. 2006. Кн. 242. С. 220–226.

Кихней Л. Г. Акмеизм: Миропонимание и поэтика. М. : Планета, 2004.

Коростелев О. А. «Парижская нота» и противостояние молодежных поэтических школ русской литературной эмиграции // Литературовед. журн. 2008. № 22. С. 3–50.

Ратников К. В. «Парижская нота» в поэзии русского зарубежья. Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 1998.

Соколова В. А. Мотивы лирики И. Анненского и А. Ахматовой в творчестве Ирины Кнорринг (разветвленность поэтической родословной) // Вестн. Новг. гос. ун-та им. Ярослава Мудрого. 2010. № 56. С. 62–66.

Федякин С. Р. Послесловие к «парижской ноте» // Литературовед. журн. 2008. № 22. С. 112–122.

Хадынская А. А. Акмеистические традиции в лирике А. Штейгера. DOI 10.15826/izv2.2016.18.4.064 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2016. Т. 18. № 4 (157). С. 38–54.

Хадынская А. А. Эмигрантская лира русского Парижа: Поэзия «парижской ноты» в историко-культурном контексте // Литература в школе. 2018. № 8. С. 13–17.

Хазан В. Из наблюдений над эмигрантской поэтикой // Литературовед. журн. 2008. № 22. С. 123–146.

Эйхенбаум Б. М. Анна Ахматова. Опыт анализа // Эйхенбаум Б. М. О прозе. О поэзии : сб. ст. Л. : Худож. лит. : Ленингр. отд-ние, 1986. С. 374–439.

References

Barkovskaya, N. V. (2001). *Literatura russkogo zarubezh'ja (Pervaja volna): uchebnoe posobie* [Russian Foreign Literature (The First Wave): Handbook]. Yekaterinburg: AMB. (In Russian)

Eikhenbaum, B. M. (1986). Anna Ahmatova. Opyt analiza [Anna Akhmatova. Analysis Experience]. In B. M. Eikhenbaum, *O proze. O pojezii: sbornik statej* [About Prose. About Poetry. A Collection of Articles] (pp. 374–439). Leningrad: Hudozhestvennaya literatura: Leningradskoe otdelenie. (In Russian)

Fedyakin, S. R. (2008). Poslesloviye k "parizhskoi note" [Afterword for the Paris Note]. *Literaturovedcheskiy zhurnal, 22*, 112–122. (In Russian)

Il'insky, O. (2006). Tvorcheskij oblik Anny Ahmatovoj [The Creative Image of Anna Akhmatova]. *Novyj zhurnal*, 242, 220–226. (In Russian)

Khadynskaya, A. A. (2016). Akmeisticheskie tradicii v lirike A. Shtejgera [Acmeistic Traditions in the Lyrical Poetry of A. Steiger]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 18,* 4 (157), 38–54. doi: 10.15826/izv2.2016.18.4.064 (In Russian)

Khadynskaya, A. A. (2018). Emigrantskaja lira russkogo Parizha: Pojezija "parizhskoj noty" v istoriko-kul'turnom kontekste [The Émigré Lyra of Russian Paris: The Poetry of the Paris Note in a Historical and Cultural Context]. *Literatura v shkole,* 8, 13–17. (In Russian)

Khazan, V. (2008). Iz nabliudenij nad emigrantskoj poetikoj [From Observations of Émigré Poetics]. *Literaturovedcheskiy zhurnal*, *22*, 123–146. (In Russian)

Kihnej, L. G. (2004). *Akmeizm: Miroponimanie i pojetika* [Acmeism: Worldview and Poetics]. Moscow: Planeta. (In Russian)

Korostelev, O. A. (2008). "Parizhskaya nota" i protivostoyaniye molodezhnykh poeticheskikh shkol russkoy literaturnoy emigratsii [The Paris Note and the Opposition of Youth Poetic Schools of Russian Literary Emigration]. *Literaturovedcheskiy zhurnal, 22*, 3–50. (In Russian)

Ratnikov, K. V. (1998). *"Parizhskaja nota" v pojezii russkogo zarubezh'ja* [The Paris Note in the Poetry of Russian Abroad]. Chelyabinsk: Chelyabinsk State University. (In Russian)

Sokolova, V. A. (2010). Motivy liriki I. Annenskogo i A. Ahmatovoj v tvorchestve Iriny Knorring (razvetvlennost' pojeticheskoj rodoslovnoj) [Motifs in the Lyrical Poetry of Annensky and Akhmatova in the Works of Irina Knorring (Vast Genealogy)]. *Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. Jaroslava Mudrogo, 56*, 62–66. (In Russian)

Zhirmunsky, V. M. (1977). Preodolevshie simvolizm [The Ones Who Have Overcome Symbolism]. In V. M. Zhirmunsky, *Teorija literatury. Pojetika. Stilistika* [Theory of Literature. Poetics. Stylistics] (pp. 106–133). Leningrad: Nauka. (In Russian)

Zobnin, Yu. V. (2010). *Poeziya beloy emigratsii: "nezamechennoye pokolenie"* [The Poetry of White Emigration: "Unnoticed Generation"]. St Petersburg: SPbGUP. (In Russian)

Налегач Наталья Валерьевна
доктор филологических наук, профессор
кафедры журналистики и русской
литературы XX века
Кемеровский государственный университет
650000, Кемерово, ул. Красная, 6
E-mail: nalegach@list.ru

Nalegach, Natalia Valerievna
Dr. Hab. (Philology), Professor
Department of Journalism and the Russian
Literature of the 20th Century
Kemerovo State University
6, Krasnaya Str., 650042 Kemerovo, Russia
Email: nalegach@list.ru

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.045
УДК 82-94 + 82(091) + 82.091

И. В. Ерохина
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Тула, Россия

ПРОБЛЕМА НЕДОСТОВЕРНЫХ МЕМУАРОВ: СЛУЧАЙ АХМАТОВОЙ

В статье рассматривается одна из ключевых проблем рецепции мемуарного текста, связанная с противоречием, заложенным в самой специфике жанра. Лидия Гинзбург обозначила его как соединение двух противонаправленных принципов: обязательной «установки на подлинность», с одной стороны, и субъективности как «фермента “недостоверности”» — с другой. Мемуар, будучи по существу правдивым свидетельством, не является дистиллированным документом, очищенным от разного рода непреднамеренных искажений, связанных с неполнотой знания мемуариста, его заблуждениями или личной интерпретацией излагаемых фактов. Различая вслед за В. Тюпой понятия дискурса и жанра, на примере реакции Ахматовой на два мемуарных текста и работу с ними исследователей, мы показываем следующее: 1) характеристику «достоверный / недостоверный» мемуарный текст приобретает только в пространстве коммуникативного события, т. е. в дискурсе; 2) работая с заведомо недостоверным свидетельством, Ахматова применила логику Ю. Лотмана, согласно которой ключевым в работе с источником является не его правдивость или недостоверность, а правильно установленное «соответствие между типом источника и методикой его обработки». В первом случае Ахматова выступила как критик авторов своей биографии, использовавших книгу Г. Иванова «Петербургские зимы» в качестве достоверного исторического источника и исказивших важнейший факт ее творческого пути. Во втором — доказала, что воспоминания князя Трубецкого об отношениях Пушкина и Александрины Гончаровой «из маразматического бормотания», отвергнутого П. Щеголевым как ложь, «превращаются в документ первостатейной важности: это единственная и настоящая запись версии самого Дантеса».

К л ю ч е в ы е с л о в а: мемуары; жанр; дискурс; недостоверность; Георгий Иванов; Петербургские зимы; Страховский; Щеголев; Трубецкой; Пушкин.

Ц и т и р о в а н и е: *Ерохина И. В.* Проблема недостоверных мемуаров: случай Ахматовой. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.045 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 36–50.

Поступила в редакцию 16.05.2019
Принята к печати 21.06.2019

© Ерохина И. В., 2019

CC BY-NC

Irina V. Erokhina
Tula State Leo Tolstoy Pedagogical University
Tula, Russia

THE PROBLEM OF INAUTHENTIC MEMOIRS: AKHMATOVA'S CASE

This article considers one of the key issues in the reception of memoirs, i.e. the contradiction embedded in the specific character of the genre. Lidiya Ginzburg defined it as an interconnection of two counter-directed principles: the mandatory "strife for authenticity" on the one hand, and subjectivity as an "'inauthenticity' catalyst" on the other. Being a truthful testimony, a memoir is not a distilled document, purified from different unpremeditated distortions, caused by the incomplete knowledge of the memorialist, their delusions or personal interpretation of stated facts. Agreeing with V. Tyupa's differentiation between discourse and genre, the author analyses Akhmatova's reaction to two memoirs and the way scholars treated them and demonstrates the following: 1) a memoir can be regarded as authentic / inauthentic only within a communicative event, i.e. discourse; 2) working with an admittedly inauthentic testimony, Akhmatova applied Lotman's logic. According to this logic, the key factor in working with a source is neither its authenticity, nor its inauthenticity, but the rightfully stated "correlation between the type of the source and the methodology of its analysis". In the first case, Akhmatova became a critic of the authors of her biography, who used the book *Petersburg Winters* by G. Ivanov as a reliable historical source and thus disfigured the corner stone of her creative development. In the second case, she proved that the memoirs of Prince Trubetskoy about the relationship between Pushkin and Aleksandra Goncharova turned from "delirious mumbling" rejected by P. Shchegolev as falsehood into "a document of paramount importance as the only and true story told by d'Anthès himself".

K e y w o r d s: memoirs; genre; discourse; inauthenticity; Georgy Ivanov; *Petersburg Winters*; Strakhovsky; Shchegolev; Trubetskoy; Pushkin.

C i t a t i o n: Erokhina, I. V. (2019). Problema nedostovernykh memuarov: sluchai Akhmatovoi [The Problem of Inauthentic Memoirs: Akhmatova's Case]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 36–50. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.045

Submitted on 16 May, 2019
Accepted on 21 June, 2019

Попытки теоретического осмысления феномена мемуарного текста предпринимались филологами не раз. Но и сегодня мы можем согласиться с Ахматовой — мемуары «какой-то непроявленный жанр». До сих пор в этой области интересов литературоведения больше вопросов, чем ответов. Это относится и к базовому конститутивному признаку мемуаров — «установке на подлинность» [Гинзбург, с. 10]. В предполагаемом введении к своей будущей автобиографической книге А. Ахматова со свойственной ей категоричностью писала: «Что же касается мемуаров вообще, я предупреждаю читателя: 20 % мемуаров

так или иначе фальшивки» [Записные книжки, с. 555]. Это знаменитое утверждение в силу грамматической специфики слова «мемуары», принадлежащего к разряду *pluralia tantum*, может быть истолковано двояко: 1) пятая часть всего корпуса мемуарных текстов не является достоверной (из чего следует излишне оптимистичный вывод: остальным 80 % можно доверять); и 2) пятая часть любого, даже самого добросовестного в отношении фактов мемуарного текста неизбежно содержит недостоверную информацию. Ахматовское уточнение «так или иначе» предполагает довольно широкий диапазон этиологии и типологии «ошибок» автора-свидетеля, ставящих под сомнение базовый принцип мемуарного дискурса — документальность. Действительно, если задаться вопросом о том, могут ли тексты лгать[1], то группу риска потенциальных «фальшивок» возглавят именно мемуары. Это связано с тем, что высказывания, открыто заявляющие о своей фикциональности принадлежностью к какому-либо из традиционных жанров литературы, оказываются вне пределов применения критерия «достоверное / недостоверное». «Фикциональное высказывание, как не раз повторяли философы вслед за Фреге, не является ни истинным, ни ложным (но лишь возможным, как сказал бы Аристотель), либо же является и истинным, и ложным одновременно: оно лежит по ту сторону истинного и ложного, или же не достигает их различия» [Женетт, с. 477]. Тогда как мемуарный текст, претендуя на фактуальность и нефикциональность, изначально содержит «некий фермент “недостоверности”», который «заложен в самом существе жанра» [Гинзбург, с. 9].

Задача нашей статьи — доказать, что текст-воспоминание приобретает характеристику «достоверный» или «недостоверный» исключительно в пространстве мемуарного дискурса, поскольку категория достоверности релевантна только в рамках коммуникативного события. Она вообще является категорией дискурса, а не текста.

В связи с этим следует сделать важное методологическое уточнение: что есть дискурс, что есть жанр, что есть конкретный текст определенного жанра и текст определенного жанра в рамках определенного дискурса. Вслед за В. Тюпой мы будем различать дискурс как «единичное (монотекстовое) коммуникативное событие, обладающее инвариантной жанровой структурой текстопорождения» (дискурс I), дискурс как «интертекстуальное коммуникативное пространство, как правило, разножанровое», полевую структуру, ограниченную «регулятивными границами социокультурных практик» (дискурс II), и жанр как «теоретический конструкт», «инвариант одноименного дискурса» [Тюпа]. Важным для нас является следующий из этого различения вывод исследователя:

> Отказывая тексту в его художественности или научности, философичности или сакральности, мы его аннулируем в качестве дискурса: негодный текст, не реализующий свою специфическую интенциональность, не несет в себе коммуникативного

[1] Тема «Могут ли тексты лгать? К проблеме работы с недостоверными источниками» обсуждалась на Четвертых Лотмановских днях в Таллиннском университете в 2012 г.

события (события индивидуальных ментальностей). Однако даже конвенционально негодный (в рамках актуальной для него культурной парадигмы) текст неизбежно обладает некоторой жанровой определенностью. Наиболее существенно то, что оба ряда размежевывающих характеристик, как правило, приложимы, хотя и в различных пропорциях, к *одному и тому же тексту* [Тюпа].

Изначальная конвенция между автором мемуаров и читателем такова: то, о чем я здесь вспоминаю, — правда. Поэтому признавая мемуарный текст недостоверным, читатель тем самым оценивает его как выпадающий из границ договора. Соответственно, те «эффекты», о которых будет идти речь далее, есть эффекты дискурса, а не жанра, при том что их возникновение предопределено его (жанра) конститутивными чертами.

Мы рассмотрим два примера реакции Ахматовой на недостоверные мемуары и их использование в качестве документального свидетельства в научной литературе.

Ахматова *vs* Страховский

В одной из записных книжек Ахматовой находим:

> Чувство, с кот<орым> я прочитала цитату из «Пет<ербургских> зим», относящуюся к моим выступлениям («Дом лит<ераторов>») 1921 г., можно сравнить только с последней главой «Процесса» Кафки, когда героя просто ведут на убой у всех на глазах и все находят это в порядке вещей. В этой цитате нет ни слова правды — стихотворение
>
> Все расхищено, предано, продано,
> Черной смерти мелькало крыло,
> Все последней голодной тоскою изглодано...
>
> автор изображает образцом продажной лирики и примером того, как я исписалась. Слушатели якобы «по привычке хлопали». По привычке никто не хлопает, или хлопают дверьми, уходя.
>
> Люди до сих пор с волнением вспоминают эти вечера и пишут мне о них. А вот Георгий Иванов и Оцуп уже в то время были чрезвычайно заняты всяческой дискредитацией моих стихов. Они знали некоторые подробности моей биографии и думали, что мое место пусто, и решили передать его И. Одоевцевой [Записные книжки, с. 145–146].

Для тех, кто знает фрагмент «Петербургских зим», из которого взята цитата, ахматовское обвинение Г. Иванова в намерении «дискредитировать» ее стихи может показаться абсурдным. Весь упомянутый эпизод строится на противопоставлении подлинного величия поэта, «с каждым годом головой перерастающего самое себя», и слушателей, ждавших от него «новых перчаток»: «Все курсистки России, выдавшие ей “мандат” быть властительницей их душ, — обмануты» [Иванов, т. 3, с. 647–648]. Причины гневных филиппик в адрес «Петербургских зим» исследователи склонны видеть прежде всего в предвзятом отношении Ахматовой к их автору (о ее нелюбви к Георгию Иванову известно, например, по дневникам П. Лукницкого и запискам Л. Чуковской), а также в стремлении контролировать

реконструкцию собственной биографии в соответствии не столько с подлинными фактами, сколько с собственной концепцией. Не отрицая возможного присутствия этих причин, стоит все же задаться несколькими вопросами и расширить область поиска объяснений.

Во-первых, почему Ахматова поставила себе целью дезавуировать «смрадные мемуарии» Иванова, публиковавшиеся в 1920-е гг., только через тридцать лет (например, М. Цветаева и И. Северянин свои отповеди написали по горячим следам)? Чем объяснить ее, на первый взгляд, параноидальную (в терминах У. Эко) интерпретацию фрагмента из книги Иванова, который иначе как панегирик истолковать, казалось бы, невозможно?

Думается, внутренняя логика этой истории следующая. Литературные достоинства «Петербургских зим» никогда не подвергались сомнению. Упреки критики всегда сводились к одному — факты, излагаемые Г. Ивановым, во многом недостоверны. Но, как уже было сказано, критерий достоверности может быть применен только в рамках мемуарного дискурса. Цитируя отзывы современников Г. Иванова, для которых было очевидно, что в «Петербургских зимах» «много “романсировано”, или, говоря попросту, наврано» (Ю. Иваск), исследователь В. Крейд высказывает сомнение:

> В какой мере эти и подобные упреки состоятельны и справедливы? Прислушаемся к свидетельству Одоевцевой, в чьем присутствии создавалась эта книга: «Я считаю, что она восхитительно передает общую атмосферу того времени, не очень считаясь с реальностью. Это произведение творческое, литературное и на точность оно не претендует, по-моему, его вообще неверно относят к мемуарам». <...> Дружественно настроенному к нему Владимиру Маркову он [Г. Иванов] нечто подобное сообщал...: «Я вот никогда не ручался, пишу то да се за чистую правду. Ну и привру для красоты слога или напутаю чего-нибудь» [Крейд].

Да и в самой книге автор, казалось бы, вполне определенно снимает с себя ответственность за документальную правдивость рассказанного: «Есть воспоминания как сны. Есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем “так недавно и так давно”, никогда не знаешь — где воспоминания, где сны» [Иванов, т. 3, с. 118].

Стремясь выразить двойственную природу текстов Иванова, Крейд называет их «беллетризированными мемуарами». По сути, это определение призвано не столько обозначить жанровую модель (пусть и окказиональную), сколько указать на дискурс, в границах которого противоречие между нефикциональностью ономастики и полуфикциональностью сюжетики «Петербургских зим» может быть снято. Беллетризированность (вымышленность) и мемуарность (документальность) не конфликтуют только в дискурсе фикциональной литературы, где «фактическая достоверность изображаемого <...> становится эстетически безразличной» [Гинзбург, с. 9], при этом всё, что заимствуется из действительности, «превращается в элемент вымысла» и «не выводит к какой бы то ни было внетекстуальной реальности» [Женетт, с. 484]. Тогда как в мемуарном дискурсе

тексты, в которых сознательный вымысел как эстетический прием конкурирует с документальностью, отторгаются или переводятся в разряд «конвенционально негодных».

Итак, беллетристичность очерков Иванова была разоблачена критикой с самого начала. И Ахматова имела все основания быть уверенной, что использование их в качестве документального источника попросту невозможно. Примечательно в этой связи свидетельство П. Лукницкого о разговоре Ахматовой с Чулковым, в котором речь шла о недобросовестности некого Альтмана, записывавшего свои беседы с Вяч. Ивановым и вопреки воле последнего намеревающегося свои записки издать.

> АА передала мне этот разговор как пример недостойного человека и заметила, что у Альтмана все искажено и поэтому его записи все равно цены не имеют. Что он искажал намеренно — есть такие люди, способные на это; второй пример этому — Г. Иванов [Лукницкий].

Это может объяснять, почему у Ахматовой вплоть до конца 1950-х гг. не возникало необходимости «дезавуировать» книгу Г. Иванова. До этого времени она, вероятно, была убеждена в том, что «Петербургские зимы» не могут быть серьезно признаны в качестве «документа эпохи». Реакция Ахматовой — это реакция не на текст, а на его переход из дискурса беллетристики в дискурс мемуаристики.

Это доказывает изменение тона ахматовских реплик в записных книжках. В примечании 1958 г. к заметке «О. М<андельштам>» ее критика была направлена прежде всего на непрофессионализм Л. Страховского:

> Если хотите, я подробно опишу, как это сделано в данном случае. У Шацкого[2] под рукой две книги достаточно «пикантных» мемуаров — Г. Иванов и Эренбург. ...в сборнике «Стихотворения» (1928) находится *последнее* по времени стих<отворение> М<андельшта>ма «Музыка на вокзале». Оно объявляется вообще последним произведением поэта. Дата смерти устанавливается произвольно — 1945 г. (на семь лет позже действительной смерти). <...> То, что в ряде журналов и газет до самого его ареста (май 1934) печатались Стихи М<андельшта>ма (хотя бы великолепный цикл «Армения» в «Новом мире»), Шацкого нисколько не интересует. Он объявляет, что на стих<отворении> «Музыка на вокзале» Мандельштам кончился, стал жалким переводчиком (М<андельштам> почти ничего не переводил), бродил по кабакам и т. д. (Это уже, вероятно, словесная информация Георгия Иванова), и вместо трагической фигуры [замечательного] редкостного поэта, который и в годы ссылки в Воронеже продолжал писать вещи неизреченной красоты и мощи, мы имеем «городского сумасшедшего», проходимца, опустившееся существо. И это в книге, вышедшей под эгидой лучшего и т. д. университета Америки (Гарвардского) [Записные книжки, с. 18].

[2] Ахматова имеет в виду Л. Страховского, чей псевдоним «Л. Чацкий», писавшийся латиницей, она транслитерировала по-своему.

Итак, сославшись на текст «Петербургских зим» как на мемуарный документ, Страховский наделил его фактуальностью. Судя по саркастическому замечанию «Это уже, вероятно, словесная информация Георгия Иванова», Ахматова прекрасно помнила о давних (еще с 1910-х гг.) приятельских отношениях Страховского и Иванова и этим объясняла излишнюю доверчивость и некритический подход Страховского к выбору источников. Одновременно она таким образом высказала, пока лишь косвенно, и обвинение в адрес Г. Иванова, поскольку как художник он мог позволить себе свободную трансформацию жизненного материала, но, сознавая ответственность, должен был бы предостеречь Страховского от транспонирования своей книги в мемуарный, а затем и в научный историко-литературный дискурс. В соседстве с гораздо более явными ошибками (например, неверным указанием даты смерти Мандельштама) ссылка на «беллетризированные мемуары» Г. Иванова представлялась Ахматовой только одним из проявлений недобросовестности Страховского как исследователя и научной несостоятельности его работы. Вот, вероятно, почему цитата из «Петербургских зим» о ее выступлениях в Доме литераторов, использованная в той же книге «Craftsmen of the Word. Three Poets of Modern Russia: Gumilyov, Akhmatova, Mandelstam» (1949), осталась до времени как будто не замечена ею.

Но уже через три года интонация Ахматовой приобретает предельную жесткость:

> ...настало время до конца разоблачить эти смрадные «мемуары» Г. Иванова, а не писать о них с явным сочувствием, как это делает синьор Ло Гатто в только что вышедшей книге. Вероятно, он поступает так, потому что нет ничего другого. Но, по моему мнению, лучше ничто, чем заведомая ложь [Записные книжки, с. 146];
>
> Вот такой упрек можно сделать даже самому пристойному из них — Штаммлеру. Он указывает как литературу о нас книгу Страховского, очевидно, еще не разоблаченную [Там же, с. 147];
>
> Глеб Струве непонятно мягко пишет о «Зимах». Это — вреднейшая книга [Там же, с. 263];
>
> 4) Страховский — просто самозванец. 5) Г. Иванов должен быть дезавуирован как оболгавший всю эпоху, весь «серебряный век», неграмотный и бездельный хулиган [Там же, с. 318].

Не будем, однако, забывать, что процитированные записи взяты из рабочих тетрадей, что объясняет их иногда шокирующую резкость.

Публично Ахматова разыгрывала эту партию гораздо сдержаннее. В воспоминаниях о Мандельштаме, изданных в 1965 г. в альманахе «Воздушные пути», примечательно отредактирован процитированный выше черновой вариант 1958 г., где впервые появилась критика Л. Страховского и Г. Иванова. Ахматова добавляет:

> Все, что писал в своих бульварных мемуарах «Петербургские зимы» Георгий Иванов, который уехал из России в самом начале 20-х годов и зрелого Мандельштама

вовсе не знал, — мелко, пусто и несущественно. Сочинение таких мемуаров дело немудреное. Не надо ни памяти, ни внимания, ни любви, ни чувства эпохи. Все годится и все приемлется с благодарностью невзыскательными потребителями. Хуже, конечно, что это иногда попадает в серьезные литературоведческие труды [Ахматова, 1965, с. 42].

Но радикальная семантическая перестройка произведена во фразе «Это уже, вероятно, словесная информация Георгия Иванова». В публикации 1965 г. она выглядит так: «Это уже, вероятно, устная информация *какого-нибудь парижского* (курсив мой. — *И. Е.*) Георгия Иванова» [Там же, с. 43]. Эпитет «парижский» здесь поддерживает утверждение о неосведомленности мемуариста в «российских делах», а неопределенное местоимение «какой-нибудь» трансформирует имя Георгия Иванова из собственного в нарицательное, делая его номинацией всех, подобных его носителю, лжемемуаристов.

Так что же произошло в начале 1960-х гг.? Что побудило Ахматову начать кампанию по «дезавуированию» Г. Иванова и Л. Страховского?

Дело в том, что фрагмент из «Петербургских зим» стал кочевать из одной научной публикации в другую, превращаясь, по определению самой Ахматовой, в «окаменелую цитату».

Я не стала бы вспоминать об этих делах «давно минувших дней», если бы этой страничке из меморий Г. Иванова так по-особенному не повезло в зарубежной прессе. Она стала для всего мира канвой для моей послереволюционной биографии. Ее перевел и напечатал в своей книге («Гумилев, Ахматова, Мандельштам») Страховский (1949), ее я узнаю в писаниях Харкинса, Di Sarra, Ripellino, а друзья говорят мне: «Охота Вам обращать внимание». Может быть, и не охота, но совет странный. Если я в течение пятидесятилетней литературной деятельности ни разу ни против чего не возражала, это все же что-то значит, и на мое возражение можно бы обратить внимание [Там же, с. 145–146].

Подобное тиражирование окончательно утвердило ивановские «сны» в статусе достоверного мемуарного источника, на свидетельстве которого базировалась становящаяся уже общепринятой концепция творческого пути Ахматовой 1920–1930-х гг. При этом всякий раз так или иначе воспроизводилась версия Л. Страховского о причине многолетнего молчания поэта:

Anno Domini seemed to mark the end of Akhmatova's literary career. She stopped publishing, although she did not stop writing. <...> Years went by, but Akhmatova's "brittle voice" remained silent. And then in 1940 there appeared a collection of her selected lyrics under the title *Iz Shesti Knig* (From Six Books), which included an entire new section entitled *Iva*[3] [Strahovsky, p. 76–77].

[3] «"Anno Domini", казалось, ознаменовал окончание литературной карьеры Ахматовой. Она остановила публикации, но не перестала писать. <...> Годы шли, но "ломкий голос" Ахматовой молчал. Затем в 1940 году появился сборник ее избранной лирики под заглавием "Из шести книг", который включал новый раздел, названный "Ива"».

Согласно такой интерпретации событий, Ахматова сама ушла из публичной литературной жизни, когда почувствовала, что внутренняя связь с читателем утрачена и что читатель глух к ее новому голосу.

Ярким свидетельством укорененности этого взгляда может служить цитата из статьи Бориса Филиппова 1961 г., опубликованной в альманахе «Воздушные пути» вместе со второй редакцией «Поэмы без героя», а потому имевшей для Ахматовой принципиальное значение:

> Это движение от ясности к духовности, от гомофонии к полифонии было воспринято многими не как духовное и творческое возрастание, а как «измена» и «падение». Уже в самом начале двадцатых годов, как свидетельствует Георгий Иванов, большинство неистовых ранее поклонников — и особенно поклонниц — Ахматовой «...было разочаровано: — Ахматова исписалась». <...> Как же должны были усилиться эти осуждающие Ахматову голоса после появления поэмы «Шаг времени» (первая появившаяся в печати редакция триптиха) и «Поэмы без героя»! [Филиппов, с. 168–169].

Итак, ситуацию второй половины 1920-х гг., когда произведения Ахматовой перестали издаваться, Л. Страховский и вслед за ним другие исследователи, основываясь на воспоминаниях Г. Иванова, объясняли в духе романтического конфликта поэта, «с каждым годом головой перерастающим самое себя», и косной публики, которая ждала «новых перчаток с левой руки на правую» и которая была «разочарована»: «Слушатели недоумевали — “большевизм какой-то”. По старой памяти хлопали, но про себя решали: кончено — исписалась» [Иванов, т. 3, с. 647–648]. Ссылаясь на этот эпизод «Петербургских зим» (который Г. Иванов в позднейших изданиях из текста книги изъял), Л. Страховский присвоил статус документального факта субъективному восприятию мемуариста, а причину отсутствия публикаций Ахматовой после издания «Anno Domini» вплоть до 1940 г., когда вышел сборник «Из шести книг», объяснил ее добровольным «молчанием».

Оба эти факта и спровоцировали резкую реакцию Ахматовой. В записной книжке 1961 г. можно найти набросок ее статьи «Ахматова и борьба с ней», в которой она дает свое объяснение: не конфликт с широкой читательской аудиторией, а репрессивно-политические причины лежали в основе вынужденного, а не добровольного отстранения поэта от публичной литературной деятельности.

> Нормальная критика тоже прекратилась в начале 20-ых годов (попытки Осинского и Коллонтай вызвали немедленный резкий отпор), на смену ее пришло нечто, может быть, даже беспрецедентное, но во всяком случае [совершенно] недвусмысленное. Уцелеть при такой прессе по тем временам казалось совершенно невероятным. Понемногу жизнь превратилась в непрерывное ожидание гибели [Записные книжки, с. 139].

Сложная, во многом не столь однозначная, как это представлено и в ахматовских записках, ситуация конфликта Ахматовой с советской литературной критикой и цензурой в 1920–1930-е гг. была подробно рассмотрена в книге

В. Мусатова «“В то время я гостила на земле...” Лирика Анны Ахматовой». Исследователь, с одной стороны, поставил под сомнение утвердившееся в российском ахматоведении конца XX в. представление о том, что Ахматова «подверглась в 20-е годы целенаправленному и систематическому гонению, выразившемуся в запрете ее стихов» [Мусатов, с. 250], и, приведя цитаты из критики тех лет, направленной как против Ахматовой, так и в ее защиту, заметил, что подобные утверждения необходимо признать «по меньшей мере, преувеличенными»: «...в 20-е годы никто всерьез не считал Ахматову политически неприемлемой фигурой» [Там же, с. 255]. С другой стороны, В. Мусатов вспоминает статью Г. Лелевича 1924 г., в которой прямо было сказано о «глубочайшей нутряной антиреволюционности Ахматовой», и историю ахматовского двухтомника, договор на который был подписан в июле того же года, но который так и не был издан даже после обращения к властям К. Федина уже в 1929 г.

В записных книжках Ахматовой есть составленный ею список неизданных или уничтоженных сборников с небольшим предисловием:

> После моих вечеров в Москве (весна 1924) состоялось постановление[4] о прекращении моей лит<ературной> деятельности. Меня перестали печатать в журналах и альманахах, приглашать на лит<ературные> вечера. <...>
>
> Между 1925–1939 меня перестали печатать совершенно. <...> Тогда я впервые присутствовала при своей гражданской смерти. Мне было 35 лет [Записные книжки, с. 28].

Всё это, очевидно, идет вразрез с той версией долгого «молчания» поэта, которая прочно утвердилась после выхода книги Л. Страховского и с которой Ахматова так настойчиво спорила.

Ахматова *vs* Щеголев

Статья «Александрина» отпочковалась примерно в 1961 г. от большой темы «Гибель Пушкина», которой Ахматова начала заниматься еще до войны. В качестве эпиграфа к ней Ахматова предполагала взять следующий текст:

> Из подслушанных разговоров:
> Один: «Как клевета похожа на правду!»
> Второй: «Да. На правду не похожа только сама правда»
> (Подслушала Ахматова)
>
> [Записные книжки, с. 303]

Отправной точкой в работе стали воспоминания князя Трубецкого, в которых утверждается, что причиной дуэли Пушкина и Дантеса была ревность, но ревновал поэт не жену — Наталью Николаевну, а ее сестру — Александру,

[4] «Постановление ЦК», о котором, по воспоминаниям Ахматовой, рассказала ей М. Шагинян, биографами не найдено. Высказывались предположения, что, возможно, имелась в виду знаменитая резолюция 1925 г. «О политике партии в области художественной литературы».

с которой был в предосудительной связи. Мемуары Трубецкого, изданные крошечным тиражом в 10 экземпляров, были полностью воспроизведены и критически осмыслены в книге П. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Позиция Щеголева такова: «...как объяснение дуэли эта история просто никуда не годится. У Трубецкого нет фактов, нет намека на факты. <...> Такое заявление из уст князя Трубецкого — пустой звук» [Щеголев, с. 359]. Однако Щеголев подвергает сомнению только связь между дуэлью и возможным романом Пушкина и Александрины («история с Александриной никакого отношения к дуэли Пушкина с Дантесом не имеет» [Там же]), но не сам факт того, что эти отношения имели место. Далее он задается вопросом: «...откуда же взял князь Трубецкой историю об интимной связи поэта с сестрой жены? Не выдумал же он сам». «Очевидно, в рассказе кн. Трубецкого мы должны искать отражение ходивших в свете слухов» [Там же, с. 360]. Щеголев приводит все имевшиеся в его распоряжении свидетельства «по вопросу об отношениях Пушкина и А. Н. Гончаровой», два из которых он называет «определенными указаниями»: во-первых, это один из рассказов Веры Федоровны Вяземской, записанных Бартеневым и опубликованных в 1888 г., и, во-вторых, воспоминания А. П. Араповой. Щеголев находит психологическое объяснение мотивов Араповой: «Чтобы оправдать поведение Натальи Николаевны, чтобы, так сказать, уравновесить грехи, потребовался рассказ о нарушении Пушкиным всяких супружеских обетов» [Там же, с. 363]. Но вопрос о документальности или легендарности самого факта «преступной связи» им опять никак не решается. Еще ряд цитат из писем и воспоминаний современников дает представление об устойчивости ходивших в свете слухов, при этом оставленные без комментария, они скорее свидетельствуют против Пушкина.

Ахматовский упрек Щеголеву состоял в том, что он, по ее мнению, не проявил решительности в критическом подходе ко всем этим свидетельствам: «Мы знаем, как враги Пушкина цеплялись за эту версию. <...> Легковерно принял версию и Щеголев» [Записные книжки, с. 415].

Повторенная многими мемуаристами история о преступной связи Пушкина и Александрины обрела черты правдоподобия, и для опровержения ее Ахматова находит единственно возможный способ — выявить первоисточник (настоящего автора), причины и цель создания лжесвидетельства и обнажить механизм его распространения и тиражирования.

«Отправной точкой» этой истории, по мнению Ахматовой, было намерение Геккерна дискредитировать дом Пушкиных, возникшее после резкого отказа Пушкина иметь какие-либо отношения с семьей Дантеса и Екатерины Гончаровой («по тогдашним нравам это был скандал невероятный» [Ахматова, 1989, с. 136]). Однако распространителем этой лжи стал не сам ее создатель («Это было бы наивно и облегчило бы слушателям найти концы» [Там же, с. 136–137]). Для этого, как считает Ахматова, была выбрана Софья Карамзина, «находящаяся под очевидным и непрерывным влиянием Дантеса». Доказательством этого служит отрывок из письма Карамзиной от 27 января 1837 г.: «...Александрина

по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который сериозно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то своячницу — по чувству» [Ахматова, 1989, с. 137].

Но от кого Карамзина это узнала, кто был первоисточником «информации»? Ахматова уверена — тот же, кто был источником и для Идалии Полетики, которая через полвека «напомнила» Трубецкому «истинные» причины дуэли Пушкина.

> Эта чудовищная нелепость, так возмутившая Щеголева, — несомненно, версия Дантеса.
>
> <...> Это он внушил С<офье> Н<иколаевне> и Трубецкому версию романа Пушкина с Александриной. Кроме его голоса, нет ничего в мемориях Трубецкого [Там же, с. 139–140].

Ахматова также приводит серьезный довод и в подтверждение того, что тиражирование этой «легенды» — явление уже более позднего времени: скандальность ситуации (если бы она существовала на самом деле) не позволила бы Александрине в 1839 г. стать фрейлиной.

Итак, Ахматова не только не «аннулирует» записки Трубецкого как несоответствующие мемуарному дискурсу, но использует их как документ, доказывающий, что слухи о связи Пушкина со своячницей были заведомой ложью, целью которой была дискредитация поэта и его семьи, и, что гораздо важнее, разоблачающий сам механизм создания и распространения этой клеветы. Как исследователь, имеющий в своем распоряжении заведомо недостоверный источник, она следует той логике, которую позже сформулирует Ю. М. Лотман:

> ...само понятие «достоверности» обладает известной относительностью. <...> дело сводится к соответствию между типом источника и методикой его обработки. При наличии методов дешифровки заведомая фальшивка может быть источником ценных сведений [Лотман, с. 325].

П. Щеголев отверг воспоминания Трубецкого, справедливо расценивая их как сомнительные и потому неинформативные, не дающие никакой правдивой информации. Ахматова же доказывает обратное:

> Щеголев недооценил мемуары Трубецкого. <...> Все, что диктует Трубецкой в Павловске на даче, — голос Дантеса, подкрепленный одесскими воспоминаниями Полетики. <...> Таким образом, воспоминания Трубецкого из маразматического бормотания, которое так возмущало Щеголева, превращаются в документ первостатейной важности: это единственная и настоящая запись версии самого Дантеса [Ахматова, 1989, с. 141].

Чем эти два случая интересны для нас? И в первом, и во втором — в фокусе рецепции Ахматовой оказываются мемуары, которые она оценивает как недостоверные. Но если воспоминания Г. Иванова как свидетельство отвергаются ею категорически, то записки князя Трубецкого признаются документом «первостатейной важности». Почему?

Здесь следует задаться вопросом о самом характере фикциональности («ферменте “недостоверности”»), имеющей место в каждом из текстов. Принципиально важным в поле мемуарного дискурса является изначальная позиция автора по отношению к воссоздаваемой им исторической реальности, а именно — запрет на сознательное привнесение вымысла. Как справедливо указал А. Тартаковский, наличие «даже элементов вымысла настолько “видоизменяет” мемуарный жанр, что разрушает его в самых фундаментальных основаниях» [Тартаковский, с. 44], переводит текст в разряд других литературных жанров, которые лишь имитируют его форму. Допуская субъективность как свою конститутивную черту, ошибки памяти или заблуждения рассказчика, ограниченность его знания и понимания событий, мемуарный дискурс признает «конвенционально негодным» только текст с установкой автора на *fictio*, на нерелевантность границ между документальным и вымышленным.

Примером подобного текста и являются воспоминания-сны Г. Иванова. В статье, посвященной сборнику «Китайские тени», Н. Грякалова доказывает, что его автор «отдает предпочтение модернистской стратегии противоречивой манипуляции с образом реальности, распространяя ее на жанр, традиционно претендовавший на документальность, — мемуарный. <...> ...это колеблет дистанцию между фактом и фикцией, вымыслом и реальностью, создавая иллюзию подлинности изображаемого, превращая мемуарное повествование в квазимемуарное» [Грякалова]. Ту же нарративную игру Иванов использовал и в «Петербургских зимах». И потому включение их в мемуарный дискурс, произведенное Л. Страховским, а за ним и другими исследователями, и непрепятствование этому со стороны самого Г. Иванова виделось Ахматовой безответственным и принципиально недопустимым.

В случае же с воспоминаниями князя Трубецкого читатель имеет дело не с фантазией, а с заблуждением автора. Трубецкой достоверно передал то, что ему рассказали и в правдивости чего был сам убежден: «Вскоре после брака Пушкин сошелся с Alexandrine и жил с нею. Факт этот не подлежит сомнению. Alexandrine созналась в этом г-же Полетике» [Щеголев, с. 355]. Из этого и исходила Ахматова, выстраивая свою версию событий с появлением и распространением этой выдумки. Передаваемый «факт» предосудительной связи Пушкина и Александрины недостоверен, но «событие рассказывания» сохраняет документальность. Мемуары Трубецкого не нарушали «установки на подлинность» и потому не только остались для Ахматовой в рамках соответствующего дискурса, но и послужили важным историческим источником.

Итак, эти примеры показывают, что граница, разделяющая тексты, созданные в жанре мемуаров, на соответствующие или не соответствующие мемуарному дискурсу, определяется не столько достоверностью или недостоверностью излагаемых в них фактов, сколько сознательной установкой автора либо на принципиальный отказ от вымысла, либо на легитимацию собственной фантазии. Нарративная стратегия свободного смешения фикционального и фактуального делает текст «конвенционально негодным» и «аннулирует» его в качестве мемуарного дискурса.

Источники

Ахматова А. Мандельштам // Воздушные пути : альманах. Вып. 4. Нью-Йорк, 1965. С. 23–43.

Ахматова А. О Пушкине: статьи и заметки. М. : Книга, 1989.

Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / сост. и подгот. текста К. Н. Суворовой ; вступ. ст. Э. Г. Герштейн ; науч. консультирование, вводные заметки к записным книжкам, указатели В. А. Черных. М. ; Torino : Giulio Einaudi editore, 1996.

Иванов Г. Собрание сочинений : в 3 т. М. : Согласие, 1994.

Щеголев П. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. М. : Книга, 1987.

Strakhovsky L. I. Craftsmen of the Word. Three Poets of Modern Russia: Gumilyov, Akhmatova, Mandelstam. Westport, Conn. : Greenwood Press, 1969.

Исследования

Гинзбург Л. О психологической прозе. Л. : Худож. лит., 1977.

Ерякалова Н. «Китайские тени» Георгия Иванова: Фикция как прием // Russian Studies. Seoul. 2010. № 4. URL: http://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/88296 (дата обращения: 12.05.2019).

Женетт Ж. Фигуры : в 2 т. Т. 2. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. URL: http://niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-poetike/vymysel-i-slog.htm (дата обращения: 12.05.2019).

Крейд В. Георгий Иванов в двадцатые годы // Новый журн. 2005. № 238. URL: http://magazines.russ.ru/nj/2005/238/kreid10.html (дата обращения: 12.05.2019).

Лотман Ю. М. К проблеме работы с недостоверными источниками // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960—1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб. : Искусство-СПБ, 1995. С. 324–329.

Лукницкий П. Acumiana. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 2 : 1926–1927. Париж : YMCA-Press ; М. : Рус. путь, 1997. URL: http://lib.ru/PROZA/LOUKNITSKIY_P/a2_.txt (дата обращения: 12.05.2019).

Мусатов В. В. «В то время я гостила на земле...» Лирика Анны Ахматовой. М. : Словари.ру, 2007.

Тартаковский А. Мемуаристика как феномен культуры // Вопр. литературы. 1999. Январь-февраль. С. 35–55.

Тюпа В. Жанр и дискурс // Критика и семиотика. Вып. 15. Новосибирск ; М., 2011. С. 31–42. URL: http://www.philology.ru/literature1/tyupa-11.htm (дата обращения: 12.05.2019).

Филиппов Б. Заметки к поэме А. Ахматовой // Воздушные пути. Альманах. Вып. 2. Нью-Йорк, 1961. С. 167–183.

References

Filippov, B. (1961). *Zametki k poeme A. Akhmatovoy* [Notes to a Poem by A. Akhmatova]. *Vozdushnyye puti, 2*, 167–183. (In Russian)

Genette, G. (1998). *Figury* [Figures] (Vol. 2). Moscow: Izd-vo im. Sabashnikovykh. Retrieved from http://niv.ru/doc/zhenett-raboty-po-poetike/vymysel-i-slog.htm. (In Russian)

Ginzburg, L. (1977). *O psikhologicheskoy proze* [On Psychological Prose]. Leningrad: Khudozhestvennaia literatura. (In Russian)

Gryakalova, N. (2010). *"Kitayskiye teni" Georgiya Ivanova: Fiktsiya kak priyem* [*Chinese Shadows* by Georgy Ivanov: Fiction as a Tool]. *Russian Studies*, 4. Retrieved from http://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/88296. (In Russian)

Kreid, V. (2005). Georgy Ivanov v dvadtsatyye gody [Georgy Ivanov in the 1920s]. *Novyj zhurnal*, 238. Retrieved from http://magazines.russ.ru/nj/2005/238/kreid10.html. (In Russian)

Lotman, Yu. M. (1995). K probleme raboty s nedostovernymi istochnikami [On Treating Unreliable Sources]. In Yu. M. Lotman, *Pushkin: Biografiya pisatelya; Stat'i i zametki, 1960—1990; "Yevgeny Onegin": Kommentarij* [Pushkin: Biography of the Writer; Articles and Notes, 1960–1990; *Eugene Onegin*: Comments] (pp. 324–329). St Petersburg: Iskusstvo-SPB. (In Russian)

Luknitsky, P. (1997). *Acumiana. Vstrechi s Annoy Akhmatovoy* [Acumiana. Meeting Anna Akhmatova] (Vol. 2 : 1926–1927). Paris: YMCA-Press, Moscow: Russkiy put'. Retrieved from http://lib.ru/PROZA/LOUKNITSKIY_P/a2_.txt. (In Russian)

Musatov, V. (2007). *"V to vremya ya gostila na zemle..." Lirika Anny Ahmatovoy* [*"At that time I was a guest on earth..."* Poetry by Anna Akhmatova]. Moscow: Slovari.ru. (In Russian)

Tartakovsky, A. (1999, January-February). Memuaristika kak fenomen kul'tury [Memoirs as a Phenomenon of Culture]. *Voprosy literatury*, 35–55. (In Russian)

Tyupa, V. (2011). Zhanr i diskurs [Genre and Discourse]. *Kritika i semiotika, 15*, 31–42. Retrieved from http://www.philology.ru/literature1/tyupa-11.htm. (In Russian)

Ерохина Ирина Владиславовна
кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка и литературы
Тульский государственный педагогический
университет им. Л. Н. Толстого
300025, Тула, пр. Ленина, 125
E-mail: irma975@yandex.ru

Erokhina, Irina Vladislavovna
PhD (Philology), Associate Professor
Department of Russian Language and
Literature
Tula State Leo Tolstoy Pedagogical University
125, Lenin Ave., 300025 Tula, Russia
Email: irma975@yandex.ru

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.046
УДК 82-94 + 82.091 + 82’04 + 82’06

Г. П. Михайлова
Вильнюсский университет
Вильнюс, Литва

АХМАТОВА И ЗАГАДКА ШЕКСПИРА

В воспоминаниях современников Анны Ахматовой высказывания о ее интересе к личности и творчеству Уильяма Шекспира обрело статус *locus communis.* Это пристрастие закреплено ею самой в записных книжках 1958–1966 гг. Приведем такой факт: в планах Ахматовой за 1957 г. значится написание книги, второй раздел которой, «Marginalia», должен был включать заметки о Шекспире.

В статье исследуются причины интереса Анны Ахматовой к вопросу атрибуции наследия Уильяма Шекспира. В рассуждения вовлекаются мемуарные свидетельства современников Ахматовой — В. Рецептера, В. Муравьева, И. Ивановского, Г. Глёкина, Л. Чуковской, Э. Герштейн, а также фрагменты из ее записных книжек и художественных произведений («Поэмы без героя», драмы «Пролог, или Сон во сне» и др.). Ахматова принимала участие в дебатах о том, кто написал пьесы Шекспира и об идентичности «Уильяма Шекспира». Она сомневалась в том, что актер и театральный антрепренер из Стратфорда-на-Эйвоне является автором многочисленных пьес. Ахматова осознавала, что в Европе времен Шекспира авторство не имело первостепенного значения или того значения, которое мы придаем ему сегодня. Но она не разделяла точку зрения некоторых своих собеседников (В. Рецептера, В. Муравьева) на возможность существования «искусства без имен».

Необходимость точного определения автора знаменитых пьес и сонетов была продиктована желанием прояснить для себя некоторые литературно-эстетические проблемы: взаимоотношение между реальным и имплицитным автором, степень дистанцированности *alter ego* автора в тексте произведения от самого писателя, возможность дискурсивной игры в пределах цепочки «автор — нарратор — персонаж — читатель», механизмы вытеснения либо «затемнения» исповедального начала.

К л ю ч е в ы е с л о в а: мемуары; «Пролог, или Сон во сне», «Поэма без героя»; Валери; Фуко; авторство; множественный субъект; читатель.

Ц и т и р о в а н и е: *Михайлова Г. П.* Ахматова и загадка Шекспира. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.046 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 51–65.

Поступила в редакцию 03.06.2019
Принята к печати 01.07.2019

© Михайлова Г. П., 2019

(cc) BY-NC

Galina P. Mikhailova
Vilnius University
Vilnius, Lithuania

ANNA AKHMATOVA AND THE RIDDLE OF SHAKESPEARE

In the memoirs of Anna Akhmatova's contemporaries, statements about her interest in William Shakespeare's personality and creative work may be regarded as *locus communis*. This passion was dwelt upon in her *Notebooks* written between 1958 and 1966. The following fact is worth mentioning here: in 1957, Akhmatova planned to write a book whose second part *Marginalia* was supposed to include notes about Shakespeare.

This article explores the possible reasons for Anna Akhmatova's interest in the attribution of Shakespeare's heritage. The article refers to evidence from Akhmatova's contemporaries (V. Rezepter, G. Glyokin, I. Ivanovsky, L. Chukovskaya, V. Muravyov, E. Gerstein) and fragments from her notebooks and poetry (*Poem without a Hero*, play *Prologue, or A Dream within a Dream* and others). Akhmatova took part in the debate over who had written Shakespeare's works and "William Shakespeare's" identity. She doubted that the actor and theatrical entrepreneur from Stratford-upon-Avon had really authored numerous plays. Akhmatova was aware of the fact that during Shakespeare's time, authorship was not of preeminent importance or had the significance attributed to it today. But she did not share the point of view of some of her interlocutors (Rezepter, Muravyov) on the possibility of "art without names".

The need to establish the real author of famous plays and sonnets was dictated by Akhmatova's desire to clarify some literary and aesthetic issues for herself, i.e. the correlation between the real and the implicit author, the degree of distance between the author's *alter ego* in the text and the author themselves, the possibility of discursive play within the chain "author — narrator — character — reader", the mechanisms of displacement or "obscuring" of the confessional tone.

K e y w o r d s: memoirs; *Prologue, or A Dream within a Dream*; *Poem without a Hero*; Valéry; Foucault; authorship; multiple subject; reader.

C i t a t i o n: Mikhailova, G. P. (2019). Akhmatova i zagadka Shekspira [Anna Akhmatova and the Riddle of Shakespeare]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 51–65. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.046

Submitted on 03 June, 2019
Accepted on 01 July, 2019

Шекспир как предмет чтения и объект для размышлений сопровождал Анну Ахматову на протяжении многих лет: «Летом 1915 в Слепневе читала Расина. (Теперь <в> 1965, Донна и Элиота. Всегда Шекспира)» [Записные книжки, с. 667]. Читавшая Шекспира в подлиннике, она считала себя знатоком английского драматурга. Более того, таковой она представала в глазах других людей [Ивановский, с. 615; Черных, с. 479; Тименчик, с. 269–270]. Особенно Ахматову занимала так называемая «загадка Шекспира».

В шекспироведении бытует гипотеза о том, что всё, написанное Уильямом Шекспиром, не могло быть создано обычным человеком, причастным к театру. На сегодняшний день насчитывается более восьмидесяти «высокообразованных и родовитых» претендентов на авторство шекспировских произведений [Иванов, Макаров, Радлов, с. 124]. С середины XIX в. вокруг «шекспировского вопроса» развернулась широкая дискуссия, которая с той или иной степенью интенсивности длится до сих пор [McCrea; Smith; Shapiro; Пешков]. В годы жизни Ахматовой вопрос об авторе шекспировских драм также обсуждался в российском шекспироведении [Шекспир и русская культура, с. 766]. Принято считать, что Ахматова принадлежала к числу сторонников антишекспировских концепций, и мнение о том, что в опубликованных текстах Ахматовой и в архивах «свидетельств интереса поэтессы к альтернативным теориям авторства» обнаружено не было [Иванов, Макаров, Радлов, с. 171], неверно. Так, в незавершенной трагедии Ахматовой «Энума Элиш. Пролог, или Сон во сне» можно обнаружить ироническую отсылку к одному из претендентов на авторство шекспировских пьес — поэту и драматургу Кристоферу Марло [Ахматова, 1998, т. 3, с. 310]. Более того, при желании, в известных строфах ахматовской «Решки» («Поэма без героя»), где Ахматова эксплицирует суждения о собственном поэтическом высказывании (поэме), т. е. в строфах о плагиате, шкатулке с двойным дном, симпатических чернилах, зеркальном письме, тайнописи и криптограмме [Ахматова, 1998, т. 3, с. 195; 1990, т. 1, с. 338], можно услышать отголоски обвинений Шекспира в многочисленных заимствованиях, а также отзвуки конспирологических теорий «антистратфордианцев», искавших зашифрованную в текстах Шекспира информацию о подлинном авторе драм.

Мемуаристы же со всей очевидностью подтверждают интерес Ахматовой к вопросам шекспировского авторства и тайнописи его текстов. Например, в записях разговоров с Ахматовой, сделанных одним из лучших ее собеседников в 1959–1966 гг. Г. В. Глёкиным [Глёкин]. Самый же обильный материал предоставляют воспоминания актера, режиссера и писателя В. Э. Рецептера, в которых воспроизведены его неоднократные беседы с Ахматовой о Шекспире — о героях и исторических подтекстах его пьес и о подлинности его авторства [Рецептер]. Мемуарное эссе Рецептера, как и записи Глёкина, могут стать отправной точкой для рассуждений о возможных причинах того, почему Ахматова могла поддерживать «антистратфордианцев», т. е. гипотезу о подставной роли актера Шекспира, под чьим именем писали драматурги или знатные особы елизаветинской эпохи: «Она вообще придерживается того мнения, что ни драмы, ни сонеты актер театра “Глобус” написать не мог... “И только известная косность англичан заставляет нас верить шекспировской традиции”» (запись от 29 июня 1959 г.) [Глёкин, с. 62]; «Не помню, чтобы Анна Андреевна настаивала при мне на каком-либо имени, но позже я узнал, что имена обсуждались ею, и неоднократно. Она присматривалась и к Вильяму Стенли графу Дерби шестому — он вслед за своим братом имел право на трон, и в конце апреля — начале мая 1965 года к Кристоферу Марло (в связи с прослушанной ею передачей по Би-би-си)» [Рецептер, с. 652].

В разговорах Ахматова опиралась на те же факты, что и другие «еретики», — на сохранившиеся документальные сведения об историческом лице — актере Шекспире (на его портрет, свидетельство о покупке имущества, закладные, завещание и т. д.). Заметим, что, по утверждению Рецептера, все доводы, известные противникам концепции актерского авторства, приобретали в устах Ахматовой «силу личного свидетельства» [Рецептер, с. 650], т. е. «загадка Шекспира» воспринималась Ахматовой весьма интимно.

Здесь сошлемся на рассуждения переводчика Шекспира — Б. Л. Пастернака, который изложил две существующие версии происхождения Шекспира: «извозчичье-дворовую» и «аристократическую». Последняя, с его точки зрения, со всей очевидностью проявилась в трагедии «Гамлет», центральный персонаж которой — бесспорный «цесаревич», высокомерно рассуждающий о черни, о среднем человеке и о «силе количества» [Пастернак, с. 277–278]. При этом Пастернак полагал, что обе «родословные» Шекспира имеют право на существование. Русский поэт придерживался традиционной точки зрения, считая существование подлинного Шекспира бесспорным. Одна из главок в его статье «Замечания к переводам из Шекспира» так и названа: «Подлинность Шекспирова авторства» [Там же, с. 185–187]. Для современника и друга Ахматовой жизнеописание английского драматурга — это обычная биография «несомненно существовавшего человека», который не стыдился описок и повторений и, работая на износ, «зевал перед лицом веков от усталости» [Там же, с. 187].

Ахматова же в беседах с В. Рецептером и Г. Глёкиным опиралась на доводы «антишекспиристов» об очевидной основательной образованности автора пьес и несомненной его близости ко двору [Рецептер, с. 649–650; Глёкин, с. 81]. Но из чего складывались подобная очевидность и несомненность?

Мишель Фуко заметил, что функция а в т о р «не образуется спонтанно как просто атрибуция некоторого дискурса некоему индивиду. Функция эта является результатом сложной операции, которая конструирует некое разумное существо, которое и называют автором» [Фуко, с. 25]. В случае с Шекспиром конструирование «истинного» автора отчасти явилось результатом реконструкции имеющихся шекспировских текстов, произведенной читателями, литературоведами и литературными критиками (здесь заметим, что подобная ситуация сложилась и вокруг Ахматовой — о чем ниже). Содержательная глубина и формальный блеск пьес английского драматурга и поэта, постигнутая разнообразными адресатами, позволили создать образ гениального автора — одну из многочисленных вариаций романтического идеала вдохновенного художника. Это и стало источником сомнений: творцом великих трагедий не мог быть сын перчаточника, неграмотный пайщик актерской труппы и ростовщик, или, по-ахматовски, — «малограмотный, меркантильный, сильно пьющий» комедиант [Рецептер, с. 650]. Конечно, Ахматова имела представление и о том, насколько сомнителен был статус актерской профессии во времена Шекспира, о чем с горечью писал и сам Шекспир в Сонете 111:

O for my sake do you with Fortune chide,
The guilty goddess of my harmful deeds,
That did not better for my life provide
Than public means which public manners breeds.
(«О, как ты прав, судьбу мою браня,
Виновницу дурных моих деяний,
Богиню, осудившую меня
Зависеть от публичных подаяний».)

[Шекспир, с. 157 (пер. С. Я. Маршака)]

Но, думается, и в 60-е гг. XX в. (годы общения поэта с В. Рецептером и Г. Глёкиным) представителям театральной или кинематографической культуры и их творческим способностям не придавали той значимости, как в нынешние времена.

Проследим дальнейший ход бесед молодого артиста, задетого уничижением актерской братии, и Ахматовой: «...Имени Шекспира нет в университетских списках... — Анна Андреевна, но какое это имеет значение? Есть пьесы, их играют, и слава богу, что они остались для нас. — Вы думаете? (Пауза) Вопрос авторства не имеет значения?» [Рецептер, с. 649]. Аналогичное находим в записях Г. Глёкина весной 1960 г. и в воспоминаниях молодого переводчика Владимира Муравьева, подружившегося с Ахматовой зимой 1963 г.:

> Основной принцип гениального творчества — творения берутся ниоткуда — рождаются из воздуха. И кажется, что они так же вечны и древни, как сама природа, как мир. Критерий времени в применении к ним теряет свою значимость. Теряет свою значимость и личность творца. Ни светский, кичащийся 600-летним дворянством и красавицей женой камер-юнкер (Пушкин. — *Г. М.*), ни желчный гражданин бестолковой Флорентийской республики (Данте — *Г. М.*), ни тем более мифический, плохо образованный актер из театра «Глобус» ни малейшего значения для мирового искусства не имеют [Глёкин, с. 115];

> Читали мы с ней историческую хронику о Ричарде II. Именно о Ричарде II. Тогда же она сказала: «Никак не может быть, чтобы этот актеришка был автором таких пьес». Я ответил: «Знаете, Анна Андреевна, по-моему, это не имеет никакого значения. Нас интересуют пьесы, драматический состав его поэзии, а вовсе не его личность». «Но личность, — возразила она, — мешается под ногами» [Муравьев].

Эти фрагменты бесед Ахматовой с Г. Глёкиным и В. Муравьевым можно интерпретировать в координатах суждений Поля Валери. Это позволительно ввиду того, что в декабре 1962 г. Ахматова читала его книгу «Variété V» [Записные книжки, с. 259, 275, 276, 451]. В статье «Вопросы поэзии» («Questions de Poésie») П. Валери эмоционально писал о помехах (ср. ахматовское «личность мешается под ногами»), которые возникают на пути к тому состоянию, когда мы «станем орудием написанной вещи, так что наш голос, наш разум и все источники нашей чувствительности будут сочетаться, чтобы дать жизнь и могущественное присутствие творческому акту автора». Эти помехи — преподносимые и навязываемые

нам «даты и биография», «ссоры и доктрины», которые «...меня не заботят, когда я имею дело с музыкой и хрупким искусством голоса, несущего в себе мысли... <...> Будет еще время поговорить о жизни, любви и взглядах поэта, о его друзьях и врагах, его рождении и смерти, когда мы достаточно продвинемся в *поэтическом осмыслении* его стихотворения...» [Valéry, p. 1289]

Схожее мнение высказано и в «Тетрадях» («Cahiers») П. Валери, где в качестве примера приводится как раз та фигура мирового литературного процесса, которая так интересовала Ахматову, и где П. Валери выступает с позиций антистратфордианцев:

> ...не понимаю, какое отношение к искусству, — иначе говоря, к моему наслаждению и переживанию — может иметь то, что вызывает у меня мысль о конкретном человеке. Его долг — то есть его ремесло — повелевает ему исчезнуть; должны исчезнуть его лицо, его страсти, его заботы. Мы ничего не знаем об авторах величайших творений. *Шекспир никогда не существовал, и я сожалею, что его пьесы помечены именем*. «Книга Иова» не принадлежит никому. Самые полезные и самые глубокие понятия, какие мы можем составить о человеческом творчестве, в высшей степени искажаются, когда факты биографии, сентиментальные легенды и тому подобное примешиваются к внутренней оценке произведения. То, что составляет произведение, не есть тот, кто ставит на нем свое имя. То, что составляет произведение, не имеет имени [Валери, с. 183–184].

У П. Валери речь идет об элиминации авторской составляющей художественного произведения и о депсихологизированной рецепции текста. Идеал деперсонализированного искусства витал в воздухе двадцатого столетия (в 1920-е гг. эту идею развивал и Т. Элиот), а позднее, как известно, лег в основу постструктуралистских и деконструктивистских концепций. В частности, Р. Барт, наиболее четко оформивший идею «смерти автора» в одноименной статье 1968 г., опирается в самом начале статьи именно на П. Валери:

> ...он (Валери. — *Г. М.*) ...беспрестанно подвергал Автора сомнению и осмеянию, подчеркивал чисто языковой и как бы «непреднамеренный», «нечаянный» характер его деятельности и во всех своих прозаических книгах требовал признать, что суть литературы — в слове, всякие же ссылки на душевную жизнь писателя — не более чем суеверие [Барт, с. 386].

Судя по воспоминаниям В. Муравьева, начитанные молодые друзья Ахматовой в пору разговоров с нею не особенно углублялись в т е о р е т и ч е с к и е аспекты проблемы авторства и не были захвачены и д е е й очищения творческой личности от всего субъективно-эмоционального. Так, В. Муравьев в беседе с О. Е. Рубинчик (2000) признает «антистратфордианскую» «правду» Ахматовой задним числом:

> И оказалось *теперь*, согласно замечательным открытиям, которые *вот сейчас были сделаны*, что она была совершенно права, что безвестного стратфордского ростовщика, болтавшегося при театре «Глобус», так, для смеху, для маскировки «назначили» автором шекспировских драм. *И она, видимо, чувствовала* тут какой-то

подвох, ведь и Набоков говорил: «Нет никакой надобности в этой исторической личности, которую нам подсовывают под видом автора пьес Шекспира». И говорил совершенно правильно. Ахматова (*это мне сейчас пришло в голову),* поскольку она была большая специалистка по игре, проводящейся в жизнь, почуяла запах, оттенок игры, который сопровождает стратфордское авторство этих очень мрачных и, я бы сказал, декадентских шекспировских пьес [Муравьев].

Суть высказываний В. Рецептера и В. Муравьева в том, что оба низводят (или возводят?!) пьесы и сонеты Шекспира до интеллектуального достояния социума или до безымянного достояния мировой культуры, когда творческая индивидуальность, породившая общезначимую ценность, отходит на задний план. Как писала Ахматова в набросках «Большой исповеди» (для «Пролога»):

Но все заголосили: «Ни за что!
Довольно нам таких произведений,
Подписанных чужими именами.
Все это нашим будет и про нас».
А что такое «наше»? И про что там?

[Ахматова, 1998, т. 3, с. 320]

Для В. Муравьева (и, возможно, иных образованных и начитанных конфидентов Ахматовой) Шекспир (или кто-либо другой) — не более чем имя собственное, которым означены интересные и важные для них тексты. Младшие собеседники Ахматовой как бы предлагают возвратиться к ренессансному (времен Шекспира) взгляду на отношения между писателем и произведением, когда литературное занятие рассматривалось как «простое участие в обороте идей, изначально являющихся публичным достоянием, и книги как печатные “носители” этих идей тоже включались — расширительно или по аналогии — в сферу публичного достояния» [Вудманси, с. 41]. Ахматова отчасти соглашалась с этим: ее жест в сторону полки с книгами («Вот он — Шекспир»), заменивший ответ на вопрос «молодого литератора об авторстве произведений Шекспира» [Коваленко, с. 50], мог означать, на наш взгляд, что стоящие на полке книги (созданные не автором, но «скриптором») являются вневременной и внебиографической ценностью — «искусством без имен» (Г. Вёльфлин).

Но подойдем к проблеме с другой стороны. Известную ахматовскую дефиницию поэзии как «священного ремесла» [Ахматова, 1999, т. 2, кн. 1, с. 86] можно интерпретировать как парадоксальную модель писательства, не разъединяющую, а сводящую воедино момент «ремесленного» исполнения и момент Божественного вдохновения[1]. Тем не менее, исключительная *личная* ответственность творца за все им «исполненное» присуща Ахматовой в высшей степени. Она в полной

[1] В романтических концепциях теоретиков искусства 2-й половины XVII — XIX в. момент умения творца был сведен до минимума и, в ряде случаев, полностью исключался [Вудманси, с. 37–38]. Мы отдаем себе отчет в принципиальном «преодолении» акмеистами (Ахматовой в том числе) символистских идей мистического, сверхразумного поэтического озарения, что повлекло за собой «заземление» поэзии и внимание к правилам и приемам построения стихотворного текста, но это сути дела не меняет.

мере осознавала себя в русской поэзии одним из «основателей дискурсивности» [Фуко, с. 30], и, следовательно, любые рассуждения об анонимности могли быть для нее неприемлемыми. Рецептер пришел к такому выводу: «...Ахматовой важно было найти своего автора во всей неповторимой конкретности его частной судьбы, в трагическом воздухе времени, так, а не иначе сказавшихся в “безымянном” труде» [Рецептер, с. 653].

Иными словами, структура художественного текста, по Ахматовой, фундируется историзацией и социализацией субъективного (исповедального) начала. Несколько отклонившись от «шекспировской» темы в подтверждение этому приведем ее истолкование книги стихов Н. А. Заболоцкого (запись Л. К. Чуковской от 14 сентября 1957 г.): «Да ведь это страшная книга! — бурно заговорила Анна Андреевна. — Просто страшная. В ней встречаются хорошие стихи, это правда, но *нет лица поэта,* нет лирического героя, *нет эпохи, нет времени*...» [Чуковская, с. 262].

Помимо этого, необходимость точного определения автора «Гамлета» была продиктована желанием прояснить с т е п е н ь проявленности субъективного, личностного начала в творчестве Шекспира. Правомерность обращения (в попытках разобраться в соображениях Ахматовой по поводу соотношения характеристик лирического субъекта с самодостаточным бытием субъекта-автора за рамками текста) к «шекспировскому вопросу» подтверждается зафиксированным Эммой Герштейн фрагментом беседы с Ахматовой о лирической поэзии:

> Появление <поэта> перед читателем в образе лирического героя со своей индивидуальной судьбой мы сравнили с работой актера, как бы он ни перевоплощался, он все же сжигает свои нервы, плачет своими слезами. Словом, и актер, и лирический поэт (больше, чем художники других областей) служит сам для себя материалом искусства [Герштейн, с. 551–552].

Попытаемся прокомментировать одну из взволновавших В. Рецептера реплик Ахматовой: «Ему (автору “шекспировских” пьес и сонетов. — *Г. М.*) повезло. *Ему удалось скрыться*» [Рецептер, с. 649]. Сравним ее, к примеру, с набросками ахматовского «Вступления» к «Большой исповеди»:

Позвольте скрыть мне все: мой пол и возраст,
Цвет кожи, веру, даже день рожденья
И вообще все то, что можно скрыть.
А скрыть нельзя — отсутствие таланта
И кое-что еще, остальное ж
Скрывайте на здоровье.

[Ахматова, 1998, т. 3, с. 319]

Так в чем же для Ахматовой заключалось мучительное очарование шекспировской мистификации? Думается, в том, что история жизни актера Шекспира заместила жизнеописание истинного автора. Это жизнеописание можно воспроизвести лишь предположительно, оно не может быть изложено со всей

достоверностью. Обратимся вновь к мемуарам В. Рецептера, воспроизводящим свои реплики в диалоге с Ахматовой:

> Гамлет является автором пьесы-спектакля, а Первый актер — только исполнителем, за которого подлинный автор прячется... — Продолжайте, — сказала Ахматова. <...> — Возникает «ситуация инкогнито», смысл которой заключается в том, что автор «скрыт» от действующих лиц и в то же время «открыт» для зрителя, если это спектакль в «Глобусе», и для читателя, если у него в руках, скажем, — издание in folio, с портретом Дрюйшота и просьбой смотреть «в саму книгу», в то, «что он написал», а не на «чужой» портрет... [Рецептер, с. 657–658][2].

В суждении В. Рецептера, встреченном Ахматовой с энтузиазмом, представляют интерес два момента: понятие об отношениях, возникающих между автором и читателем во внутритекстовой «ситуации (авторского) инкогнито», и соображения о связи между внетекстовым автором и читателем. И если раздражение шекспироведов вызывает заурядное лицо автора Первого фолио, изображенное на гравюре Мартина Дройсхута, и тем самым оспаривается принадлежность этого лица гениальному Шекспиру, то, с точки зрения Ахматовой, гравер н а м е р е н н о скрыл подлинное лицо сочинителя драм, предлагая в поисках автора адресоваться непосредственно к текстам Шекспира [Рецептер, с. 651; см. также: Глёкин, с. 81]. Неточно цитируя смысл стихотворной подписи к портрету Дройсхута, Ахматова полагала, что она следует мысли ее автора. Справедливости ради, нужно сказать, что в эпиграмме Бена Джонсона нет намека на подобную интенцию гравера — с о з н а т е л ь н о исказить черты Шекспира[3].

Проведем аналогию: литературный быт XX в. был несравненно более открытым, чем в предыдущие культурные эпохи: поэты проживали жизнь публично, их портреты демонстрировались на выставках, выпускались в виде открыток. Выразительный портрет Ахматовой, созданный Н. Альтманом в 1915 г., превратился в ее визитную карточку, став обязательной составляющей образа «поэт Анна Ахматова», который сложился в 1910-е гг. В зрелом возрасте Ахматова кардинально корректировала этот миф о себе, касаясь и биографического,

---

[2] Речь идет о единственном на тот момент прижизненном изображении Шекспира — гравюре работы художника Мартина Дройсхута (Martin Droeshout) и сопровождающей ее эпиграмме драматурга, поэта и актера Бена Джонсона (Benjamin Jonson). Гравюра и эпиграмма были помещены в первом посмертном собрании сочинений Шекспира, так называемом Первом фолио.

[3] Текст эпиграммы Б. Джонсона в переводе А. А. Аникста:

Здесь на гравюре видишь ты
Шекспира внешние черты.
Художник, сколько мог, старался,
С природою он состязался.
О, если б удалось ему
Черты, присущие уму,
На меди вырезать, как лик,
Он стал бы истинно велик.
Но он не смог, и мой совет:
Смотрите книгу, не портрет.

[цит. по: Аникст]

и творческого аспектов созданного некогда образа. Записные книжки Ахматовой 1960-х гг. полны критических заметок о мемуарах, книгах, статьях, диссертациях, в которых так или иначе воспроизводилась ее судьба — писательская и человеческая: «Я не хочу, чтобы мне подсовывали какую-то чужую и мне отвратительную жизнь и старались уверить меня, что я ее прожила, а она просто — плод воображения 5–6-ти каких-то подозрительных личностей (в основном выживших из ума)» (запись 1965 г.) [Записные книжки, с. 626].

Поэтому понятно, насколько близко она приняла к сердцу мысль о том, что изображение Шекспира — это художественная мистификация. Конечно, важнейшей составляющей социокультурной идеологемы «Анна Ахматова» являлся не только визуальный и литературно-критический (либо мемуарный) текст о ней, но и поэтический, «вычитываемый» читателями (и критиками) из ее ранних стихов. Ахматова записывала: «...у меня склубился не то двойник, не то оборотень, который мирно прожил в чьем-то представлении все эти десятилетия, не вступая ни в какой контакт со мной, с моей *истинной судьбой* и т. д.» [Ахматова, 2016, с. 420].

Иначе говоря, в зрелые годы Ахматова решала для себя наболевшие литературно-эстетические проблемы, в частности, вопрос о взаимоотношениях конкретного и имплицитного авторов, о величине дистанции между *alter ego* автора в тексте произведения и самим писателем. У нее был горький и одновременно комичный опыт их отождествления: некогда издатель журнала «Аполлон» С. К. Маковский извлек сведения об отношениях Ахматовой и Н. С. Гумилева из ее стихов [Записные книжки, с. 362, 364]. Ахматова обсуждала проблему подобного «коварства лирической поэзии» с Эммой Герштейн и Лидией Гинзбург:

> Поэт как будто открывает читателю свои самые сокровенные переживанья, но ходит как по канату. Один неверный шаг — и сорвешься в мелкое, личное, излишне откровенное. Я пошутила, что писанье лирических стихов, в сущности, занятие неприличное. Анна Андреевна ответила, что как раз недавно она беседовала на эту тему с «Люсей» (Лидией Яковлевной Гинзбург), тоже говорившей о невидимой черте, которую так опасно перейти поэту [Герштейн, с. 551].

Автобиографичность с самого начала являлась отличительной особенностью ее поэзии. С годами автобиографическое начало усиливалось, если истолковывать его как «подчинение творческой биографии некоторой общей задаче (в рамках определенного периода жизни поэта)», когда «авторская репрезентация художественного произведения... как бы приравнивается к некоторому публичному поступку» [Немировский, с. 5][4]. При этом лирический, сугубо интимный пласт вытеснялся на периферию поэтических текстов. Выявление механизма подобного вытеснения либо «затемнения» исповедального начала становилось для Ахматовой все более насущной проблемой. Укажем на один

[4] В таком ключе нами рассмотрен ахматовский цикл «Венок мертвым» [Михайлова].

«тактический прием» уклонения от «стыда лирической откровенности» [Бахтин, с. 158], обратившись к ахматовской дневниковой записи:

> Я какой-то анти-Браунинг. Тот всегда говорит от другого лица, за другое лицо. Я не даю сказать ни слова никому (в моих стихах, разумеется). Я говорю от себя, за себя все, что можно и чего нельзя. *Иногда в каком-то беспамятстве вспоминаю чью-то чужую фразу и превра<щаю> ее в стих* [Записные книжки, с. 476].

Возможно, в непреднамеренной (либо сознательной) лирической исповеди с «оглядкой на чужое слово» (М. Бахтин) Ахматова видела способ размывания ярко выраженной индивидуальности субъекта письма. Отметим при этом, что, не обезличивая художественный текст, Ахматова акцентирует смыслопорождающую роль читателя, особенно по отношению к «Поэме без героя»: «борьба с читателем» и «помощь (и почти подсказка) читателя», как это зафиксировано Ахматовой в прозе о поэме [Ахматова, 1998, т. 3, с. 217, 244], которая (проза) разворачивается как беседа с прочитавшими и читающими триптих.

Вернемся к воспоминаниям В. Рецептера. На протяжении нескольких встреч он делился с Ахматовой наблюдениями над повторяющейся у Шекспира техникой «mise en abyme» — в «Гамлете», «Сне в летнюю ночь», «Буре», «Укрощении строптивой» [Рецептер, с. 657–658]. Тот живой интерес, который, согласно мемуаристу, вызвали его рассуждения у собеседницы, подтверждается записями Ахматовой, сделанными в 1962 г.

С одной стороны, в этих записях проступает упорство в поиске подлинного имени автора шекспировских драм, которое позволило бы, по выражению М. Фуко, «сгруппировать ряд текстов, разграничить их, исключить из их числа одни и противопоставить их другим» [Фуко, с. 21]. Ахматова усматривает некие структурные закономерности шекспировских трагедий, сводящие их в круг текстов, написанных одним и тем же лицом. С другой стороны, записи демонстрируют (с учетом вышеописанной ситуации «инкогнито», связанной с матрешечной структурой «Гамлета») осознание возможностей дискурсивной игры в пределах цепочки «автор — нарратор — персонаж — читатель / зритель», особенно если в текст лирического (лиро-эпического) произведения ввести театральные элементы:

> Свита Фальстафа и «Макбет». (Единство метода, т. е. нечто, что знает автор, но чем он не собирается делиться с читателем, что не входит в замысел д а н н о г о произведения.); Не включенная в трагедию предыстория леди Макбет, о кот<орой> автор тем не менее все время помнит (ребенок и «я сама бы это сделала, если бы он не был похож на моего отца») и знание т о г о ж е автора по поводу своры Фальстафа (театр<альная> труппа) — это явления одного порядка (единство метода) [Записные книжки, с. 230, 232].

Представляется, что процитированные записи связаны с определенными теоретическими проблемами. Прежде всего, обращает на себя внимание настойчивое стремление Ахматовой сформулировать свой творческий метод. В прозе о «Поэме без героя» («Pro domo mea») представлены как фрагментарные, так

и связные рассуждения о композиционно-структурных особенностях создаваемого ею текста. Например: «...и только сегодня мне удалось окончательно сформулировать особенность моего метода в “Поэме...”. Ничего не сказано в лоб: сложнейшие и глубочайшие вещи изложены не на десятках страниц, как они привыкли, а в двух стихах, — но всем понятно, о чем идет речь и что чувствует автор» [Ахматова, 1998, т. 3, с. 243].

В этом высказывании, на наш взгляд, изложен не только принцип суггестивности поэтического образа. Ахматова, рассуждая об отличительных чертах своего и шекспировского методов, по сути, оперирует категориями нарраталогии, отделяя повествователя как носителя знания о событиях от «героя» повествования, лишенного знания о тенденциях развития и о завершении событий. Речь идет о нарративной установке автора художественного текста — о той степени, с которой в тексте вербально может быть выражено авторское «всезнание», иными словами — об уровне выхода автора за пределы сюжетно-ситуативных границ. Думается, что эту проблему Ахматова решала для себя в Части первой «Поэмы без героя», когда подчеркивала линию авторского всеведения в повествовании о «трагедии 13-ого года»:

Сколько гибелей шло к поэту,
Глупый мальчик: он выбрал эту, –
Первых он не стерпел обид,
Он не знал, на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним откроется вид...

[Там же, с. 188]

Дискретность и распыленность авторского «я» в «Поэме без героя» только подчеркивают особый нарративный тип представления художественного материала: активизированы элементы аукториального дискурса — обращения к читателю, к персонажам, комментарии о (к) самой поэме, оценки изображаемого и т. п.

Итак, внимание Ахматовой к «загадке Шекспира», в которой она разделяла позицию сторонников «антишекспировской теории», было связано и с вопросом о том, насколько в сознании читателя и в структуре текста лирический субъект должен и может быть сопряжен с личностью автора. Думается, что свойственная лирике размытость субъектно-объектных отношений между автором и лирическим героем была болевой точкой для Ахматовой. Маргариту Алигер, бывавшую у Ахматовой весной 1946 г., «поразила» ее заметка «о полной обнаженности и незащищенности лирического поэта, что в этой-то обнаженности и заключается суть лирики, что лирик сам подставляет себя под удар, обнажая самое личное и сокровенное» [Алигер, с. 354].

С этой точки зрения интересна интерпретация Ахматовой «Каменного гостя» А. С. Пушкина, в которой она соединила биографический мир Пушкина с миром его трагедии [Золян], а возможность такого подхода обосновала (среди прочего) «лирическим началом этой трагедии» [Ахматова, 2002, т. 6, с. 112]. Вопрос о том,

почему Пушкин не напечатал «Каменного гостя» при жизни, Ахматова также связывает с тем, что это драма «самопризнания», «воплощение внутренней личности» автора [Ахматова, 2002, т. 6, с. 117]. Здесь можно полемизировать по поводу неопубликованных лирических и лиро-эпических фрагментов самой Ахматовой. Обладают ли они, как полагает С. А. Коваленко, принципиальной эстетикой незавершенности, направленной на вовлечение читателя в процесс сотворчества [Ахматова, 1998, т. 3, с. 460]? Или речь должна идти о текстах, которые, как пишет Ахматова в пушкинских штудиях, остаются «в рукописи независимо от их качества» [Ахматова, 2002, т. 6, с. 112]? Думается, что в «упрятанных» в рукописи поэтических (и прозаических) осколках сказывалось нежелание поэта «обнажать “раны своей совести” перед миром (на что, в какой-то степени, обречен каждый лирический поэт)» [Там же].

Возвращаясь к ахматовской «зависти» в отношении Шекспира (удалось-таки «скрыться!»), скажем, что это была, вероятно, «зависть» к исторически сложившемуся образу (и литературному имени) творца: гениальный драматург и поэт, не имеющий ни достоверного портрета, ни доподлинной биографии, не оставивший ни писем, ни рукописей, притягательный в своей загадочности, т. е. Шекспир — вариант «поэта Вообще» [Ахматова, 1998, т. 3, с. 217], идеал, недостижимый в эпоху публичной презентации черновиков, воспоминаний, переписки и дневников. Думается, что сосредоточенность на «загадке Шекспира» побуждала Ахматову к созданию собственного эталонного (в ее понимании) образа и к утверждению того статуса своей поэзии внутри русской культуры, который представлялся ей наиболее уместным.

Источники

Алигер М. «В последний раз» // Воспоминания об Анне Ахматовой / сост. В. Я. Виленкин и В. А. Черных ; коммент. А. В. Курт и К. М. Поливанова. М. : Сов. писатель, 1991. С. 349–367.

Ахматова А. Сочинения : в 2 т. / под общ. ред. Н. Н. Скатова ; сост., подгот. текста М. М. Кралина. М. : Правда, 1990. Т. 1 : Стихотворения и поэмы.

Ахматова А. Собрание сочинений : в 6 т. / сост., подгот. текста, коммент., ст. Н. В. Королевой. М. : Эллис Лак, 1998–2002.

Ахматова А. Малое собрание сочинений. СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2016.

Герштейн Э. Г. В Замоскворечье // Воспоминания об Анне Ахматовой / сост. В. Я. Виленкин и В. А. Черных ; коммент. А. В. Курт и К. М. Поливанова. М. : Сов. писатель, 1991. С. 545–555.

Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / сост. и подгот. текста К. Н. Суворовой ; вступ. ст. Э. Г. Герштейн. М. ; Torino : Giulio Einaudi Editore, 1996.

Ивановский И. Анна Ахматова // Воспоминания об Анне Ахматовой / сост. В. Я. Виленкин и В. А. Черных ; коммент. А. В. Курт и К. М. Поливанова. М. : Сов. писатель, 1991. С. 614–626.

Муравьев В. С. Воспоминания об Анне Ахматовой. Расшифровка видеозаписи. Беседа с О. Е. Рубинчик 23 марта 2000 г. // Анна Ахматова: последние годы. Рассказывают Виктор Кривулин, Владимир Муравьев, Томас Венцлова. СПб. : Невский диалект, 2001. С. 60–70. URL: http://www.akhmatova.org/articles/muraviev2.htm (дата обращения: 28.05.2019).

Рецептер В. «Это для тебя на всю жизнь...» (А. Ахматова и «Шекспировский вопрос») // Воспоминания об Анне Ахматовой / сост. В. Я. Виленкин и В. А. Черных ; коммент. А. В. Курт и К. М. Поливанова. М. : Сов. писатель, 1991. С. 648–661.

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой : в 3 т. 5-е изд., испр. и доп. Т. 2. М. : Согласие, 1997.
Шекспир У. Сонеты : на англ. яз. с парал. рус. текстом. М. : Радуга, 1984.

Исследования

Аникст А. А. Шекспир. М. : Молодая гвардия, 1964. URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1941v01 (дата обращения: 16.08.2019).
Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М. : Прогресс, 1989.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М. : Искусство, 1986.
Валери П. Об искусстве. М. : Искусство, 1976.
Вудманси М. Гений и копирайт // Новое лит. обозрение. 2001. № 48. С. 35–48.
Глёкин Г. В. Что мне дано было... Об Анне Ахматовой. М. : Азбуковник, 2015.
Золян С. Пушкин в мирах ахматовской интерпретации // Золян С., Лотман М. Исследования в области семантической поэтики акмеизма. Таллинн : Изд-во Таллин. ун-та, 2012. (Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora). С. 201–280.
Иванов Д. А., Макаров В. С., Радлов С. Д. Шекспир и «шекспиры» // Иностранная литература. 2018. № 8. С. 120–184.
Коваленко С. Анна Ахматова (Личность. Реальность. Миф) // Анна Ахматова: Pro et Contra : в 2 т. Т. 1 / сост. С. Коваленко. СПб. : РХГИ, 2001. С. 2–52.
Михайлова Г. Стихотворные посвящения Анны Ахматовой в социо-культурном пространстве 1940–1960-х годов // Literatūra. 2010. Nr. 52 (2). С. 63–79.
Немировский И. В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэта. СПб. : Гиперион, 2003.
Пастернак Б. Об искусстве. «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. М. : Искусство, 1990.
Пешков И. В. F1, или Книга доказательств: теорема Шекспира как лемма авторства. М. : Рипол-Классик, 2015.
Тименчик Р. Д. Последний поэт: Анна Ахматова в 60-е годы : в 2 т. 2-е изд., испр. и расшир. Т. 1. М. ; Иерусалим : Мосты культуры / Гешарим, 2014.
Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М. : Касталь, 1996.
Черных В. А. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. 1889–1966. 2-е изд., испр. и доп. М. : Индрик, 2008.
Шекспир и русская культура / под ред. М. П. Алексеева. М. ; Л. : Наука, 1965.
McCrea S. The Case for Shakespeare: The End of the Authorship Question. Westport, Conn. : Praeger, 2005.
Shapiro J. Contested Will: Who Wrote Shakespeare? New York : Simon & Schuster ; London : Faber and Faber, 2010.
Smith E. The Shakespeare Authorship Debate Revisited // Literature Compass. 5 (April). 2008. P. 618–632.
Valéry P. Questions de Poésie // Œuvres I / éd. établie par J. Hytier. Paris : Gallimard : Bibliothèque de la Pléiade, 1957. P. 1280–1294.

References

Alekseev, M. P. (Ed.). (1965). *Shekspir i russkaia kul'tura* [Shakespeare and Russian Culture]. Moscow; Leningrad: Nauka. (In Russian)
Anikst, A. A. (1964). *Shekspir* [Shakespeare]. Moscow: Molodaia gvardija. Retrieved from http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1941v01. (In Russian)
Bakhtin, M. M. (1986). *Estetika slovesnogo tvorchestva* [The Aesthetics of Verbal Creativity]. Moscow: Iskusstvo. (In Russian)

Barthes, R. (1989). *Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika* [Selected Works: Semiotics. Poetics]. Moscow: Progress. (In Russian)

Chernykh, V. A. (2008). *Letopis' zhizni i tvorchestva Anny Akhmatovoi. 1889–1966* [A Chronicle of Life and Creative Activity of Anna Akhmatova. 1889–1966]. Moscow: Indrik. (In Russian)

Foucault, M. (1996). *Volia k istine: po tu storonu znaniia, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznykh let* [The History of Sexuality: The Will to Knowledge. Works from Various Years]. Moscow: Kastal. (In Russian)

Glyokin, G. V. (2015). *Chto mne dano bylo... Ob Anne Akhmatovoi* [What Was Given to Me... About Anna Akhmatova]. Moscow: Azbukovnik. (In Russian)

Ivanov, D. A., Makarov, V. S., & Radlov, S. D. (2018). Shekspir i "shekspiry" [Shakespeare and "Shakespeares"]. *Inostrannaia literatura*, 8, 120–184. (In Russian)

Kovalenko, S. (2001). Anna Akhmatova (Lichnost'. Real'nost'. Mif) [Anna Akhmatova (Personality. Reality. Myth)]. In S. Kovalenko (Comp.), *Anna Akhmatova: pro et contra* (Vols. 1–2). (Vol. 1, pp. 2–52). St Petersburg: RASG. (In Russian)

McCrea, S. (2005). *The Case for Shakespeare: The End of the Authorship Question*. Westport, Conn.: Praeger.

Mikhailova, G. (2010). Stikhotvornye posviashcheniia Anny Akhmatovoi v sotsio-kul'turnom prostranstve 1940–1960-kh godov [Anna Akhmatova's Dedications in Sociocultural Space (1940s–1960s)]. *Literatūra*, 52 (2), 63–79. (In Russian)

Nemirovsky, I. V. (2003). *Tvorchestvo Pushkina i problema publichnogo povedeniia poeta* [Pushkin's Lyrical Poetry and the Problem of the Poet's Public Behaviour]. St Petersburg: Giperion. (In Russian)

Pasternak, B. (1990). *Ob iskusstve. "Okhrannaia gramota" i zametki o khudozhestvennom tvorchestve* [On Art. *Safe Conduct* and Notes on Art and Creative Work]. Moscow: Iskusstvo. (In Russian)

Peshkov, I. V. (2015). *F1, ili Kniga dokazatel'stv: teorema Shekspira kak lemma avtorstva* [F1, or the Book of Evidence: Shakespeare's Theorem as a Lemma of Authorship]. Moscow: Ripol-Klassik. (In Russian)

Shapiro, J. (2010). *Contested Will: Who Wrote Shakespeare?* New York: Simon & Schuster; London: Faber and Faber.

Smith, E. (2008, April). The Shakespeare Authorship Debate Revisited. *Literature Compass*, 5, 618–632.

Timenchik, R. D. (2014). *Poslednii poet. Akhmatova v 1960-e gody* [The Last Poet: Anna Akhmatova in the 1960s] (Vol. 1). (2nd ed.). Moscow; Jerusalem: Mosty kul'tury / Gesharim. (In Russian)

Valéry, P. (1957). Questions de Poésie. In P. Valéry, *Œuvres I* (pp. 1280–1294). Paris: Gallimard; Bibliothèque de la Pléiade. (In French)

Valéry, P. (1976). *Ob iskusstve* [On Art]. Moscow: Iskusstvo. (In Russian)

Woodmansee, M. (2001). Genii i kopirait [The Genius and the Copyright]. *Novoe literaturnoe obozrenie*, 48, 35–48. (In Russian)

Zolyan, S. (2012). Pushkin v mirakh akhmatovskoi interpretatsii [Pushkin in the Worlds of Akhmatova's Interpretations]. In S. Zolyan, & M. Lotman, *Issledovaniia v oblasti semanticheskoi poetiki akmeizma* [Studies in the Semantic Poetics of Acmeism] (pp. 201–280). Tallinn: Tallinn University Press. (In Russian)

Михайлова Галина Павловна
доктор гуманитарных наук, профессор
кафедры русской филологии
Институт языков и культур стран
Балтийского региона
Вильнюсский университет
LT-01131, Литва, Вильнюс,
ул. Университето, 5
E-mail: galina.michailova@flf.vu.lt

Mikhailova, Galina Pavlovna
PhD (Humanities), Professor
Department of Russian Philology
Institute for the Languages and Cultures
of the Baltic
Vilnius University
5, Universiteto Str.,
LT-01131 Vilnius, Lithuania
Email: galina.michailova@flf.vu.lt

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.047
УДК 821.161.1-14 Ахматова + 808.1 + 392

М. В. Серова
Удмуртский государственный университет
Ижевск, Россия

СЕМАНТИКА НОВОГО ГОДА В ПОЭЗИИ АННЫ АХМАТОВОЙ

В статье рассматривается семантика Нового года в общем контексте лирики Ахматовой. Автор задается целью уточнить значение этого события в свете осмысления автором не только личной судьбы, которую поэт связывает с влиянием на нее календарного цикла. Лирическая героиня поэзии Ахматовой чувствительно воспринимает календарный «сдвиг», результатом которого стало появление в России особого праздника — «Старый Новый год», что расширило период святочного карнавала, соединив при этом два Сочельника, отличавших Рождество Христово от Богоявления. В сознании лирической героини это наложило отпечаток на восприятие всей русской «праздничной» жизни. Этот психологический сюжет сопровождается трагическим эмоциональным фоном, где воспроизводятся события любого праздника, особенно Нового года как обещания «нового горя» — новой череды человеческих жизней, приносимых в жертву Танатосу в разных его ипостасях. Героиня Ахматовой постоянно ощущает себя в страшном для нее святочном хронотопе, в центре которого располагается Новый год. В славянской традиции святочный ритуал предполагал обряд «игры в покойника». Эта фольклорная традиция отразилась в ранней лирике Н. Гумилева, предопределив сюжет праздника мертвых в «Новогодней балладе», и первой части «Поэмы без героя» А. Ахматовой. Новогодняя семантика пропитана в этой художественной системе эсхатологическим смыслом в понимании динамики как личного существования, так и всей истории «некалендарного XX века». В исследовании представлена тематическая подборка текстов, не привлекавшая ахматоведов в этой связи (в том числе и тексты, не вошедшие в основные сборники). Сделанный отбор с сопровождающей его интерпретацией позволяет глубже проникнуть в сложную символическую структуру психологии личности Серебряного века, которой пришлось пережить глобальные исторические катаклизмы и искать им если не рационально-логическое, то иррационально-мистическое объяснение. Ахматова, всегда чувствительная к датам, на этом уровне пыталась мучительно понять трагический «ребус бытия».

К л ю ч е в ы е с л о в а: календарный цикл; ритуал; праздничная обрядность; Новый год; космогония; судьба; жизнь; смерть.

Ц и т и р о в а н и е: *Серова М. В.* Семантика Нового года в поэзии Анны Ахматовой. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.047 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 66–74.

Поступила в редакцию 12.06.2019
Принята к печати 17.07.2019

© Серова М. В., 2019
CC BY-NC

Marina V. Serova
Udmurt State University
Izhevsk, Russia

NEW YEAR SEMANTICS IN ANNA AKHMATOVA'S POETRY

This article examines New Year semantics in the context of Anna Akhmatova's lyrical poetry. The author aims to define the meaning of this event in the context of the author's conceptualisation going beyond Akhmatova's personal destiny which she regards as affected by the calendar cycle. Akhmatova's lyrical heroine is sensitive to the calendar shift which resulted in the emergence of a peculiar Russian holiday, the so-called "Old New Year". It extended the period of Christmas carnival, thus combining two Christmas Eves which had distinguished Christmas from Epiphany. This affected the poet's lyrical heroine's perception of all Russian festive life. This psychological plot is accompanied by a tragical emotional background reproducing any holiday events, especially those of the New Year perceived as an omen of "new grief" and new human lives sacrificed to Thanatos in his different guises. Akhmatova's heroine constantly perceives herself as being in Christmas Eve chronotope scary for her with the New Year in its centre. In the Slavic tradition, there existed a Christmas Eve ritual of "playing dead". This folklore tradition was reflected in Nikolay Gumilyov's early poetry, having predetermined the "feast day of the dead" plot in the *New Year's Ballad* and the first part of the *Poem without a Hero* by Akhmatova. New Year semantics is permeated in this artistic system with eschatological sense in understanding dynamics both as personal existence and the entire history of the "split twentieth century". The article considers a thematic selection of Akhmatova's texts which have not been studied by researchers in this connection (including texts not to be found in her major collections). This selection accompanied by its interpretation makes it possible to look deeper into the complex symbolic structure of the psychology of a representative of the Silver Age who had to live through a number of global historical cataclysms searching for irrational and mystical explanations if not rational and logical ones. On this level, Akhmatova, who had always been sensitive to dates, painfully tried to solve the tragic riddle of being.

K e y w o r d s: calendar cycle; ritual; festive ritualism; New Year; cosmogony; destiny; life; death.

C i t a t i o n: Serova, M. V. (2019). Semantika Novogo goda v poezii Anny Akhmatovoi [New Year Semantics in Anna Akhmatova's Poetry]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 66–74. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.047

Submitted on 12 June, 2019
Accepted on 17 July, 2019

На сегодняшний день поэзия Анны Ахматовой достаточно хорошо изучена. Из богатой ахматоведческой традиции хочется в данном случае вспомнить статью О. Симченко, где раскрывается магистральная для Ахматовой тема памяти [Симченко, с. 507–508], исследования В. Н. Топорова, изучавшего ритуальный аспект творчества Ахматовой [Топоров, с. 16]. Л. Г. Кихней нашла продуктивный

ключ к «Поэме без героя» через мотив святочного гадания на зеркале [Кихней, с. 30]. Так или иначе, через систему фольклорно-мифологического сознания осмыслял лирику Ахматовой в своей монографии В. В. Мусатов [2016].

И все же в ритуально-мифологическом прототексте поэзии Ахматовой можно обнаружить аспекты, оставшиеся вне поля зрения исследователей. Обратимся к одному из них — так называемой «праздничной» стороне жизни в ахматовском мире, — для того чтобы глубже понять специфику мироощущения как лирической героини, так и самого автора.

В первом лирическом фрагменте цикла «Эпические мотивы» (1913) лирическая героиня следующим образом отражает свое изначальное отношение к жизни: «Так дивно знала я земную радость / И праздников считала не двенадцать, / А столько, сколько было дней в году» [Ахматова, 1990, с. 158], тем самым определяя психологические ритмы своего существования минимальной календарной единицей — днем, не ориентируясь на общую календарную обрядность.

Традиционная славянская праздничность во всем ее многообразии, хотя Ахматова, как свидетельствуют биографы [Найман, с. 29], всякий раз стремилась обратить внимание на свое «купальское» происхождение, мистифицируя дату праздника личного рождения, отражена в ее поэзии на удивление фрагментарно, хотя отношение к ней выражено вполне определенно. В пример можно привести одну социально-бытовую зарисовку, ярко отражающую общерусскую праздничную ментальность, в основе которой лежит трагический компонент. Это стихотворный фрагмент 1930-х гг.:

Я знаю, с места не сдвинуться
Под тяжестью Виевых век.
О, если бы вдруг откинуться
В какой-то семнадцатый век.
С душистою веткой березовой
Под Троицу в церкви стоять,
С боярынею Морозовой
Сладимый медок попивать,
А после на дровнях в сумерки
В навозном снегу тонуть...
Какой сумасшедший Суриков
Мой последний напишет путь?

[Ахматова, 1990, т. 1, с. 256]

«Рождественское» стихотворение 1921 г. дополняет этот жанровый контекст, при помощи фигуры умолчания указывая на драматический финал весьма чтимого в России праздника:

Пива светлого наварено,
На столе дымится гусь...
Поминать царя да барина

Станет праздничная Русь —
Крепким словом, прибауткою
За беседою хмельной;
Тот — забористою шуткою,
Этот — пьяною слезой.
И несутся речи шумные
От гульбы да от вина...
Порешили люди умные:
— Наше дело — сторона.

[Ахматова, 1990, т. 2, с. 37]

Что касается Нового года, от которого принято ожидать перемен к лучшему, в поэзии Ахматовой это страшный перелом не только в личной, но и в общенародной судьбе. Традиционное русское пожелание — «С Новым годом! С Новым счастьем!» — трансформируется в ее опыте в перверсивную формулу: «С Новым Годом! С Новым горем!». И это раскладывается уже не сменой радостно ожидаемых дней, как это было в «Эпических мотивах», а определяется не зависимой от нее сменой годичного цикла, влекущей за собой дурную повторяемость человеческих смертей. В цитируемом стихотворении он представлен как кровавая жатва на фоне пляски «кривоватого, горбатого, дикого» «озорника», в котором персонифицирован «праздник». Это стихотворение января 1940 г.:

С Новым годом! С Новым горем!
Вот он пляшет, озорник,
Над балтийским дымным морем,
Кривоват, горбат и дик.
И какой он жребий вынул
Тем, кого застенок минул?
Вышли в поле умирать.
Им светите, звезды неба!
Им уже земного хлеба,
Глаз любимых не видать.

[Ахматова, 1990, т. 1, с. 257]

Мотив «нового горя», приуроченный к личному мифу о счастливом рождении накануне Ивана Купала, звучит в стихотворении, написанном 7 июля 1959 г.:

Что нам разлука? — Лихая забава.
Беды скучают без нас.
Спьяну ли ввалится в горницу слава,
Бьет ли тринадцатый час?
Или забыты, забиты, за... кто там
Так научился стучать?
Вот и идти мне обратно к воротам
Новое горе встречать.

[Там же, с. 246]

«Тринадцатый час» — это момент неизбежной смерти. Ср. со стихотворением из «Заветной тетради», откуда взят вышеприведенный фрагмент:

Вы меня, как убитого зверя,
На кровавый подымите крюк,
Чтоб хихикая и не веря,
Иноземцы бродили вокруг
И писали в почтенных газетах,
Что мой дар несравненный угас,
Что была я поэтом в поэтах,
Но мой пробил тринадцатый час.

[Ахматова, 1990, т. 1, с. 247]

На перверсии «горе — счастье», «разлука — забава», в целом формирующей семантическое поле «обмана», реализуется сюжет встречи Нового года в стихотворении из «Итальянского дневника» (декабрь 1964 г.):

Мы по ошибке встретили год –
Это не тот, не тот, не тот...
Что мы наделали, Боже, с тобой,
С кем мы еще поменялись судьбой?

[Ахматова, 1990, т. 2, с. 80]

Сложные отношения человека порубежной эпохи с событием наступления Нового года применительно к постреволюционному периоду можно объяснить календарным сдвигом на *тринадцать* дней, в результате которого русская календарная обрядность обрела оксюморонное понятие — Старый Новый год. До этого сдвига календарный ритм русской жизни осуществлялся по закономерной логике: сначала Рождество Христово, которое совпадало с европейским (с 24 на 25 декабря) — в эту ночь отмечался Рождественский сочельник, — потом Святочная неделя, которая, как известно, приходится на период от Рождества до Крещения (6 января по старому стилю праздновался Крещенский Сочельник, ныне отмечаемый как Рождественский). И только по завершении всего русского карнавала, в основе которого, по Бахтину, лежит принцип переворачивания мира, наступал Новый год как новый виток в системе летоисчисления от Рождества Христова. Вспомним название последней книги из пятикнижия Ахматовой «Anno Domini XXI».

Именно поэтому Ахматова, как писал В. В. Мусатов [2016, с. 571], была озабочена идей восстановления масштабов исторического времени. Об этом писал и В. Муравьев:

> Для тех, кто близко общался с Ахматовой, было понятно значение этого общения и значение ее существования — это было восстановление масштаба. Поэзия всегда занимается тем, что восстанавливает значение жизни. Мы это значение в быту теряем. Теряем, растрачиваем, затираем, если угодно. А поэзия его восстанавливает. Любой жизни, даже обыденной. Ахматова, если угодно, жила в другом эоне, в другом, как выражается Бахтин, хронотопе [Муравьев, с. 63].

> В общем, делом последних лет ее жизни <...> делом, которое делалось каждый день, ежедневно, ежечасно, было восстановление масштабов человеческого существования. Масштабов совершенно мистифицированных и потерянных [Муравьев, с. 70].

Конечно, Ахматовой было исключительно важно сознавать, что пока еще мы живем в эпоху Anno Domini, а значит, как пишет В. Муравьев, «каждое мгновение нашей истории происходит в “Лето Господне”. Так что можно сказать, что мы живем в христианскую эпоху, в том эоне, центральные события которого евангельские, ничего не поделаешь. Да и другие события соотносятся с ними и даже стилизуются под них» [Там же].

Историческое смещение календарной цикличности не могло не сказаться на глубоко символическом мышлении личности Серебряного века, не могло не восприниматься как космогонический сдвиг, влекущий за собой катастрофические последствия:

> ...год более, чем просто символ; он как бы служит прототипом всех циклических процессов (дня, отрезка человеческой жизни, подъема и заката культуры, космического цикла и т. д. <...> Существовало первобытное верование, что каждый человек проходит процесс регенерации с декабря по июнь; этот процесс символизирует смерть и возрождение [Кэрлот, с. 143–144].

В «Прозе о поэме» Ахматова писала, что именно «ощущение Канунов, Сочельников — ось, на которой вращается вся вещь» [Ахматова, 1998, т. 3, 232], первая часть которой называется «Девятьсот тринадцатый год», на которую представлен взгляд «из года сорокового» [Там же, с. 40]. Поэтому вполне закономерно привлечение в качестве одного из автоэпиграфов стихотворения «Новогодняя баллада» («Отчего мои пальцы словно в крови...»), расширяющего сюжет поэмы до всего лирического контекста, в котором присутствует мотив прихода мертвых (ср.: «Заболеть бы как следует...»).

Жанровые (балладные) истоки этого мотива очевидны. Но прежде чем прикоснуться к их более глубинному, архаическому пласту, обратим внимание на тот факт, что святочные сочельники («Были Святки кострами согреты») происходят на фоне старой календарной традиции (до 1917 г.), а дата первого посвящения 27 декабря 1940 г., соотносимая со второй годовщиной гибели Мандельштама, очевидно, приводится по новому стилю. Таким образом, в «новогодней» поэме накладываются друг на друга две календарные парадигмы — старая и новая.

Кульминационным событием первой части является приход ряженых — мертвых теней, надевших на себя разные культурные маски: «Этот Фаустом...».

Ряженье в общеславянской (и не только) святочной традиции — самая важная часть карнавального действа. В народе в качестве основных ряженых персонажей выступали поп, солдат, медведь и т. п. Интересен до сих пор бытующий в некоторых областях (например, в бывшей Тверской губернии) обряд переодевания (игры) в покойника. Обратимся к специальному исследованию:

Игра в покойника в своем наиболее развернутом варианте включает в себя внос покойника; отпевание его ряженым «попом»; оплакивание его маскированными плакальщицами или девушками из зрителей; прощание с ним девушек, подводимых (нередко насильственно) ряженными, и целование ими покойника; оживление покойника; обегание им зрителей (иногда хватание девушек). «Оживление» покойника поцелуями «прощающихся» девушек [Лурье, с. 34–35].

В ранней лирике Н. С. Гумилева («Высоты и бездны») есть стихотворение, в котором юный поэт представляет свои торжественные похороны. Условно говоря, литературно «переодевается» в святочного «умруна»:

И я из светлого эфира,
Припомнив радости свои,
Опять вернулся в грани мира
На зов тоскующей любви.
И я раскинулся цветами,
Прозрачным блеском звонких струй,
Чтоб ароматными устами
Земным вернуть их поцелуй.

[Гумилев, т. 1, с. 34]

Таким образом, можно предположить, что стихотворение Гумилева, где представлена смерть воскресшего поэта в ореоле романтической идеи бессмертия, в глубине опирается на ритуально-обрядовую традицию, оглядка на которую, возможно, сказалась и в «Новогодней балладе» Ахматовой, предопределив приход ряженых к одинокой героине «Поэмы без героя», постоянно ощущающей себя в страшном для нее святочном хронотопе: «С детства ряженых я боялась...».

Но если ритуал — дело коллективное («Смешно, потому не страшно»), то для ахматовской героини это еще и хронотоп пустоты и изоляции в череде повторяющихся коллективных игрищ в смерть без воскрешения. В позднем четверостишии, не вошедшем в основные сборники, она констатирует свой одинокий статус по отношению к «празднику» жизни:

Пустые белые святки!
Мети метель! Мети!
И пусть дороги гладки,
Мне некуда идти.

[Ахматова, 1990, т. 2, с. 26]

«Новогодний текст» А. Ахматовой отражает сложную символическую структуру психологии личности Серебряного века, которой пришлось пережить глобальные исторические катаклизмы и искать им если не рационально-логическое, то иррационально-мистическое объяснение. Такое мироощущение в целом характеризует трагический психотип личности XX в., который Ахматова очень точно определила как «некалендарный», хотя и гордилась тем, что «жила в те годы и видела события, которым не было равных» [Ахматова, 1990, т. 1, с. 20].

Источники

Ахматова А. Сочинения : в 2 т. / под общ. ред. Н. Н. Скатова ; сост., подгот. текста М. М. Кралина. М. : Правда, 1990.

Ахматова А. Собрание сочинений : в 6 т. / сост., подгот. текста, коммент., ст. Н. В. Королевой. М. : Эллис Лак, 1998–2002.

Гумилев Н. С. Собрание сочинений : в 4 т. / под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. М. : «Терра» — «Terra», 1991.

Исследования

Кихней Л. Г. Мотив святочного гадания на зеркале как семантический ключ к «Поэме без героя» Анны Ахматовой // Вестн. МГУ. Сер. 9 : Филология. 1996. № 2. С. 27–37.

Кэрлот Х. Э. Словарь символов. М. : REFL-book, 1994.

Лурье М. Л. «Страшно, но и ничего, потому что шутки» (Персонажи ряженья Торопецкого района) // Живая старина. 1995. № 2. С. 34–37.

Муравьев В. Воспоминания об Анне Ахматовой // Анна Ахматова: последние годы. Рассказывают Виктор Кривулин, Владимир Муравьев, Томас Венцлова / сост., коммент. О. Е. Рубинчик. СПб. : Невский Диалект, 2001. С. 11–29.

Мусатов В. В. Пушкинская традиция в русской поэзии первой половины XX века. М. : Азбуковник, 2016.

Найман А. Рассказы о Анне Ахматовой : Из кн. «Конец первой половины XX века». М. : Худож. лит., 1989.

Симченко О. Тема памяти в творчестве Анны Ахматовой // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. 1985. Т. 44. № 6. С. 506–517.

Топоров В. Н. «Поэма без героя» в ритуальном аспекте // Анна Ахматова и русская культура начала XX века : тез. конф. / [редкол. В. В. Иванов и др.]. М. : [б. и.], 1989. С. 15–21.

References

Kerlot, J. E. (1994). *Slovar simvolov* [Dictionary of Symbols]. Moscow: REFL-book. (In Russian)

Kikhney, L. G. (1996). Motiv svyatochnogo gadaniya na zerkale kak semanticheskiy klyuch k "Poeme bez geroya" Anny Akhmatovoy [The Motif of Christmas Eve Fortune-telling with the Help of a Mirror as a Semantic Key to *Poem without a Hero* by Anna Akhmatova]. *Vestnik MGU. Ser. 9 Filologiya*, 2, 27–37. (In Russian)

Lurye, M. L. (1995). "Strashno, no i nichego, potomu chto shutki" (Personazhi ryazhenia Toropetskogo rayona) ["Spooky but That is All Right Because it is not True" (Christmas Eve Tipteerers of Toropetsky District)]. *Zhivaya starina*, 2, 34–37. (In Russian)

Muravyev, V. (2001). Vospominaniya ob Anne Akhmatovoy [Memoirs about Anna Akhmatova]. In O. E. Rubinchik (Comp.), *Anna Akhmatova: Posledniye gody. Rasskazyvayut Viktor Krivulin, Vladimir Muravyev, Tomas Venclova* [Anna Akhmatova: Last Years. Told by Viktor Krivulin, Vladimir Muravyev, Tomas Venclova] (pp. 11–29). St Petersburg: Nevsky dialect. (In Russian)

Musatov, V. V. (2016). *Pushkinskaya traditsiya v russkoy poezii pervoy poloviny XX veka* [Pushkin Tradition in the Russian Poetry of the Early 20th Century]. Moscow: Azbukovnik. (In Russian)

Naiman, A. (1989). *Rasskazy o Anne Akhmatovoi : Iz kn. "Konets pervoy poloviny XX veka"* [Stories about Anna Akhmatova: From the Book "The End of the Early 20th Century"]. Moscow: Khudozhestvennaia literatura. (In Russian)

Simchenko, O. (1985). Tema pamyati v tvorchestve Anny Akhmatovoi [The Topic of Memory in Anna Akhmatova's Creative Work]. *Izvestia AN SSSR. Seriia literatury i iazyka, 44*(6), 506–517. (In Russian)

Toporov, V. N. (1989). "Poema bez geroia" v ritualnom aspekte [*Poem without a Hero* in the Ritual Aspect]. In V. V. Ivanov et al. (Eds.), *Anna Akhmatova i russkaja kultura nachala XX veka: tezisy*

konferentsii [Anna Akhmatova and the Russian Culture of the Early 20th Century: Conference Abstracts] (pp. 15–21). Moscow: [s. n.]. (In Russian)

Серова Марина Васильевна
доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры истории русской
литературы и теории литературы
Удмуртский государственный университет
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1
E-mail: serova1967@ inbox.ru

Serova, Marina Vasilyevna
Dr. Hab. (Philology), Associate Professor,
Professor, Department of Russian Literature
and Literary Theory
Udmurt State University
1, Universitetskaya Str., 426034 Izhevsk,
Russia
Email: serova1967@ inbox.ru

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.048
УДК 821.161.1-14 Ахматова +
+ 821.161.1-3 Ахматова + 82.091

Н. А. Рогачева
Тюменский государственный университет
Тюмень, Россия

СИБИРЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОПТИКЕ АННЫ АХМАТОВОЙ
(контекст стихотворения «Немного географии»)

В статье рассматривается структура сибирского текста в поэзии и прозе Анны Ахматовой, преимущественно сложившегося в ее творчестве 1930–1940-х гг. Цель исследования — установление повторяющихся, системных признаков авторского пространства Сибири с учетом методологических принципов рассмотрения «психофизиологических» пространств, сформулированных в ряде работ В. Н. Топорова. Сибирский локус Ахматовой диалогически и полемически соотнесен с лирикой О. Мандельштама, прозой Л. Н. Толстого, поэзией ссыльных декабристов. В нем нет привычных для русской литературы «общих мест», ландшафтных деталей, место которых занимают имена собственные (топонимы, наименования лиц). Основным объектом историко-культурного комментария является стихотворение «Немного географии» («Не столицею европейской»), написанное одновременно с поэмой «Реквием» в 1937 г. В статье выявлены контекстные связи стихотворения с другими произведениями Ахматовой (поэма «Русский Трианон», «Поэма без героя» и др.), с лирикой А. И. Одоевского, с романами Л. Н. Толстого «Воскресение», «Война и мир» и др. Установлена структура перцептивного пространства в стихотворениях Ахматовой о Сибири, которая основана на подавлении зрительного восприятия и повторении ольфакторных признаков. Отказ от внешнего изображения Сибирской земли, акцент на интертекстуальном характере сенсорных мотивов позволяют предположить, что в художественной оптике Ахматовой Сибирь представлена как точка зрения на мир, как исток катастрофического сознания лирического субъекта и мотивировка пророческих форм лирического высказывания с их принципиальной незавершенностью и фрагментарностью композиции.

Ключевые слова: Анна Ахматова; «Немного географии»; художественная оптика; сибирский текст; сибирские топонимы; интертекстуальность; психофизиологическое пространство; Л. Н. Толстой; А. И. Одоевский.

Цитирование: *Рогачева Н. А.* Сибирь в художественной оптике Анны Ахматовой (контекст стихотворения «Немного географии»). DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.048 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 75–84.

Поступила в редакцию 21.05.2019
Принята к печати 21.06.2019

© Рогачева Н. А., 2019
BY-NC

Natalia A. Rogacheva
Tyumen State University
Tyumen, Russia

SIBERIA IN THE ARTISTIC VISION OF ANNA AKHMATOVA (the Context of *A Little Geography*)

This article examines the structure of Siberian text in Anna Akhmatova's poetry and prose; this type of text took shape in her works in the 1930s–1940s. The purpose of this study is to establish recurrent systematic attributes of the author's image of Siberian space relying on the methodological principles of scrutiny of "psychophysiological spaces" put forward by V. N. Toporov in some of his research. Akhmatova's Siberian locus establishes a dialogue and debate with Osip Mandelstam's poetry, Leo Tolstoy's prose, and exiled Decembrists' poetry. It does not have the usual "commonplaces" of Russian literature or landscape details; in their place, there are proper names (toponyms and people's names). The primary object of this historical and cultural commentary is the poem *A Little Geography* (*Not like a European Capital*), written in 1937, at the same time as *Requiem*. This research demonstrates the poem's context connections with other poems by Akhmatova (*The Russian Trianon*, *Poem without a Hero*, etc.), with Alexander Odoevsky's poetry, Leo Tolstoy's novels *Resurrection* and *War and Peace*, etc. In Akhmatova's poetry about Siberia, the author of the article observes the structure of perceptive space which restrains the visual perception and builds on the repetition of olfactory references. The absence of a formal description of the Siberian territory and emphasis on the intertextual character of sensory motifs makes it possible to suggest that in Akhmatova's artistic vision, Siberia is a vantage point, a source of the poet's calamitous perception and a reason for prophetic phrasing represented in the incompleteness and fragmentariness of the composition of the poem.

K e y w o r d s: Anna Akhmatova; *Some Geography*; artistic vision; Siberian text; Siberian toponyms; intertextuality; psychophysiological space; Leo Tolstoy; Alexander Odoevsky.

C i t a t i o n: Rogacheva, N. A. (2019). Sibir' v khudozhestvennoi optike Anny Akhmatovoi (kontekst stikhotvoreniia "Nemnogo geografii") [Siberia in the Artistic Vision of Anna Akhmatova (the Context of *A Little Geography*)]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 75–84. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.048

Submitted on 21 May, 2019
Accepted on 21 June, 2019

В творчестве Анны Ахматовой найдется немало географических и литературных фактов, связанных с Сибирью. Ахматова переводила письма А. Н. Радищева из Тобольска [Серман], возвращалась к теме казненных и сосланных декабристов в штудиях о Пушкине, в ее поэзии упоминаются сибирские географические реалии, наконец, сибирская каторга стала сквозным мотивом значительного числа ее произведений. Структура авторского, сугубо ахматовского, пространства Сибири

формируется, подобно другим локальным образам, в диалоге со сложившейся литературной топикой, внешне базируется на комплексе мотивов, исторически закрепленных за Сибирью в русской культуре. В свою очередь сибирский локус обладает у Ахматовой постоянными признаками, позволяющими осторожно проецировать художественное видение места на психологию его создателя. В. Н. Топоров говорит о двух путях, которыми может идти исследователь художественного пространства. Первый, «обычный», представляет собой набор операций по установлению отличий авторского хронотопа от сложившейся в культуре «усредненно-нейтральной» нормы репрезентации того или иного топоса. Второй — неочевидный — направлен на выявление пространственных образов и мотивов, которые «навязчиво» повторяются в творчестве писателя и обусловлены «психо-ментальными особенностями автора, сохраняющими еще связи со сферой биологического» [Топоров, с. 447, 448].

Обратим внимание, что топоним Сибирь единожды встречается у Ахматовой в словосочетании «Сибирская Земля» [Ахматова, т. 1, с. 344], упоминается лишь в качестве признака ландшафтной детали («*И парк безлюден, как сибирский лес*» [Записные книжки, с. 177] — строка, не вошедшая в поэму «Русский Трианон») или метеорологической приметы: «*сибирская вьюга*». Тем не менее, за такими эпитетами узнается отнюдь не природное, а историческое содержание. Вой *сибирской вьюги* вместе с лирической героиней слышат ее *невольные подруги* по тюремной очереди («Реквием»). «*Безлюдье*» царскосельского парка относится к общей теме «одичания» культуры в поздних стихотворениях Ахматовой о Царском Селе (ср.: «*Одичалые розы пурпурным шиповником стали*» [Ахматова, т. 1, с. 283]), внутренне связанной с образом Сибири:

Семь тысяч и три километра...
Не услышишь, как мать зовет
В грозном вое полярного ветра,
В тесноте обступивших невзгод.

Там дичаешь, звереешь — ты милый! —
Ты последний и первый — ты наш.
Над моей ленинградской могилой
Равнодушная бродит весна...

[Там же, с. 258]

При этом в лирике Ахматовой присутствует множество наименований сибирских географических реалий, выбор которых строго детерминирован. Сибирь как каторга — одно из *loci communes* русской культуры — входит в ее поэзию в тридцатые годы, что обусловлено известными трагическими обстоятельствами биографии поэта и истории России. В «Реквиеме» и примыкающих к поэме стихотворениях мотивы сибирской каторги связывают современность с пушкинской эпохой [см.: Ерохина, с. 198–199]. Л. К. Чуковская вспоминает о закодированном разговоре («Пушкин ни при чем, это шифр»), сопровождавшем чтение стихотворения «Не столицею европейской...»: «Объяснила мне

как пушкинистка, кого он имел в виду, когда писал о Европе». Комментируя эпизод, автор замечает: «Объяснила, что ее стихотворение посвящено Осипу Мандельштаму» [Чуковская, т. 1, с. 74, 75]. В «Листках из дневника» Ахматова сообщает, что «последний стих» Мандельштам принял (справедливо) «на свой счет» [Ахматова, т. 2, с. 166]. В результате события 1938 г. (арест, этап через Сибирь и смерть в пересыльном лагере Владивостока) выглядят как сбывшееся пророчество. К Мандельштаму отсылает и заглавие стихотворения «Немного географии», восстановленное по записным книжкам А. Ахматовой (Л. К. Чуковская отмечает, что в 1937 г. заглавия не было).

М. М. Кралин вслед за Л. К. Чуковской считает, что название подсказано книгой П. Н. Лукницкого «Путешествие по Памиру» [Ахматова, т. 1, с. 417]. Возможно, оно перекликается и со стихами из «Канцоны» О. Мандельштама, которая в рукописи имела заголовок «География»: «*Я покину край гипербореев,* / *Чтобы зреньем напитать судьбы развязку...*» [Мандельштам, т. 1, с. 176]. А. Д. Михайлов и П. М. Нерлер ссылаются на мнение Н. Я. Мандельштам о том, что «главной “смысловой проблемой”» этого текста является «вожделенное путешествие» в Средиземноморье, которое «осуществляется усилием зрения» [Там же, с. 513–514]. Реальный путь поэта из «края гипербореев» оказался стократ страшнее — на восток, на север, в Сибирь.

В «Немного географии» Т. В. Цивьян отметила топонимическую точность, указав, что «обилие топонимов, кодирующих одну реалию», «контрастирует с обилием местоименных указателей, каждый из которых однозначен» [Цивьян, с. 172]. «Реалия», т. е. собственно Сибирь, представленная в перечне географических названий, разворачивается в сюжет каторжного пути, мыслимого как фактический и символический:

Не столицею европейской
С первым призом за красоту –
Душной ссылкою енисейской,
Пересадкою на Читу,
На Ишим, на Иргиз безводный,
На прославленный Акбасар,
Пересадкою в лагерь Свободный,
С трупным запахом грязных нар, —
Показался мне город этот
Тою полночью голубой,
Он, воспетый первым поэтом,
Нами грешными — и тобой.

[цит. по: Чуковская, т. 1, с. 74–75]

Помимо мандельштамовского слоя, многократно отмеченного исследователями [см.: Цивьян, с. 172], в стихотворении пересекаются мотивы иных невольных «путешествий», память о которых инкорпорирована в географические названия. В Чите находился знаменитый Читинский острог — место первоначальной каторги большинства декабристов. Не предназначенный для такого числа

«государственных преступников», он запомнился исключительной «теснотой». И вновь отметим скрещивание декабристской темы с поэзией О. Мандельштама: героем стихотворения «Декабрист» (1917) является ссыльнокаторжный (см. трактовку стихотворения [Гаспаров, с. 223]). Именно в Читинском остроге А. Г. Муравьева, жена Никиты Муравьева, передала декабристам послание А. С. Пушкина «Во глубине сибирских руд...», которое, как известно, Ахматова цитирует в «Реквиеме». Здесь А. И. Одоевским был написан стихотворный ответ на послание. Реминисценция из стихотворения Одоевского «Бал» попала в «Поэму без героя» (см. комментарий М. М. Кралина [Ахматова, т. 1, с. 431]).

Называя Ишим — город в Тобольской губернии — вслед за Читой, автор следует по пути Одоевского, который отбывал ссылку в Ишиме в 1836–1837 гг. К слову сказать, город — место ссылки, а не каторги, не входил в систему ГУЛАГа. Логично предположить, что Акбасар (Атбасар) — город в Целиноградской (Акмолинской) области — также имеет отношение к судьбе Одоевского. Одним из постоянных адресатов его лирических посланий является Адольф Михайлович Янушкевич, сосланный в Сибирь после польского восстания 1830–1831 гг., весть о котором вызвала у Одоевского воспоминание о казненных декабристах:

Пять жертв встают пред нами; как венец,
Вкруг выи вьется синий пламень.

Сей огнь пожжет чело их палачей,
Когда пред суд властителя царей
И палачи и жертвы станут рядом...

[Одоевский, с. 143]

Позднее Янушкевич служил в Пограничном управлении сибирских киргизов, много путешествовал по северным районам Казахстана, в 1840-х гг. записывал казахский фольклор. Уже в системе советского ГУЛАГа Атбасар стал крупнейшим пересыльным пунктом, известным необычайной скученностью. Завершает азиатско-сибирскую «географию» лагерь Свободный — целый город в Хабаровском крае, поглощенный системой ГУЛАГа.

В топографической системе стихотворения Ахматовой доминирует метаморфоза. Сибирский ландшафт — всего лишь иллюзия Петербурга, *показавшегося* лирической героине пересыльной тюрьмой. О деформациях ахматовской «географии» позволяет судить эпитет «*безводный*», отнесенный к Иргизу — реке в Северном Казахстане. Заметим, что именно реки (Иртыш, Енисей, Лена и др.) составляют базовую сигнатуру сибирского ландшафта в русской поэзии, начиная с М. В. Ломоносова. В мире Ахматовой, напротив, акцентирована «материковость» пространства: так, Енисей называется в сочетании с «равниной»: «*Вот и доспорился, яростный спорщик, / До енисейских равнин...*» [Ахматова, т. 1, с. 258]. Такое заземление Сибири строго мотивировано художественной оптикой — земля предназначена для похоронной процессии, сама ее почва замешана на прахе тех, кто стал «*лагерной пылью*»:

И был долог путь погребальный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли

[Ахматова, т. 1, с. 344]

«Осибиренный» Петербург — один из ахматовских парадоксов, высвечивающих феноменологический характер ее поэтической образности. Это та точка пространства, где сходятся исторические эпохи: девятнадцатый век встречается с началом и серединой двадцатого. Сибирь неявно присутствует уже в Петербурге Серебряного века, каким его видит Ахматова «*из года сорокового*». В стихотворениях 1930–1940-х гг. и в прозе о «Поэме без героя» упоминаются Григорий Распутин и Анна Вырубова, причем в контаминации с деталями из пушкинского времени. Вырубова, дважды побывавшая на родине Распутина, в селе Покровском Тобольской губернии [Вырубова, с. 104, 185–187], по сходству имен ассоциируется с Анной Керн и с условным «автором» поэмы «Русский Трианон»: «*Попала в вавилонские блудницы, / А тезка мне и лучший друг царицы*» [Ахматова, т. 1, с. 177].

В «Записных книжках» Ахматова отметила неточность «онегинской» интонации своей поэмы [Записные книжки, с. 177], усилив тему навязанного двойничества автора и персонажа. «*Áнглийский акцент*», с которым говорят дамы, одетые в «сарафанчики», может быть отнесен как к историческим реалиям или маскарадной атмосфере начала XX в., так и к самой Ахматовой — внимательному читателю не только Шекспира, но и Джойса [Чуковская, т. 1, с. 20, 211, 347].

Не менее разительно попадание Распутина в череду двойников автора-повествователя и персонажей «Поэмы без героя» [см.: Тименчик, т. 1, с. 222, 363; т. 2, с. 323]. Распутин — одна из «масок», не вошедших в окончательный текст: «Хиромант или Распутин и все вокруг нее. [Во фраке хромает]. Показывает всем их будущее...» [Записные книжки, с. 85]. В набросках либретто балета по «Поэме без героя» вновь возникает гротескный образ Распутина: «И не поручусь, что там в углу не поблескивают очки Розанова и не клубится борода Распутина» [Ахматова, т. 1, с. 365]. Распутинская «борода» не остается простой приметой внешности «сибирского старца» — она вызывает в памяти иную «бороду», Хомякова из «Стихов о русской поэзии» О. Мандельштама.

На фоне устойчивых определений Сибири как «бескрайнего» пространства, поражающего наблюдателя своей огромностью, сибирский локус Ахматовой характеризуется демонстративно противоположными признаками — узостью, теснотой, отсутствием какой бы то ни было перспективы. Более того, в «Немного географии» сужение пространства выполняет сюжетообразующую функцию. Происходит метаморфоза «голубой полночи», лишенной пространственных границ, в замкнутый образ «солдатских нар». «Духота» и грязь становятся затем постоянными признаками Петербурга: «*Самый черный и душный самый / Это город Пиковой Дамы*» [Записные книжки, с. 26].

Столь же отчетливо в стихотворении «Немного географии» изменяется структура перцептивного пространства — от зрительного восприятия к обонятельному. По точному наблюдению Р. Д. Тименчика, вхождение в эпоху через запахи — постоянный признак художественной оптики Ахматовой [Тименчик, т. 1, 126]. Мысленное и шокирующее схождение перспективы в точку обонятельных впечатлений связано со знаменитыми ольфакторными образами Л. Н. Толстого. На один из них иронически обратила внимание сама Ахматова: «*Война, разводы, длинные романы — / "Новь", "Воскресенье", "Рудин" и "Нана"*» («Из погибшей поэмы») [Ахматова, т. 2, с. 90]. В повествовании толстовского романа, где многократно указывается на «безобразие» каторжного быта, запахи отмечены особенно, они вызывают у Нехлюдова отвращение к жизни, экзистенциальную «тошноту»:

> Послышался переливчатый звук цепей, и пахнуло знакомым тяжелым запахом испражнений и дегтя.
>
> Оба эти впечатления — гул голосов с звоном цепей и этот ужасный запах — всегда сливались для Нехлюдова в одно мучительное чувство какой-то нравственной тошноты, переходящей в тошноту физическую. И оба впечатления смешивались и усиливали одно другое [Толстой, т. 13, с. 396].

Этическая оценка, где смешиваются чувства отвращения и вины, так или иначе присутствует в сибирской теме ахматовской лирики. В особенности — вины за положение «зрителя», на которое обречен всякий поэт. Именно этим чувством, возможно, и продиктовано то подавление слуха (*сибирская тишина*) и зрения, которое мы наблюдаем в «Немного географии» и в более поздних, зачастую незавершенных стихотворениях:

Как слепоглухонемая,
Которой остались на свете
Лишь запахи, я вдыхаю
Сырость, прелость, ненастье
И мимолетный дымок...

[Ахматова, т. 2, с. 73]

Не менее вероятным представляется другой толстовский подтекст ольфакторного образа Сибири в поэзии Ахматовой. Речь идет об описании первой встречи Пьера Безухова с Платоном Каратаевым в романе «Война и мир». Сильный запах пота, «отделявшийся» от Каратаева при каждом его движении, Толстой показывает как первый шаг, выводящий Пьера из состояния интеллектуального бессилия при виде казни. Повторяющиеся определения «бессмысленности» происходящего («*не понимал*», «*не понимал значения*» и др.) сменяются перечнем ощущений, восходящих от обоняния («*заметил сначала по крепкому запаху пота*» [Толстой, т. 7, с. 50]) к зрению, которые и возвращают герою способность говорить и думать. Причем возвращение совершается через общую речь, чужие слова — пословицы, которыми разговаривает Платон.

В мире Ахматовой тема Сибири сопровождается мотивами сумасшествия: «*Какой сумасшедший Суриков / Мой последний напишет путь?*» [Ахматова, т. 1, с. 256]; «*И мне в сумасшедшей палате / Валяться — великая честь*» [Там же, с. 258]. Трактовки этой темы в позднем творчестве (начиная с «Реквиема») по справедливости неоднозначны. По словам Г. М. Темненко, «душевное состояние» лирической героини «близко к умопомрачению». Но «для того, чтобы рассказать о потерявшем рассудок мире, надо было сохранить остроту взгляда и глубину мысли» [Темненко, с. 266, 267]. В монографии М. В. Серовой со ссылкой на проницательное замечание И. Бродского отмечена связь темы с этикой поэтического творчества: только «сумасшедший» художник вправе говорить о бесноватом мире [Серова, с. 139]. Существенно, что «бесноватость» Ахматова относит не только к Петербургу («*Достоевский и бесноватый*»), но и к «Поэме без героя» («*И, бесовскою черной жаждой / Одержима, не знала, как / Мне разделаться с бесноватой...*» [Ахматова, т. 1, с. 351], перенося признак активного действия с творца на его творение.

При насыщенности топонимами сибирский локус в стихотворениях Ахматовой не топографичен, не развернут в поэтический ландшафт, в нем нет «пейзажей», обязательных для русской поэзии о Сибири, с их «бурными» реками, горами и тайгой. И вновь можно отметить «дальнодействие» толстовской поэтики в лирических текстах Ахматовой — говоря о пути Катюши Масловой в Сибирь, повествователь не упоминает пейзажных деталей, но подробно описывает «безобразные» сцены арестантского быта. Тем не менее, Ахматова остается «антитолстовцем»: ни в какое «воскресение» и «счастье» человека, прошедшего каторжный путь, она не верит. Вновь ее союзником (теперь уже в отталкивании от Толстого) оказывается Осип Мандельштам: «Осип <...> сказал, что для романа нужна по крайней мере каторга Достоевского или десятины Льва Толстого» [Ахматова, т. 2, с. 163]. В «Северных элегиях» Ахматова не случайно назвала Достоевского с помощью перифразы: «*омский каторжанин*», не только указав на место его сибирской каторги, но и подчеркнув ее неизжитость в сознании автора. Как видно, тема Сибири становится проблемой художественного письма, переходит в область вопросов о том, какой должна стать литература после эпохи массового террора.

Сибирь оказалась даже не близко — она интериоризирована сознанием автора. В стихах Ахматовой сибирское пространство подано как удаленное, и его даль имеет вполне реальное измерение. В Эпилоге «Поэмы без героя» есть характерное замечание: «*Голос автора, находящегося за семь тысяч километров, произносит...*» [Ахматова, т. 1, с. 341]. Определенно речь идет о расстоянии до Ташкента. «*Окончено в Ташкенте 18 августа 1942*», — пишет Ахматова. На первый взгляд, Сибирь ни при чем. Но та же метрология применена для указания на место ссылки сына Ахматовой Льва Николаевича Гумилева: «*семь тысяч и три километра*». С одной стороны, невозможно не заметить символического сходства расстояний и их полярности — север и юг азиатской России. С другой — за схождением скрывается один из ключевых ахматовских комплексов — равной

вины и равного страдания тех, кто наказан, и тех, кого вынудили исполнять наказание. В 1962 г., в разговоре с Л. К. Чуковской о Герцене Ахматова просила прочитать сцену наказания шпицрутенами участников польского восстания 1837 г. и в ответ создала эпиграмматический образ каторжной Сибири: «Черный крест на белом снегу» [Чуковская, т. 2, с. 580].

Два ключевых мотива ахматовской «сибириады» — каторжный путь и рождение новых форм письма — составляют контрастную пару, в которой отношения антитезы перекрываются логикой взаимодополнительности. Сибирь, сигнатура которой исчерпывающе представлена ссыльнокаторжными поселениями, уходит вглубь стиля, становится не объектом изображения, а способом видения, способом мышления, порождающего «визионерские» ассоциации событий и людей.

Источники

Ахматова А. Сочинения : в 2 т. / сост. и подгот. текста М. М. Кралина. М. : Цитадель, 1996.

Вырубова А. А. Фрейлина Ее Величества. «Дневник» и воспоминания. М. : Сов. писатель, 1990.

Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966) / сост. и подгот. текста К. Н. Суворовой ; вступ. ст. Э. Г. Герштейн ; науч. консультирование, вводные заметки к записным книжкам, указатели В. А. Черных. М. ; Torino : Giulio Einaudi editore, 1996.

Мандельштам О. Э. Собрание сочинений : в 2 т. / сост. П. М. Нерлера ; подгот. текста и коммент. А. Д. Михайлова и П. М. Нерлера ; вступ. статья С. С. Аверинцева. М. : Худож. лит., 1991.

Одоевский А. И. Полное собрание стихотворений. Л. : Сов. писатель, 1958.

Толстой Л. Н. Война и мир // Толстой Л. Н. Собр. соч. : в 22 т. М. : Худож. лит., 1980. Т. 6; М. : Худож. лит., 1981. Т. 7.

Толстой Л. Н. Воскресение // Толстой Л. Н. Собр. соч. : в 22 т. М. : Худож. лит., 1983. Т. 13.

Исследования

Гаспаров М. Л. Orpheus faber. Труд и постоянство в поэзии О. Мандельштама // Гаспаров М. Л. Избр. ст. М. : Новое лит. обозрение, 1995. С. 221–237.

Ерохина И. В. Гений и злодейство: пушкинский подтекст в «Реквиеме» Анны Ахматовой // Вопр. литературы. 2006. № 4 (июль-август). С. 198–222.

Серман И. З. Радищев и Ахматова // А. Н. Радищев: русское и европейское Просвещение : материалы Междунар. симп., 24 июня 2002 г. / [редкол. : Н. Д. Кочеткова (отв. ред.) и др.]. СПб. : С.-Петерб. науч. центр РАН, 2003. С. 9–18.

Серова М. В. Анна Ахматова: Книга Судьбы (феномен «ахматовского текста»: проблема целостности и логика внутриструктурных взаимодействий). Ижевск ; Екатеринбург : [б. и.], 2005.

Темненко Г. М. Анна Ахматова: опыты интертекстуальных и имманентных прочтений. Симферополь : АРИАЛ, 2013.

Тименчик Р. Д. Последний поэт. Анна Ахматова в 60-е годы : в 2 т. М. : Мосты культуры / Гешарим, 2014.

Топоров В. Н. Об индивидуальных образах пространства («Феномен» Батенькова) // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М. : Прогресс — Культура, 1995. С. 446–475.

Цивьян Т. В. «Золотая голубятня у воды...»: Венеция Ахматовой на фоне других русских Венеций // Цивьян Т. В. Семиотические путешествия. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2001. С. 40–51.

Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой : в 3 т. М. : Согласие, 1997.

References

Chukovskaya, L. K. (1997). *Zapiski ob Anne Akhmatovoi* [Notes about Akhmatova] (Vol. 1). Moscow: Soglasie. (In Russian)

Erokhina, I. V. (2006, July-August). Genii i zlodeistvo: pushkinskii podtekst v "Rekvieme" Anny Akhmatovoi [Geniuses and Villainy: Pushkin's Overtones in *Requiem* by Anna Akhmatova]. *Voprosy literatury*, 4, 198–222. (In Russian)

Gasparov, M. L. (1995). Orpheus faber. Trud i postoianstvo v poezii O. Mandelshtama [Orpheus Faber. Work and Continuity in the Poetry of O. Mandelstam]. In M. L. Gasparov, *Izbrannye statji* [Selected Articles] (pp. 221–237). Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian)

Serman, I. Z. (2003). Radishchev i Akhmatova [Radishchev and Akhmatova]. In N. D. Kochetkova (Ed.), *A. N. Radishchev: russkoe i evropeiskoe Prosveshchenie: materialy Mezhdunarodnogo simpoziuma, 24 iiunia 2002* [A. N. Radishchev: The Russian and European Enlightenment. International Symposium Materials, June 24, 2002] (pp. 9–18). St Petersburg: St Petersburg Research Center RAN. (In Russian)

Serova, M. V. (2005). *Anna Akhmatova: Kniga Sud'by (fenomen "akhmatovskogo teksta": problema tselostnosti i logika vnutristrukturnykh vzaimodeistvii)* [Anna Akhmatova: The Book of Fate (The Phenomenon of 'Akhmatova's Text': The Problem of Completeness and Intrastructural Interactions)]. Izhevsk; Yekaterinburg: s. n. (In Russian)

Temnenko, G. M. (2013). *Anna Akhmatova: opyty intertekstual'nykh i immanentnykh prochtenii* [Anna Akhmatova: An Attempt at Intertextual and Immanent Perusal]. Simferopol: ARIAL. (In Russian)

Timenchik, R. (2014). *Poslednii poet. Anna Akhmatova v 60-e gody* [The Last Poet. Anna Akhmatova in the 1960s] (Vols. 1–2). Moscow: Mosty kul'tury / Gesharim. (In Russian)

Toporov, V. N. (1995). Ob individual'nykh obrazakh prostranstva ("Fenomen" Baten'kova) [On Individual Images of Space (Batenkov's *Phenomenon*)]. In V. N. Toporov, *Mif. Ritual. Simvol. Obraz: Issledovaniia v oblasti mifopoeticheskogo: Izbrannoe* [Myth. Ritual. Symbol. Image: Studies in the Sphere of the Mythopoetic: Selected Writings] (pp. 446–475). Moscow: Progress — Kul'tura. (In Russian)

Tsiv'yan, T. V. (2001). "Zolotaia golubiatnia u vody...": Venetsiia Akhmatovoi na fone drugikh russkikh Venetsii ["Golden dovecote near the water": Akhmatova's Venice as Compared to Other Russian Venices]. In T. V. Tsiv'yan, *Semioticheskie puteshestviia* [Semiotic Journeys] (pp. 40–51). St Petersburg: Izdatel'stvo Ivana Limbakha. (In Russian)

Рогачева Наталья Александровна
доктор филологических наук, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы
Тюменский государственный университет
625003, Тюмень, ул. Володарского, 6
E-mail: n.a.rogacheva@utmn.ru

Rogacheva, Natalia Aleksandrovna
Dr. Hab. (Philology), Head of the Department of Russian and Foreign Literature
Tyumen State University
6, Volodarsky Str., 625003 Tyumen, Russia
Email: n.a.rogacheva@utmn.ru
ORCID: 0000-0001-8424-1861

НОМИНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ В ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: ВОСТОК И ЗАПАД

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.049
УДК 314.146(439) + 314.5(439) + 303.7 + + 314.02 + 004.65

Петер Ори
Венгерский институт демографических исследований
Будапешт, Венгрия

БРАК И РОЖДЕНИЕ ПЕРВОГО РЕБЕНКА В ВЕНГРИИ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в. (на примере поселения Жамбек)*

Семья — социальный институт, который наряду с другими отвечает за демографическое воспроизводство населения. Создание семьи в европейских сообществах в прошлом являлось условием начала демографического воспроизводства: между вступлением в первый брак и рождением первого ребенка обычно проходило совсем немного времени. Следовательно, брак напрямую влиял на прирост населения: частота заключения браков и их продолжительность могли оказывать существенное влияние на рождаемость. Процент тех, кто когда-либо вступал в брак, напрямую соотносился с общим уровнем рождаемости, а продолжительность браков, наряду с частотой случаев вдовства, продолжительностью вдовства и частотой повторных браков, влияла на брачную рождаемость, определяя продолжительность репродуктивной фазы в жизни женщины. Кроме того, брак можно считать одним из поворотных моментов на жизненном пути человека. Данная статья посвящена анализу возраста вступления в первый брак и времени рождения первого ребенка в Венгрии на примере поселения Жамбек в период с XVIII в. до начала Второй мировой войны. Основная цель исследования — изучить детерминанты первого брака для мужчин и женщин на индивидуальном уровне и в долгосрочной перспективе. В качестве источниковой базы были использованы лонгитюдные данные по составу семей и сведения о событиях жизненного цикла, полученные из приходских метрических книг католического

* Исследование выполнено при поддержке Национального бюро по исследованиям, развитию и инновациям Венгрии (NKFI, проект № 113100 «Демографический переход в микроперспективе Венгрии XIX–XX вв.»).

© Ори П., 2019
BY-NC

поселения Жамбек. Данные о браках были проанализированы с применением моделей анализа наступления событий (регрессия Кокса).

К л ю ч е в ы е с л о в а: Венгрия; брачность; репродуктивная фаза жизни; возраст вступления в первый брак; миграции; базы данных; переписи.

Ц и т и р о в а н и е: *Ори П.* Брак и рождение первого ребенка в Венгрии XVIII — первой половины XX в. (на примере поселения Жамбек). DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.049 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 85–103.

Поступила в редакцию 25.11.2018
Принята к печати 17.07.2019
Пер. с англ. Е. С. Пургиной, Е. М. Главацкой

Péter Őri
Hungarian Demographic Research Institute
Budapest, Hungary

MARRIAGE AND THE FIRST BIRTH IN ZSÁMBÉK, HUNGARY (18th — Early 20th Centuries)

Family is a social institution ensuring the demographic reproduction of populations. It starts with the creation of a stable partnership, in the past almost exclusively a marriage according to prevailing norms. Thus, this ritual generally began the demographic reproduction in historical societies, at least in Europe where the first marriage and first birth were close in time. Consequently, marriage customs had a direct impact on population development. The frequency of marriages and the time spent in marriage significantly affected fertility. The percentage of those who had been married was closely related to the level of fertility, whereas the duration of marriages affected marital fertility by determining the length of women's reproductive phase together with the frequency and time of widowhood and remarriages. Besides, marriage can be considered one of the key turning points in the life course. In this paper, the author analyses the age of first marriage and the time of first births in Hungarian Zsámbék between the eighteenth century and World War II. The author aims to better understand the determinants of first marriage for men and women at the individual level and in the long run. The research is done with reference to longitudinal family reconstitution data from the Roman Catholic parish registers of the village; these data are then analysed using event history models.

K e y w o r d s: Hungary; marriage; reproductive phase of life; age at first marriage; migration; database; Census.

Acknowledgements
This paper is based on research supported by the Hungarian National Research, Development and Innovation Office (NKFI, project 113100 "Fertility Transition from Micro-Perspective in 19th–20th Centuries Hungary").

Citation: Őri, P. (2019). Brak i rozhdenie pervogo rebenka v Vengrii XVIII — pervoi poloviny XX v. (na primere poseleniia Zhambek) [Marriage and the First Birth in Zsámbék, Hungary (18th — Early 20th Centuries)]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 85–103. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.049

Submitted on 25 November, 2018
Accepted on 17 July, 2019
Translated from English by E. S. Purgina and E. M. Glavatskaya

Начиная с 1960-х гг. наиболее заметными исследованиями в области структуры домохозяйств и семейной истории стали труды Джона Хайнала и Питера Ласлетта [Hajnal, 1965, 1982; Laslett, 1972, 1983, 1988]. Дж. Хайнал на основе материалов переписей, метрических книг и данных о естественном движении населения рассчитал средний возраст вступления в первый брак и процент безбрачных в структуре населения различных сообществ и на основе этих вычислений выделил европейский (западный) тип брачности, для которого характерен более поздний возраст вступления в брак и высокий процент окончательного безбрачия. Классификация, построенная на разделении по географическому принципу — на «восточный» и «западный» типы брачности, дорабатывалась и уточнялась [Laslett, 1983]; ее нередко критиковали за чрезмерно упрощенный подход [Fertig; Szołtysek, p. 41–85; Lundh, Kurosu, 2014a]. Тем не менее, эти модели активно использовались в исследованиях направления *case study*, которые продемонстрировали сложность европейских брачных обычаев. Чтобы предложить альтернативу модели Хайнала, нужно выявить ее слабые стороны и определить влияние социально-экономических и других факторов на брачность и образование домохозяйств. Необходимо также использовать динамический подход, чтобы проследить не только динамику изменений в структуре домохозяйств в разные исторические периоды, но и метаморфозы, происходящие на протяжении их собственных жизненных циклов. Это позволит проанализировать динамику изменений возраста вступления в брак в контексте различных факторов, влияющих на шансы человека создать семью. Появление больших лонгитюдных баз данных на основе метрических книг и переписей придало новый импульс развитию кросс-культурных исследований. Так изучение брачности в рамках мегапроекта «EurAsia» показало, что социально-экономические факторы, а также состав домохозяйств оказывали большое влияние на частоту браков, возраст вступления в брак и миграции [Lundh, Kurosu, 2014b]. В то же время на возраст вступления в брак, помимо региональных и культурных отличий, влияла конкретная демографическая ситуация и роль, которая придавалась институту брака в каждом конкретном случае. Например, причина различий в возрасте вступления в брак и возрасте рождения первенца в Европе и Азии может быть связана с тем, что институту брака придавалось различное значение. В Европе брак обычно означал начало репродуктивной фазы в жизни супружеской пары, в то время как в Азии он рассматривался лишь как шаг в этом

направлении, поэтому браки и заключались рано [Lundh, Kurosu, 2014b, p. 443]. Интересные результаты приносят и исследования на материалах территорий Восточной Европы, которые пока не попадали в поле зрения демографов. Миколай Жолтышек, в частности, предложил свою интерпретацию регионального подхода к брачности и образованию домохозяйств, выделил новые подтипы и существенно дополнил картину, предложенную предшественниками [Szołtysek].

Венгрия с ее географическим, экономическим, социальным и культурным разнообразием не вписывается полностью в эту бинарную модель Хайнала. В XVIII в. возраст вступления в брак в стране был достаточно низким, но это объясняется не столько этнокультурными, сколько социально-экономическими факторами, а также типом поселений [Faragó, 1998; 2003; Őri, 2009; 2016]. В XIX в. мужчины стали жениться позже, в то время как для женщин возраст вступления в брак оставался достаточно низким: по данным 1869 г. — 26 лет и 21 год соответственно [Őri, Pakot, p. 20]. В первой половине XX в. этот показатель составил 26–27 лет для мужчин и 23 года для женщин [Csernák; Őri, 2016]. После Второй мировой войны, в период социалистической модернизации, возраст вступления в брак начал снижаться, и эта тенденция продолжалась вплоть до 1980-х гг. [Csernák]. Примечательно, что в Венгрии крестьяне-землевладельцы вступали в брак рано и дольше оставались в составе родительских семей, чем горожане, сельские ремесленники, слуги, сельскохозяйственные работники и работники умственного труда, между которыми также существовали значительные различия [Faragó, 2000; Őri, 2016]. Проанализировав эти особенности в динамике, исследователи пришли к выводу, что Венгрия занимает промежуточное положение между «восточным» и «западным» типами брачности [Andorka, Faragó; Faragó, 2003].

Венгерские источники о брачности

В Венгрии неплохо сохранились списки домохозяйств, переписи населения, метрические книги и записи актов гражданского состояния. Созданные на их основе лонгитюдные базы данных (далее БД) позволяют выявить изменения в брачности и проанализировать детерминанты брачных отношений.

Самые первые списки прихожан-католиков *status animarum* и аналогичные списки протестантских приходов появились уже в XVIII в., однако большинство приходов начали составлять их позднее. К сожалению, не все они сохранились: списки домохозяйств, в большинстве случаев, имеются за один год или за несколько лет подряд, что, однако, позволяет вычислить расчетный средний возраст вступления в первый брак [Henry, Blum, p. 34], а также процент безбрачных в различных возрастных группах. Лишь данные католического поселения Жамбек являются достаточно полными как в отношении содержания, так и временного охвата с 1795 по 1867 г. В этом случае, помимо анализа брачности, источник позволяет исследовать и такие сюжеты, как возраст начала работы, отделение от родительской семьи, мобильность, место проживания супружеской пары после свадьбы и т. д. В настоящее время ведется работа над созданием

БД на основе этих источников, чтобы связать их с данными метрических книг. В результате появится ресурс, который будет включать информацию о демографических событиях и о составе домохозяйств, а значит, станет возможным статистический анализ различных демографических явлений.

Для расчета возраста вступления в брак, уровня безбрачия, частоты бракосочетаний и детерминант брачности были использованы первичные материалы переписи 1869 г., репрезентативная выборка по которым была создана в рамках проекта «Mosaic» [Szołtysek, Gruber; Őri, Pakot]. Кроме того, в работе были использованы агрегированные данные переписей, позволившие вычислить расчетный средний возраст вступления в первый брак (SMAM) и уровни безбрачия по возрастным группам.

Метрические книги в Венгрии велись с середины XVIII в., с 1895 г. функция ведения записей актов гражданского состояния была передана государственным служащим. Связывание данных из трех частей метрических книг в рамках одной БД позволило не только выявить детали брачности, но и определить детерминанты брачности и роль, которую играл брак в жизни людей, с помощью многовариантного статистического анализа (анализа по наступлению событий) [Kurosu, Lundh, 2014, p. 66]. В некоторых случаях данные метрик дополнялись сведениями из списков домохозяйств, что позволило принять во внимание миграции членов домохозяйств.

Жамбек и его население

Поселение Жамбек расположено в небольшой ложбине, окруженной низкими холмами, приблизительно в 30 км к западу от Будапешта. В указанный период он был аграрным центром со статусом города с рынком (*market town*) и населением в 3–4 тыс. жителей[1]. Жамбек был собственностью королевского двора и его жители пользовались бóльшей свободой, чем до 1848 г., когда бывшие крепостные получили свои участки в собственность. Ежегодно платя налоги, они могли самостоятельно распоряжаться своим владением, передавать его по наследству, свободно менять место жительства и заключать браки.

В начале XVIII в., после окончания войн с Османской империей, Жамбек заново заселили немцы-католики. Несмотря на то, что доля венгров постепенно увеличивалась, немцы оставались большинством, а католицизм — основной религией всю первую половину XX в. Довольно большую часть населения Жамбека составляли евреи. Основным занятием жителей Жамбека были сельскохозяйственные работы: даже в межвоенный период процент жителей, так или иначе занятых в сельском хозяйстве, составлял более 60 %. Источником средств к существованию было выращивание пшеницы, виноделие и животноводство. Та часть населения, которая занималась сельским хозяйством, в основном

[1] 2 500 человек в конце XVIII в.; 3 500 человек — в середине XIX в.; 4 000 — на рубеже XIX–XX вв.; 4 500 — в 1941 г. [Őri, 2014, o. 219].

состояла из мелких фермеров и сельских рабочих — поденщиков. Близость к Будапешту была решающим фактором для развития поселения: столица являлась рынком сбыта сельскохозяйственной продукции и основным направлением миграции. Кроме того, в регионе было множество немецких деревень, куда шел отток населения Жамбека, в основном в связи с женитьбой или замужеством.

Основным фактором роста населения была высокая рождаемость, характерная для общин немцев-католиков в регионе. Кроме того, в Жамбек, как и в другие поселения региона, приходили молодые люди в поисках работы или для создания семьи. На брак в определенной степени влияла и система наследования, распространенная в семьях немецких поселенцев [Husz], которая, наряду с традицией ранних браков, могла стимулировать высокую рождаемость.

Цели, источники, методы

Предметом данного исследования является возраст вступления в первый брак и интенсивность заключения первых браков в Жамбеке в период с 1720 по 1945 г. Задачей исследования был анализ долгосрочных изменений в возрасте вступления в первый брак, роли социально-экономического статуса и семейного контекста (старение и смерть родителей, порядок рождения) в брачном поведении жителей Жамбека. Это позволяет принять во внимание обстоятельства, при которых принималось решение о заключении брака, а не просто зафиксировать факт раннего или позднего брака.

Наличие *Ortsfamilienbuch*[2] — родословной книги католиков Жамбека [Gallina, Jelli] — значительно облегчило эту задачу. Родословная книга включает данные метрических книг римско-католического прихода Жамбека и содержит связанные демографические данные всех прихожан — как немцев, так и венгров.

Анализ проводился отдельно для мужчин и женщин, чтобы учесть гендерную специфику. При этом выборка по женщинам оказалась немного больше. В анализе не были учтены жители, родившиеся в Жамбеке, про которых не сохранилось никаких других сведений, поскольку в этом случае не известно, вступали ли они вообще в брак.

В выборку были включены данные о неженатых мужчинах старше 18 лет и незамужних женщин старше 15 лет и анализировался период их жизни до заключения брака или иного события, после которого анализ был невозможен: смерть или рождение девицей внебрачного ребенка при отсутствии иной информации. Это могло означать, что после рождения детей вне брака женщины покидали родное поселение. Исходя из этих соображений такие женщины исключались из дальнейшего анализа через год после рождения ребенка. Таким образом, выборка данных о женщинах позволяет изучать и брачность в контексте рождения первого ребенка. Помимо общей выборки мужчин и женщин, были отдельно проанализированы данные о тех, кто женился / вышел замуж

[2] Описание и оценку этого вида источников см. в [Imhof; Knodel, Shorter; Knodel].

в Жамбеке, при этом первые браки, заключенные в возрасте старше 50 лет, в расчет не принимались.

Таким образом, в работе проанализирована судьба жителей Жамбека, с 18 лет у мужчин и с 15 лет — у женщин, до женитьбы / замужества или до события, которое естественным образом исключало возможность проведения дальнейшего анализа.

В исследовании использованы модели пропорциональных рисков Кокса [Cleves, Gould, Gutierrez, p. 121–157]. В качестве переменных были выбраны время, место рождения, каким по счету был брак для супругов, социально-экономический статус в соответствии со схемой стратификации населения HISCLASS [van Leeuwen, Maas], обстоятельства старения и смерть родителей, а также место по старшинству среди братьев и сестер. Рождение ребенка вне брака также являлось дополнительной переменной характеристикой.

Возраст вступления в первый брак

Согласно проведенному анализу, на протяжении всего рассматриваемого периода средний возраст вступления в первый брак для мужчин Жамбека был 24,8 года, для женщин — 21,5 года (см. табл. 1), т. е. в контексте бинарной системы Хайнала модель Жамбека можно интерпретировать как переходную. В первой трети XIX в. возраст вступления в первый брак у мужчин несколько снизился, а с 1849 г. он начал расти и после 1880 г. превысил 25 лет. Эта тенденция вписывается в общую картину динамики брачного возраста у мужчин Венгрии XIX в. [Faragó, 2000]. Снижение возраста вступления в первый брак после 1920 г. можно объяснить тем, что война и инфляция негативно влияли на развитие региона в этот период, хотя для производителей продовольствия эти обстоятельства создавали благоприятную ситуацию. Экономический спад в результате Наполеоновских войн и новый кризис, начавшийся в 1840 г., привели к увеличению возраста вступления в первый брак у мужчин.

Из-за экономического спада и отсутствия спроса на рабочие руки в 1800–1830 гг. структура домохозяйств в Жамбеке усложнилась: сыновья, не являвшиеся наследниками, не могли покинуть родительские семьи. Только после эпидемии холеры в 1831 г., унесшей большое число жертв, спрос на рабочую силу начал расти и мобильность населения увеличилась [Husz].

У женщин Жамбека увеличение возраста вступления в первый брак началось значительно позднее, с 1900 г., при этом динамика возраста вступления в первый брак у родивших схожа с динамикой возраста вступления в брак для всех женщин, хотя сам по себе возраст и был немного ниже. Как видно из таблицы, число вышедших замуж и родивших в Жамбеке женщин, значительно меньше, чем число просто вышедших замуж, что связано с переездом молодых после свадьбы к месту жительства мужа, где и происходили роды. Родившие в Жамбеке, очевидно, выходили замуж за местных мужчин. Таким образом, переезды, связанные с браком, могли его несколько отсрочить.

Таблица 1

Средний возраст при заключении первого брака в Жамбеке*

Годы	Мужчины	Женщины	Вышедшие замуж и родившие	Возраст при первой беременности (в браке)	Возраст при первой беременности (вне брака)
–1799	24,8	21,9	21,2	22,0	31,9
1800–1819	23,4	21,1	20,0	20,7	22,0
1820–1839	23,9	21,9	21,1	21,7	21,3
1840–1859	24,6	21,5	20,8	20,3	22,1
1860–1879	24,9	21,4	20,8	20,9	21,8
1880–1899	25,4	21,4	20,9	20,5	21,9
1900–1919	25,5	22,4	21,9	21,1	19,7
1920–	25,3	22,1	21,6	20,6	20,1
Среднее значение	24,8	21,5	21,1	21,1	21,6
Всего случаев	5004	5526	3975	3975	633

* Сост. по: База данных для реконструкции семейной истории Жамбека [Gallina, Jelli], приходские метрические книги, подсчеты автора.

Возраст женщин при первой беременности, наступившей в браке или незадолго до свадьбы (как правило, с отцом ребенка) идентичен возрасту первобрачных. До 1840 г. зачатие обычно происходило сразу после свадьбы. Начиная с 1880 г. первое зачатие обычно предшествовало браку, что свидетельствует о практике «пробных» браков, которые постепенно становились нормой в Жамбеке. Анализ возраста матерей, родивших вне брака, показывает, что в XVIII в. это были женщины, которым если и удавалось впоследствии выйти замуж, то уже значительно позднее среднестатистических показателей. Вместе с тем в XIX и XX вв. женщины, рожавшие вне брака, как правило, также были очень молоды. В табл. 2 приведены данные о женщинах, судьбы которых прослежены до момента вступления в брак, смерти или миграции из-за рождения внебрачного ребенка.

Данные таблицы свидетельствуют, что доля беременных практически удвоилась за рассматриваемый период времени. Процент тех, кто на конец периода наблюдений имел детей (в браке или до миграции), также увеличивался до конца XIX в., а в начале XX в. эта доля несколько сократилась. В целом, женщины с детьми составляли небольшую долю вступавших в брак. Естественно, отцом зачатого до брака ребенка мог быть и будущий муж. Большинство забеременевших девиц покидало Жамбек после рождения внебрачного ребенка. Процент беременных женщин с детьми до вступления в брак (отцом вполне мог быть и сам жених), также незначителен, хотя динамика этой группы вполне сопоставима

с динамикой в случае беременности и рождения ребенка до замужества. В целом, можно заключить, что в конце XIX в. около трети женщин на момент заключения брака уже были беременны, и процент рождений внебрачных детей возрастал. В период между 1860 г. и окончанием Первой мировой войны 2–3 % женщин на момент заключения брака имели по крайней мере одного внебрачного ребенка (от будущего мужа или другого мужчины).

Таблица 2

Распределение женщин по статусу детности*, %

Статус	–1799	1800–1819	1820–1839	1840–1859	1860–1879	1880–1899	1900–1919	1920–	Всего
Все женщины									
Бездетные	86,4	85,0	73,9	75,0	65,9	66,1	66,6	66,7	74,3
С детьми	1,8	2,2	5,5	6,2	11,4	12,6	11,9	9,2	7,1
Беременные	11,9	12,8	20,6	18,4	21,1	20,6	20,6	23,8	18,2
Беременные с детьми	0,0	0,0	0,0	0,4	1,6	0,7	0,9	0,3	0,4
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	1737	579	651	712	754	681	864	1170	7148
Женщины, вступившие в брак									
Бездетные	84,0	84,9	75,4	76,6	68,0	68,2	67,8	66,4	74,7
С детьми	0,0	0,2	0,5	0,8	2,9	2,1	2,7	1,6	1,2
Беременные	16,0	14,9	24,0	22,0	27,0	28,7	28,3	31,5	23,5
Беременные с детьми	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	1,0	1,3	0,5	0,6
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	1288	498	558	595	588	487	630	882	5526
Женщины, умершие незамужними или уехавшие после рождения внебрачного ребенка									
Бездетные	93,1	85,2	64,5	66,7	58,4	60,8	63,2	67,4	72,9
С детьми	6,9	14,8	35,5	33,3	41,6	39,2	36,8	32,6	27,1
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	449	81	93	117	166	194	234	288	1622

* Сост. по: База данных для реконструкции семейной истории Жамбека [Gallina, Jelli], приходские метрические книги, подсчеты автора.

Анализ наступления событий жизненного цикла

Для того чтобы проанализировать степень влияния различных факторов на возраст заключения первого брака, были созданы две модели: первая включала только заключивших брак в Жамбеке; вторая — всех тех, кто вступил в брак; умер до вступления в брак; а также женщин, родивших вне брака, после чего приходские книги не зафиксировали никаких других событий. В каждом случае измерялось влияние дополнительной характеристики в сравнении с основной. Результаты показаны как коэффициент вероятности. Если полученная величина оказывалась больше 1, то это означало большую вероятность брака и соответственно ранний брак, в то время как величина ниже 1 означала меньшую вероятность и соответственно более поздний возраст вступления в брак.

Как видно из табл. 3, вероятность заключения раннего брака среди мужчин снижалась на протяжении XIX в., т. е. мужчины начали жениться позже. Эта тенденция была прервана в 1920 г.: послевоенный период характеризовался некоторым снижением возраста вступления в брак мужчин.

Большое влияние на первые браки оказывал социальный и профессиональный статус женихов: землевладельцы и наследники землевладельцев женились раньше всех, а поденные рабочие и ремесленники — позже. Землевладельцы на брачном рынке находились в самом выгодном положении, они были экономически привлекательны для потенциальных родственников и могли легко оплатить расходы на свадьбу. Таким образом, для заключения раннего брака не было никаких препятствий. Ремесленники в целом были более мобильны, а поденные рабочие — беднее, и им не нужно было вступать в ранний брак в интересах преумножения или сохранения семейного благосостояния.

Старение родителей и их смерть значительно увеличивали вероятность вступления в ранний брак для их сыновей-наследников. Сыновья после смерти отца обретали независимость и становились главой домохозяйства. Достижение родителями возраста 50 лет могло означать, что отец скоро отойдет от дел, и это событие обычно совпадало с женитьбой сыновей. Старение и смерть матери во многих случаях приводили к распаду родительской семьи, что также ускоряло женитьбу сыновей.

Мужчины, заключавшие свой первый брак с вдовой, были старше среднестатистических первобрачных женихов. Место рождения и переезды до брака не оказали значительного влияния на возраст вступления в брак.

Порядковый номер сыновей при рождении также не связан с возрастом вступления в первый брак. Возможно, для более полной картины необходима более сложная модель, которая учитывала бы брачный статус и количество братьев и сестер конкретного человека. Это может стать темой отдельного исследования. Также необходимо принять во внимание процент случаев, когда необходимая для анализа информация — дата рождения, смерти или возраст обоих родителей — отсутствовала, что увеличивает неопределенность результатов анализа.

Таблица 3

Вероятность раннего вступления в первый брак для мужчин в Жамбеке, многофакторный анализ*

Фактор	Мужчины, вступившие в брак		%	Все мужчины		%
Период						
–1799	1		20,3	1		27,3
1800–1819	1,151	*	8,8	0,837	**	8,0
1820–1839	0,881	†	10,2	0,598	***	9,0
1840–1859	0,762	***	11,3	0,503	***	10,1
1860–1879	0,714	***	11,3	0,453	***	10,4
1880–1899	0,595	***	10,2	0,378	***	9,5
1900–1919	0,539	***	12,9	0,342	***	12,1
1920–	0,613	***	15,0	0,394	***	13,6
Место рождения						
местный	1		72,6	1		62,0
приезжий	0,906	†	15,5	1,012		15,0
нет данных	0,689	***	12,0	0,514	***	23,0
Количество браков жены						
1	1		94,9			
2	0,672	***	4,8			
3	0,595	*	0,3			
4	1,875		0,1			
Социально-экономический статус						
землевладелец	1		23,0	1		18,1
поденщик, рабочий	0,718	***	38,8	0,754	***	32,7
ремесленник	0,686	***	16,0	0,730	***	13,7
работник умственного труда	0,537	***	1,6	0,629	***	1,5
нет данных	0,695	***	20,7	0,449	***	34,0
Отцы						
< 50	1		46,8	1		40,1
> 50	1,266	***	11,4	1,223	***	10,2
умер	1,336	***	5,7	1,184	*	5,3
нет данных	0,925	†	36,0	1,000		44,4
Матери						
< 50	1		47,9	1		41,4
> 50	1,430	***	9,4	1,281	***	8,7
умерла	1,311	**	4,4	1,345	***	4,1
нет данных	1,081	†	38,4	1,193	***	45,8

Окончание табл. 3

Фактор	Мужчины, вступившие в брак		%	Все мужчины		%
Порядок рождения						
первенец	1		36,3	1		28,1
другое	0,965		11,6	0,954		9,0
младший ребенок	0,995		16,9	1,029		12,9
нет данных	0,748	***	35,3	0,627	***	50,0
Всего наблюдений	7127			8141		
Всего браков	5003			5003		
Всего человек	5003			5467		
Временной интервал (месяцы)	408 286			514 475		
LR chi^2 (22)	637,46			1506,82		
Логарифм	–37352,76			–38108,5		
Prob > chi^2	0,000			0,000		

Примечание: *** $p < 0{,}001$, ** $p < 0{,}01$, * $p < 0{,}05$, † $p < 0{,}1$.

* Сост. по: База данных для реконструкции семейной истории Жамбека [Gallina, Jelli], приходские метрические книги, подсчеты автора.

В случае с женщинами картина несколько иная. Возраст заключения первых браков начал незначительно снижаться только с 1820 г. до 1920 г., при этом у тех женщин, кто вышел замуж в Жамбеке, возраст вступления в первый брак незначительно колебался в процессе этого снижения. После 1920 г. возраст невест также незначительно возрос. Место рождения не оказывало значительного влияния на возраст вступления в брак, хотя приезжие женщины из второй группы, независимо от времени миграции, выходили замуж позже. Можно предположить, что меньшая вероятность замужества для них объяснялась низким социальным статусом или наличием внебрачного ребенка, рождение которого могло вызвать переселение в Жамбек. Возможно, что в этой группе преобладали женщины, приехавшие из соседних стран.

Невесты, выходившие замуж за вдовцов, были старше среднестатистической невесты. Вероятность жениться на девице у вдовца была в два раза меньше, чем у жениха, который вступал в брак впервые.

Социально-экономический статус отцов невест влиял на возраст их вступления в брак: дочери землевладельцев пользовались большим спросом на брачном рынке и выходили замуж раньше всех. В этом случае брак был скорее стратегическим решением, направленным на поддержание существующего социального статуса. Такие невесты, как правило, выходили замуж за сыновей других землевладельцев, которые также были склонны жениться рано.

Рождение детей вне брака не рассматривалось в Венгрии как препятствие для выхода замуж. Для тех, кто женился / выходил замуж после рождения ребенка, это событие в значительной степени ускоряло женитьбу / замужество

(вероятность выше на 50 %). Однако, если мы включим в расчеты женщин, которые не выходили замуж, то эффект окажется обратным. В действительности рождение ребенка вне брака могло сильно снизить шансы женщины на замужество в своем населенном пункте в случае, если она не могла выйти замуж за отца своего ребенка.

Согласно проведенному анализу, старение родителей и их смерть по-разному влияли на брачное поведение их дочерей и сыновей, поскольку для мужчин и женщин брак имел разные последствия. Вероятность раннего брака для дочерей пожилых родителей значительно снижалась, как и в случае смерти одного из них. Мужчины, по крайней мере какая-то их часть, могла остаться в родительской семье после женитьбы, а старение и смерть родителей означало получение наследства и переход в статус главы домохозяйства. Женщины после замужества обычно покидали родительскую семью. Пожилым и/или овдовевшим родителям требовалась помощь дочерей по дому, что отодвигало время их замужества. Разумеется, имело значение общее количество детей в семье и их брачный статус, однако эти факторы в данном исследовании не рассматривались.

Что касается порядка рождения, то здесь также выявлены существенные различия. Перворожденные дочери выходили замуж первыми. Если же проанализировать ситуацию с остальными невестами из выборки, то наблюдаемый эффект совершенно другой: дочери, рожденные последними, с большей вероятностью выходили замуж, чем те, что были рождены до них. Часть средних по возрасту дочерей оставались незамужними дольше, и для них вероятность умереть в девицах была выше, чем для их сестер. Неслучайно именно эти девушки чаще рожали детей вне брака. Им приходилось заботиться о престарелых и овдовевших родителях или о младших братьях и сестрах, что снижало шансы создать полноценную семью.

Таблица 4

Вероятность вступления в первый брак для женщин в Жамбеке

Фактор	Женщины, вступившие в брак		%	Все женщины		%
Период						
–1799	1		16,3	1		17,1
1800–1819	1,052		8,3	1,086		7,6
1820–1839	0,815	**	10,2	0,795	***	9,5
1840–1859	0,849	**	11,8	0,738	***	11,4
1860–1879	0,939		12,0	0,712	***	12,4
1880–1899	0,850	**	10,7	0,673	***	11,2
1900–1919	0,685	***	13,0	0,587	***	13,3
1920–	0,753	***	17,8	0,665	***	17,5
Место рождения						
местная	1		84,4	1		79,2
приезжая	0,976		6,8	0,659	***	8,7
нет данных	0,940		8,8	0,561	***	12,1

Продолжение табл. 4

Фактор	Женщины, вступившие в брак		%	Все женщины		%
Количество браков мужа						
1	1		88,2			
2	0,586	***	8,5			
3	0,364	***	0,7			
4	0,532		0,0			
нет данных	0,769	**	2,6			
Социально-экономический статус отца						
землевладелец	1		21,6	1		19,2
поденщик, рабочий	0,727	***	24,2	0,760	***	22,8
ремесленник	0,776	***	7,0	0,775	***	6,6
работник умственного труда	0,955		0,6	1,105		0,6
нет данных	0,789	***	46,6	0,780	***	50,7
Наличие детей						
не рожала	1		99,3	1		97,8
родила вне брака	1,473	***	0,7	0,534	***	2,2
Отцы						
< 50	1		52,7	1		47,9
> 50	0,727	***	10,4	0,712	***	9,6
умер	0,892		6,3	0,776	**	6,0
нет данных	0,824	***	30,6	0,728	***	36,5
Матери						
< 50	1		53,3	1		48,5
> 50	0,713	***	9,8	0,667	***	9,1
умерла	0,801	*	4,6	0,622	***	4,5
нет данных	0,981		32,4	0,848	***	37,9
Порядок рождения						
старшая дочь	1		42,7	1		42,8
другое	0,914	*	16,6	1,101	*	13,8
младшая дочь	0,915	*	22,2	1,224	***	18,5
нет данных	0,802	**	18,5	0,973		24,9
Количество наблюдений	9575			12839		
Количество браков	5524			5523		
Количество человек	5527			7157		
Период (месяцы)	453 481			818 298		
LR chi^2 (22)	496,57			949,94		

Окончание табл. 4

Фактор	Женщины, вступившие в брак	%	Все женщины	%
Логарифм	–1891,7		–44551,3	
Prob > chi^2	0,000		0,000	

* Сост. по: База данных для реконструкции семейной истории Жамбека [Gallina, Jelli], приходские метрические книги, подсчеты автора.

Выводы

Первые браки в Жамбеке, где жили преимущественно немецкие поселенцы, принадлежавшие к католической церкви, заключались в молодом возрасте, что вписывается в «восточный» тип брачности. Однако общие модели ранней брачности могут скрывать существенные различия, связанные с хронологическим периодом, влиянием социально-экономических и других факторов. В XIX в. возраст вступления в брак в Венгрии постоянно увеличивался, особенно среди мужчин, что могло быть связано с меняющимися экономическими условиями. Для женщин в основном было характерно раннее замужество, также рано в брак вступали дочери и сыновья землевладельцев. Это могли быть крепостные или мелкие собственники, которые получили землю после отмены крепостного права. Как правило, после заключения первого брака довольно скоро рождался первый ребенок, т. е. брак в буквальном смысле означал начало репродуктивной фазы в жизни людей, как это происходило и в других европейских странах. Однако рождение детей в браке не было единственной формой вступления в репродуктивную фазу жизни, поскольку дети всё чаще рождались и вне брака. В лучшем случае брак заключался уже после рождения ребенка, в худшем — женщина вынуждена была покинуть Жамбек. В XIX в. первое зачатие часто предшествовало первому браку и степень распространения таких случаев увеличивалась в рассматриваемый период. Это наводит на мысль, что такие «пробные» браки считались нормой в Венгрии.

В то же время мы обнаружили различия в значении и последствиях заключения брака в зависимости от пола. В родительских семьях мужчины и женщины выполняли разные роли, и если женщины после свадьбы обычно покидали родительские семьи, то мужчины могли продолжить жить с родителями. Следовательно, старение и смерть родителей по-разному влияли на вероятность вступления в брак для их сыновей и дочерей: вероятность женитьбы для мужчин была выше, а вероятность замужества для женщин — ниже. Гендерные различия заметны и в отношении связи вероятности вступления в брак старших и младших детей в семье. Порядок рождения практически не влиял на заключение брака у мужчин, однако оказывал судьбоносное влияние на вероятность брака старших, младших и средних по возрасту дочерей в семье.

Таким образом, анализ порядка наступления событий жизненного цикла позволил выявить некоторые особенности первых браков в Жамбеке. Как

оказалось, картина была намного сложнее, чем можно было изначально предположить, исходя из стандартных показателей, таких как возраст вступления в первый брак и процент безбрачных. Чтобы получить более убедительные объяснения и более точные результаты, необходимо продолжить исследование с использованием более сложных моделей анализа и альтернативных источников.

Исследования

Andorka R., *Faragó T.* Pre-industrial household structure in Hungary // Family forms in historic Europe / ed. by R. Wall. Cambridge ; New York ; London : Cambridge Univ. Press, 1983. P. 281–307.

Cleves M., *Gould W.*, *Gutierrez R.* An Introduction to Survival Analysis Using Stata. Rev. ed. Texas : A Stata Press Publication : Stata Corporation : College Station, 2004.

Csernák M. Házasság és válás Magyarországon // Magyarország történeti demográfiája: (896–1995): millecentenáriumi előadások / J. Kovacsics (szerk.). Budapest : KSH, 1997. O. 341–362.

Faragó T. Kinship in rural Hungary during the 18th century: The findings of a case study // The History of the Family. 1998. Vol. 3 (3). P. 315–332.

Faragó T. Nemek, nemzedékek, rokonság, család // Társadalom Magyar Néprajz VIII / A. Paládi-Kovács (szerk.). Budapest : Akadémiai, 2000. O. 393–483.

Faragó T. Different Household Formation Systems in Hungary at the End of the 18th Century : Variations on John Hajnal's Thesis // Demográfia. English Edition. 2003. P. 95–136.

Fertig G. Wenn zwei Menschen eine Stelle sehen: Heirat. Besitztransfer und Lebenslauf im ländlichen Westfalen des 19. Jahrhunderts // Eheschließungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts: Muster und Strategien / Hg. C. Duhamelle, J. Schlumbohm. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. S. 93–124. (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte ; 197).

Gallina H., *Jelli M.* Ortsfamilienbuch der Gemeinde Schambek. Zsámbék im Ofner Bergland. Ungarn. 1716–1946. Nattheim : Heimatverein Schambek, 2002.

Hajnal J. European Marriage Patterns in Perspective // Population in History: Essays in Historical Demography / ed. by D. V. Glass, & D. E. C. Eversley. London : Arnold, 1965. P. 101–143.

Hajnal J. Two kinds of preindustrial household formation systems // Population and Development Review. 1982. Vol. 8 (3). P. 449–494.

Henry L., *Blum A.* Techniques d'analyse en démographie historique. Paris : INED, 1988.

Husz I. Család és társadalmi reprodukció a 19. században. Történeti-szociológiai tanulmány egy Buda-környéki mezőváros társadalmáról a családszerkezet változásának tükrében. Budapest : Osiris, 2002.

Imhof A. E. Généalogie et démographie historique en Allemagne // Annales de démographie historique. 1976. P. 77–113.

Knodel J. E. Demographic Behavior in the Past: A Study of Fourteen German Village Populations in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2002.

Knodel J. E., *Shorter E.* The reliability of family reconstitution data in German village. Genealogies (Ortssippenbücher) // Annales de démographie historique. 1976. P. 115–154.

Kurosu S., *Lundh Ch.* Nuptiality: Local Populations. Sources and Models // Lundh Ch., Kurosu S. et al. Similarity in Difference. Marriage in Europe and Asia. 1700–1900. London ; Cambridge : The MIT Press, 2014. P. 47–85.

Laslett P. Introduction: the history of the family // Laslett P., Wall R. Household and family in past time. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1972. P. 1–89.

Laslett P. Family and household as work group and kin group: areas of traditional Europe compared // Family forms in historic Europe / ed. by R. Wall. Cambridge ; New York ; London : Cambridge Univ. Press, 1983. P. 513–563.

Laslett P. Family, kinship and collectivity as systems of support in pre-industrial Europe: a consideration of the 'nuclear-hardship' hypothesis // Continuity and Change. 1988. Vol. 3 (2). P. 153–175.

Lundh Ch., Kurosu S. Challenging the East-West Binary // Lundh Ch., Kurosu S. et al. Similarity in Difference. Marriage in Europe and Asia. 1700–1900. London ; Cambridge : The MIT Press, 2014a. P. 3–24.

Lundh Ch., Kurosu S. et al. Similarity in Difference. Marriage in Europe and Asia. 1700–1900. London ; Cambridge : The MIT Press, 2014b.

Őri P. Marriage Customs and Household Structure in Hungary at the end of the 18th Century. The Case of County Pest-Pilis-Solt (1774–1785) // Families in Europe between the 19th and 21st Centuries. From the Traditional Model to the Contemporary PACS (Supplement of the Romanian Journal of Population Studies) / ed. by A. Fauve-Chamoux. Cluj-Napoca : Cluj Univ. Press, 2009. P. 167–192.

Őri P. Mozaikok... Három Pest megyei község (Zsámbék. Tök. Perbál) népességtörténeti vázlata // Szám- és betűvetés: Tanulmányok Faragó Tamás tiszteletére. Budapest : KSH NKI, 2014. O. 207–245.

Őri P. Long-term demographic change and local socio-cultural patterns: marriages and household structure in 18–20th century Hungary // Przeszłość Demograficzna Polski. 2016. Vol. 37 (3). P. 7–37.

Őri P., Pakot L. Residence patterns in nineteenth century Hungary: evidence from the Hungarian Mosaic sample. Budapest : Hungarian Demographic Research Institute, 2014. (Working Papers on Population. Family and Welfare ; no. 20)

Szołtysek M. Rethinking East-Central Europe: family systems and co-residence in the Polish-Lithuanian Commonwealth I–II. Bern : Peter Lang, 2015.

Szołtysek M., Gruber S. Mosaic: recovering surviving census records and reconstructing the familial history of Europe // The History of the Family. 2016. No. 21 (1). P. 38–60.

Van Leeuwen M. H. D., Maas I. HISCLASS: A Historical International Social Class Scheme. Leuven : Leuven Univ. Press, 2011.

References

Andorka, R., & Faragó, T. (1983). Pre-industrial Household Structure in Hungary. In R. Wall (Ed.), *Family Forms in Historic Europe* (pp. 281–307). Cambridge; New York; London: Cambridge University Press.

Cleves, M., Gould, W., & Gutierrez, R. (2004). *An Introduction to Survival Analysis Using Stata* (Revised ed.). Texas: A Stata Press Publication; Stata Corporation; College Station.

Csernák, M. (1997). Házasság és válás Magyarországon [Marriage and Divorce in Hungary]. In J. Kovacsics (Ed.), *Magyarország történeti demográfiája (896–1995): millecentenáriumi előadások* [Historical Demography of Hungary (896–1995)] (pp. 341–362). Budapest: KSH. (In Hungarian)

Faragó, T. (1998). Kinship in Rural Hungary during the 18th Century: The Findings of a Case Study. *The History of the Family*, *3*(3), 315–332.

Faragó, T. (2000). Nemek, nemzedékek, rokonság, család [Gender, Generations, Kinship, Family]. In A. Paládi-Kovács (Ed.), *Magyar Néprajz VIII. Társadalom* [The Ethnology of Hungary VIII. The Society] (pp. 393–483). Budapest: Akadémiai. (In Hungarian)

Faragó, T. (2003). Different Household Formation Systems in Hungary at the End of the 18th Century: Variations on John Hajnal's Thesis. *Demográfia. English Edition*, 95–136.

Fertig, G. (2003). Wenn zwei Menschen eine Stelle sehen: Heirat. Besitztransfer und Lebenslauf im ländlichen Westfalen des 19. Jahrhunderts. In C. Duhamelle, & J. Schlumbohm (Eds.), *Eheschließungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts: Muster und Strategien* (pp. 93–124). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. (In German)

Gallina, H., & Jelli, M. (2002). *Ortsfamilienbuch der Gemeinde Schambek. Zsámbék im Ofner Bergland. Ungarn. 1716–1946*. Nattheim: Heimatverein Schambek. (In German)

Hajnal, J. (1965). European Marriage Patterns in Perspective. In D. V. Glass, & D. E. C. Eversley (Eds.), *Population in History: Essays in Historical Demography* (pp. 101–143). London: Arnold.

Hajnal, J. (1982). Two Kinds of Preindustrial Household Formation Systems. *Population and Development Review*, *8*(3), 449–494.

Henry, L., & Blum, A. (1988). *Techniques d'analyse en démographie historique*. Paris: INED. (In French)

Husz, I. (2002). *Család és társadalmi reprodukció a 19. században. Történeti-szociológiai tanulmány egy Buda-környéki mezőváros társadalmáról a családszerkezet változásának tükrében* [Family and Social Reproduction in the 19th Century. A Historical Sociology Study on Changing Family Structure in a Market Town Close to Buda]. Budapest: Osiris. (In Hungarian)

Imhof, A. E. (1976). Généalogie et démographie historique en Allemagne. *Annales de démographie historique*, 77–113. (In French)

Knodel, J. E. (2002). *Demographic Behavior in the Past: A Study of Fourteen German Village Populations in the Eighteenth and Nineteenth Centuries*. Cambridge: Cambridge University Press.

Knodel, J. E., & Shorter, E. (1976). The Reliability of Family Reconstitution Data in German Village. Genealogies (Ortssippenbücher). *Annales de démographie historique*, 115–154.

Kurosu, S., & Lundh, Ch. (2014). Nuptiality: Local Populations. Sources, and Models. In Ch. Lundh, S. Kurosu et al., *Similarity in Difference. Marriage in Europe and Asia. 1700–1900* (pp. 47–85). London; Cambridge: The MIT Press.

Laslett, P. (1972). Introduction: The History of the Family. In P. Laslett, & R. Wall, *Household and Family in Past Time* (pp. 1–89). Cambridge: Cambridge University Press.

Laslett, P. (1983). Family and Household as Work Group and Kin Group: Areas of Traditional Europe Compared. In R. Wall (Ed.), *Family Forms in Historic Europe* (pp. 513–563). Cambridge; New York; London: Cambridge University Press.

Laslett, P. (1988). Family, Kinship and Collectivity as Systems of Support in Pre-industrial Europe: A Consideration of the 'Nuclear-hardship' Hypothesis. *Continuity and Change*, *3*(2), 153–175.

Lundh, Ch., & Kurosu, S. (2014a). Challenging the East-West Binary. In Ch. Lundh, S. Kurosu et al., *Similarity in Difference. Marriage in Europe and Asia. 1700–1900* (pp. 3–24). London; Cambridge: The MIT Press.

Lundh, Ch., Kurosu, S. et al. (2014b). *Similarity in Difference. Marriage in Europe and Asia. 1700–1900*. London; Cambridge: The MIT Press.

Őri, P. (2009). Marriage Customs and Household Structure in Hungary at the End of the 18th Century. The Case of County Pest-Pilis-Solt (1774–1785). In A. Fauve-Chamoux (Ed.), *Families in Europe between the 19th and 21st Centuries. From the Traditional Model to the Contemporary PACS (Supplement of the Romanian Journal of Population Studies)* (pp. 167–192). Cluj-Napoca: Cluj University Press.

Őri, P. (2014). Mozaikok... Három Pest megyei község (Zsámbék. Tök. Perbál) népességtörténeti vázlata [Mosaics... The Population History of Three Settlements in County Pest]. In *Szám- és betűvetés*: *Tanulmányok Faragó Tamás tiszteletére* [Studies in Honor of Tamás Faragó] (pp. 207–245). Budapest: KSH NKI.

Őri, P. (2016). Long-term Demographic Change and Local Socio-cultural Patterns: Marriages and Household Structure in 18–20th Century Hungary. *Przeszłość Demograficzna Polski*, *37*(3), 7–37.

Őri, P., & Pakot, L. (2014). Residence Patterns in Nineteenth Century Hungary: Evidence from the Hungarian Mosaic Sample. *Working Papers on Population. Family and Welfare*, 20. Budapest: Hungarian Demographic Research Institute.

Szołtysek, M. (2015). *Rethinking East-Central Europe: Family Systems and Co-residence in the Polish-Lithuanian Commonwealth I–II*. Bern: Peter Lang.

Szołtysek, M., & Gruber, S. (2016). Mosaic: Recovering Surviving Census Records and Reconstructing the Familial History of Europe. *The History of the Family, 21*(1), 38–60.

Van Leeuwen, M. H. D., & Maas, I. (2011). *HISCLASS: A Historical International Social Class Scheme*. Leuven: Leuven University Press.

Ори Петер
PhD (History), заместитель директора
Венгерский институт демографических исследований
H-1024 Budapest Buday László utca 1-3, Hungary
E-mail: ori@demografia.hu

Őri, Péter
PhD (History), Deputy Director
Hungarian Demographic Research Institute
1-3, Buday László utca, 1024 Budapest, Hungary
Email: ori@demografia.hu

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.050
УДК 314.146(470.54-25) + 314.5(470.54-25) + + 303.7 + 314.02 + 004.65

Е. М. Главацкая
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

А. В. Бобицкий
Институт истории и археологии УрО РАН
Екатеринбург, Россия

Е. А. Заболотных
Институт истории и археологии УрО РАН
Екатеринбург, Россия

А. В. Вишневская
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

БРАЧНОСТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАЧАЛА XX в.: КВАНТИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Статья посвящена анализу одной из важнейших характеристик демографического поведения городского населения России — возрасту вступления в первый брак и его динамике в начале XX в. В качестве объекта исследования выбран Екатеринбург, один из небольших, но интенсивно развивавшихся промышленных российских городов. Наряду с агрегированными данными переписей населения 1897, 1920 и 1926 гг. в качестве источников были использованы сведения метрических книг, которые были транскрибированы в базу данных «Регистр населения Урала».

В результате анализа номинативных данных метрических книг был установлен возраст вступления в первый брак не только в среднем по городу, но и по отдельным его приходам, что позволило выявить особенности в демографическом поведении горожан, обусловленные этнической или религиозной принадлежностью, социальным, миграционным статусом и другими персональными характеристиками.

На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что дореволюционный Екатеринбург приближался к «европейской» модели брака, по крайней мере, с точки зрения среднего возраста вступления в первый брак у мужчин, а с началом войны этот показатель еще увеличился. Однако согласно данным переписи 1926 г., расчетный возраст вступления в брак и уровень окончательного безбрачия значительно снизились по сравнению с имперским периодом. Результаты анализа агрегированных и номинативных данных по Екатеринбургу позволили предположить, что после революции и установления нового политического режима миграция из западных губерний прекратилась, а из сельской округи — возросла. Переселенцы из сельской местности приносили в город традиционные брачные нормы, которые подразумевали обязательное вступление в брак. Находясь в состоянии стресса, вызванного Первой мировой войной, революцией и начавшейся гражданской войной, эти мигранты пытались вступить в брак раньше, чтобы получить социальную поддержку в кругу семьи.

© Главацкая Е. М., Бобицкий А. В., Заболотных Е. А., Вишневская А. В., 2019 CC BY-NC

Ключевые слова: брачность; возраст вступления в первый брак; городское население; Урал; метрические книги; переписи; базы данных.

Цитирование: *Главацкая Е. М., Бобицкий А. В., Заболотных Е. А., Вишневская А. В.* Брачность в Екатеринбурге начала XX в.: квантитативный анализ. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.050 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 104–121.

Поступила в редакцию 28.06.2019
Принята к печати 14.08.2019

Elena M. Glavatskaya
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

Aleksandr V. Bobitsky
Institute of History and Archaeology UB RAS
Yekaterinburg, Russia

Elizaveta A. Zabolotnykh
Institute of History and Archaeology UB RAS
Yekaterinburg, Russia

Anastasia V. Vishnevskaja
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

NUPTIALITY IN EARLY 20TH CENTURY YEKATERINBURG: QUANTITATIVE ANALYSIS

This article analyses one of the main characteristics of the demographic behaviour of Russian citizens, i.e. their age at first marriage and its dynamics in the early twentieth century. The authors examine the situation in Yekaterinburg, a compact but an intensively developing industrial city. Together with aggregated census data, the authors refer to microdata extracted from several city parish registers (*metricheskie knigi*), which they transcribed into the *Ural Population Project* database.

As a result of the analysis of nominative data of parish registers, the authors establish the age of first marriages including both averages in the city as a whole and per parish which enables them to conclude about the citizens' demographic behaviour conditioned by their ethnic or religious affiliation, social status and migration patterns, and other personal characteristics.

The analysis demonstrates that Yekaterinburg seems to be closer to the "European" marriage pattern, at least in terms of mean age at first marriage in men which grew with the beginning of the war. However, according to the 1926 Census and the age of first marriage and that of never married significantly decreased as compared to the imperial period. The results of the analysis of aggregated and nominative data for Yekaterinburg enable the authors to put forward an idea that following the revolution and the establishment of a new political regime, migration from western

provinces stopped while migration from rural areas increased. Rural migrants brought their own marital patterns to the city which implied mandatory marriage. Living in an increasingly stressful environment as a result of World War I, the revolution and the civil war, migrants were trying to get married earlier than on average to secure family support for themselves.

K e y w o r d s: nuptiality; age at first marriage; urban population; Urals; parish registers; censuses; databases.

C i t a t i o n: Glavatskaya, E. M., Bobitsky, A. V., Zabolotnykh, E. A., & Vishnevskaja, A. V. (2019). Brachnost' v Ekaterinburge nachala XX v.: kvantitativnyi analiz [Nuptiality in Early 20th Century Yekaterinburg: Quantitative Analysis]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 104–121. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.050

Submitted on 28 June, 2019
Accepted on 14 August, 2019

Введение

Россия конца XIX в. переживала период интенсивной индустриализации и урбанизации, которые не могли не повлиять и на основные демографические характеристики, к числу которых относится брачность населения. При этом особую нагрузку испытывали города, принявшие значительные потоки освободившегося крестьянства. Между тем, специфика брачности городского населения России в указанный период изучена явно недостаточно. Среди немногочисленных работ можно выделить глобальное по масштабам территориального и хронологического охвата исследование по социальной истории Российской империи Б. Н. Миронова [2014]. Одно из основных достоинств этой работы — общенациональный охват — не позволило показать специфику отдельных городов, за исключением ранжирования по численности населения, а тем более учесть религиозную или этническую специфику, влияние политических событий и т. д. Кроме того, несмотря на то, что брачность россиян в конце XIX — начале XX в. неоднократно становилась объектом исследования историков, источники и методы работы с ними редко совпадали с теми, что используются европейскими исследователями. Поэтому при проведении сравнительного анализа интересные сами по себе результаты не всегда оказывались сопоставимы с данными по европейским территориям. Брачность городского населения восточной части империи привлекала еще меньше внимания и большинство исследований по этой проблеме основано на агрегированных данных. Исключением являются несколько публикаций по брачности в отдельных приходах Екатеринбурга [Glavatskaya, Borovik; Главацкая, Боровик, Бобицкий; Главацкая, Заболотных], а также работы исследователей из АлтГУ, посвященные населению Барнаула [Владимиров, Сарафанов]. Последние, однако, изучали только русское православное население и представляли данные о возрасте вступления в брак в формате интервальных значений для отдельных социальных групп, в результате

средний возраст вступления в первый брак в Барнауле так и не был рассчитан. Между тем, изучение демографических характеристик российского общества в начале XX в. важно для понимания того, насколько его развитие шло в русле глобальных демографических процессов. Данная статья посвящена решению именно этой проблемы: провести исследование на источниках и методами, аналогичными тем, что были использованы для анализа основных характеристик брачности населения европейских городов.

Поворотным моментом в исследовании брачности в Европе и за ее пределами, как известно, стало создание Дж. Хайналом (Hajnal) в 1965 г. концепции «европейского» типа брачности, чертами которого являются относительно позднее вступление в первый брак: 27–29 лет для мужчин и 24–26 лет для женщин; и значительная доля населения, никогда не вступавшего в брак, — 10–15 % [Hajnal]. Однако, как показали многочисленные исследования на европейском материале, региональные модели даже внутри одной и той же страны имеют свою специфику, требующую осмысления[1]. Целью данного исследования стал анализ российской региональной модели брачности на примере отдельного города.

Екатеринбург взят в качестве примера, поскольку являлся одним из российских городов, активно вовлеченных в процессы урбанизации, и в начале XX в. принял большое количество мигрантов, как из сельской округи, так и из западных губерний Российской империи. В первой четверти XX в. население города постоянно росло и становилось всё более разнообразным по своему религиозному и этническому составу, несмотря на то, что более 90 % составляли православные. Город также интересен своей ориентацией на индустриальную Европу и наличием западнохристианских общин с момента его основания в 1723 г. В XIX и XX вв. он был одним из важнейших в экономическом и культурном отношении российских городов, изучение ситуации в котором может стать ключом к пониманию демографической динамики в стране. Кроме того, определяющим стало и наличие уникальной источниковой базы «Регистр населения Урала», в создании которой приняли участие авторы статьи. Она включает записи метрических книг приходов Екатеринбурга за 1880–1923 гг., что позволило провести исследование на микроуровне. Конкретными задачами исследования являлись: рассчитать средний возраст вступления в брак (SMAM) и уровень окончательного безбрачия в Екатеринбурге по материалам переписей населения 1897 и 1926 гг., с тем чтобы сравнить полученные результаты с данными по европейской части России и выявить динамику в рассматриваемый период; на основе анализа данных метрических книг рассчитать средний возраст вступления в первый брак в Екатеринбурге, чтобы выявить специфику по отдельным деноминациям и приходам, учесть влияние социального и миграционного статуса, а также политических событий начала XX в.

[1] Подробный анализ самой модели и ее критики дан в статье Петера Ори, опубликованной в этом номере журнала [Ори].

Источники и методы

Получить расчетный средний возраст вступления в брак можно на основе агрегированных данных двух переписей: Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. и Всесоюзной переписи населения 1926 г. Обе переписи были тщательно подготовлены и проведены в соответствии с международными стандартами, однако после обработки и создания таблиц с обобщенными результатами первичные материалы, к сожалению, были уничтожены. Успешно начатый процесс регулярного учета населения на национальном уровне был прерван из-за вспыхнувшей в 1905 г. революции, сделавшей невозможной очередную перепись. Экономические трудности и продовольственные кризисы после вступления России в Первую мировую войну требовали срочного получения информации о населении и снабжении, и в 1916 и 1917 гг. ряд российских муниципалитетов, в том числе Екатеринбургский, провели городские переписи для организации эффективного снабжения населения продовольствием. Большая часть материалов, полученных в ходе этих переписей, к сожалению, так и не была проанализирована и опубликована из-за смены власти в стране в 1917 г. [Бахарев]. Перепись населения, инициированная уже правительством большевиков в 1920 г., также не была осуществлена в полной мере из-за нехватки ресурсов, политической турбулентности, иностранных интервенций и гражданской войны [Thorvaldsen, Glavatskaya]. Агрегированные данные переписи 1920 г. по Екатеринбургу, к сожалению, не достаточны для анализа основных характеристик брачности, поэтому для получения расчетного среднего возраста вступления в брак (SMAM) и процента окончательно безбрачного населения были использованы результаты переписей 1897 г. и 1926 г.

Наше исследование возраста вступления в первый брак по отдельным приходам основано на сведениях метрических книг религиозных общин Екатеринбурга, которые были выявлены в фондах Государственного архива Свердловской области. Сведения из метрических книг приход за приходом были транскрибированы в отдельные базы данных, которые вошли в «Регистр населения Урала». При регистрации браков, как правило, указывались имена, дата заключения брака, брачный и социальный статус и/или занятия жениха и невесты, место приписки, возраст, религиозная принадлежность (при необходимости); а также информация о родителях, свидетелях и том, кто провел обряд бракосочетания. Мы транскрибировали данные о браках в четырех православных приходах, в общей сложности почти 10 000 бракосочетаний в период с 1880 по 1923 г., при этом почти 6 000 браков относятся к периоду с 1900 по 1919 г. Кроме того, в Регистр вошли данные, транскрибированные из метрических книг старообрядцев, католической церкви Св. Анны, лютеранской церкви Св. Петра, синагоги и мусульманской общины. Таким образом, всего нами было проанализировано около 7 000 браков, зарегистрированных в 10 «приходах» Екатеринбурга (см. табл. 1).

Таблица 1

Количество браков в Екатеринбурге по годам и деноминациям*

Год	РПЦ	Старообрядцы	Католики	Лютеране	Евреи	Мусульмане	Итого
1900	308		4				312
1901	314		8	3			325
1902	277		5	5			287
1903	284		4	1			289
1904	136		4	4			144
1905	279		6	3			288
1906	385		7	6	10		408
1907	399	13	7	11	9		439
1908	314	19	9	10	11		363
1909	329	21	6	11	7		374
1910	301	19	8	25	7		360
1911	283	17	7	23	12		342
1912	350	7	3	38	8		406
1913	377	6	4	23	5		415
1914	370	9	6	12	8	18	423
1915	239	10	6	21	14	9	299
1916	187	6	25	63	12	11	304
1917	267	12	32	70	33	15	429
1918	180	24	75	26		23	328
1919	239	9	41	24			313
Итого	5818	172	267	379	136	76	6848

* Сост. по: [Регистр населения Урала].

Эти микроданные позволили рассчитать средний возраст вступления в первый брак и увидеть влияние Первой мировой войны, революции и гражданской войны на этот показатель брачности.

Екатеринбург: этнорелигиозный и демографический портрет

Дореволюционный Екатеринбург был быстро развивавшимся промышленным городом с растущим этническим и религиозным разнообразием [Glavatskaya]. Большинство населения принадлежало к РПЦ, при этом в городском религиозном ландшафте заметную роль традиционно играли сообщества старообрядцев, мусульман, лютеран, католиков и иудеев (см. табл. 2).

Таблица 2

Численность населения Екатеринбурга в 1897 г. по религиозным деноминациям*

Деноминация	Мужчины	Женщины	Всего	%
Православные (РПЦ)	18 534	21 211	39 745	91,9
Старообрядцы	766	1024	1790	4,1
Мусульмане	386	292	678	1,6
Лютеране	167	176	343	0,8
Католики	167	156	323	0,7
Иудеи	150	153	303	0,7
Другие	23	34	57	0,1
Итого	20 193	23 046	43 239	100

* Сост. по: перепись 1897 г. [Первая всеобщая перепись..., с. 92–93].

Самым представительным, после старообрядцев, религиозным меньшинством города в 1897 г. были мусульмане, чья община состояла в основном из этнических татар и башкир. Подавляющее большинство членов следующей по численности лютеранской общины были немцами, а большинство католиков имело польское происхождение. Чуть меньше католической по численности была иудейская община, состоявшая из евреев, прибывших в основном из западных губерний Российской империи.

Данные адресного стола городской управы Екатеринбурга на 1 января 1913 г. свидетельствовали о росте религиозного разнообразия. Все неправославные сообщества увеличили свою долю в религиозном составе города (см. табл. 3), в основном за счет миграций, вызванных различными обстоятельствами.

Таблица 3

Численность населения Екатеринбурга в 1913 г. по религиозным деноминациям*

Деноминация	Мужчины	Женщины	Всего	%	Сконструированные данные, N**	Сконструированные данные, %
Православные***	35 024	34 177	69 201	90,6	81 833,3	90,5
Иудеи	679	456	1135	1,5	1453,4	1,6
Католики	587	364	951	1,2	1104,1	1,2
Лютеране	512	377	889	1,2	1031,6	1,1
Мусульмане	2854	1139	3993	5,2	5112,0	5,7
Другие	136	43	179	0,2	201,0	0,2
Итого	39 792	36 556	76 348	100	90 422,6	100

* Сост. по: данные адресного стола на 1 января 1913 г. [ГАСО, ф. 62, оп. 1, д. 524, л. 154]; перепись 1897 г. [Первая всеобщая перепись..., с. 292–293].

** Дети до 14 лет в 1913 г. не регистрировались. Проблема недоучета была отчасти решена путем прибавления вероятного числа детей, рассчитанного на основе данных переписи 1897 г.

*** В том числе старообрядцы.

Даже если городская управа Екатеринбурга собрала данные на основе принципов, отличных от тех, что были использованы при проведении переписи 1897 г., они дают возможность оценить общую динамику численности религиозных групп.

Перепись, проведенная правительством советской России в 1920 г., показала как общее сокращение населения города, так и изменения в его этническом составе. В переписных листах 1920 г. не было вопроса о религии, но мы использовали данные об этнической принадлежности для анализа религиозного состава города, так как в этот период этническая и религиозная идентичность были тесно связаны даже для тех, кто не считал себя религиозным. Большинство екатеринбургских поляков были католиками; немцев — лютеранами; татар и башкир — мусульманами; русских, украинцев и белорусов — православными, включая старообрядцев всех согласий. Большинство городских евреев, даже если и не были религиозны, социально были связаны с одной из местных синагог. Такой подход позволяет интерпретировать данные «нерелигиозной» переписи населения 1920 г. следующим образом: число иудеев в Екатеринбурге значительно увеличилось, доля католиков не изменилась, а процент этнических лютеран и особенно этнических мусульман сократился существенно (см. табл. 4).

Таблица 4

Численность населения Екатеринбурга в 1920 г. по этнорелигиозным деноминациям*

Деноминация (условно)	Мужчины	Женщины	Всего	%
Православные	37 121	43 142	80 263	90,8
Иудеи	1682	1923	3605	4,1
Католики	575	507	1082	1,2
Лютеране	199	161	360	0,4
Мусульмане	774	648	1422	1,6
Другие	1050	618	1668	1,9
Итого	41 401	46 999	88 400	100

* Сост. по: перепись 1920 г. [Статистический сборник Екатеринбургской губернии..., с. 22–23].

Брачность в Екатеринбурге и Екатеринбургском уезде

1. Расчетный средний возраст вступления в брак (SMAM)

Поскольку первичные материалы переписи 1897 г. (переписные листы) не сохранились, мы рассчитали средний возраст вступления в брак (SMAM) на основе агрегированных результатов. Расчет проводился отдельно на материалах города Екатеринбурга (всего 43 239 чел.) и сельского населения Екатеринбургского уезда (всего 369 057 чел.). Как и ожидалось, городской SMAM был

выше сельского: разница составила 3,6 года для мужчин и 4 года для женщин (см. табл. 5).

Таблица 5

Расчетный средний возраст вступления в брак для населения Екатеринбурга и Екатеринбургского уезда в 1897 г.*

Город		Уезд	
Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
27,1	24,6	23,5	20,6

* Сост. по: перепись 1897 г. [Первая всеобщая перепись..., с. 36–37].

SMAM в Екатеринбурге хорошо соответствует среднему возрасту вступления в брак среди городского населения России в 1910 г.: 27,7 лет для мужчин и 24,8 года для женщин в крупных городах[2] и 26,8 лет и 22,8 года соответственно в малых [Миронов, 2003, с. 169]; при этом SMAM женщин ближе к показателю крупных городов. Чтобы увидеть динамику, мы также рассчитали SMAM, используя данные переписи 1926 г., как для Свердловска (136 420 чел.), так и для сельского населения Свердловского округа (272 179 чел.). Чтобы сделать его сопоставимым с данными дореволюционной переписи, при расчетах мы использовали те же возрастные группы, что и в переписи 1897 г. (см. табл. 6).

Таблица 6

Расчетный средний возраст вступления в брак для населения Свердловска и сельских жителей Свердловского округа в 1926 г.*

Город		Сельская местность	
Мужчины	Женщины	Мужчины	Женщины
24,9	21,8	22,0	20,0

* Сост. по: перепись 1926 г. [Таблицы из отд. отт. из изд.: Всесоюзная перепись населения..., т. 38, с. 82–83].

Средний возраст вступления в брак в городе предсказуемо оказался выше, чем на селе, однако неожиданным стало снижение возраста вступления в брак в 1926 г. в сравнении с концом XIX в. Кроме того, снизилась разница этого показателя у городского и сельского населения, особенно среди женщин: в 1897 г. разница составляла 4 года, а в 1926 — всего 1,8 года. На основе возрастов, рассчитанных для 1897 и 1926 гг., можно предположить, что средний возраст

[2] К категории «крупные» статистики относили муниципалитеты с населением 100 000 человек и более. Таковыми в 1897 г. были Санкт-Петербург, Москва, Варшава, Лодзь, Одесса, Рига и т. д., всего 20 городов империи.

вступления в брак в начале XX в. не превышал 26 лет для мужчин и 23,2 года для женщин.

2. Уровень окончательного безбрачия

Для расчета так называемого уровня окончательного безбрачия мы взяли данные переписей 1897 и 1926 гг., изменив возрастные группы Всесоюзной переписи в соответствии с дореволюционной, и посчитали средние значения для когорт в возрасте от 40 до 49 лет и от 50 до 59 лет (см. табл. 7 и 8).

Таблица 7

Половозрастное распределение жителей Екатеринбурга, никогда не состоявших в браке на момент переписи 1897 г.*

Возраст	Мужчины		Женщины	
	N	%	N	%
15–16	954	100,0	1186	98,7
17–19	1478	96,7	1650	79,6
20–29	3776	57,0	4054	40,2
30–39	3266	17,3	3424	19,2
40–49	2346	9,8	2541	15,6
50–59	1277	7,0	1773	11,4
Среднее		8,4		13,5

* Сост. по: перепись 1897 г. [Первая всеобщая перепись..., с. 36].

Таблица 8

Половозрастное распределение жителей Свердловска, никогда не состоявших в браке на момент переписи 1926 г.*

Возраст	Мужчины		Женщины	
	N	%	N	%
15–16	2382	99,6	3201	98,8
17–19	4087	96,1	5511	78,4
20–29	16 888	44,5	17 690	22,9
30–39	10 988	7,7	10 560	6,8
40–49	6657	4,2	6269	6,0
50–59	3346	3,3	4312	6,2
Среднее		3,7		6,1

* Сост. по: перепись 1926 г. [Таблицы из отд. отт. из изд.: Всесоюзная перепись населения..., т. 38, с. 36–37].

Как видно из приведенных выше таблиц, в Екатеринбурге после Первой мировой войны, революции, гражданской войны и десятилетия советской власти

традиция обязательного заключения брака была все еще сильна. Более того, уровень окончательного безбрачия, и без того очень незначительный в сравнении с европейской моделью, сократился с 8,4 % до 3,7 % для мужчин и с 13,5 % до 6,1 % для женщин. Таким образом, можно предположить, что в условиях социально-политического кризиса традиционный институт семьи воспринимался как необходимость, во всяком случае, бóльшее число людей и в более раннем возрасте стремились вступить в брак. Однако, это заключение, сделанное на основе агрегированных данных, необходимо было проверить, использовав персональные сведения о сочетавшихся браком в Екатеринбурге.

3. Возраст вступления в первый брак: анализ номинативных данных

Приблизительный средний возраст вступления в брак, рассчитанный нами выше для Екатеринбурга начала XX в., — не более 26 лет для мужчин и 23,2 года для женщин, — близок к среднему показателю для малых городов России, — 26,8 и 22,8 соответственно [Миронов, 2003, с. 169]. Однако анализ номинативных данных о населении Екатеринбурга, которые представлены в «Регистре населения Урала», показал, что, хотя средний возраст вступления мужчин в первый брак близок к SMAM и составляет 26,2 года, средний возраст вступления женщин в первый брак ниже SMAM — 21,4 года (см. табл. 9).

Таблица 9

Средний возраст вступления в первый брак в Екатеринбурге в начале XX в.*

Приход	Период	Женихи		Невесты		Разница в возрасте
		N	Возраст	N	Возраст	
Богоявленский собор	1901–1919	397	26	413	21	5
Вознесенская церковь	1901–1919	1277	25,4	1326	21,5	3,9
Екатерининский собор	1901–1919	999	25,3	1045	21,4	3,9
Свято-Духовская церковь	1901–1915	849	24,9	905	20,8	4,1
Среднее значение РПЦ	**1901–1919**	**3522**	**25,4**	**3689**	**21,2**	**4,2**
Старообрядцы	1906–1925	138	24,9	144	21,2	3,7
Католики	1909–1919	237	28,5	248	22,3	6,2
Лютеране	1901–1919	310	27,7	269	23,1	4,6
Иудеи	1906–1917	123	25,3	121	21,9	3,4
Среднее значение	**1901–1919**	**670**	**27,2**	**638**	**22,4**	**4,8**
Мусульмане	1914–1918	40	28	50	19,3	8,7
Среднее значение по городу	**1901–1919**	**4370**	**26,2**	**4521**	**21,4**	**4,8**

* Сост. по: [Регистр населения Урала].

По российскому законодательству, минимальный возраст вступления в брак составлял 16 лет для невест и 18 — для женихов; для бракосочетания тех, кто

не достиг этого возраста, требовалось разрешение епископа [Григоровский]. Однако ранние браки не были широко распространенным явлением в позднеимперской России: только 2,5 % невест выходили замуж до достижения 17 лет [Тольц, с. 141]. Согласно данным «Регистра населения Урала», в начале XX в. в Екатеринбурге браки «несовершеннолетних» были также большой редкостью. За весь рассматриваемый период только 2 % городских невест (89 девушек) были пятнадцатилетними. Доля «несовершеннолетних» женихов была еще меньшей — 0,9 % от общего числа (39 молодых людей) женились в возрасте 17 лет. Большинство православных невест в Екатеринбурге венчались в возрасте от 20 до 22 лет, похожая картина зафиксирована в Барнауле [Владимиров, Сарафанов, с. 99–101]. Что касается женихов, то большинство из них создавали семьи между 19 и 27 годами. Возможно, на возраст вступления в брак мужчин оказывала влияние вероятность воинского призыва. В зависимости от полка молодые люди служили в армии от трех до четырех лет (на флоте пять лет). Вернувшиеся призывники выходили на брачный рынок в возрасте 25–26 лет.

В табл. 8 показано, что возраст вступления в первый брак у православных женихов мог различаться на один год в зависимости от прихода, к которому они принадлежали или в котором зарегистрировали свой брак. В среднем они вступали в брак в возрасте 25,4 года, а средний возраст невест составлял 21,1 года. Екатеринбургские иудеи женились примерно в том же возрасте, а лютеране, мусульмане и католики в свой первый брак в среднем вступали значительно позже, в 27–28 лет. Девушки в католическом и лютеранском приходах в среднем выходили замуж на несколько лет позже, чем православные, а раньше всех в брак вступали мусульманки.

Данные метрических книг позволили также рассчитать средний возраст вступления в первый брак в соответствии с социальным статусом. Так, православные женихи из мещан и крестьян вступали в брак в возрасте 24,7 и 24,8 года; купцы — в 27,4 года, а дворяне в возрасте 28,2 года. Девушки с более высоким социальным статусом также выходили замуж чуть позднее.

На материалах по старообрядцам была установлена зависимость возраста вступления в первый брак от миграционного статуса жениха. Более 55 % старообрядцев, зарегистрировавших свои браки в Екатеринбурге, были крестьянами, мигрировавшими в город. Оказавшись в новом окружении, они, скорее всего, вынуждены были отложить создание семьи. Это хорошо соответствует выводам, основанным на исторической базе данных о населении Трансильвании. Те, кто мигрировал в экономически более развитые регионы, вступали в брак в среднем на год позже, чем те, кто оставался дома [Holom, Sorescu-Iudean, Hărăguș].

Разница в возрасте между женихами и невестами

В среднем екатеринбургские женихи были на 4,8 года старше своих невест, а у мусульман — на 8,7 года (см. табл. 9). Среди супружеских пар с заметной разницей в возрасте (12–15 лет) можно отметить 19-летнюю крестьянку Анисию

Нарбутовскую, которая 23 октября 1917 г. вышла замуж за 31-летнего польского крестьянина Ивана Кулика из Галиции. Иван, вероятно, был одним из тысяч австро-венгерских военнослужащих, попавших на Урал после пленения в ходе операций 1914–1915 гг. Неизвестно, к какой деноминации он принадлежал, когда жил в Галиции, но за два дня до свадьбы Иван был крещен старообрядческим наставником Порфирием Мокрушиным в Успенской часовне и сам стал старообрядцем. В метрических книгах было указано, что это был его первый брак [ГАСО, ф. 6, оп. 13, д. 334, л. 12 об.–13; д. 336, л. 2 об.–4]. Однако, принимая во внимание обстоятельства бракосочетания и тот факт, что старообрядцы не признавали обрядов, совершенных в других церквях, можно предположить, что старообрядческий наставник Порфирий, проведший оба обряда, вряд ли мог признать предыдущий брак Ивана действительным, даже если таковой и имелся.

Первая мировая война и возраст первого брака

Данные «Регистра населения Урала» позволили не только вычислить, каким образом Первая мировая война, революция и гражданская война повлияли на возраст вступления в первый брак в Екатеринбурге в целом, но и выявить, как религиозная принадлежность влияла на этот показатель (см. табл. 10).

Таблица 10

Средний возраст вступления в первый брак в Екатеринбурге по вероисповеданию, 1901–1914 гг. и 1915–1919 гг.*

Приходы	Женихи				Невесты			
	N/n	до 1914 г.	1915–1919	разница	N/n	до 1914 г.	1915–1919	разница
Богоявленский собор	301/96	25,7	27,0	+2,7	316/97	21,4	23,0	+1,6
Вознесенская церковь	1051/226	25,0	26,9	+1,9	1082/244	21,3	22,4	+1,1
Екатерининский собор	827/172	25,1	26,6	+1,5	869/176	21,2	22,3	+1,1
Свято-Духовская церковь	809/40	24,8	27,4	+2,6	857/48	20,7	22,2	+1,5
Итого и среднее значение	2988/534	25,2	27,0	+1,8	3124/565	21,2	22,5	+1,3
Католики	50/155	31,4	27,6	–3,8	49/146	26,1	22,1	–3,9
Лютеране	142/158	26,0	28,3	+2,3	137/156	22,4	24,4	+2
Иудеи	70/53	27,4	23,7	–3,7	66/55	21,1	22,9	+1,8
Итого и среднее значение	262/366	28,3	26,6	–1,7	254/357	23,2	23,1	–0,1

* Сост. по: [Регистр населения Урала].

Как и ожидалось, возраст вступления в первый брак увеличился как среди женихов, так и среди невест во всех приходах Русской православной церкви на 1,8 и 1,3 года соответственно, даже при наличии некоторых различий между приходами. Однако возраст вступления в первый брак у лютеран увеличился еще больше: в среднем на 2,3 года у женихов и на 2 года — у невест. Как было показано выше, в период с 1913 по 1920 г. численность лютеранского населения города сократилась. Это, возможно, стало одной из причин того, что сложнее было создать пару, и брак откладывался. Напротив, мигрировавшие католики и иудеи (мужчины) стали вступать в брак гораздо раньше, чем их екатеринбургские единоверцы до начала войны.

Выводы

Проведенный анализ позволил выявить общую тенденцию в демографическом поведении горожан Екатеринбурга в начале XX в., определить, как религиозная принадлежность, социальный и миграционный статус, а также политическая ситуация в стране влияли на возраст вступления в брак. Кроме того, на основе агрегированных данных о распределении населения города по полу, возрасту и семейному положению, которые были получены в ходе переписей 1897 и 1926 гг. удалось установить расчетный средний возраст вступления в брак горожан и уровень окончательного безбрачия.

Полученный нами SMAM женщин оказался несколько выше (24,6 года), чем аналогичный показатель (22,5–24 года), рассчитанный для всего городского населения Пермской губернии участниками Принстонского проекта [Coale, Anderson, Härm]. Это может быть связано с тем, что на данные городского населения Пермской губернии в целом повлияли более низкие показатели SMAM в городах с более высокой долей крестьян. Промышленный характер Екатеринбурга привлекал городское население с Запада, особенно католиков, лютеран и иудеев, возраст вступления в брак у которых был выше, чем у православных.

Опубликованные результаты переписи 1897 г. не содержат таблиц, связывающих пол, возраст и семейное положение с вероисповеданием, однако наш анализ метрических книг позволил понять влияние религиозной принадлежности на возраст вступления в первый брак. Мужчины католики, лютеране и мусульмане в среднем вступали в брак, будучи на несколько лет старше православных и иудеев. Разница в среднем возрасте первого брака между их невестами была менее существенной: женщины в католическом и лютеранском приходах выходили замуж на один-два года позже в сравнении с православными; раньше всех выходили замуж мусульманки. Мы выяснили, что принадлежность к определенному приходу в рамках одной и той же конфессии также могла влиять на средний возраст вступления в первый брак как невест, так и женихов.

Проведенное исследование подтвердило общее мнение о том, что социальный статус оказывал влияние на брачный возраст: те, кто обладал более высоким статусом, создавали семьи позднее. Кроме того, как показал анализ

персональных данных из метрических книг старообрядцев, мигранты откладывали вступление в брак в среднем на один год по сравнению с теми, кто оставался дома, если на них не оказывали давление политические кризисы и военные действия. Например, мужчины-старообрядцы из числа крестьян, переехавших в город из сельской местности, женились почти на год позже своих единоверцев-горожан. Оба вывода хорошо согласуются с аналогичными результатами, полученными на материалах Трансильвании [Holom, Sorescu-Iudean, Hărăguș]. Вероятно, мигрантам требовалось некоторое время для того, чтобы обжиться и достойно выйти на брачный рынок.

Незаметный среди данных обо всем городском населении Пермской губернии в исследовании Принстонского университета, дореволюционный Екатеринбург был ближе к «европейской» модели брака, по крайней мере, с точки зрения среднего возраста вступления в первый брак у мужчин. Данные на индивидуальном уровне показали, что средний возраст вступления в первый брак постепенно увеличивался в приходах РПЦ вплоть до Первой мировой войны, с началом которой резко возрос на 1,8 года у женихов и на 1,3 года у невест. Лютеране (преимущественно этнические немцы) также откладывали вступление в брак: мужчины на 2,3 года, девушки — на 2 года. Вероятно, это было вызвано нехваткой подходящих партнеров на брачном рынке, поскольку лютеранско-немецкое население резко сократилось между 1913 и 1920 гг. Кроме того, необходимо учитывать, что они жили в стране, находившейся в состоянии войны с Германией.

К сожалению, у нас пока нет номинативных данных о периоде после 1919 г., чтобы объяснить тот факт, что через десять лет после революции по той или иной причине молодые люди Екатеринбурга / Свердловска прервали развивавшуюся тенденцию вступать в брак позднее, чем большинство сограждан. Согласно данным переписи 1926 г., как SMAM, так и уровень окончательного безбрачия стали значительно ниже, чем в 1897 г. Можно предположить, что после революции и установления нового политического режима миграция из западных губерний прекратилась. Одновременно возросла миграция из сельской округи, а главное, изменились сами основы института брака в стране. Переселенцы из сельской местности привозили с собой православные или мусульманские брачные нормы, которые подразумевали обязательное вступление в брак. Находясь в состоянии стресса, вызванного войной, революцией и начавшейся гражданской войной, эти мигранты, а также военнопленные и беженцы пытались вступить в брак раньше, чтобы получить какую-то стабильность в кругу семьи. Кроме того, большевистское законодательство отделило церковь от государства, лишило ее права регистрировать браки и уже в 1917 г. приняло декрет о расторжении брака. Браки и разводы регистрировали государственные чиновники по заявлению граждан, без испытательного срока и совершения каких-либо таинств, что упростило как саму процедуру, так и, возможно, отношение к ней. Чтобы проверить, насколько снижение возраста вступления в брак было связано с возможностью его беспроблемного расторжения, необходимо создать базу данных

на основе сведений за 1919–1926 гг., аналогичную той, что использована для данного исследования.

Источники

Всесоюзная перепись населения 1926 года. Уральская область : [таблицы]. Отд. 3 : Семейное состояние. Место рождения и продолжительность проживания. Увечность / ЦСУ СССР, Отд. переписи ; Госплан СССР, Экономико-стат. сектор. М. : Изд. ЦСУ СССР, 1930. С. 75–233. Отд. отт. из изд.: Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. 38. М., 1930. URL: http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12871 (дата обращения: 05.06.2019)

ГАСО — Государственный архив Свердловской области. Ф. 6. Оп. 13. Д. 334, 336; Ф. 62. Оп. 1. Д. 524.

Григоровский С. О браке и разводе, о детях внебрачных, узаконении и усыновлении и о метрических документах. Сборник церковных и гражданских законов. СПб. : Синод. тип., 1912.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Изд. Центр. стат. комитета МВД под ред. Н. А. Тройницкого. Т. XXXI : Пермская губерния. СПб. : Слово, 1904.

Регистр населения Урала — База данных «Регистр населения Урала». URL: http://urappdata-urgi.urfu.ru/ural-population-project (дата обращения: 05.06.2019).

Статистический сборник Екатеринбургской губернии за 1922 год / [предисл. В. Н. Смирнова]. Екатеринбург : Изд. Екатеринб. губ. стат. бюро, 1923. URL: http://elib.uraic.ru/handle/123456789/12871 (дата обращения: 05.06.2019).

Исследования

Бахарев Д. С. Городская однодневная перепись Екатеринбурга 1917 года (по материалам периодической печати) // Провинциальный город в событиях 1917 года: новые подходы, исследовательские проблемы, открытия : материалы межрег. конф., приуроч. к 100-летию революционных событий в России 1917 г., 27 октября 2017 г. / сост.: В. В. Сашанов. Челябинск : ЭлитПечать, 2017. С. 76–84.

Владимиров В. Н., Сарафанов Д. Е. Информационные технологии в изучении метрических книг (население Барнаула в конце XVIII — начале XX в.). Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2013.

Главацкая Е. М., Боровик Ю. В., Бобицкий А. В. Католики Екатеринбурга в конце XIX — начале XX в. по материалам переписей и метрических книг. DOI 10.15826/izv2.2016.18.3.044 // Изв. Урал. федер. ун-та. 2016. Сер. 2 : Гуманитар. науки. Т. 18. № 3 (154). С. 68–85.

Главацкая Е. М., Заболотных Е. А. «...По закону Моисея и Израиля»: брак за чертой оседлости (по материалам еврейской религиозной общины Екатеринбурга). DOI 10.15826/izv2.2018.20.4.063 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2018. Т. 20. № 4 (181). С. 9–26.

Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.) : в 2 т. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. Т. 1.

Миронов Б. Н. Российская империя: от традиции к модерну : в 3 т. СПб. : Дмитрий Буланин, 2014. Т. 1.

Ори П. Брак и рождение первого ребенка в Венгрии XVIII — первой половины XX в. (на примере поселения Жамбек). DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.049 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 85–103.

Тольц М. С. Брачность населения России в конце XIX — начале XX в. // Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР / под ред. А. Г. Вишневского. М. : Статистика, 1977. С. 138–153.

Coale A., Anderson B., Härm E. Human Fertility in Russia since the Nineteenth Century. Princeton, N. J. : Princeton Univ. Press, 1979.

Glavatskaya E. Religious Landscape in Post-revolutionary Russia. The Case of Ekaterinburg // Transylvanian Review. 2018. № 2. P. 92–103.

Glavatskaya E., Borovik I. Death and Marriage: World War I Catholic Prisoners in the Urals // Transylvanian Review. 2016. 25 (4). P. 28–40.

Hajnal J. European Marriage Patterns in Perspective // Population in History: Essays in Historical Demography / ed. by D. V. Glass, & D. E. C. Eversley. London : Arnold, 1965. P. 101–143.

Holom E. C., Sorescu-Iudean O., Hărăguş M. "Beyond the Visible Pattern": Historical Particularities, Development, and Age at First Marriage in Transylvania, 1850–1914. DOI 10.1080/1081602X.2018.1433702 // The History of the Family. 2018. 23. 2. P. 329–358.

Thorvaldsen G., Glavatskaya E. The Three Main Western Revolutions and Their Censuses. DOI 10.15826/qr.2017.4.263 // Quaestio Rossica. 2017. Vol. 5. № 4. P. 992–1008.

References

Bakharev, D. S. (2017). Gorodskaia odnodnevnaia perepis' Ekaterinburga 1917 goda (po materialam periodicheskoj pechati) [One-day Census in Yekaterinburg City according to 1917 Periodicals]. In V. V. Sashanov (Comp.), *Provintsial'nyi gorod v sobytiiakh 1917 goda: novye podkhody, issledovatel'skie problemy, otkrytiia: materialy mezhreg. konf., priuroch. k 100-letiiu revoliutsionnykh sobytii v Rossii 1917 g., 27 oktiabria 2017 g.* [Provincial Town in 1917: New Approaches, Research, Discoveries. Proceedings of Transregional Conference Dedicated to the 100th Anniversary of the Revolutionary Events in Russia 1917, October 27, 2017] (pp. 76–84). Chelyabinsk: Elitpechat.

Coale, A., Anderson, B., & Härm, E. (1979). *Human Fertility in Russia since the Nineteenth Century*. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Glavatskaya, E., & Borovik, I. (2016). Death and Marriage: World War I Catholic Prisoners in the Urals. *Transylvanian Review, 25*(4), 28–40.

Glavatskaya, E. M., Borovik, J. V., & Bobitsky, A. V. (2016). Katoliki Ekaterinburga v kontse XIX — nachale XX v. po materialam perepisej i metricheskih knig [The Catholic Community of Yekaterinburg between the Late 19th and Early 20th Centuries according to the 1897 Census and Church Records]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 18*, 3 (154), 68–84. doi: 10.15826/izv2.2016.18.3.044 (In Russian)

Glavatskaya, E. (2018) Religious Landscape in Post-revolutionary Russia. The Case of Ekaterinburg. *Transylvanian Review*, 2, 92–103.

Glavatskaya, E. M., & Zabolotnykh, E. A. (2018). *"...Po zakonu Moiseia i Izrailia": brak za chertoi osedlosti (po materialam evreiskoi religioznoi obshchiny Ekaterinburga)* ["According to the Law of Moses and Israel": Jewish Marriages Outside the Pale of Settlement (with Reference to the Materials of the Yekaterinburg Jewish Religious Community)]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 20*, 4 (181), 9–26. doi: 10.15826/izv2.2018.20.4.063 (In Russian)

Hajnal, J. (1965). European Marriage Patterns in Perspective. In D. V. Glass, & D. E. C. Eversley (Eds.), *Population in History: Essays in Historical Demography* (pp. 101–143). London: Arnold.

Holom, E. C., Sorescu-Iudean, O., & Hărăguş, M. (2018). "Beyond the Visible Pattern": Historical Particularities, Development, and Age at First Marriage in Transylvania, 1850–1914. *The History of the Family, 23*(2), 329–358. doi: 10.1080/1081602X.2018.1433702

Mironov, B. N. (2003). *Sotsial'naya istoriia Rossii perioda imperii (XVIII — nachalo XX v.)* [The Social History of Russia in the Period of the Empire (18th — Early 20th Centuries)] (Vol. 1). St Petersburg: Dmitri Bulanin. (In Russian)

Mironov, B. N. (2014). *Rossijskaia imperiia: ot traditsii k modernu* [The Russian Empire: From Tradition to Modernity] (Vol. 1). St Petersburg: Dmitri Bulanin. (In Russian)

Őri, P. (2019). Brak i rozhdenie pervogo rebenka v Vengrii XVIII — pervoi poloviny XX v. (na primere poseleniia Zhambek) [Marriage and the First Birth in Zsámbék, Hungary (18th — Early 20th Centuries)]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 85–103. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.049 (In Russian)

Thorvaldsen, G., & Glavatskaya, E. (2017). The Three Main Western Revolutions and Their Censuses. *Quaestio Rossica, 5*(4), 992–1008. doi: 10.15826/qr.2017.4.263

Tolz, M. S. (1977). Brachnost' naseleniia Rossii v kontse XIX — nachale XX v. [Marriages of the Population of Russia in the Late 19th and Early 20th Centuries]. In A. G. Vishnevsky (Ed.), *Brachnost', rozhdaemost', smertnost' v Rossii i v SSSR* [Marriage, Fertility, and Mortality in Russia and the USSR] (pp. 138–153). Moscow: Statistika. (In Russian)

Vladimirov, V. N., & Sarafanov, D. E. (2013). *Informatsionnye tekhnologii v izuchenii metricheskih knig (naselenie Barnaula v konce XVIII — nachale XX v.)* [Information Technology in the Study of Metric Books (Population of Barnaul in the Late 18th — Early 20th Centuries)]. Barnaul: Altai State University. (In Russian)

Главацкая Елена Михайловна
доктор исторических наук, профессор
кафедры археологии и этнологии
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: elena.glavatskaya@urfu.ru

Glavatskaya, Elena Mikhailovna
Dr. Hab. (History), Professor,
Department of Archaeology and Ethnology
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Email: elena.glavatskaya@urfu.ru
ORCID: 0000-0001-7013-5013
Scopus ID: 55587715900

Бобицкий Александр Владимирович
научный сотрудник лаборатории
междисциплинарных гуманитарных
исследований
Институт истории и археологии УрО РАН
620990, Екатеринбург,
ул. Софьи Ковалевской, 16
E-mail: alexander.bobitsky@urfu.ru

Bobitsky, Aleksandr Vladimirovich
Research Fellow, Laboratory for
Interdisciplinary Research in the Humanities
Institute of History and Archaeology UB RAS
16, Sofia Kovalevskaya Str.,
620990 Yekaterinburg, Russia
Email: alexander.bobitsky@urfu.ru
ORCID: 0000-0002-2541-7078

Заболотных Елизавета Александровна
научный сотрудник лаборатории
междисциплинарных гуманитарных
исследований
Институт истории и археологии УрО РАН
620990, Екатеринбург,
ул. Софьи Ковалевской, 16
E-mail: elizaveta.zabolotnykh@urfu.ru

Zabolotnykh, Elizaveta Aleksandrovna
Research Fellow, Laboratory for
Interdisciplinary Research in the Humanities
Institute of History and Archaeology UB RAS
16, Sofia Kovalevskaya Str.,
620990 Yekaterinburg, Russia
Email: elizaveta.zabolotnykh@urfu.ru
ORCID: 0000-0002-1002-8723

Вишневская Анастасия Вячеславовна
лаборант-исследователь научной
лаборатории «Международный центр
демографических исследований»
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: anastasia.v.vishnevskaya@gmail.com

Vishnevskaja, Anastasia Vyacheslavovna
Research Assistant, Laboratory "International
Centre for Demographic Studies"
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Email: anastasia.v.vishnevskaya@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1243-5525

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.051
УДК 314.3(496.5) + 94(100)“1914/1919” +
+ 314.02 + 004.65

Зигфрид Грубер
Грацский университет
имени Карла и Франца
Грац, Австрия

РОЖДАЕМОСТЬ В АЛБАНИИ ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ 1918 г.*

Албания последней из европейских стран вступила в демографический переход. По этой причине анализ уровня и структуры рождаемости в Албании допереходного периода представляет особый интерес, в том числе, была ли она такой же, как в соседних странах, или выше?

Албания входила в состав Османской империи вплоть до Балканских войн (1912–1913), и по их окончании получила независимость благодаря поддержке Великих держав. Но уже в 1916 г. в ходе Первой мировой войны австро-венгерская армия вторглась в Албанию и заняла северные и центральные районы страны, в то время как южные заняли силы Антанты. В 1918 г. австро-венгерские оккупационные власти провели на подконтрольной им территории перепись населения, первичные бланки которой сохранились до наших дней. Именно их данные были использованы для анализа уровня и структуры рождаемости в Албании. В результате проведенного исследования было обнаружено, что уровень рождаемости в браке в сельских областях Албании во время Первой мировой войны был ниже, чем в соседних странах за десять или двадцать лет до этого, в то время как в албанских городах брачная рождаемость была выше, чем у большинства соседей. В Албании практически не наблюдалось разницы между сельской и городской брачной рождаемостью, однако присутствовали заметные региональные различия. Вопрос о том, что служило причиной крайне низкой рождаемости среди молодых замужних женщин, остается открытым.

К л ю ч е в ы е с л о в а: рождаемость в браке; Первая мировая война; Албания; перепись 1918 г.; начало XX в.; село и город; базы данных.

Ц и т и р о в а н и е: *Грубер З.* Рождаемость в Албании во время Первой мировой войны по материалам переписи 1918 г. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.051 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 122–137.

Поступила в редакцию 16.11.2018
Принята к печати 17.07.2019
Пер. с англ. Е. С. Пургиной, Е. М. Главацкой

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Oesterreichische Nationalbank, грант № 17494.

© Грубер З., 2019
CC BY-NC

Siegfried Gruber
University of Graz
Graz, Austria

FERTILITY IN ALBANIA DURING WORLD WAR I ACCORDING TO THE 1918 CENSUS

Apart from Kosovo, Albania was the last country in Europe to enter demographic transition and therefore an analysis of its fertility patterns before the transition is of interest. Was it higher than in neighbouring countries or similar to them?

Albania was a part of the Ottoman Empire until the Balkan Wars (1912/1913) and only with the help of the Great Powers an independent Albania managed to emerge. In 1916, the Austro-Hungarian army invaded Albania and occupied the northern and central parts of the country, while the south was occupied by the troops of the Allied Powers. During the time of the Austro-Hungarian occupation, a census was carried out in 1918 and most of the manuscripts have survived. To analyse the level and structure of fertility patterns in Albania, the author refers to these data applying the child-woman ratio. The analysis demonstrates that in Albanian rural areas during World War I, fertility rate was lower than in neighbouring countries one or two decades before, while urban marital fertility was higher than in most of the neighbouring countries. In Albania, marital fertility was almost the same for rural and urban areas, while there were some variations between rural areas and cities. The reason for a very low fertility of young married women is still an open question.

K e y w o r d s: marital fertility; World War I; Albania; 1918 Census; early 20th century; city and the countryside; databases.

Acknowledgements
Research for this publication has been supported by funds of the Oesterreichische Nationalbank (Oesterreichische Nationalbank, Anniversary Fund, project number: 17494).

C i t a t i o n: Gruber, S. (2019). Rozhdaemost' v Albanii vo vremia Pervoi mirovoi voiny po materialam perepisi 1918 g. [Fertility in Albania during World War I according to the 1918 Census]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 122–137. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.051

Submitted on 16 November, 2018
Accepted on 14 August, 2019
Translated from English by E. S. Purgina and E. M. Glavatskaya

Исторический контекст

Албания являлась частью Османской империи вплоть до 1912 г., когда заявила о своей независимости. В ходе Первой Балканской войны (1912) соседствующие с европейской частью Османской империи государства — Греция, Болгария, Сербия и Черногория — объявили войну Стамбулу и отвоевали Балканский

полуостров, за исключением его небольшой части, которая до сих пор принадлежит Турции. После окончания войны, Греция, Сербия и Черногория попытались разделить албанскую территорию между собой, однако при поддержке Великих держав, Австро-Венгрии и Италии, Албания в 1913 г. смогла добиться международного признания своей независимости. Во время Первой мировой войны соседние государства вновь попытались поглотить Албанию, чему способствовало отсутствие в ней центрального правительства или международного органа, которые могли бы контролировать всю территорию страны. После того, как Греции и Италии удалось оккупировать южную Албанию, сербы и черногорцы в начале 1915 г. вторглись в ее северную часть. В январе 1916 г. австрийцы вытеснили их с захваченных территорий и установили свой контроль над северной и центральной Албанией, вплоть до берегов реки Вьосы на юге, русло которой служило северной границей территории, захваченной итальянцами.

Рождаемость в Албании

Албания последней в Европе вступила в демографический переход. После Второй мировой войны в стране была самая высокая рождаемость в Европе: суммарный коэффициент составлял приблизительно шесть рождений на одну женщину, а в 1960 г. поднялся до семи [Aassve, Gjonça, Mencarini, p. 8]. К 2002 г. произошел спад до 2,2 рождений, но даже при этом Албания остается страной с самой высокой рождаемостью в Европе [Gjonca, Aassve, Mencarini, p. 261; Falkingham, Gjonça]. Несмотря на то, что среднее число детей на одного отца семейства составляло 5,2 ребенка [Coon, p. 23], по данным переписи населения 1918 г. самое высокое среднее число живущих в семьях детей составляло 2,6 детей на одного женатого мужчину, достигшего 55-летнего возраста и 2,7 — на одну замужнюю женщину, достигшую возраста 45 лет. Городская модель рождаемости и влияния миграции на рождаемость были рассмотрены в отдельных работах [Gruber, 2011], однако комплексного исследования рождаемости в Албании проведено не было.

Этнографы и путешественники оставили описания брачных обрядов албанцев в начале XX в., однако вопросы, связанные с рождаемостью, стали изучаться намного позже. Американский антрополог Карлтон С. Кун отмечал, что в северной Албании (Малесия и Гегния) девушек выдавали замуж, как только они достигали половой зрелости, и непрерывное рождение детей, одного за другим, следовало сразу после этого [Coon, p. 27]. Источников о рождаемости в стране начала XX в. практически нет, поскольку текущий учет населения в Османской империи был развит слабо. Общенациональную систему учета Албания ввела только в 1920-х гг. [Rothenbacher, p. 168], и потребовалось немало времени, прежде чем она охватила всю страну. Христианское население (католики на севере и православные на юге) вели метрические книги, в которых священники регистрировали события жизненного цикла, однако ввод в научный оборот этих данных только начался. Для мусульман, которые составляли большинство населения Албании (около 70 %), такой учет не велся вообще. В результате,

первые публикации о рождаемости начали появляться лишь с 1950-х гг. [Gjonca, Aassve, Mencarini, p. 265].

В коммунистический период статистика подобного рода имела статус гостайны, вследствие чего первая значительная работа, посвященная анализу рождаемости в Албании, вышла только в 2001 г. [Falkingham, Gjonça]. Именно поэтому, когда Албания появилась на картах, подготовленных участниками Принстонского проекта, посвященного рождаемости в европейских странах, она сразу заняла первую позицию по общему уровню рождаемости [Coale, Watkins, map 2.13].

Население Албании в 1918 г.

Границы новообразованного государства не полностью совпали с ареалом проживания албанского этноса, в результате чего множество албанцев оказалось за пределами страны. При этом представители этнических меньшинств в самой Албании не были многочисленными. Большинство населения Албании (около 70 %) составляли мусульмане, в северо-западной части страны преобладали католики, а в южной — православные (в основном, за пределами территории, охваченной переписью 1918 г.).

Согласно переписи 1918 г., уровень образования среди населения в возрасте 15 лет и старше был достаточно низким: в сельских областях грамотным было только 2,5 % мужского населения и 0,1 % женского, в городах — 29,5 % и 6,1 % соответственно.

Основой экономики Албании было сельское хозяйство: только 12,6 % населения, охваченного переписью 1918 г., жило в шести городах, население самого небольшого из которых составляло всего 3 800 жителей. Самый крупный город, Шкодер, имел население в 23 000 человек, а в Тиране, ставшей столицей Албании после Первой мировой войны, проживало всего 10 000 жителей [Seiner, p. 7]. В 1918 г. половина городского населения была занята либо на небольших производственных предприятиях, либо в сфере торговли. Промышленное производство страны находилось в зачаточном состоянии.

Преобладающее большинство албанцев жило в сельской местности: население гористой части страны в основном специализировалось на животноводстве, а жители равнинной местности и долин — на возделывании земли. В наиболее плодородных областях, как правило, располагались большие поместья, в то время как в горах преобладали небольшие наделы и пастбища.

Патриархальная культура и домохозяйства

Пребывание в составе Османской империи не оказало большого влияния на албанское общество, особенно в горных районах, которые очень слабо контролировались турками. Правительство независимой Албании также испытывало большие трудности в установлении административной и судебной власти

над обществом, которое привыкло жить по нормам обычного права[1]. В начале XX в. внимание этнографов особенно привлекала северная Албания, имевшая репутацию оплота патриархальной культуры и пережитков. Эта характеристика подтверждается такими демографическими характеристиками, как распространение патрилокальных браков, неразделенных семей, ранний возраст женщин при вступлении в брак и т. д. Исследование 266 исторически сложившихся европейских общностей показало безусловное первенство Албании по этим показателям [Szołtysek, Klüsener, Poniat, Gruber, p. 241].

Пользуясь классификацией Гаммеля и Ласлетта [Hammel, Laslett], можно сказать, что более половины сельского населения жило в неразделенных семьях, и только четверть — в простых.

Брачный возраст

Большинство количественных данных о паттернах брачности в Албании в начале XX в. было получено благодаря анализу данных переписи населения 1918 г. Расчетный средний возраст вступления в первый брак (SMAM) составлял 18 лет для женщин и 26,6 для мужчин [Hajnal, 1953]. Существовали значительные различия между городской и сельской местностью: например, в деревнях брачный возраст был 17,8 лет для женщин и 26,1 для мужчин, в то время как в городах он составлял 19,1 для женщин и 30,1 для мужчин. В Шкодере брачный возраст был самым высоким по стране: 20 лет для женщин и 34 года для мужчин [Gruber, 2017, p. 144]. Брачный возраст мужчин, таким образом, был выше, чем характерный для «восточноевропейского типа брачности» по Дж. Хайналу [Hajnal, 1965, p. 101].

Средняя разница в возрасте между супругами составляла 9,3 года (это также было связано с несбалансированным соотношением полов), т. е. была весьма значительной по европейским стандартам. При этом чем старше был муж, тем больше была возрастная разница между супругами [Gruber, 2017, p. 146]. Такая разница в возрасте близка к максимальной величине, полученной при анализе 77 развивающихся стран в период с 1950 по 2005 г. [Carmichael, p. 426]. На юге Албании в регионе Маллакастер 4,2 % женатых мужчин имели более одной жены [Nicholson, 2006, p. 48]. В целом, согласно данным 1918 г., 4,4 % всех женатых мужчин Албании имели несколько жен. Полигамия была особенно распространена среди мусульман восточной Албании, реже встречаясь в среде городского населения [Gruber, 2012, p. 106].

Перепись населения 1918 г.

В отсутствие данных учета естественного движения населения в Албании материалы переписи населения, проведенной австро-венгерскими оккупационными властями в 1918 г., являются основным источником информации

[1] Влиянию обычного права на брачное поведение посвящено отдельное исследование [Kera, Papa].

о рождаемости в начале XX в. [Nicholson, 1999]. Это была первая перепись населения Албании, хотя и не охватившая всю ее современную территорию, первичные материалы которой с индивидуальными данными сохранились до наших дней и обладают довольно высоким качеством, особенно если учитывать, в каких условиях эти данные были собраны [Gruber, 2007, S. 257]. Это обследование до сих пор остается малоизвестным, что объясняет, почему в демографическом атласе Албании в качестве даты первого статистического учета населения страны указан 1926 г. [Bërxholi]. Гьонча упоминает только предварительную перепись 1916 г. и указывает перепись 1923 г. в качестве первой всеобщей переписи в Албании [Gjonça, 2001, p. 38–39].

Австро-венгерская армия оккупировала бóльшую часть территории молодого албанского государства, за исключением районов на юге и юго-востоке, и учредило новое правительство в 1916 г. Офицеры австро-венгерской армии при проведении переписи пользовались помощью албанских военных [Seiner, S. 3]. Перед регистраторами была поставлена задача собрать данные обо всех жителях, включая детей женского пола [Ibid., S. 4]. Судя по тому, что по результатам переписи число мужчин и женщин оказалось примерно равным, усилия переписчиков увенчались успехом: переписи населения других балканских стран демонстрировали явное преобладание мужского населения (данные о Сербии см. в [Sundhaussen, S. 80]).

Первичные данные переписи Албании 1918 г. были переведены в машиночитаемую форму в рамках научного проекта «The 1918 Albanian Population Census: Data Entry and Basic Analyses», который был реализован в Грацском университете при поддержке Австрийского научного фонда (2000–2003). Перепись 1918 г. представляет собой уникальный источник данных о демографической структуре и поведении албанского населения. К настоящему моменту в базу внесены данные о 258 деревнях и 6 городах, которые содержат сведения о 140 611 персонах [Albanian Census 1918].

Коэффициент детности и проблемы его применения

Материалы переписи не содержат данных об общем числе родов у каждой конкретной женщины, однако можно воспользоваться информацией о количестве детей, которые были живы на момент проведения переписи. Исследований о смертности в Албании в начале XX в. пока нет, поэтому был использован коэффициент (индекс) детности для анализа уровня рождаемости в Албании во время Первой мировой войны. Коэффициент детности понимается как количество детей в возрасте до 5 лет, поделенное на количество женщин детородного возраста и умноженное на 1000. Таким образом, коэффициент детности служит косвенным показателем рождаемости, тяготеющим к занижению, поскольку дети, которые умерли до переписи, не включаются в подсчеты [Pullum, p. 423].

Поскольку перепись проводилась 1 марта 1918 г., то для подсчета коэффициента детности в выборку должны были бы быть включены данные о детях,

рожденных в период с марта 1913 г., в 1914, 1915, 1916, 1917 гг. и до марта 1918 г. Переписные бланки содержали колонки с указанием даты рождения и возраста, что теоретически должно было бы позволить провести точную выборку всех детей в возрасте до 5 лет. Однако большинство людей сообщили лишь возраст, а дату рождения — менее 8 %, при этом 14,6 % указали только год. Лишь для 8,2 % младенцев, рожденных в 1917–1918 гг. была указана точная дата рождения, а для детей, рожденных в 1913 г., — всего 1 %. В результате, в выборку были просто включены сведения о детях, рожденных в календарные годы 1913–1917. В инструкциях о порядке проведения переписи не было точных указаний, как именно фиксировать возраст — полных лет на момент проведения переписи или на конец 1918 г. Анализ данных о людях, чей возраст и год рождения известен, показывает, что указанный возраст чаще всего составлял математическую разницу между 1918 и годом рождения.

Вторая проблема связана с точностью указанного возраста, на что влияли низкий уровень грамотности и отсутствие полноценной системы учета естественного движения населения. Многие люди сообщили переписчикам не точный возраст, а округленный до величины, кратной 5 или 10. Анализ 115 аналогичных источников в разных европейских странах показал, что самый высокий уровень аккумуляции возрастов (особенно оканчивающихся на 5 и 0) наблюдался на территории современной Беларуси, в южной Румынии и Албании в 1918 г. [Szołtysek, Poniat, Gruber, p. 17]. Поэтому, чтобы минимизировать искажения, связанные с приближенной оценкой возраста, в анализе были использованы иные возрастные группы (например, 18–22 года). Рассчитанный в статье возраст, таким образом, следует рассматривать как приблизительный.

Следующая проблема — это традиционный недоучет детей женского пола. На основе анализа данных по северной Албании за 1929–1930 гг. Кун рассчитал, что на 100 новорожденных девочек приходилось 163 мальчика [Coon, p. 26–27]. Очевидно, что эти цифры были следствием патриархального мировоззрения, когда женщина и особенно девочка не считалась полноценным членом общества, заслуживающим внимания и учета. В данных переписи 1918 г. также очевиден гендерный дисбаланс в 121,5 в группе детей до года [Kera, Pandelejmoni, p. 132]. Такое соотношение полов могло означать, что в Албании мальчиков рождалось значительно больше, чем девочек, либо уровень смертности младенцев-девочек был значительно выше. Однако более вероятно, что во время переписи зарегистрировали не всех девочек. Результаты исследования Сейнера для всего населения Албании показывают довольно сбалансированное в отличие от других балканских стран соотношение полов: 100,6 мужчин на 100 женщин [Seiner, S. 8]. Таким образом, если биологически обусловленное соотношение полов при рождении должно быть около 105 [Hobbs, p. 133–134], то соотношение ниже 100 или выше 105 должно быть скорректировано, что и было сделано в статье.

И, наконец, последняя проблема связана непосредственно с вычислением возрастных коэффициентов рождаемости, поскольку не всех сирот удалось соотнести с конкретной женщиной, и не все дети на момент переписи находились

в семьях вместе со своими матерями. Кроме того, в некоторых случаях возраст матери превышал биологически допустимые пределы (старше 52 лет). В итоге, для соответствующих вычислений дети без матерей или от матерей старше 52 лет были распределены пропорционально между женщинами в возрасте от 15 до 52 лет.

Поскольку внебрачные дети были в стране чрезвычайно редким явлением, исследование касается замужних женщин, особенно тех, чьи мужья находились дома на момент переписи. Отсутствующие супруги (в основном это было связано с сезонными работами) снижают статистику брачной рождаемости, поэтому этот фактор был исключен из анализа (см. табл. 1).

Таблица 1

Материалы базы данных, использованные для анализа*

Категория записи	Кол-во записей
Дети 1–5 лет	20 997
Женщины 15–50 лет	37 726
Замужние женщины 15–50 лет, оба супруга присутствовали	22 132

* Источник: [Gruber, Kaser, Kera, Pandelejmoni].

Брачная рождаемость в Албании во время Первой мировой войны

Результаты исследований показывают, что в сельской Албании брачная рождаемость (столбцы серого цвета на рис. 1) во время Первой мировой войны была ниже, чем аналогичный показатель в соседних странах за десять или двадцать лет до этого[2]. Особенно это заметно в сравнении с Румынией, где в 1899 г. брачная рождаемость была намного выше. Брачная рождаемость в городах (столбцы черного цвета на рис. 1) во всех этих странах была ниже, чем брачная рождаемость в деревне. Только в Албании оба показателя примерно одинаковы (без корректировки коэффициент городской брачной рождаемости был даже немного выше, чем коэффициент сельской брачной рождаемости). Во время Первой мировой войны Албания имела самый высокий уровень рождаемости на Балканах, аналогичный уровню рождаемости в Румынии в 1899 г. Брачная рождаемость в сербских городах в 1900 г. была немного ниже, а в Болгарии в 1910 г. она была заметно ниже, чем в Албании в период Первой мировой войны. В Греции брачная рождаемость была самой высокой среди всех упомянутых стран, при этом, так как в опубликованной статистике сельское и городское население не различаются, можно заключить, что греческая сельская брачная рождаемость была схожей с аналогичным показателем в Румынии в 1899 г. Корректировка данных по Албании незначительно влияет на результаты. Во всех

[2] Это последние переписи довоенного периода, которые содержат данные, позволяющие рассчитать коэффициент детности. Коэффициент детности в данном случае несколько завышен, поскольку матерями части детей были незамужние или овдовевшие женщины.

других странах (см. рис. 1) соотношение полов у детей до 5 лет не превышало 106, поэтому корректировка не потребовалась.

Такой результат может объясняться двумя причинами: во-первых, брачная рождаемость в сельской Албании могла снизиться, что было характерно для всех стран, пострадавших в Первой мировой войне. Во-вторых, довоенная брачная рождаемость в албанских деревнях изначально могла быть ниже, чем в Сербии и Румынии в 1900 г. Чтобы выбрать правильное объяснение, в будущем необходим ввод в научный оборот новых данных о довоенной рождаемости.

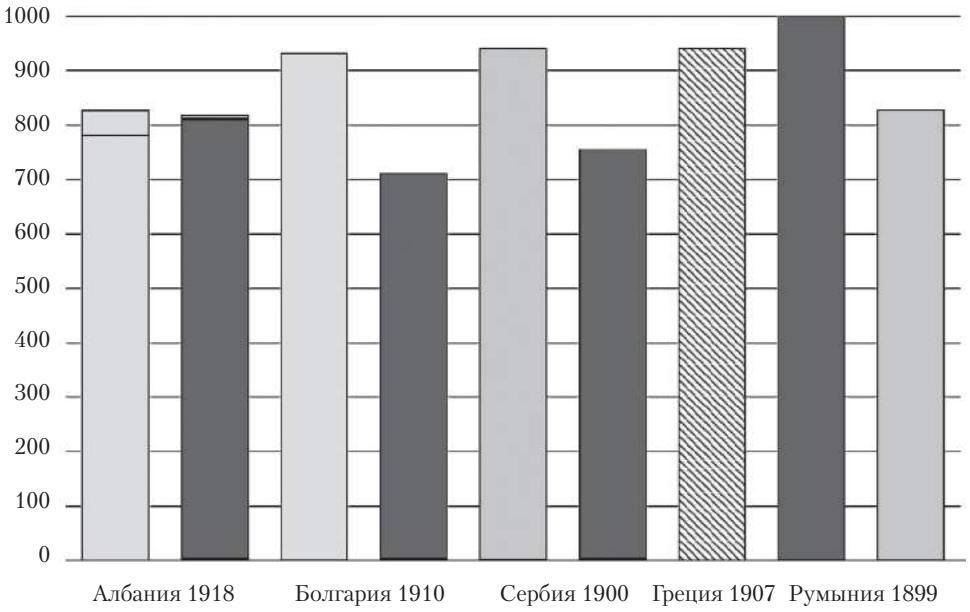


Рис. 1. Брачная рождаемость в Албании в 1913–1917 гг.
в сравнении с другими странами Юго-Восточной Европы*
Marital fertility in Albania between 1913 and 1917 as compared to other countries of Southeast Europe

* Сост. по: [Gruber, Kaser, Kera, Pandelejmoni; Общи резултати..., с. 3–4, 6–7, 15–16; Résultats statistique..., p. 157; Recensământul General..., p. 8, 14, 20, 26, 48–55; Popis stanovništva..., s. 33–38, 74].

Факторы, влияющие на различия брачной рождаемости

Как показывает рис. 1, уровень брачной рождаемости в городах и селах Албании в период Первой мировой войны практически не отличался, что странно, поскольку обычно рождаемость в сельской местности выше из-за более раннего возраста вступления в брак. Существуют некоторые отличия между разными сельскими областями Албании: например, в Жури коэффициент детности составлял 750, а в Берате — 1010. Большинство регионов были достаточно однородны в этом смысле, кроме двух районов с самыми высокими показателями на юге Албании. Уровень брачной рождаемости в шести городах, по которым

сохранились первичные данные переписи (в Берате, например, они были уничтожены), показывает аналогичную картину: коэффициент детности колеблется от относительно низкого уровня 670 в Дурресе (портовый город) до высокого 917 в Шкодере, самом большом городе.

Влияние религии на брачную рождаемость было крайне незначительным как в сельской местности, так и в городах. Что касается грамотности, то грамотных женщин было крайне мало, а значит, для анализа влияния этого фактора на рождаемость можно использовать лишь данные о грамотности мужа. Проведенный анализ показал, что жены грамотных мужей (как в городах, так и в сельской местности) рожали чаще, чем жены неграмотных.

Согласно данным переписи, основным занятием большинства женщин была «домашняя работа», при анализе корреляции рождаемости и рода занятий были использованы данные о занятии мужей. Группы по роду занятий определялись на основе Международного стандарта классификации исторических профессий (HISCO) [van Leeuwen, Maas, Miles], но группы 0/1, 2 и 3 были объединены в группу «Служащие». Мужчины, не указавшие род занятий, были отнесены к той же группе, что была зарегистрирована у главы всего домохозяйства, исходя из того, что это были родственники и они занимались одним делом. В сельской местности большинство мужчин занимались земледелием и скотоводством. Для их жен была характерна более высокая рождаемость, чем для жен мужчин, которые занимались несельскохозяйственной работой. В городах для женщин, которые были замужем за служащими, был зафиксирован самый высокий уровень рождаемости, на втором месте оказались жены мужчин, которые работали в торговле. Во всех остальных группах уровень рождаемости был примерно одинаковый.

Таблица 2

Коэффициент детности в Албании во время Первой мировой войны*

Критерий	Сельская местность	Города
По регионам		
Круя	877	
Пука	858	
Шкодер	861	
Северная Тирана	811	
Жури	748	
Гора	897	
Южная Тирана	927	
Берат	1010	
По городам		
Круя		779
Шкодер		917

Окончание табл. 2

Критерий	Сельская местность	Города
Дуррес		672
Эльбасан		840
Кавая		786
Тирана		804
По вероисповеданию		
Мусульмане	821	822
Католики	867	843
Православные	867	830
По уровню грамотности		
Неграмотные	825	784
Грамотные	1012	934
По роду занятий		
Служащие		965
Торговля		892
Сфера обслуживания		812
Сельское хозяйство	828	825
Производство		808
Другое		808
Несельскохозяйственная деятельность	780	
Среднее значение коэффициента детности	827	818

* Источник: [Gruber, Kaser, Kera, Pandelejmoni].

Повозрастные особенности брачной рождаемости

Поскольку процесс демографического перехода в Албании довоенного времени еще не начался, показатель рождаемости сравнивался с так называемой естественной рождаемостью. Понятие «естественной рождаемости» было введено Луи Анри [Henry, 1961a] и означает «рождаемость, которая существует или существовала при условии отсутствия вмешательства в репродуктивный цикл» [Henry, 1961b, p. 81]. Контролируемая рождаемость означает, что репродуктивное поведение супружеской пары зависит от количества уже рожденных детей и представлений о том, сколько детей партнеры планируют иметь [Ibid.].

За точку отсчета взяты показатели рождаемости у женщин-гуттериток[3], которые вышли замуж между 1921 и 1930 гг. Кривые на рис. 2 показывают изменение возрастных коэффициентов детности, самая высокая величина которых не может превышать 100, и дают возможность проанализировать динамику брачной рождаемости на протяжении жизни женщины, преимущественно из сельской

[3] Гуттериты — сообщество с самым высоким уровнем рождаемости в мире [Henry, 1961b, p. 84].

среды. Брачная рождаемость гуттеритов (по преимуществу сельских жителей), достигнув пика в возрасте 15–19 лет, постепенно снижается в течение жизни и резко падает после 40 лет. Этот паттерн хорошо согласуется с возрастными изменениями в репродуктивном потенциале женщины. Однако 20-летние женщины в албанских деревнях во время Первой мировой войны демонстрировали довольно низкий уровень рождаемости, а ее пик, как ни странно, приходился на возрастную категорию 35 лет[4]. Во всех других общностях, исследованных Анри, максимум брачной рождаемости приходился на возрастную категорию 20–24 года [Henry, 1961b, p. 84]. То же относится и к данным для соседних с Албанией стран: Болгарии в 1905–1906 гг., Далмации в 1900 г. и Сербии в 1900 г. [Gruber, 2019]. Схожая с Албанией ситуация отмечалась лишь в 1865 г. в Норвегии: пик брачной рождаемости у селянок приходился на возраст 30–34 года, а у 20-летних женщин она была низкой. Однако, в отличие от албанок и гуттериток, выходивших замуж довольно рано, норвежки вступали в первый брак достаточно поздно.

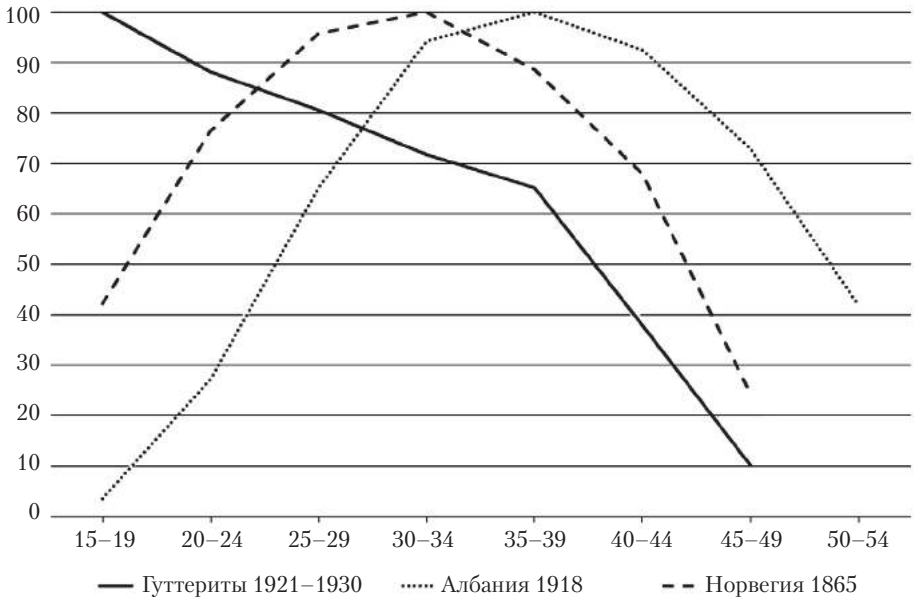


Рис. 2. Коэффициент детности у женщин в сельской Албании (1918) в зависимости от возраста матери*

Births per woman in rural Albania (1918) depending on the mother's age

* Сост. по: [Wetherell, p. 593; Gruber, Kaser, Kera, Pandelejmoni; NAPP v. 2.3].

Таким образом, результаты проведенного исследования противоречат выводам Куна о том, что девушки в северной Албании выходили замуж рано и начинали рожать детей регулярно сразу, как только становились способны

[4] Возрастные группы в Албании концентрируются вокруг последней цифры 0 или 5, поэтому кривая на рис. 2 сдвинута на 2,5 года вправо.

к деторождению [Coon, p. 27]. Замечание Куна звучит логично, если предположить, что ранний брак — признак того, что супруги хотят иметь много детей, особенно наследника мужского пола, и стремятся родить его как можно раньше. Однако данные переписи 1918 г. не подтверждают эту теорию.

Выводы

Несмотря на то, что при работе с данными переписи населения Албании 1918 г. возникает ряд вопросов в отношении их надежности, они могут вполне успешно использоваться для вычисления коэффициента детности, который является косвенным показателем рождаемости. В результате проведенного анализа было установлено, что брачная рождаемость в сельских областях Албании во время Первой мировой войны была ниже, чем в соседних странах за десять-двадцать лет до этого. В то же время в албанских городах брачная рождаемость была выше, чем у большинства соседей. В Албании практически не наблюдалось разницы между сельской и городской брачной рождаемостью, хотя внутри каждой категории существовали региональные различия. Религиозная принадлежность не оказывала большого влияния на уровень брачной рождаемости, в отличие от грамотности — более высокий уровень грамотности у мужчин коррелировал с более высокой рождаемостью у их жен. В сельской местности самая высокая рождаемость наблюдалась в семьях земледельцев и скотоводов, а в городах — в семьях служащих. Неожиданный результат принесло возрастное распределение коэффициента детности: брачная рождаемость в Албании достигала своего максимума в возрастной группе 35 лет, что серьезно отличается от показателей детности в соседних странах. Вопрос о причинах крайне низкой рождаемости у молодых замужних албанок остается открытым. На текущем этапе мы можем выдвинуть две следующие гипотезы: во-первых, мы имеем дело с влиянием Первой мировой войны; во-вторых, низкая рождаемость была свидетельством крайне тяжелых условий жизни молодых деревенских албанок — очень ранний брак, непосильный труд и скудное питание.

Источники

Общи резултати от преброяване на населението в Царство България на 31 декември 1910 г. Т. II : Възраст, семейно положение и грамотност на наличното население / Главна дирекция на статистиката. София, 1923.

Albanian Census 1918. URL: http://www-gewi.uni-graz.at/suedost/seiner/index.html (accessed: 30.06.2019).

Gruber S., Kaser K., Kera G., Pandelejmoni E. 1918 Census of Albania, Version 1.0 [Mosaic Historical Microdata File]. URL: www.censusmosaic.org (accessed: 30.06.2019).

NAPP — North Atlantic Population Project: Complete Count Microdata: Version 2.3 [dataset] / Minnesota Population Center. Minneapolis, MN : Univ. of Minnesota, 2017. doi: 10.18128/D040.V2.3

Popis stanovništva u Kraljevini Srbiji 31. decembra 1900. godine, drugi deo / Uprava državne statistike. Beograd, 1905. (Statistika Kraljevini Srbije ; vol. 24).

Recensământul General al Populaţiunei României din Decembre 1899. Rezultate definitive / Serviciul Statisticei Generale. Bucureşti, 1905.

Résultats statistique du Recensement général de la population effectué le 27 octobre 1907. Vol. I / Service du Recensement. Athènes, 1909.

Seiner F. Ergebnisse der Volkszählung in Albanien in dem von den österr.-ungar. Truppen 1916–1918 besetzten Gebiete (Schriften der Balkankommission, Linguistische Abteilung XIII). Wien : Hölder–Pichler–Tempsky, 1922.

Исследования

Aassve A., Gjonça A., Mencarini L. The highest fertility in Europe — for how long? The analysis of fertility change in Albania based on Individual Data (ISER Working Paper 2006–56). Colchester : Univ. of Essex, 2006.

Bërxholi A. Atlasi gjeografik i popullsisë së Shqipërisë: Atlasi i shqipërisë = Demographic Atlas of Albania. Tiranë : Shtypshkronja Ilar, 2003.

Carmichael S. Marriage and power: Age at first marriage and spousal age gap in lesser developed countries. DOI 10.1016/j.hisfam.2011.08.002 // The History of the Family. 2011. 16. P. 416–436.

Coale A. J., Watkins S. The decline of fertility in Europe: the revised proceedings of a Conference on the Princeton European Fertility Project. Princeton : Princeton Univ. Press, 1986.

Coon C. S. The Mountains of Giants. A Racial and Cultural Study of the North Albanian Mountain of Ghegs. Cambridge, 1950. (Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Harvard University XIII ; no. 3)

Falkingham J., Gjonça A. Fertility transition in communist Albania 1950–90 // Population Studies. 2001. 55 (3). P. 309–318.

Gjonça A. Communism, Health and Lifestyle: The Paradox of Mortality Transition in Albania, 1950–1990. Westport, London : Greenwood Press, 2001. (Studies in Population and Urban Demography ; 8).

Gjonca A., Aassve A., Mencarini L. Albania: Trends and patterns, proximate determinants and policies of fertility change // Demographic Research. 2008. 19. P. 261–292.

Gruber S. Die albanische Volkszählung von 1918 und ihre Bedeutung für die Wissenschaft // Seiner Zeit. Redakteur Franz Seiner und seine Zeit (1874 bis 1929) / Hrsg. H. Kostka. Graz : Academic Publishers, 2007. S. 253–265.

Gruber S. The influence of migration on fertility in Albania around 1900 // Annuario: The Albanian Yearbook of Historical and Anthropological Studies. 2011. 1. P. 122–155.

Gruber S. Household composition and marriage patterns in Albania around 1900 // Balkanistic Forum. 2012. 1. P. 101–122.

Gruber S. The Influence of Religion on Marriage Ages in Albania around 1900. DOI 10.12759/hsr.42.2017.2.134–157 // Historical Social Research. 2017. 42 (2). P. 134–157.

Gruber S. Eheliche Fertilität in Albanien vor dem Zweiten Weltkrieg // Mensch im Mittelpunkt. Bevölkerung — Ökonomie – Erinnerung. Festschrift für Peter Teibenbacher zum 65. Geburtstag / Hrsg. M. Hohenwarter, W. M. Iber, T. Krautzer. Wien : Lit, 2019. S. 165–174.

Hajnal J. Age at Marriage and Proportions Marrying // Population Studies. 1953. 7 (2). P. 111–136.

Hajnal J. European Marriage Patterns in Perspective // Population in History: Essays in Historical Demography / ed. by D. V. Glass, & D. E. C. Eversley. London : Arnold, 1965. P. 101–143.

Hammel E. A., Laslett P. Comparing Household over Time and between Cultures // Comparative Studies in Society and History. 1974. 16 (1). P. 73–109.

Henry L. La fécondité naturelle. Observation — théorie — résultats // Population. 1961a. 16 (4). P. 625–636.

Henry L. Some data on natural fertility. DOI 10.1080/19485565.1961.9987465 // Eugenics Quarterly. 1961b. 8 (2). P. 81–91.

Hobbs F. B. Age and Sex Composition // The Methods and Materials of Demography / ed. by J. S. Siegel and D. A. Swanson. 2nd ed. Amsterdam : Elsevier, 2004. P. 125–173.

Kera G., Pandelejmoni E. Marriage in urban Albania (during the first half of the twentieth century). DOI 10.1016/j.hisfam.2008.05.001 // The History of the Family. 2008. 13 (2). P. 126–137.

Kera G., Papa E. Familja, feja dhe e drejta zakonore në Shqipëri deri në gjysmën e parë të shek. XX // Politika & Shoqëria. 2003. 6.1 (11). P. 31–44.

Nicholson B. The Census of the Austro-Hungarian occupied districts of Albania in spring 1918. A preliminary note on the manuscript census schedules. Newcastle upon Tyne : Centre for Scandinavian Studies, 1999. (Centre for Scandinavian Studies Papers ; 5).

Nicholson B. Women who shared a husband: Polygyny in southern Albania in the early 20th century // The History of the Family. 2006. 11. P. 45–57.

Pullum T. W. Natality: Measures Based on Censuses and Surveys // The Methods and Materials of Demography / ed. by J. S. Siegel and D. A. Swanson. 2nd ed. Amsterdam : Elsevier, 2004. P. 407–428.

Rothenbacher F. The Central and East European Population since 1850. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. (The Societies of Europe ; 5).

Sundhaussen H. Historische Statistik Serbiens 1834–1914: Mit europäischen Vergleichsdaten. München : Oldenbourg, 1989. (Südosteuropäische Arbeiten ; 87).

Szołtysek M., Klüsener S., Poniat R., Gruber S. The Patriarchy Index: A New Measure of Gender and Generational Inequalities in the Past. DOI 10.1177/1069397117697666 // Cross-Cultural Research. 2017. 51 (3). P. 228–262.

Szołtysek M., Poniat R., Gruber S. Age heaping patterns in Mosaic data. DOI 10.1080/01615440.2017.1393359 // Historical Methods. 2018. 51(1). P. 13–38.

Van Leeuwen M. H. D., Maas I., Miles A. HISCO: Historical International Standard Classification of Occupations. Leuven : Leuven Univ. Press, 2002.

Wetherell C. Another Look at Coale's Indices of Fertility, I_f and I_g // Social Science History. 2001. 25 (4). P. 589–608.

References

Aassve, A., Gjonça, A., & Mencarini, L. (2006). *The Highest Fertility in Europe — for How Long? The Analysis of Fertility Change in Albania Based on Individual Data* (ISER Working Paper 2006–56). Colchester: University of Essex.

Bërxholi, A. (Ed.). (2003). *Atlasi gjeografik i popullsisë së Shqipërisë: Atlasi i shqipërisë* [Demographic Atlas of Albania]. Tiranë: Shtypshkronja Ilar. (In Albanian)

Carmichael, S. (2011). Marriage and Power: Age at First Marriage and Spousal Age Gap in Lesser Developed Countries. *The History of the Family, 16*, 416–436. doi: 10.1016/j.hisfam.2011.08.002

Coale, A. J., & Watkins, S. C. (1986). *The Decline of Fertility in Europe: the Revised Proceedings of a Conference on the Princeton European Fertility Project.* Princeton: Princeton University Press.

Coon, C. S. (1950). The Mountains of Giants. A Racial and Cultural Study of the North Albanian Mountain of Ghegs. *Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology*, *XIII*(3). Cambridge: Harvard University.

Falkingham, J., & Gjonça, A. (2001). Fertility Transition in Communist Albania 1950–90. *Population Studies, 55*(3), 309–318.

Gjonça, A. (2001). Communism, Health and Lifestyle: The Paradox of Mortality Transition in Albania, 1950–1990. *Studies in Population and Urban Demography,* 8. Westport, London: Greenwood Press.

Gjonca, A., Aassve, A., & Mencarini, L. (2008). Albania: Trends and Patterns, Proximate Determinants and Policies of Fertility Change. *Demographic Research, 19*, 261–292.

Gruber, S. (2007). Die albanische Volkszählung von 1918 und ihre Bedeutung für die Wissenschaft. In H. Kostka (Ed.), *Seiner Zeit. Redakteur Franz Seiner und seine Zeit (1874 bis 1929)* (pp. 253–265). Graz: Academic Publishers. (In German)

Gruber, S. (2011). The Influence of Migration on Fertility in Albania around 1900. *Annuario: The Albanian Yearbook of Historical and Anthropological Studies,* 1, 122–155.

Gruber, S. (2012). Household Composition and Marriage Patterns in Albania around 1900. *Balkanistic Forum,* 1, 101–122.

Gruber, S. (2017). The Influence of Religion on Marriage Ages in Albania around 1900. *Historical Social Research, 42*(2), 134–157. doi: 10.12759/hsr.42.2017.2.134–157

Gruber, S. (2019). Eheliche Fertilität in Albanien vor dem Zweiten Weltkrieg. In M. Hohenwarter, W. M. Iber, & T. Krautzer (Eds.), *Mensch im Mittelpunkt. Bevölkerung — Ökonomie — Erinnerung. Festschrift für Peter Teibenbacher zum 65. Geburtstag* (pp. 165–174). Wien: Lit. (In German)

Hajnal, J. (1953). Age at Marriage and Proportions Marrying. *Population Studies, 7*(2), 111–136.

Hajnal, J. (1965). European Marriage Patterns in Perspective. In D. V. Glass, & D. E. C. Eversley (Eds.), *Population in History: Essays in Historical Demography* (pp. 101–143). London: Arnold.

Hammel, E. A., & Laslett, P. (1974). Comparing Household over Time and between Cultures. *Comparative Studies in Society and History, 1*(1), 73–109.

Henry, L. (1961a). La fécondité naturelle. Observation — théorie — résultats. *Population, 16*(4), 625–636. (In French)

Henry, L. (1961b). Some Data on Natural Fertility. *Eugenics Quarterly,* 8(2), 81–91. doi: 10.1080/19485565.1961.9987465

Hobbs, F. B. (2004). Age and Sex Composition. In J. S. Siegel, & D. A. Swanson (Eds.), *The Methods and Materials of Demography* (2nd ed., pp. 125–173). Amsterdam: Elsevier.

Kera, G., & Pandelejmoni, E. (2008). Marriage in Urban Albania (during the First Half of the Twentieth Century). *The History of the Family, 13*(2), 126–37. doi: 10.1016/j.hisfam.2008.05.001

Kera, G., & Papa, E. (2003). Familja, feja dhe e drejta zakonore në Shqipëri deri në gjysmën e parë të shek. XX [Family, Religion, and Customary Law in Albania until the First Half of the 20th Century]. *Politika & Shoqëria, 6.1*(11), 31–44. (In Albanian)

Nicholson, B. (1999). The Census of the Austro-Hungarian Occupied Districts of Albania in Spring 1918. A Preliminary Note on the Manuscript Census Schedules. *Centre for Scandinavian Studies Papers, 5*. Newcastle upon Tyne: Centre for Scandinavian Studies.

Nicholson, B. (2006). Women Who Shared a Husband: Polygyny in Southern Albania in the Early 20th Century. *The History of the Family, 11*, 45–57.

Pullum, T. W. (2004). Natality: Measures Based on Censuses and Surveys. In J. S. Siegel, & D. A. Swanson (Eds.), *The Methods and Materials of Demography* (2nd ed., pp. 407–428). Amsterdam: Elsevier.

Rothenbacher, F. (2013). The Central and East European Population since 1850. *The Societies of Europe, 5*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Sundhaussen, H. (1989). Historische Statistik Serbiens 1834–1914: Mit europäischen Vergleichsdaten. *Südosteuropäische Arbeiten, 87*. München: Oldenbourg. (In German)

Szołtysek, M., Klüsener, S., Poniat, R., & Gruber, S. (2017). The Patriarchy Index: A New Measure of Gender and Generational Inequalities in the Past. *Cross-Cultural Research, 51*(3), 228–262. doi: 10.1177/1069397117697666

Szołtysek, M., Poniat, R., & Gruber, S. (2018). Age Heaping Patterns in Mosaic Data. *Historical Methods, 51*(1), 13–38. doi: 10.1080/01615440.2017.1393359

Van Leeuwen, M. H. D., Maas, I., & Miles, A. (2002). *HISCO: Historical International Standard Classification of Occupations*. Leuven: Leuven University Press.

Wetherell, C. (2001). Another Look at Coale's Indices of Fertility, I_f and I_g. *Social Science History, 25*(4), 589–608.

Грубер Зигфрид
Dr. phil., научный сотрудник
исторического факультета
Грацский университет имени Карла и Франца
3, Mozartgasse, 8010 Graz, Österreich
E-mail: si.gruber@uni-graz.at

Gruber, Siegfried
Dr. phil., Research Fellow
Department of History
University of Graz
3, Mozartgasse Str., 8010 Graz, Austria
Email: si.gruber@uni-graz.at

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.052
УДК 27-725 + 272/273 + 004.65

Мариус Эппель
Оана Сореску-Иудеан
Университет Бабеш-Бойяи
Клуж-Напока, Румыния

ДУХОВЕНСТВО ПРАВОСЛАВНОЙ И ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВЕЙ ТРАНСИЛЬВАНИИ: ОПЫТ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ*

Статья посвящена проекту по созданию трансильванской базы данных «Confessional Infrastructures» («Конфессиональная инфраструктура Трансильвании»). В статье проанализирована история взаимодействия, структурные и конфессиональные особенности двух основных церквей Румынии — православной и греко-католической в XIX — начале XX в. В работе представлены историография и номинативные источники по истории духовенства двух церквей, рассмотрены особенности и условия создания источников, характеризующих развитие конфессионального ландшафта страны, выявлен их информационный потенциал. На основе проведенного исследования авторы сделали вывод о важной роли приходского духовенства в истории, культуре и развитии национального движения в Трансильвании и недостаточном его исследовании в современной историографии. Новый этап в изучении этой важнейшей для истории региона и всей страны социально-профессиональной группы авторы связывают с созданием комплексной базы данных о приходских священниках и приходах Трансильвании. В качестве основных источников для осуществления этой цели были выбраны ежегодные отчетные *schematismae* епархий, в которых содержались в том числе сведения о служителях церкви.

В статье рассмотрены возможности комплексного использования цифровых подходов при работе с номинативными и агрегированными данными, содержащимися в источниках, созданных церквями для собственного пользования или для нужд светских властей; анализируются проблемы унификации и кодирования, связанные с использованием нескольких языков (румынского, венгерского и латыни) и конфессиональных особенностей терминологического аппарата православной и греко-католической церквей. В результате проведенного исследования выработана и предложена структура базы данных, состоящая из отдельных тематических таблиц, сформированная с учетом характера информации, содержащейся в основных используемых источниках, а также дальнейшей возможности ее пополнения другими источниками. Предложенная база данных является пополняемой, допускает дальнейшую корректировку введенных данных и проведение на ее основе компаративных исследований.

* Исследование выполнено при поддержке гранта CNCS — UEFISCDI, проект № PN-III-P4-ID-PCE-2016-0661.

© Эппель М., Сореску-Иудеан О., 2019
CC BY-NC

Ключевые слова: социально-профессиональные группы; приходское духовенство; Трансильвания в Новое время; церковная история; цифровая история; базы данных.

Цитирование: *Эппель М., Сореску-Иудеан О.* Духовенство православной и греко-католической церквей Трансильвании: опыт создания базы данных. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.052 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 138–151.

Поступила в редакцию 01.01.2019
Принята к печати 14.08.2019
Пер. с англ. Е. С. Пургиной, Е. М. Главацкой

Marius Eppel
Oana Sorescu-Iudean
Babeș-Bolyai University
Cluj-Napoca, Romania

THE CLERGY OF THE ORTHODOX AND GREEK CATHOLIC CHURCHES OF TRANSYLVANIA: AN ATTEMPT AT BUILDING A DATABASE

This article focuses on the construction of the "Confessional Infrastructures Database" of Transylvania. It considers the history of interaction, structural and confessional peculiarities of the two major churches in Romania, i.e. the Orthodox and Greek Catholic Churches between the 19th and early 20th centuries. The authors review historical and nominative resources on the history of the clergy of the two churches and the peculiarities and conditions which accompanied the sources characterising the development of the confessional landscape of the country, revealing their information potential. The authors consider building a database containing data about parish priests and parishes themselves a new stage in studying this key social and professional group as it is essential for the history of the region and the entire country. Referring to the research carried out, the authors conclude that the parish clergy played an important part in the history, culture, and development of Transylvania and that it has not been sufficiently examined by modern historiography. The analysis refers to annual reports made by dioceses and known as *schematismae* which reflect data about the clergy.

The authors pay close attention to the potential of digital approaches when working with statistical or nominative records found in sources produced by the Churches for their own use or that of the state. Additionally, the article focuses on issues underlying data unification and encoding which involves several languages (Romanian, Hungarian, and Latin) and the confessional peculiarities of the terminology of the Orthodox and Greek Catholic Churches. It also provides a preliminary outline of the database structure and contents formed by separate thematic tables and formed with regard to information found in the main sources of the research as well as its potential. The database can be further enlarged by other resources. Finally, the database allows for data to be corrected and serve as a source of comparative research.

K e y w o r d s: social-occupational groups; priests; modern Transylvania; ecclesiastical history; digital history; databases.

Acknowledgements
The study was supported by the grant CNCS — UEFISCDI, project PN-III-P4-ID-PCE-2016-0661.

C i t a t i o n: Eppel, M., & Sorescu-Iudean, O. (2019). Dukhovenstvo pravoslavnoi i greko-katolicheskoi tserkvei Transil'vanii: opyt sozdaniia bazy dannykh [The Clergy of the Orthodox and Greek Catholic Churches of Transylvania: An Attempt at Building a Database]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 138–151. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.052

Submitted on 01 January, 2019
Accepted on 14 August, 2019
Translated from English by E. S. Purgina and E. M. Glavatskaya

В конце 1830-х гг. британский путешественник Джон Пейджет описал встреченных им румынских священников следующим образом: «не считая бóльшей опрятности и длинной черной бороды, которая доходила до груди, валахский священник никак не отличался от своей паствы... Эти мужи, однако, имеют намного бóльшую власть над простыми крестьянами, чем самые хитроумные иезуиты, самые богатые англиканские священники и самые суровые кальвинисты» [Paget, p. 202]. Автору этих слов, привыкшему к внешнему виду англиканских священников, показалось удивительным, что представители духовной иерархии ничем не отличались от своих прихожан, однако пользовались большим авторитетом. Возможно, впечатление путешественника и соответствовало действительности [Bökös; Popova-Nowak, p. 215], однако, вопрос о том, насколько этот образ отражал положение румынских священников в социально-экономической структуре провинции, остается открытым.

Империя Габсбургов, а с 1867 г. Австро-Венгрия, представляла собой «лоскутное одеяло», в различных частях которого всё большее значение приобретали социально-профессиональные группы, в том числе духовенство, способное мобилизовать массу крестьянства для решения задач, имевших не только церковный, но и национальный характер [Hitchins, p. 169–170]. Несмотря на расцвет церковной историографии Румынии в последние десятилетия, социально-профессиональная группа священников Трансильвании редко становилась предметом самостоятельного исследования. Цель данной статьи — описать процесс создания базы данных, которая позволит получить систематизированную информацию о данной социально-профессиональной группе. В центре исследования приходские священники и их приходы — два краеугольных камня национальной церкви Румынии.

Румынское приходское духовенство

На протяжении XIX — начала XX в. в Румынии шел активный процесс утверждения этнических идентичностей населения. В Трансильвании проживали румыны, венгры, немцы, словаки, русины, евреи, хорваты, сербы и цыгане, результатом чего стал чрезвычайно разнообразный конфессиональный ландшафт региона [Holom, Sorescu-Iudean, Hărăguş, p. 331–333]. Румынское население принадлежало к православной и греко-католической церквям (последняя была связана с Римом, но при этом сохраняла свое конфессиональное и национальное своеобразие [Brusanowski, 2017, S. 187–197]). Этапы административной реорганизации греко-католической церкви подробно описаны в фундаментальной работе Гента [Genţ], а монографические исследования Брусановски посвящены анализу процесса институализации православной церкви и ее образовательной системе [Brusanowski, 2005; 2007]. Структурные сходства между православной и греко-католической церквями Румынии были подробно рассмотрены Карья [Cârja, 2007a]. Получили освещение церковная юрисдикция, викариатство и деканство [Andrei; Covaci, 2007], а также детали жизни отдельных общин [Panţuru]. Активно развивается процесс публикации источников, созданных церковными структурами [Suciu]. В ряде исследований, посвященных конкретным историческим деятелям, как правило, из числа высшего духовенства, был использован просопографический метод [Cârja, 2007b; Popa-Andrei, Covaci, Sima; Dăncilă-Ineoan, Iudean]. Ряд исследований посвящен вопросам преемственности в духовной профессии и подготовки кадров священнослужителей [Popa-Andrei, Covaci, Bedecean, Dan, Balog; Popa-Andrei, Covaci], пенсионной системе греко-католической церкви [Covaci, 2012].

Таким образом, сложилась обширная историография по истории церквей Румынии, однако ландшафт научных исследований остается крайне фрагментированным, а детальные исследования в жанре case studies не дают возможности оценить ситуацию в общенациональном масштабе. В отличие от национальных церковных институтов, таких как, например, англиканская церковь, по которым имеются подробные статистические данные, по церковным институтам Трансильвании XIX — начала XX в. таких источников, к сожалению, не существует. Работы, написанные на агрегированных данных по той или иной епархии, редко включают персональные сведения о священниках, разве что небольшие нарративные вставки для иллюстрации. Однако такой подход не дает возможности оценить причины и результаты масштабных процессов социальной и географической мобильности священников и не позволяет получить представление о специфике приходов. Значимость детального изучения приходских священников обусловлена вовлеченностью клира в румынское национально-культурное движение [Hitchins, p. 169–220], развитие культуры в Трансильвании [Popovici] и национальной банковской системой [Balog]. Таким образом, для понимания роли духовенства в институциональной истории Трансильвании необходимо четкое представление о тех, кто входил в эту группу, ее основные характеристики и контекст, в рамках которого она осуществляла свою деятельность.

База данных «Confessional Infrastructures» как часть современного цифрового ландшафта

Попытки исследовать отдельные профессиональные категории или группы на определенной территории в XIX и XX вв. предпринимались и раньше. Например, существуют исследования, посвященные анализу штата императорского двора в Вене в начале Нового времени и выпускникам в Священной Римской империи в Средние века и начале Нового времени [Personnel and Organization of the Viennese Court; Kubiska-Scharl, Pölzl].

Цифровые технологии также стали активно использоваться при анализе церковных записей. Благодаря единообразию церквей в Европе, эти записи имеют более-менее сходную логику, что позволяет создавать структурированные базы данных, которые удобно использовать в социально-исторических исследованиях. Обзор большинства существующих баз демографических данных дан на страницах сайта Европейской ассоциации исторических демографов [Database List]. Хорошим примером может служить и собрание записей показаний свидетелей в Лондонском епархиальном суде [Consistory Database] и портал с архивами документов, созданных в XVIII и XIX вв. шотландскими приходскими пасторами по инициативе Сэра Джона Синклэра [The Statistical Accounts of Scotland]. Еще одним направлением цифровых исследований стало изучение церковной инфраструктуры на основе записей церковных старост Англии и Уэльса [The Churchwardens' Accounts of England and Wales]. И, наконец, методологически самой близкой для нашего проекта является база с записями церковных старост Англии и Уэльса [Clergy of the Church of England Database; Burns, Fincham, Taylor], которая позволяет получить представление о карьере всех священников англиканской церкви с 1540 по 1835 гг.

Несмотря на то, что исследование по священнослужителям Трансильвании схоже по своей сути с вышеописанными проектами, оно имеет определенную специфику, связанную с регионом, историческим периодом и используемыми источниками. Во-первых, в нашем исследовании священники рассматриваются как исторические акторы, у каждого из которых своя образовательная и профессиональная траектория. В отличие от предыдущих проектов, база данных «Confessional Infrastructures»[1] включает в себя информацию по двум различным деноминациям — православной и греко-католической, что позволит получить более полную картину религиозного ландшафта Румынии. Во-вторых, исследование предполагает создание пополняемой платформы, которая объединит как статистические, так и нарративные источники. В-третьих, настоящий проект не только фиксирует, стандартизирует и связывает карьеры священников в Трансильвании Нового времени, но и подробно рассматривает церковную инфраструктуру приходов: богослужебные здания, церковные

[1] Подробное описание проекта «Социальные и профессиональные траектории в конфессиональном пространстве Трансильвании» см. в [Social and Professional Trajectories].

школы и административные помещения. Наконец, база данных «Confessional Infrastructures» не только даст возможность максимально полно воссоздать картину церковной организации в конкретный исторический период, но и будет связана с данными переписей 1850–1910 гг.

Создание базы данных: источники и проблемы

Основа базы данных (далее БД) создавалась в соответствии с рекомендациями К. Мандемакерса и Л. Диллон [Mandemakers, Dillon]. Объектом исследования являются священники греко-католической и православной церквей двух основных церковных административных подразделений в Трансильвании: епархии греко-католической церкви в Альба-Юлии и в Фэгэраше и епархии православной церкви в Сибиу. Эти подразделения имели большое значение для каждой из конфессий, поскольку в них располагались центры принятия решений греко-католической и православной церквей Трансильвании. Епархию в Альба-Юлии и Фэгэраше учредили в 1850 г., в 1855 г. она стала митрополией (архиепископством) греко-католической церкви в Трансильвании. Епархия в Сибиу была старейшей православной епархией в Трансильвании, утвердившей свою митрополичью кафедру в 1864 г. Благодаря рангу и положению внутри церковной структуры, записи в этих епархиях велись регулярно [Sima, Covaci].

В XIX и начале XX в. в обеих церквях Трансильвании, как и по всей католической Европе, велись *schematismae* — ежегодные книги. Эти книги содержат списки духовенства различных уровней церковной иерархии и должностных лиц. Аналогичные источники создавались в епархиях, которые находились на территории современной Украины в 1840–1850-е гг., в большинстве немецких епископств, в польских и венгерских епархиях. Идентичные по структуре документы были в ходу и при императорском дворе Габсбургов: сначала их вели только дворцовые священники в Вене, а потом они вошли в употребление и в провинциях [Kubiska-Scharl, Pölzl]. Несмотря на конфессиональные различия, протестантские церкви Центральной и Восточной Европы также использовали эту систему записей для контроля за собственной инфраструктурой и составом. При всех региональных различиях, в целом эти документы имеют сходную структуру.

В Трансильвании практика подготовки *schematismae* получила распространение с середины XIX в. Вероятно, это было связано с административными реформами, которые и привели к учреждению двух архиепископств, хотя и до этого предпринимались попытки, как со стороны государства, так и со стороны церкви, получить более четкое представление об организации церковной инфраструктуры на данной территории. Так, начиная с 1730-х и 1740-х гг., администрация Габсбургской монархии направляла запросы греко-католической и православной церквям Трансильвании с требованием предоставить описи церковной собственности, а также сведения о количестве семей и домохозяйств в приходах.

Эти данные были необходимы для проведения более эффективной политики в отношении религии в регионе [Dumitran, p. 168–220]. В дальнейшем описи неоднократно редактировались, и их данные не всегда полностью совпадают с историческими нарративами конца XIX в. [Câmpeanu, p. 116–117]. Более того, многие документы XVIII в. были составлены представителями имперской власти в Трансильвании или по их приказу, что заставляет сомневаться в их достоверности. Наконец, существенные различия между документами XVIII и XIX вв., как в плане репрезентативности, так и с точки зрения полноты содержащихся в них сведений, не позволили включить ранние источники в БД на данном этапе работы по ее созданию. В дальнейшем они могут быть включены в БД по мере ее расширения за счет новых материалов, позволяющих провести критический анализ и корректировку сведений ранних источников XVIII в.

Первоначально церковные *schematismae* публиковались ежегодно, как часть литургических календарей. Именно такой периодичности придерживалась православная церковь. На настоящий момент БД включает сведения, транскрибированные из *schematismae* православной архиепархии г. Сибиу за 1882–1914 гг., всего 73 000 записей.

Греко-католическая церковь обычно публиковала *schematismae* чуть чаще, чем раз в десять лет, что позволяет реконструировать инфраструктуру и кадровый состав по десятилетиям. Приблизительно за год до публикации *schematismae* епархии выпускали церковные циркуляры. Кроме того, в честь двухсотлетнего юбилея той или иной епархии греко-католическая церковь публиковала детальные описания состава и административной организации соответствующей епархии. Примером такого рода источника может служить *Schematismus* архиепископства Альба-Юлии и Фэгэраша от 1900 г. Он содержит биографические данные всех известных священнослужителей, которые служили в приходах и деканствах епархии в 1733–1900 гг. В заключительную часть книги были также включены краткие сведения о тех священниках, которые служили в епархии в 1900 г. *Schematismae* греко-католической церкви часто предварялись подробными биографиями наиболее значительных и высокопоставленных представителей духовенства. Сведения из *Schematismus* архиепископства Альба-Юлии и Фэгэраша от 1900 г. уже транскрибированы в БД и проходят стандартизацию.

S*chematismae* православной архиепархии в г. Сибиу были дополнены *Protocoalele sufletelor* — подушными протоколами, которые содержат информацию о тех, кто принял духовный сан (с точной датой рукоположения) и получил назначение в приход. Эти протоколы хранятся в церковных архивах Сибиу. Сведения из протоколов 1857–1868 гг. уже транскрибируются в БД. Некоторые из них также содержат дополнительно информацию по демографии населенного пункта, например, общее число православных жителей, количество умерших или родившихся (с указанием пола), а также количество заключенных браков.

В *schematismae*, выпускавшихся по поводу 200-летних юбилеев, помимо полного списка духовенства, служившего в епархии со дня ее основания, были

указаны все административные изменения, происходившие в епархии. Например, сведения о том, к какому деканству принадлежал тот или иной приход в тот или иной период и как выстраивались иерархические отношения между ними. Каждая запись в БД содержит информацию о конфессиональном составе общины. Данные о людях, принадлежавших к другой (не греко-католической) церкви были взяты из государственной переписи того же года. Таким образом, можно сравнивать данные государственной переписи с данными церкви. Серия *Protocoalele sufletelor* православной церкви, несмотря на неполноту данных, всё же позволяет сравнить данные о численности православного населения Трансильвании.

Schematismae и *Protocoalele sufletelor* стали информационной основой БД и будут впоследствии дополнены другими видами массовых источников. Их выбор в качестве основных обусловлен тем, что они содержат информацию о составе духовенства и инфраструктуре греко-католической и православной церквей в Румынии. Следующим источником, данные из которого будут введены в БД, являются списки священников, рукоположенных в теологической академии в г. Блаж (в центре архиепископства Альба-Юлии и Фэгэраша) начиная с 1869 г. В них также включены данные о женах и детях умерших священников епархии и финансовой поддержке, которая им оказывалась, а также о вакантных приходах в епархии в начале XX в.

Структура базы данных: краткое описание

Концепция БД основывается на двух уже существующих моделях баз данных: источнико-ориентированной базы данных населения Трансильвании [Historical Population Database of Transylvania] и исследовательско-ориентированной Исторической базы данных [Historical Data Grinder]. Подобно второй из вышеперечисленных баз данных, мы применили модель «сущность — атрибут — значение». Исходя из опыта применения цифровых технологий в исторических исследованиях, было решено сохранить структуру источников. БД включает в себя несколько основных и дополнительных таблиц: таблица источников; отдельные таблицы для каждого церковно-административного подразделения (епархия, деканство, викариат, приход); таблица с индивидуальными данными священников; названиями всех церковных должностей, упоминаемых в источниках; таблица «Церковные административные структуры» содержит информацию о церковных судах, канцеляриях и т. п.; таблица, в которой указываются должности и лица, их занимавшие, а также церковные подразделения, к которым они относились в конкретный момент времени. Сводные таблицы разбиты на составные элементы с максимальной степенью детализации. В настоящее время эти данные проходят стандартизацию. Базовый уровень в церковной структуре — приход — также привязан к таблице локаций, которые были получены из переписей 1850–1910 гг. Каждая перепись принимается за один источник, чтобы временные метки церковных и секулярных источников совпадали:

приход Аюд (идентификатор — id 1, деканства — id 1, епархии — id 1), таким образом, оказывается связан с локацией 1 определенного округа и графства в соответствии с данными переписи. Сложность идентификации состояла в том, что названия приходов, как и географические названия, могли быть на разных языках (румынском, венгерском, латыни) или изменились со временем. Несмотря на то, что ввод и стандартизация данных, а также установление прямых связей между церковными и светскими административными единицами заняли много времени, это поможет в будущем при анализе истории взаимодействия церковных и светских властей. В частности, сведения БД помогут определить степень вовлеченности приходских священников в мирские дела: выборы, национальные ассоциации и пр. Хронологическая привязка информации позволит проанализировать эволюцию церковной инфраструктуры и проводить полноценные лонгитюдные исторические исследования приходов и деканств.

Отдельная таблица будет содержать типичные поля, которые встречаются в массовых источниках (имя, фамилия, прозвище, титул, пол и т. п.), которые впоследствии будут привязаны к таблице с должностями и к различным образовательным учреждениям или церковно-административным структурам. Последними будут стандартизованы поля с именами, которые записаны на трех языках (румынском, венгерском и латыни).

Таблица с должностями была стандартизована первой, в результате чего была выявлена необходимость создания единого терминологического аппарата для БД из-за различий в официальной терминологии церквей Румынии: греко-католическая церковь использовала латинские термины, в то время как православная церковь придерживалась греческих терминов. Поскольку большинство должностей в одной церкви имели эквиваленты в другой, была создана дополнительная колонка со стандартными обозначениями должностей. Таким образом, православный *protopop* и католический *presbiter* обозначали одну и ту же должность главы деканства (*tract presbiterial*, *protopresbiteriat*, *protopopiat*, *district protopopesc*). Обе версии были стандартизованы следующим образом: *dean* / *decanus* / *protopop*. Аналогичным образом были стандартизированы должностные статусы: например, многие священники и учителя фигурировали в списке с обозначениями *pensionat* (на пенсии), *ambulant* (приезжающий) и *interimar* (временный, замещающий). Должности, связанные с конкретным подразделением церковной администрации, например, деканством или приходом также были стандартизированы: *administrator protopopesc* (администратор-протопоп) и *administrator parohial* (приходской администратор). Это позволило свести 700 различных вариантов написания должностей в источниках к 40 стандартным. Чтобы облегчить задачу исследователям, которые недостаточно хорошо знакомы с церковной иерархией или не заинтересованы в деталях должностных назначений священников в БД дополнительно введена трехчастная система, в которой должности епархиального уровня отнесены к высшим слоям духовенства; приходского уровня — к низшим, а те, кто представлял их в церковных судах, — к средним слоям.

Заключение

Церковная история Трансильвании имеет сложившуюся историографическую традицию. Исследователи, в частности, обращались к теме взаимоотношений церкви и государства, влияния сети церковных школ на культуру румынского населения, участия духовенства в Первой мировой войне и другим актуальным темам. Однако, попыток создания структурированных баз данных до сих пор не предпринималось. Между тем, отсутствие единых баз данных остро ощущается во всем исследовательском поле, поскольку фрагментарные исследования не дают возможности провести комплексный анализ для значительных временных периодов и больших географических районов, что неизбежно ограничивает тематику исследований. Создание единой базы данных, таким образом, стало объективной необходимостью.

При проектировании базы данных важно было определиться с выбором основного круга источников, который очевидным образом пал на *schematismae* православной и греко-католической церквей Румынии. На их основе была создана платформа для цифровых исследований по церковной истории в данном регионе. *Schematismae* содержат данные обо всех аспектах церковной структуры — от сложной административной иерархии и юрисдикции до приходской недвижимости, включавшей богослужебные здания и школы; а также списки лиц, занимавших те или иные должности. *Schematismae*, таким образом, являются важнейшими источниками по церковной истории, структуре и приходской жизни в Румынии. Все иные источники, в которых упоминаются священники и приходы, независимо от структуры и контекста, в котором они были созданы, можно будет в дальнейшем связать, хотя бы в какой-то степени, с данными, которые уже вошли в БД, при условии, что они будут отвечать основному условию: информация о конкретных лицах или церковных подразделениях, содержащаяся в них, должна соотноситься с конкретными элементами в стандартной базе данных. У некоторых священников полностью совпадают имена, что при отсутствии дополнительной информации об их образовании или местонахождении их приходов превращается в серьезную проблему. Аналогичным образом отсутствие четкой временной атрибуции источника может значительно затруднить, если не сделать временно невозможным, связывание информации с данными, систематизированными в инфраструктуре БД. Однако, дальнейшее развитие БД и включение в нее новых источников позволит уточнить и скорректировать уже введенную информацию. Связывание БД с базой данных «Historical Population Database of Transylvania» и с другими ресурсами, в которых упоминаются священники, даст возможность проводить сравнительные исследования по социальной истории не только Трансильвании, но и других регионов. После того, как в базу данных будут включены сведения из других источников, например, из записей о доходах священников, об их семьях и образовании, появится возможность более полно реконструировать детали жизни этой социально-профессиональной группы населения, сыгравшей важную роль в развитии страны.

Источники

Clergy of the Church of England Database. URL: http://theclergydatabase.org.uk/ (accessed: 03.12.2018).

Consistory Database. URL: http://consistory.cohds.ca (accessed: 03.12.2018).

Database List. URL: https://ehps-net.eu/databases (accessed: 03.12.2018).

Historical Data Grinder. URL: http://82.208.133.141:3030/ (accessed: 03.12.2018).

Historical Population Database of Transylvania. URL: https://ehps-net.eu/databases/historical-population-database-transylvania-1850-1914 (accessed: 03.12.2018).

Personnel and Organization of the Viennese Court (1711–1806) — organizational and prosopographical studies on the early modern Viennese Court. URL: https://www.univie.ac.at/hofpersonal/en/home (accessed: 03.12.2018).

Social and Professional Trajectories. URL: http://confinfrahist.granturi.ubbcluj.ro (accessed: 03.12.2018).

The Churchwardens' Accounts of England and Wales. URL: https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/myparish/projects/cwa (accessed: 03.12.2018).

The Statistical Accounts of Scotland online. URL: https://stataccscot.edina.ac.uk/static/statacc/dist/home (accessed: 03.12.2018).

Исследования

Andrei M. La graniţa Imperiului: Vicariatul Greco-Catolic al Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Cluj-Napoca : Argonaut, 2006.

Balog I. M. The Clergy's Involvement in the Romanian Credit System from Transylvania during the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries. Case Study: the Greek-Catholic Clergy // Recruitment and Promotion among the Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite of Transylvania (1853–1918): A Collection of Studies / editors: M. Popa-Andrei (coord.), D. Covaci, M. Bedecean, A. Dan, I.-M. Balog. Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2014. P. 163–180.

Bökös B. Representations of Hungary and Transylvania in John Paget's Travelogue. DOI 10.1515/ausp-2017-0007 // Acta Universitatis Sapientiae. Philologica. 2017. 9 (1). P. 87–98.

Brusanowski P. Învăţământul confesional ortodox român din Transilvania între anii 1848–1918. Între exigenţele statului centralist şi principiile autonomiei bisericeşti. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2005.

Brusanowski P. Reforma constituţională în Biserica Ortodoxă a Transilvaniei între 1850–1925. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007.

Brusanowski P. Katholiken und Orthodoxe in Siebenbürgen und im rumänischen Altreich. Verschiedene Modelle von religiöser Toleranz und des Lebens miteinander // Dialog 2.0 — Braucht der orthodox-katholische Dialog neue Impulse? / Hg. D. Schon. Regensburg : Verl. Friedrich Pustet, 2017. S. 160–210.

Burns A., Fincham K., Taylor S. Reconstructing Clerical Careers: The Experience of the Clergy of the Church of England Database // The Journal of Ecclesiastical History. 2004. 4. P. 726–737.

Câmpeanu R. Biserica Română Unită între istorie şi istoriografie. Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2003.

Cârja C. Instituţii ecleziastice la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi la începutul sec. XX. Perspectivă comparată // Identitate şi alteritate : studii de imagologie Vol. 4 : Studii de istorie politică şi culturală. Cluj-Napoca : Argonaut, 2007a. P. 53–78.

Cârja I. Biserică şi societate în Transilvania în perioada păstoririi mitropolitului Ioan Vancea (1862–1892). Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2007b.

Covaci D. Modalităţi de instituire a preoţilor în protopopiatele greco-catolic şi ortodox ale Reghinului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea // Identitate şi alteritate : studii de imagologie Vol. 4 : Studii de istorie politică şi culturală. Cluj-Napoca : Argonaut, 2007. P. 79–90.

Covaci D. For the Rest of Their Life: The Retirement of the Romanian Greek-Catholic Clergy // Transylvanian Review. 2012. XXI (Supplement) 3. P. 359–369.

Dăncilă-Ineoan A.-O., Iudean O.-E. The Activism of the Middle Clergy in Support of the National Desideratum: Romanian Archpriests at the Great National Assembly in Alba Iulia // Transylvanian Review. 2018. 27 (3). P. 34–49.

Dumitran D. Un timp al reformelor: Biserica Greco-Catolică din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob: (1782–1830). Cluj-Napoca : Argonaut. 2007.

Genț I. Administrația bisericească. Oradea : Tipografia «Nagyvárad», 1912.

Hitchins K. A Nation Affirmed: The Romanian National Movement in Transylvania 1860–1914. Bucharest : The Encyclopaedic Publishing House, 1994.

Holom C., Sorescu-Iudean O., Hărăguș M. Beyond the Visible Pattern: Historical Particularities, Development, and Age at First Marriage in Transylvania, 1850–1914. DOI 10.1080/1081602X.2018.1433702 // The History of the Family. 2018. 23 (2). P. 329–358.

Kubiska-Scharl I., Pölzl M. Die Karrieren des Wiener Hofpersonals 1711–1765. Eine Darstellung anhand der Hofkalender und Hofparteienprotokolle // Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte. Bd. 58. Innsbruck ; Wien ; Bozen : Studien Verl., 2013.

Mandemakers K., Dillon L. Best Practices with Large Databases on Historical Populations // Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History. 2004. 37 (1). P. 34–38.

Paget J. Hungary and Transylvania: With Remarks on their Condition, Social, Political, and Economical. London : John Murray, Albemarle Street, 1839. Vol. II.

Panțuru C. Parohia ortodoxă română Timişoara — Fabric: studiu istoric, canonic şi administrativ-bisericesc. Siu, Timişoara : Astra Museum, Editura Partoş, 2013.

Popa-Andrei M., Covaci D. The Recruitment of an Ecclesiastical Elite: the Canons of the Cathedral Chapters in Oradea and Blaj // Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu". Cluj-Napoca : al Academiei Române, 2013. LII (Supplement). P. 115–138.

Popa-Andrei M., Covaci D. M., Sima A. V. Canonici, profesori şi vicari foranei din Biserica Română Unită (1853–1918) : dicționar. Cluj-Napoca : Mega, 2013.

Popa-Andrei M., Covaci D., Bedecean M., Dan A., Balog I. M. Recruitment and Promotion among the Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite in Transylvania (1853–1918) : A Collection of Studies. Cluj-Napoca : Mega Publ. House, 2014.

Popova-Nowak I. V. The Odyssey of National Discovery: Hungarians in Hungary and Abroad, 1750–1850 // Under Eastern Eyes: A Comparative Introduction to East European Travel Writing on Europe / ed. by W. Bracewell and A. Drace-Francis. Budapest : CEU Univ. Press, 2008. P. 195–222.

Popovici V. ASTRA'S Membership in the early 1900s // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia. 2018. 63 (2). P. 36–61.

Sima A. V., Covaci D. The propaganda messages disseminated through Transylvanian ecclesiastical channels during World War I // Nouvelles Études d'Histoire. 2015. XIII. P. 141–152.

Suciu D. Biserică, şcoală şi comunitate ortodoxă în Transilvania în epoca modernă: documente: protopopiatul Cetatea de Piatră şi eparhia Sibiului: Corespondență 1849–1874. Cluj-Napoca : Argonaut, 2011. Vol. II/1.

References

Andrei, M. (2006). *La granița Imperiului: Vicariatul Greco-Catolic al Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea* [At the Border of the Empire: The Greco-Catholic Vicarage of Rodnei in the Second Half of the 19th Century]. Cluj-Napoca: Argonaut. (In Romanian)

Balog, I. M. (2014). The Clergy's Involvement in the Romanian Credit System from Transylvania during the Late Nineteenth and the Early Twentieth Centuries. Case Study: the Greek-Catholic Clergy. In M. Popa-Andrei (Coord.), D. Covaci, M. Bedecean, A. Dan, & I.-M. Balog (Eds.), *Recruitment and Promotion among the Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite of Transylvania (1853–1918): A Collection of* Studies (pp. 163–180). Cluj-Napoca: Mega Publishing House.

Bökös, B. (2017). Representations of Hungary and Transylvania in John Paget's Travelogue. *Acta Universitatis Sapientiae, Philologica,* 9 (1), 87–98. doi: 10.1515/ausp-2017-0007

Brusanowski, P. (2005). *Învăţământul confesional ortodox român din Transilvania între anii 1848–1918. Între exigenţele statului centralist şi principiile autonomiei bisericeşti* [The Romanian Orthodox Confessional Education in Transylvania between 1848 and 1918. Between the Requirements of the Centralist State and the Principles of Ecclesial Autonomy]. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. (In Romanian)

Brusanowski, P. (2007). *Reforma constituţională în Biserica Ortodoxă a Transilvaniei între 1850–1925* [Constitutional Reform in the Orthodox Church of Transylvania between 1850 and 1925]. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. (In Romanian)

Brusanowski, P. (2017). Katholiken und Orthodoxe in Siebenbürgen und im rumänischen Altreich. Verschiedene Modelle von religiöser Toleranz und des Lebens miteinander [Catholics and Orthodox Believers in Transylvania and the Romanian Empires. Different Models of Religious Tolerance and Life Together]. In D. Schon (Ed.), *Dialog 2.0 — Braucht der orthodox-katholische Dialog neue Impulse?* (pp. 160–210). Regensburg: Verlag Friedrich Pustet. (In German)

Burns, A., Fincham, K., & Taylor, S. (2004). Reconstructing Clerical Careers: The Experience of the Clergy of the Church of England Database. *The Journal of Ecclesiastical History,* 4, 726–737.

Câmpeanu, R. (2003). *Biserica Română Unită între istorie şi istoriografie* [The Romanian Church United between History and Historiography]. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. (In Romanian)

Cârja, C. (2007a). Instituţii ecleziastice la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi la începutul sec. XX. Perspectivă comparată [Ecclesiastical Institutions of the Romanians in Transylvania in the Second Half of the 19th Century. 19th and Early 20th Centuries Comparative Perspective]. In *Identitate şi alteritate : studii de imagologie Vol. 4: Studii de istorie politică şi culturală* [Identity and Otherness. Image Studies. Vol. 4: Case Studies of Political and Cultural History] (pp. 53–78). Cluj-Napoca: Argonaut. (In Romanian)

Cârja, I. (2007b). *Biserică şi societate în Transilvania în perioada păstoririi mitropolitului Ioan Vancea (1862–1892)* [Church and Society in Transylvania during the Pastoral Life of Metropolitan Ioan Vancea]. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. (In Romanian)

Covaci, D. (2007). Modalităţi de instituire a preoţilor în protopopiatele greco-catolic şi ortodox ale Reghinului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea [Methods of Establishing Priests in the Greek Catholic and Orthodox Dean of Reghin in the Second Half of the 19th Century]. In *Identitate şi alteritate : studii de imagologie Vol. 4: Studii de istorie politică şi culturală* [Identity and Otherness. Image Studies. Vol. 4: Case Studies of Political and Cultural History] (pp. 79–90). Cluj-Napoca: Argonaut. (In Romanian)

Covaci, D. (2012). For the Rest of Their Life: The Retirement of the Romanian Greek-Catholic Clergy. *Transylvanian Review*, *XXI* (Supplement) 3, 359–369.

Dăncilă-Ineoan, A.-O., & Iudean, O.-E. (2018). The Activism of the Middle Clergy in Support of the National Desideratum: Romanian Archpriests at the Great National Assembly in Alba Iulia. *Transylvanian Review,* 27 (3), 34–49.

Dumitran, D. (2007). *Un timp al reformelor: Biserica Greco-Catolică din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob: (1782–1830)* [A Time of Reforms: The Greek Catholic Church of Transylvania under Bishop Ioan Bob: (1782–1830)]. Cluj-Napoca: Argonaut. (In Romanian)

Genţ, I. (1912). *Administraţia bisericească* [Church Administration]. Oradea: Tipografia «Nagyvárad». (In Romanian)

Hitchins, K. (1994). *A Nation Affirmed: The Romanian National Movement in Transylvania 1860–1914*. Bucharest: The Encyclopaedic Publishing House.

Holom, C., Sorescu-Iudean, O., & Hărăguş, M. (2018). Beyond the Visible Pattern: Historical Particularities, Development, and Age at First Marriage in Transylvania, 1850–1914. *The History of the Family, 23*(2), 329–358. doi: 10.1080/1081602X.2018.1433702

Kubiska-Scharl, I., & Pölzl, M. (2013). Die Karrieren des Wiener Hofpersonals 1711–1765. Eine Darstellung anhand der Hofkalender und Hofparteienprotokolle. *Forschungen und Beiträge zur Wiener Stadtgeschichte, 58*. Innsbruck; Wien; Bozen: Studien Verlag. (In German)

Mandemakers, K., & Dillon, L. (2004). Best Practices with Large Databases on Historical Populations. *Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 37*(1), 34–38.

Paget, J. (1839). *Hungary and Transylvania: With Remarks on their Condition, Social, Political, and Economical* (Vol. II). London: John Murray, Albemarle Street.

Panțuru, C. (2013). *Parohia ortodoxă română Timişoara — Fabric: studiu istoric, canonic şi administrativ-bisericesc* [Romanian Orthodox Parish Timişoara — Fabric: Historical, Canonical and Administrative Church Study]. Siu, Timişoara: Astra Museum, Editura Partoş. (In Romanian)

Popa-Andrei, M., & Covaci, D. (2013). The Recruitment of an Ecclesiastical Elite: The Canons of the Cathedral Chapters in Oradea and Blaj. *Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu" Cluj-Napoca al Academiei Române, LII* (Supplement), 115–138.

Popa-Andrei, M., Covaci, D. M., & Sima, A. V. (2013). *Canonici, profesori şi vicari foranei din Biserica Română Unită (1853–1918): dicționar* [Canonici, Professors and Vicarians of the Foran Romanian Church (1853–1918): Dictionary]. Cluj-Napoca: Mega. (In Romanian)

Popa-Andrei, M., Covaci, D., Bedecean, M., Dan, A., & Balog, I. M. (Eds.). (2014). *Recruitment and Promotion among the Romanian Greek-Catholic Ecclesiastical Elite in Transylvania (1853–1918). A Collection of Studies*. Cluj-Napoca: Mega Publishing House.

Popova-Nowak, I. V. (2008). The Odyssey of National Discovery: Hungarians in Hungary and Abroad, 1750–1850. In W. Bracewell, & A. Drace-Francis (Eds.), *Under Eastern Eyes. A Comparative Introduction to East European Travel Writing on Europe* (pp. 195–222). Budapest: CEU University Press.

Popovici, V. (2018). ASTRA'S Membership in the Early 1900s. *Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Historia, 63*(2), 36–61.

Sima, A. V., & Covaci, D. (2015). The Propaganda Messages Disseminated through Transylvanian Ecclesiastical Channels during World War I. *Nouvelles Études d'Histoire, XIII*, 141–152.

Suciu, D. (2011). *Biserică, şcoală şi comunitate ortodoxă în Transilvania în epoca modernă: documente: protopopiatul Cetatea de Piatră şi eparhia Sibiului: Corespondență 1849–1874* [Church, School and Orthodox Community in Transylvania in the Modern Age: Documents: The Deanery of the Stone Fortress and the Diocese of Sibiu: Correspondence 1849–1874] (Vol. II/1). Cluj-Napoca: Argonaut. (In Romanian)

Эппель Мариус
доктор исторических наук,
старший научный сотрудник
Центр демографических исследований
Университет Бабеш-Бойяи
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1,
400084, Cluj-Napoca, România
E-mail: mariuseppel@yahoo.fr

Сореску-Иудеан Оана
младший научный сотрудник
Университет Бабеш-Бойяи
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1,
400084, Cluj-Napoca, România
E-mail: oana.sorescu@gmail.com

Eppel, Marius
Dr. Hab. (History), Senior Researcher
Centre for Population Studies
Babeş-Bolyai University
1, Mihail Kogălniceanu Str.,
400084 Cluj-Napoca, Romania
Email: mariuseppel@yahoo.fr

Sorescu-Iudean, Oana
Research Assistant
Babeş-Bolyai University
1, Mihail Kogălniceanu Str.,
400084 Cluj-Napoca, Romania
Email: oana.sorescu@gmail.com

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.053
УДК 314.02 + 930.25(571)

Е. А. Брюханова
Алтайский государственный университет
Барнаул, Россия

ПЕРЕПИСЬ 1897 г.: ОБРЕТЕНИЕ «УТРАЧЕННЫХ» МАТЕРИАЛОВ И ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ*

В статье представлен обзор первичных материалов переписи 1897 г., сохранившихся в архивах Сибири и Дальнего Востока, их систематизация, предварительный анализ, а также сопоставление информационного потенциала агрегированных и персональных данных. Долгое время первичные материалы переписи считались полностью уничтоженными, но сейчас очевидно, что в некоторых российских и зарубежных архивах сохранились комплексы переписных листов. Сведения о наличии в архивах номинативных источников переписи появились в работах ученых в конце XX в. В настоящее время персональные данные переписи используются в различных направлениях исторических и филологических исследований.

Методологической основой исследования стали принципы системного анализа, для выявления первичных материалов переписи применялись методы архивной эвристики, для их систематизации и оценки — историко-сравнительный и историко-типологический методы. Основными источниками стали работы исследователей, в которых использовались первичные материалы переписи, научно-справочный аппарат и фонды государственных архивов Сибири и Дальнего Востока, а также выпуски Центрального статистического комитета с результатами переписи 1897 г.

Переписные листы в архивах Сибири и Дальнего Востока представлены пробными формами 1895—1896 гг., вторыми и «третьими» (сокращенными копиями) экземплярами переписных листов. Наиболее представительные комплексы переписных листов сохранились по населенным пунктам уездов Тобольской губернии, кроме Березовского и Сургутского (архив в городе Тобольске), некоторым улусам Якутской области (архив Республики Саха), по городу Енисейску (архив Красноярского края). «Третьи» экземпляры сохранились по населенным местам Боровлянской волости Барнаульского уезда Томской губернии (архив Алтайского края) и Куйтунской волости Нижнеудинского уезда Иркутской губернии (архив Республики Бурятия).

Делается вывод о высоком информационном потенциале первичных материалов переписи 1897 г., но случайном характере сохранности и полноты архивных комплексов переписных листов.

К л ю ч е в ы е с л о в а: перепись 1897 г.; переписные листы; архив; библиография; Сибирь; Дальний Восток.

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 17-78-10156 «Информационное обеспечение исторической науки: on-line репрезентация материалов Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года».

© Брюханова Е. А., 2019
CC BY-NC

Цитирование: *Брюханова Е. А.* Перепись 1897 г.: обретение «утраченных» материалов и их предварительный анализ. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.053 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 152–167.

Поступила в редакцию 15.05.2018
Принята к печати 17.07.2019

Elena A. Bryukhanova
Altay State University
Barnaul, Russia

THE 1897 CENSUS: THE ACQUISITION OF "LOST" MATERIALS AND THEIR PRELIMINARY ANALYSIS

This article reviews primary materials of the 1897 census stored in the archives of Siberia and the Far East, systematises and analyses them as well as compares information potential of aggregated and personal data. The primary materials of the census were considered completely lost for a long time, but it is evident now that some Russian and foreign archives store some of the copied census papers. Data on archival nominative sources emerged in academic research in the late 20th century. Nowadays, personal census data are used both by historical and philological studies.

Methodologically, the author relies on the principles of system analysis and methods of archival heuristics to search for primary census materials. In order to systematise and evaluate primary materials, the article employs the historical-comparative methods as well as historical-typological method. The analysis is carried out with reference to studies addressing primary census material, reference sources, and funds of the state archives of Siberia and the Far East as well as issues of the Central Statistics Committee with the 1897 census results.

Census papers in the archives of Siberia and the Far East are represented by 1895—1896 test forms, the second and the "third" (abridged) copies of census papers. The most detailed complexes of census papers are those for the settlements of Tobolsk Province uyezds with the exception of Berezovsky and Surgut Uyezds (Tobolsk archive), some uluses of Yakutsk Oblast (archive of the Republic of Sakha), the city of Yeniseisk (archive of Krasnoyarsk Region). The "third" copies have been preserved in the archive of Altai Region (settlements of Borovlyanskaya Volost of Barnaul Uyezd, Tomsk Oblast) and the archive of the Republic of Buryatia (Kuytun Volost of Nizhneudinsk Uyezd, Irkutsk Province).

The article concludes that 1897 census papers have a high information potential; at the same time, the author points out their incompleteness depending on the region and that they have not been preserved equally well.

K e y w o r d s: 1897 census; census lists; archive; bibliography; Siberia; Far East.

Acknowledgements
The study is supported by a grant from the *Russian Science Foundation*, project 17-78-10156 "Information Support of Historical Studies: Online Representation of the Materials of the First General Census of the Russian Empire in 1897".

C i t a t i o n: Bryukhanova, E. A. (2019). Perepis' 1897 g.: obretenie "utrachennykh" materialov i ikh predvaritel'nyi analiz [The 1897 Census: The Acquisition of "Lost" Materials and Their Preliminary Analysis]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21,* 3 (190), 152–167. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.053

Submitted on 15 May, 2018
Accepted on 17 July, 2019

По одной из теорий источниковедения документ становится историческим источником только после введения его в научный оборот [Чеченков, с. 43–44]. При этом в архивах могут храниться необнаруженные или по каким-либо причинам неиспользуемые исследователями до определенного момента документы. Так получилось с переписными листами Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. Первичные материалы переписи долгое время считались уничтоженными. Но даже после обнаружения в некоторых архивах переписных листов в 80–90-е гг. XX вв. [Литвак, с. 123; Зверев, 1985, с. 80], они не получили широкого распространения.

Ситуация изменилась в связи с развитием интереса к массовым историческим источникам, содержащим персональные сведения. В России актуальность персональных исторических данных обусловлена формированием такого направления, как «новая историческая демография» [Владимиров, Сарафанов, Щетинина, 2016, с. 32]. Определенный вклад в популяризацию персональных сведений, в том числе переписных листов, внесли также генеалогические исследования [Брюханова, 2018а]. В зарубежных странах номинативные источники стали основой крупных международных проектов, таких как Nothern Athlantic Population Project (NAPP) и Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) [Торвальдсен, с. 12], а также проекта MOSAIC [Census Mosaic Project].

Если большинство европейских стран располагали лонгитюдными наборами данных на основе систематических переписей и других регистров населения, то для России сохранность первичных материалов различных обследований является скорее исключением, чем правилом [Торвальдсен, с. 12–13]. Данное обстоятельство сформировало отдельную исследовательскую задачу — выявление в архивах номинативных источников для отечественных исторических исследований. Тем не менее, весь комплекс переписных листов 1897 г., сохранившихся в российских и зарубежных архивах, до сих пор не выявлен, а замечание К. Б. Литвака в статье 1990 г. о неразработанности первичных материалов первой всеобщей переписи [Литвак, с. 124] все еще остается актуальным.

В статье представлен обзор первичных материалов переписи 1897 г., сохранившихся в архивах Сибири и Дальнего Востока, их систематизация, предварительный анализ, а также сопоставление информационного потенциала агрегированных и персональных данных. Методологической основой исследования стали принципы системного анализа, для выявления первичных материалов переписи применялись методы архивной эвристики, для их систематизации и оценки — историко-сравнительный и историко-типологический методы.

Основными источниками исследования стали работы, в которых использовались первичные материалы переписи [Брюханова, 2017], научно-справочный аппарат [Брюханова, 2018б] и фонды государственных архивов Сибири и Дальнего Востока, а также выпуски Центрального статистического комитета, содержащие результаты переписи 1897 г.

Библиография работ по агрегированным и первичным материалам переписи 1897 г.

Материалы переписи 1897 г. являются одними из самых востребованных исторических источников с момента публикации официальных результатов в выпусках Центрального статистического комитета.

Библиография работ по агрегированным данным, в том числе и по Сибири, довольно обширна. Комплексное использование опубликованных данных переписи характерно для такого направления, как сибирское городоведение. В работах В. А. Скубневского и Ю. М. Гончарова применялись данные по основным демографическим (численность населения, возрастной, гендерный состав) и социально-экономическим (сословия и занятия) характеристикам городского населения Сибири [Скубневский, Гончаров]. Данные по занятости населения отдельно изучались в рамках исторического профессиоведения [Историческое профессиоведение...]. Перепись 1897 г. впервые собрала подробные и единообразные сведения по всем этническим группам, проживавшим на территории Сибири и Дальнего Востока, что привлекло внимание исследователей. Так, отдельные работы были посвящены немецким [Шайдуров, 2008] и еврейским [Шайдуров, 2014] диаспорам, коренным народам Сибири [Скобелев, Кузнецова] и некоторым народностям (казахи, якуты и др.).

Статистические данные переписи 1897 г. хорошо известны и обработаны учеными. В то же время выделяется библиография работ, основанных на первичных материалах переписи. Наибольшую известность получили работы С. К. Патканова, который, как редактор Центрального статистического комитета, сделал выборку из первых экземпляров переписных листов и провел более детальный анализ данных по «туземному населению Сибири», уделив особое внимание сведениям, не подлежащим обнародованию в общем издании результатов переписи [Патканов, с. I–II].

Для целей выявления сохранившихся первичных материалов переписи 1897 г. интерес представляют современные исследования. Одними из первых в научный оборот были введены материалы фонда Тобольского губернского статистического комитета (ф. И–417) Государственного архива в г. Тобольске, в котором сохранилась крупная коллекция переписных листов по восьми уездам и городам Тобольской губернии [ГА в г. Тобольске, ф. И-417, оп. 2, д. 1–4175]. В настоящее время представленный фонд наиболее востребован у исследователей, в том числе и благодаря тому, что переписные листы оцифрованы и доступны для удаленной работы [АИС ГБУТО]. Материалы Тобольского

архива стали источниками данных для изучения социального и профессионального состава городов [Bryukhanova, Vladimirov], социальной мобильности населения [Неженцева], семейно-брачных отношений крестьян [Зверев, 2009], а также для изучения отдельных этнических групп [Машарипова; Кабульдинов]. Кроме того, переписные листы используются для историко-филологических исследований, так как отражают систему личных имен (антропонимикон) различных групп населения [Кузнецова; Сулямова].

Еще одним сибирским архивом, в котором сохранился комплекс первичных документов переписи 1897 г., стал Национальный архив Республики Саха (Якутия). Материалы переписи как исторический источник по Якутии на рубеже XIX–XX вв. изучала Т. Т. Курчатова [2015]. Выявленные переписные листы использовались для изучения отдельных улусов и города Олекминска.

Для генеалогических исследований, по мнению А. В. Пашинина, кроме собственно самих переписных листов интересны и так называемые «третьи» экземпляры, представлявшие собой копии с переписных листов, которые было разрешено делать волостным управлениям. Такие третьи экземпляры сохранились в некоторых региональных архивах, например, в Государственном архиве Республики Бурятия [Пашинин, с. 108].

Отдельную группу публикаций представляют статьи и заметки, подготовленные самими архивами, прежде всего, для привлечения внимания исследователей к архивным материалам. Так, археограф Государственного архива Хабаровского края к 110-летию проведения переписи подготовил статью об особенностях учета населения в Приморском крае, в которой указал на частичную сохранность переписных листов не только по Южно-Уссурийской округе Приморской области, но и по Александровскому посту острова Сахалин [Богданов].

Таким образом, краткий обзор публикаций показал, что первичные материалы переписи 1897 г. могут быть востребованы исследователями различных направлений исторической науки.

Кроме фондов, которые были отмечены выше, первичные материалы переписи сохранились в государственных архивах Алтайского края, Амурской области, Красноярского края, исторического архива Дальнего Востока.

Номинативные источники в контексте истории переписи 1897 г. (по материалам Сибири и Дальнего Востока)

После утверждения Положения о первой всеобщей переписи населения 5 июня 1895 г. началась большая подготовительная работа. Один из важнейших этапов состоял в разработке и апробации форм переписных листов. Для этих целей в соответствии с циркуляром Главной переписной комиссии от 12 марта 1896 г. за № 188 в губернии были разосланы проекты некоторых форм переписных листов и наставления счетчикам. В письме предлагалось заполнить по несколько экземпляров каждой формы для местностей «с какими-либо особенностями в бытовых условиях» и высказать соображения по «удобопременимости

форм» и «удобопонятности» наставлений [ГА в г. Тобольске, ф. И-417, оп. 1, д. 453, л. 1]. Такие письма были разосланы во все губернии Сибири, но не везде пробная перепись была проведена. Так, иркутский губернатор посчитал проведение «примерной» переписи излишней, но внимательно изучил бланки переписных листов и прислал по ним свои замечания [РГИА, ф. 1290, оп. 10, д. 38, л. 64]. В большинстве сибирских областей предварительная перепись была проведена.

Для пробной переписи были разосланы две формы — для «сельского кочевого и оседлого населения» и для «городского населения» [ГАКК, ф. 22, оп. 1, д. 11]. Перечень вопросов переписных листов был зафиксирован Положением [Положение..., с. 5], вопросная часть была аналогична основным формам, применявшимся в 1897 г. Отличия заключались в титульных листах и инструкциях по заполнению переписных форм. Так, в титульных листах основных переписных листов 1897 г. появились литерные обозначения форм, в формулировки вопросов по административному делению были добавлены примеры административных единиц («Волость, гмина, станица или соответствующее им деление»), изменилось расположение информационных блоков. Инструкции по заполнению переписных листов к 1897 г. не претерпели значительных изменений, но были несколько скорректированы комментарии к вопросам по сословиям, родному языку, основным и побочным занятиям.

Наиболее крупный комплекс пробных переписных листов сохранился по Енисейской губернии в Государственном архиве Красноярского края (в фонде губернской переписной комиссии [ГАКК, ф. 22, оп. 1, д. 4–10] и в фондах некоторых управлений, например, инородческой волости [ГАКК, ф. 333, оп. 1, д. 60]), а также в Российском государственном историческом архиве (в фонде Центрального статистического комитета) [РГИА, ф. 1290, оп. 10, д. 38, л. 179–241]. Отдельные пробные переписные листы обнаружены в государственных архивах в г. Тобольске [ГА в г. Тобольске, ф. И-197, оп. 1, д. 78] и Республики Бурятия [ГАРБ, ф. 34, оп. 1, д. 525].

Контрольной датой переписи было выбрано 28 января 1897 г. В основной этап переписи использовались следующие формы переписных листов: А (для крестьянских хозяйств), Б (для владельческих усадеб, хуторов и других, не входящих в сельские общества, поселков), А/Б (общая для всего внегородского населения), В (для городского населения), Г (для бродячего инородческого населения), а также перечневые ведомости: общая (для воспитанников, учеников, монашествующих, призреваемых, заключенных, находящихся на излечении) и воинская (для нижних чинов, состоящих на действительной службе). Описание форм переписных листов и перечневых ведомостей представлено в работах исследователей [Пландовский, с. 348–353; Edlund, p. 31–36].

В соответствии с Положением, переписные листы заполнялись в двух экземплярах [Положение..., с. 13]. Первые, выверенные, экземпляры отправлялись в Главную переписную комиссию, документы которой отложились в фонде Центрального статистического комитета Российского государственного

исторического архива [РГИА, ф. 1290, оп. 10–11]. К сожалению, практически все первые экземпляры после окончательной обработки были проданы «на фабрику» для переработки [Котельников, с. 93]. Сохранились лишь небольшие комплексы переписных листов по отдельным районам. В качестве примера сохранившихся листов можно привести первые экземпляры переписных листов по некоторым кораблям эскадры Тихоокеанского флота, к территории Сибири их можно отнести условно [РГИА, ф. 1290, оп. 11, д. 2821].

Вторые (контрольные) экземпляры переписных листов должны были храниться в архивах губернских управлений. Вторые экземпляры, в соответствии с циркуляром Главной переписной комиссии № 3505 от 26 марта 1897 г., не подлежали использованию, публикации или уничтожению до окончания разработки переписного материала [ГАКК, ф. 31, оп. 1, д. 200, л. 3, 3 об.]. Они должны были служить для уточнения сведений первых экземпляров или их замещения в случае утраты, как это произошло, например, в г. Хабаровске: в письмах Главной переписной комиссии упоминается «прискорбный» случай пожара в этом городе, «где материал сгорел во время пребывания его уже в почтово-телеграфной конторе» [ГАКК, ф. 31, оп. 1, д. 200, л. 8].

После публикации результатов переписи вторые экземпляры передавались губернским правлениям и в большинстве случаев были утрачены. Однако в некоторых региональных архивах сохранились комплексы вторых экземпляров переписных листов. Полнота и степень их сохранности различны. Наиболее репрезентативная коллекция переписных листов сохранилась в Государственном архиве в г. Тобольске в фонде Губернского статистического комитета [ГА в г. Тобольске, ф. И-417, оп. 2, д. 1–4175]. Разрозненный, но все же довольно представительный комплекс переписных листов сохранился в Национальном архиве Республики Саха (Якутия) в фонде Областного статистического комитета [НАРС(Я), ф. И-343, оп. 2, д. 1–70, 86–101] и Переписного участка № 2 Батурусского улуса [НАРС(Я), ф. И-570, оп. 1, д. 1–563]. По несколько дел с переписными листами сохранилось в историческом архиве Дальнего Востока (в фонде статистического комитета), государственных архивах Хабаровского края (в фонде статистического комитета) [ГАХК, ф. И-210, оп. 1, д. 1–13], Амурской области (в фондах Канцелярии Губернатора [ГААО, ф. И-15, оп. 1, д. 138–140] и Благовещенской городской управы [ГААО, ф. И-8, оп. 1, д. 33]).

Кроме основных экземпляров переписных листов Положением предусматривалось создание «третьих» экземпляров — копий с переписных листов «о лицах, подведомственных крестьянским общественным управлениям» [Положение..., с. 13]. Третьи экземпляры также имели печатную форму (могли быть составлены и вручную), но с ограниченным количеством вопросов: 1) фамилия, имя, отчество; 2) пол; 3) кем приходится главе семьи; 4) возраст; 5) семейное положение; 6) место приписки; 7) место проживания; 8) примечания. Подобные списки также могут быть интересны исследователям. Третьи экземпляры были выявлены в фондах волостных управлений в государственных архивах Алтайского края [ГААК, ф. 32, оп. 1, д. 810] и Республики Бурятия [ГАРБ, ф. 34, оп. 1, д. 525].

Еще одним особым номинативным источником, обнаруженным в фондах Центральной переписной комиссии и губернских статистических комитетов, стали переписные листы о лицах, достигших 100-летнего возраста. В 1902 г. было проведено дополнительное обследование по уточнению указанного в переписных листах возраста, а также выяснению обстоятельств жизни лиц, достигших 100-летнего возраста. Вопросный листок как повторял вопросы переписного листа (фамилия, имя, отчество, место проживания, возраст сословие, семейное положение, язык, вероисповедание, средства к жизни), так и содержал дополнительные, например: где долгожитель родился; в какой семье жил; где провел детство, в скольких браках состоял и сколько имел детей; чем занимался; какие вредные привычки имел; какое было здоровье; собирались сведения о его родителях. К сожалению, на многие вопросы долгожители или их родственники не могли ответить и большинство бланков заполнены частично. В окончательную разработку материалов переписи результаты данного обследования не попали (за исключением уточненного возраста). Сохранившиеся вопросные листки по губерниям Сибири отложились в Российском государственном историческом архиве [РГИА, ф. 1290, оп. 11, д. 2829, 2836, 2840, 2843].

Таким образом, к номинативным источникам переписи 1897 г. можно отнести пробные переписные листы 1895–1896 гг., первые, вторые и третьи экземпляры переписных листов 1897 г. и вопросные листы о лицах, достигших 100-летнего возраста. Обзор фондов архивов Сибири и Дальнего Востока показал случайный характер сохранности и полноты фондов с первичными материалами переписи. Сохранность первичных материалов переписи 1897 г. в архивах Сибири и Дальнего Востока представлена на карте.

Персональные и агрегированные данные: оценка информационного потенциала

При работе с источниками актуальным вопросом является оценка информационного потенциала и репрезентативности данных. Для материалов переписи 1897 г. определенный интерес представляет сопоставление структуры и числовых значений агрегированных и персональных данных. Такое сравнение позволит показать информационный потенциал переписных листов.

К 1905 г. были подведены окончательные результаты Первой всеобщей переписи населения Российской империи. Они были опубликованы в более чем 120 выпусках, подготовленных Центральным статистическим комитетом. Кроме Общего свода по Империи и погубернских выпусков, были также подготовлены специальные издания по главным занятиям и численности рабочих и прислуги. Основные статистические данные были сведены в 25 таблиц, сочетающих 18 признаков, собранных в процессе переписи 1897 г. Сравнив вопросы переписных листов с таблицами результатов переписи, можно сделать следующие выводы: в каждой таблице использовались сведения о наличном населении и гендерном составе, наиболее востребованными оказались вопросы о возрасте

Сохранность первичных материалов переписи 1897 г. в архивах Сибири и Дальнего Востока
Preservation of primary sources for the 1897 census in the archives of Siberia and the Far East

(в 9 таблицах), родном языке (в 8 таблицах), сословии (в 7 таблицах) и месте жительства, отдельно разрабатывались сведения об иностранцах (в 9 таблицах). Практически не востребованными оказались вопросы о приписке, побочных занятиях и воинской повинности.

При работе с агрегированными данными исследователи сталкиваются с некоторыми ограничениями. Во-первых, в процессе обработки собранного материала, требующего редуцирования и унификации сведений, часть специфических для отдельных регионов данных вошла в более распространенные группы. Так, актуальные для Сибири сведения о ссыльных не были представлены в агрегированных данных. В заполненных переписных листах по городу Тобольску [ГА в г. Тобольске, ф. И-417, оп. 2, д. 1–38] в графе «Сословия» встречались записи «мещане из ссыльных», «крестьяне из ссыльных», но в окончательную разработку эти сведения не вошли.

Во-вторых, в агрегированных данных представлены сведения по регионам, губерниям и уездам, тогда как в переписных листах присутствуют сведения по домохозяйствам, что позволяет рассматривать некоторые вопросы более детально (например, расселение некоторых социальных, религиозных или этнических групп внутри поселений). Кроме того, исследователи отмечали наличие ошибок в агрегированных данных и проблем в формировании групп. [«Благовещенские китайцы...» ; Кабульдинов, с. 184]. Наиболее спорными стали группы по народностям на основе родного языка и по занятиям. Так, З. Е. Кабульдинов, сравнив опубликованные и первичные данные по казахам Тарского и Тюкалинского уездов, получил разные результаты: по агрегированным данным большинство казахских хозяйств были земледельческими, а по первичным — скотоводческими [Кабульдинов, с. 183–184]. Приведенные примеры не умаляют значимости опубликованных результатов переписи, но служат для иллюстрации информационного потенциала первичных материалов переписи. При этом следует отметить, что «третьи» экземпляры переписных листов менее информативны, поскольку позволяют получить сведения только о гендерном, возрастном составе, структуре хозяйств и миграциях населения.

Важным вопросом при работе с первичными материалами переписи 1897 г. является репрезентативность комплекса архивных документов. Сохранность материалов по разным населенным пунктам может быть различной даже в пределах одного фонда. Например, в фонде Тобольского губернского статистического комитета сохранились переписные листы по более чем 90 % населения города Ялуторовска [ГА в г. Тобольске, ф. И-417, оп. 2, д. 3655–3660], но не обнаружены данные по городам Березову и Сургуту. При этом в некоторых архивах сохранились небольшие комплексы переписных листов, которые не позволяют оценить типичность представленных в документах фактов, но могут составлять уникальные примеры. Например, около 100 листов формы Г по тунгусским родам Енисейской губернии [ГАКК, ф. 333, оп. 1, д. 60, л. 18–105, 112–126] или несколько переписных листов по китайскому населению г. Благовещенска [ГААО, ф. И-8, оп. 1, д. 33]. Значимые комплексы вторых и пробных экземпляров переписных листов сохранились по населенным пунктам восьми уездов Тобольской губернии, кроме Березовского и Сургутского [ГА в г. Тобольске, ф. И-417, оп. 2, д. 1–4175], некоторым улусам Якутской области [НАРС(Я), ф. И-343, оп. 2, д. 1–70, 86–101; ф. И-570, оп. 1, д. 1–563], по городу Енисейску [ГАКК, ф. 22, оп. 1, д. 4–10]. Частичная сохранность переписных листов характерна для отдельных населенных пунктов Енисейского и Минусинского уездов Енисейской губернии [Там же, д. 11–15], Приморской области [ГАХК, ф. И-210, оп. 1, д. 1–13], городам Олекминску [НАРС(Я), ф. И-343, оп. 2, д. 63, 68] и Благовещенску [ГААО, ф. И-15, оп. 1, д. 138], инородческого населения Верхне-Амурского горно-полицейского округа [Там же, д. 140]. Хорошая сохранность «третьих» экземпляров переписных листов представлена по населенным местам Боровлянской волости Барнаульского уезда Томской губернии [ГААК,

ф. 32, оп. 1, д. 810] и Куйтунской волости Нижнеудинского уезда Иркутской губернии [ГАРБ, ф. 34, оп. 1, д. 525].

Таким образом, переписные листы отличаются высоким информационным потенциалом, но вопрос репрезентативности должен решаться отдельно для конкретной исследовательской задачи (административной единицы или группы населения).

Заключение

Первичные материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. представляют интерес для различных направлений исторических исследований. При этом сохранившиеся коллекции переписных листов 1897 г. не полностью введены в научный оборот. Изучение фондов государственных архивов Сибири и Дальнего Востока позволило выявить новые комплексы документов, а также провести классификацию первичных материалов переписи 1897 г. Так, на основе изучения архивных источников можно выделить четыре группы первичных документов по переписи 1897 г.

1. Пробные переписные листы 1895–1896 гг.: имели только две формы (для сельского и городского населения), заполнялись выборочно по некоторым населенным местам. Представительная коллекция пробных переписных листов сохранилась по городу Енисейску. По несколько переписных листов выявлены по отдельным населенным пунктам Ачинского, Енисейского, Канского и Минусинского округов Енисейской губернии.

2. Основные формы переписных листов 1897 г.: для крестьянских хозяйств (А), владельческих усадеб (Б), внегородского населения (А/Б), городского населения (В), инородческого населения (Г), перечневые общие и воинские ведомости. Заполнялись в двух экземплярах. Первые экземпляры воинских перечневых ведомостей сохранились по 14 командам боевых кораблей Тихоокеанской эскадры. Вторые экземпляры разных форм выявлены в региональных архивах Сибири и Дальнего Востока. Наиболее полные комплексы переписных листов сохранились по восьми городам и уездам Тобольской губернии, четырем округам Якутской области и городу Благовещенску.

3. «Третьи» экземпляры или волостные ведомости: отличались меньшим количеством граф, содержали сведения о населении, преимущественно крестьянском, проживавшем в волости. Такие формы сохранились по населенным местам Боровлянской волости Барнаульского уезда Томской губернии и Куйтунской волости Нижнеудинского уезда Иркутской губернии.

4. Анкеты специального обследования лиц, достигших столетнего возраста, отложившиеся в Российском государственном историческом архиве.

Следует признать, что сохранность первичных материалов переписи 1897 г. носит случайный характер, переписные листы охватывают только часть территории Сибири и Дальнего Востока. Тем не менее, в некоторых архивах представлены репрезентативные коллекции переписных листов по отдельным населенным пунктам.

Высокий информационный потенциал первичных материалов 1897 г. позволяет существенно расширить сведения опубликованных результатов переписи, комбинировать признаки для решения исследовательских задач, изучать данные как на уровне поселений и хозяйств, так и на индивидуальном уровне. Переписные листы 1897 г. являются важным историческим источником для изучения различных аспектов населения Сибири и Дальнего Востока.

Источники

АИС ГБУТО «Государственный архив в г. Тобольске»: Путеводитель по фондам архива и автоматизированные тематические комплексы по документам архива. URL: https://tobarhiv.72to.ru/Default.aspx?ReturnUrl=%2f (дата обращения: 15.10.2018).

ГА в г. Тобольске — Государственный архив в г. Тобольске. Ф. И-417. Оп. 2. Д. 1–4175; Оп. 1. Д. 453; Ф. И-197. Оп. 1. Д. 78

ГААК — Государственный архив Алтайского края. Ф. 32. Оп. 1. Д. 810.

ГААО — Государственный архив Амурской области. Ф. И-8. Оп. 1. Д. 33; Ф. И-15. Оп. 1. Д. 138–140.

ГАКК — Государственный архив Красноярского края. Ф. 22. Оп. 1. Д. 4–15; Ф. 31. Оп. 1. Д. 200; Ф. 333. Оп. 1. Д. 60.

ГАРБ — Государственный архив Республики Бурятия. Ф. 34. Оп. 1. Д. 525.

ГАХК — Государственный архив Хабаровского края. Ф. И-210. Оп. 1. Д. 1–13.

НАРС(Я) — Национальный архив Республики Саха (Якутия). Ф. И-343. Оп. 2. Д. 1–70, 86–101; Ф. И-570. Оп. 1. Д. 1–563.

Положение о первой всеобщей переписи населения Российской империи: высочайше утвержденное 5-го июня 1895 года. СПб. : Изд. Центр. стат. комитета М-ва внутр. дел, 1895.

РГИА — Российский государственный исторический архив. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 38; Оп. 11. Д. 2821, 2829, 2836, 2840, 2843.

Исследования

«Благовещенские китайцы ушли за Амур»: как 120 лет назад на Дальнем Востоке проходила первая перепись населения. URL: https://dv.land/spec/blagoveshchenskie-kitaitcy-ushli-za-amur (дата обращения: 19.11.2018).

Богданов С. Первая Всеобщая перепись населения 1897 года // Тихоокеанская звезда от 07.02.2017–08.02.2017. URL: http://habarovsk.bezformata.com/listnews/pervaya-vseobshaya-perepis-naseleniya/54659920/ (дата обращения: 15.10.2018).

Брюханова Е. А. Архивы on-line: эксперимент по поиску материалов всеобщей переписи населения 1897 г. в информационных ресурсах архивов Сибири // Роль архивов в информационном обеспечении исторической науки : сб. ст. / авт.-сост. Е. А. Воронцова ; отв. ред. В. Ю. Афиани, Ю. А. Петров. М. : Этерна, 2017. С. 584–605.

Брюханова Е. А. Архивные документы переписи 1897 г. в работах исследователей: российская и зарубежная историография. DOI 10.14258/izvasu(2018)2-15 // Изв. Алт. гос. ун-та. 2018а. № 2 (100). С. 92–97.

Брюханова Е. А. Российские и зарубежные генеалогические интернет-ресурсы как инструмент поиска архивных материалов переписи населения 1897 г. // Гасырлар авазы — Эхо веков. 2018б. № 2 (91). С. 173–186.

Владимиров В. Н., Сарафанов Д. Е., Щетинина А. С. «Новая историческая демография» в России: эволюция или скачок в развитии? DOI 10.15826/izv2.2016.18.3.042 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2016. Т. 18. № 3 (154). С. 29–53.

Зверев В. А. Брачный возраст и количество детей у русских крестьян Сибири во второй половине XIX — начале XX в. // Культурно-бытовые процессы у русских Сибири, XVIII — начало XX в. / отв. ред. Л. М. Русакова, Н. А. Миненко. Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1985. С. 73–88.

Зверев В. А. Семейно-брачный строй в деревнях Западной Сибири (по материалам Всероссийской переписи населения 1897 г.) // Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2009. № 4 (8). С. 63–70.

Историческое профессиоведение: создание HISCO и исследования профессиональной и социальной мобильности / под ред. В. Н. Владимирова, М. Х. Д. ван Леувена. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009.

Кабульдинов З. Е. Казахи Тобольской и Томской губерний во второй половине XVIII — начале XX вв. (историко-демографический аспект). Павлодар : ЭКО, 2001.

Котельников А. Н. История производства и разработки всеобщей переписи населения 28-го января 1897 г. СПб. : кн. маг. «Наша жизнь», 1909.

Кузнецова Я. Л. Исетские старообрядческие имена в современном языковом сознании: структура, семантика, прагматика (на материале Первой всероссийской переписи 1897 г.) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Сарат. гос. акад. права. Саратов, 2006.

Курчатова Т. Т. Материалы переписей населения в Якутской области (конец XIX — начало XX вв.) как исторический источник // Теория и практика общественного развития. 2015. № 3. С. 116–119.

Литвак К. Б. Перепись населения 1897 года о крестьянстве России (источниковедческий аспект) // История СССР. 1990. № 1. С. 114–126.

Машарипова А. Х. Коми переселенцы в Тарском уезде Тобольской губернии в конце XIX — начале XX в. // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 2 (21). С. 105–110.

Неженцева Н. В. Методики изучения профессиональной мобильности населения Тобольска (по материалам переписи населения 1897 г.). DOI 10.14258/izvasu(2017)5-261 // Изв. Алт. гос. ун-та. Исторические науки и археология. 2017. № 5 (97) С. 152–155.

Патканов С. К. Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев (на основании данных специальной разработки материала переписи 1897 г.). Т. 1 : Сводные таблицы и краткие выводы. СПб. : Тип. «Ш. Буссель», 1912.

Пашинин А. В. Статистические источники по генеалогии крестьянских родов (семей) конца XVII — начала XX вв. в фондах государственного архива Республики Бурятия : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.09 / Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Улан-Удэ, 2015.

Пландовский В. В. Народная перепись. СПб. : тип. Штаба отд. корпуса погран. стражи, 1898.

Скобелев С. Г., Кузнецова Е. В. Источники по изучению демографии коренного населения Сибири и Дальнего Востока во второй половине XIX — втором десятилетии XX века: местные и общероссийские переписи (материалы для учебного курса) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер. : История. Филология. 2012. Т. 11. Вып. 5. С. 24–31.

Скубневский В. А., Гончаров Ю. М. Города Западной Сибири во второй половине XIX — начале XX в. Барнаул : ИП Колмогоров И.А., 2014.

Сулямова Р. М. Этимологический анализ антропонимов сибирских татар в XIX в. (на примере юрт Араповских Тобольской губернии) // Филол. науки. Вопр. теории и практики. 2018. № 5 (83). Ч. 1. С. 165–170.

Торвальдсен Г. Т. Номинативные источники в контексте всемирной истории переписей: Россия и Запад. DOI 10.15826/izv2.2016.18.3.041 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2016. Т. 18. № 3 (154). С. 9–28.

Чеченков П. В. Документ и исторический источник: на перекрестке социально-гуманитарных наук // Вестн. НГТУ им. Р. Е. Алексеева. Сер. «Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии». 2012. № 4. С. 36–45.

Шайдуров В. Н. Немецкая община Западной Сибири (вторая половина XVIII — начало XX вв.) // Новый ист. вестн. 2008. № 17. С. 50–63.

Шайдуров В. Н. Евреи и их место в хозяйственной жизни Западной Сибири во второй половине XIX в. // Новый ист. вестн. 2014. № 39. С. 21–35.

Bryukhanova E., Vladimirov V. Urban Occupations in a Siberian City (Tobolsk, 1897). DOI 10.15826/qr.2017.1.210 // Quaestio Rossica. 2017. Vol. 5. № 1. P. 56–73.

Census Mosaic Project. URL: https://censusmosaic.demog.berkeley.edu/ (accessed: 19.11.2018).

Edlund T. K. The Russian National Census of 1897 // Avotaynu. 2000. Vol. XVI. No. 3. P. 29–39.

References

"Blagoveshchenskie kitaitsy ushli za Amur": kak 120 let nazad na Dal'nem Vostoke prokhodila pervaia perepis' naseleniia ["The Blagoveshchensk Chinese Have Gone beyond Amur": The Way the First Census Was Held in the Far East 120 Years Ago]. Retrieved from https://dv.land/spec/blagoveshchenskie-kitaitcy-ushli-za-amur. (In Russian)

Bogdanov, S. (2017, February 07–08). Pervaia Vseobshchaia perepis' naseleniia 1897 goda [The First General Population Census of 1897]. *Tihookeanskaya zvezda*. Retrieved from http://habarovsk.bezformata.com/listnews/pervaya-vseobshaya-perepis-naseleniya/54659920/. (In Russian)

Bryukhanova, E. A. (2017). Arkhivy on-line: eksperiment po poisku materialov vseobshchei perepisi naseleniia 1897 g. v informatsionnykh resursakh arkhivov Sibiri [Online Archives: An Experiment to Search for Materials of the General Population Census of 1897 in the Information Resources of the Archives of Siberia]. In E. A. Vorontsova (Ed.), *Rol' arkhivov v informatsionnom obespechenii istoricheskoi nauki* [The Role of Archives in Information Support of Historical Studies] (pp. 584–605). Moscow: Eterna. (In Russian)

Bryukhanova, E. A. (2018a). Arkhivnye dokumenty perepisi 1897 g. v rabotakh issledovatelei: rossiiskaia i zarubezhnaia istoriografiia [The Archival Documents of the 1897 Census in the Works of Researchers: Russian and Foreign Historiography]. *Izvestiia Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta,* 2(100), 92–97. doi: 10.14258/izvasu(2018)2-15. (In Russian)

Bryukhanova, E. A. (2018b). Rossiiskie i zarubezhnye genealogicheskie internet-resursy kak instrument poiska arkhivnykh materialov perepisi naseleniia 1897 g. [Russian and Foreign Genealogical Internet Resources as a Search Tool for Archival Materials of the 1897 Census]. *Gasyrlar avazy — Ekho vekov*, 2 (91), 173–186. (In Russian)

Bryukhanova, E., & Vladimirov, V. (2017). Urban Occupations in a Siberian City (Tobolsk, 1897). *Quaestio Rossica, 5*(1), 56–73. doi: 10.15826/qr.2017.1.210.

Census Mosaic Project. Retrieved from https://censusmosaic.demog.berkeley.edu/.

Chechenkov, P. V. (2012). *Dokument i istoricheskij istochnik: na perekrestke sotsial'no-gumanitarnykh nauk* [Document and Historical Source: At the Crossroads of Social Sciences and the Humanities]. *Vestnik Nizhegorodskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. R. E. Alekseeva. Upravlenie v sotsial'nykh sistemakh. Kommunikativnye tekhnologii*, 4, 36–45. (In Russian)

Edlund, T. K. (2000). The Russian National Census of 1897. *Avotaynu*, *XVI*(3), 29–39.

Kabuldinov, Z. E. (2001). *Kazahi Tobol'skoj i Tomskoj gubernij vo vtoroj polovine XVIII — nachale XX vv. (istoriko-demograficheskij aspekt)* [Kazakhs of Tobolsk and Tomsk Provinces in the Second Half of the 18th — Early 20th Centuries (Historical and Demographic Aspect)]. Pavlodar: EKO. (In Russian)

Kotelnikov, A. N. (1909). *Istoriya proizvodstva i razrabotki vseobshchej perepisi naseleniya 28-go yanvarya 1897 g.* [The History of Production and Development of the General Population Census on January 28, 1897]. St Petersburg: kn. mag. "Nasha zhizn'". (In Russian)

Kurchatova, T. T. (2015). Materialy perepisej naseleniya v Yakutskoj oblasti (konets XIX — nachalo XX vv.) kak istoricheskij istochnik [The Materials of Population Censuses in Yakut Region (Late 19th — Early 20th Centuries) as a Historical Source]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya*, 3, 116–119. (In Russian)

Kuznetsova, Ya. L. (2006). *Isetskie staroobriadcheskie imena v sovremennom iazykovom soznanii: struktura, semantika, pragmatika (na materiale Pervoj vserossijskoj perepisi 1897 g.)* [Iset Old Believers' Names in Modern Linguistic Consciousness: Structure, Semantics, Pragmatics (with Reference to the First All-Russian Census of 1897)] (doctoral dissertation abstract). Saratov State Academy of Law, Saratov. (In Russian)

Litvak, K. B. (1990). Perepis' naseleniia 1897 goda o krest'ianstve Rossii (istochnikovedcheskij aspekt) [The 1897 Census about Russian Peasantry (Source Aspect)]. *Istoriya SSSR*, 1, 114–126. (In Russian)

Masharipova, A. H. (2013). Komi pereselentsy v Tarskom uezde Tobol'skoj gubernii v kontse XIX — nachale XX v. [Komi Immigrants in the Tara District of Tobolsk Province in the Late 19th — Early 20th Centuries]. *Vestnik arheologii, antropologii i ehtnografii*, *2*(21), 105–110. (In Russian)

Nezhentseva, N. V. (2017). Metodiki izucheniia professional'noj mobil'nosti naseleniia Tobol'ska (po materialam perepisi naseleniya 1897 g.) [The Methods for the Study of Occupational Mobility of Tobolsk Population (according to 1897 Census Materials)]. *Izvestiya Altajskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoricheskie nauki i arheologiya*, 5(97), 152–155. doi: 10.14258/izvasu(2017)5-261 (In Russian)

Pashinin, A. V. (2015). *Statisticheskie istochniki po genealogii krest'ianskikh rodov (semej) kontsa XVII — nachala XX vv. v fondah gosudarstvennogo arhiva Respubliki Buryatiya* [Statistical Sources of Peasant Family Genealogy in the Late 17th — Early 20th Centuries in the Collections of the State Archive of the Republic of Buryatia] (doctoral dissertation). Institute of Mongolian Studies, Buddhology and Tibetology of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Ulan-Ude. (In Russian)

Patkanov, S. K. (1912). *Statisticheskie dannye, pokazyvaiushchie plemennoj sostav naseleniia Sibiri, iazyk i rody inorodtsev (na osnovanii dannyh spetsial'noj razrabotki materiala perepisi 1897 g.)* [The Statistical Data Indicating the Tribal Composition of Siberian Population, Language, and Descent of Foreigners (with Reference to the Data of the 1897 Census Special Development)]. St Petersburg: tipografiia "Sh. Bussel'". (In Russian)

Plandovsky, V. V. (1898). *Narodnaya perepis'* [Census]. St Petersburg: tip. Shtaba otd. korpusa pogran. Strazhi. (In Russian)

Shaidurov, V. N. (2008). *Nemetskaia obshchina Zapadnoj Sibiri (vtoraia polovina XVIII — nachalo XX vv.)* [The German Community of Western Siberia (Second Half of the 18th — Early 20th Centuries)]. *Novyj istoricheskij vestnik*, 17, 50–63. (In Russian)

Shaidurov, V. N. (2014). *Evrei i ih mesto v hozyajstvennoj zhizni Zapadnoj Sibiri vo vtoroj polovine XIX v.)* [Jews and their Place in the Economic Life of Western Siberia in the Second Half of the 19th Century)]. *Novyj istoricheskij vestnik*, 39, 21–35. (In Russian)

Skobelev, S. G., & Kuznetsova, E. V. (2012). Istochniki po izucheniiu demografii korennogo naseleniya Sibiri i Dal'nego Vostoka vo vtoroj polovine XIX — vtorom desiatiletii XX veka: mestnye i obshcherossijskie perepisi (materialy dlya uchebnogo kursa) [Sources for the Study of Demography of the Indigenous Population of Siberia and the Far East in the Second Half of the 19th — Second Decade of the 20th Centuries: Local and National Censuses (Materials for the Training Course)]. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya. Filologiya*, *11*, 5, 24–31. (In Russian)

Skubnevsky, V. A., & Goncharov, Y. M. (2014). *Goroda Zapadnoj Sibiri vo vtoroj polovine XIX — nachale XX v.* [Cities of Western Siberia in the Second Half of the 19th — Early 20th Centuries]. Barnaul: IP Kolmogorov I.A. (In Russian)

Sulyamova, R. M. (2018). Etimologicheskij analiz antroponimov sibirskikh tatar v XIX v. (na primere yurt Arapovskikh Tobol'skoj gubernii) [Etymological Analysis of Anthroponyms of the Siberian Tatars in the 19th Century (with Reference to Arapovski Yurt in Tobolsk Province)]. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki*, *5*(83), 1, 165–170. (In Russian)

Thorvaldsen, G. T. (2016). Nominativnye istochniki v kontekste vsemirnoj istorii perepisej: Rossiya i Zapad [Nominative Data and Global Census History: Russia and the West]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 18*, 3 (154), 9–28. doi: 10.15826/izv2.2016.18.3.041 (In Russian)

Vladimirov, V. N., & van Leeuwen, M. H. D. (Eds.). (2009). *Istoricheskoe professiovedenie: sozdanie HISCO i issledovaniya professional'noj i sotsial'noj mobil'nosti* [Historical Profession Studies: The Establishment of HISCO and the Study of Occupational and Social Mobility]. Barnaul: Altai State University. (In Russian)

Vladimirov, V. N., Sarafanov, D. E., & Shchetinina, A. S. (2016). "Novaia istoricheskaia demografiia" v Rossii: evoliutsiia ili skachok v razvitii? ["New Historical Demography" in Russia: Evolution or a Leap in Development]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 18*, 3 (154), 29–53. doi: 10.15826/izv2.2016.18.3.042 (In Russian)

Zverev, V. A. (1985). Brachnyj vozrast i kolichestvo detej u russkih krest'ian Sibiri vo vtoroj polovine 19 — nachale 20 v. [The Age of Marriage and the Number of Children of Russian Peasants in Siberia in the Second Half of the 19th — Early 20th Centuries]. In L. M. Rusakova, & N. A. Minenko (Eds.), *Kul'turno-bytovye protsessy u russkih Sibiri, XVIII — nachalo XX v.* [Cultural and Domestic Processes in Russian Siberia, 18th — Early 20th Centuries] (pp. 73–88). Novosibirsk: Nauka, Sibirskoe otdelenie. (In Russian)

Zverev, V. A. (2009). Semejno-brachnyj stroj v derevniakh Zapadnoj Sibiri (po materialam Vserossijskoj perepisi naseleniya 1897 g.) [Family and Marriage System in the Villages of Western Siberia (with Reference to the All-Russian Population Census of 1897)]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya*, *4*(8), 63–70. (In Russian)

Брюханова Елена Александровна
кандидат исторических наук,
доцент кафедры документоведения,
архивоведения и исторической
информатики
Алтайский государственный университет
656049, Барнаул, пр. Ленина, 61
E-mail: brelenochka@mail.ru

Bryukhanova, Elena Alexandrovna
PhD (History), Associate Professor,
Department of Document Management,
Archival Science and Historical Informatics
Altai State University
61, Lenin Ave., 656049 Barnaul, Russia
Email: brelenochka@mail.ru
Researcher ID: N-9527-2016
Scopus ID: 57194780366

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.054
УДК 314.145(470) + 314.6 + 316.343.64

Л. Н. Мазур
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ КАК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦИИ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬИ В РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX в.*

В статье анализируется влияние демографических катастроф первой половины XX в. на размер, структуру и функции крестьянской семьи и особенности ее демографического перехода. Рассмотрено понятие демографической катастрофы, его количественные и качественные критерии, механизмы воздействия на демографические процессы, структуру, функции семьи и семейно-брачное поведение. Отмечено, что в силу объективных и субъективных причин сельское население оказалось объектом, наиболее пострадавшим от демографических катастроф.

В качестве источниковой базы для изучения эволюции крестьянской семьи были использованы данные бюджетной статистики, в частности, обследований крестьянских хозяйств Урала 1928/1929 г. В Государственном архиве Свердловской области сохранились первичные формы бюджетных обследований, которые были преобразованы в базу данных и послужили основой для характеристики особенностей развития крестьянской семьи в первой трети XX в. Сведения бюджетной статистики были дополнены данными всесоюзных переписей населения 1926, 1939 и 1959 гг., что позволило провести сравнительный анализ различных видов источников и оценить их достоверность.

Изучение количественно-качественных характеристик крестьянской семьи показало неоднозначное влияние демографических катастроф на семейные процессы: с одной стороны, они ускорили демографический переход от сложной многопоколенной семьи к простой нуклеарной, а с другой — способствовали

* Исследование поддержано грантом РФФИ № 18-09-00592 «Эволюция крестьянской семьи на Среднем Урале в XX веке: опыт реконструкции по материалам бюджетных обследований».

© Мазур Л. Н., 2019
CC BY-NC

сохранению многих традиционных черт семейной организации. На фоне половозрастных диспропорций в структуре сельского населения и сохранения традиционных семейных отношений в крестьянской среде происходит формирование новых моделей брачного поведения и семейной структуры, характерных для завершающей стадии демографического перехода.

К л ю ч е в ы е с л о в а: демографическая катастрофа; крестьянская семья; дворохозяйство; демографический переход; структура и функции семьи.

Ц и т и р о в а н и е: *Мазур Л. Н.* Демографические катастрофы как фактор трансформации крестьянской семьи в России первой половины XX в. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.054 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 168–187.

Поступила в редакцию 28.06.2019
Принята к печати 14.08.2019

Ludmila N. Mazur
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

DEMOGRAPHIC CATASTROPHES AS A FACTOR OF TRANSFORMATION OF THE PEASANT FAMILY IN RUSSIA IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY

This article analyses the impact of demographic disasters of the first half of the 20th century on the size, structure, and functions of the peasant family and the features of its demographic transition. The author considers the concept of a demographic catastrophe, its quantitative and qualitative criteria, mechanisms of influence on demographic processes, structure, functions of the family, and family-marriage behaviour. It is noted that due to objective and subjective reasons, the rural population turned out to be the most affected by demographic disasters.

The evolution of the peasant family is studied with reference to budget statistics, i.e. budget surveys of Ural peasant households between 1928 and 1929. The State Archive of Sverdlovsk Region has kept the primary forms of budget surveys that were used as a basis for the database reflecting the characteristics of the peasant family development in the first third of the 20th century. Additionally, the author relies on the data of the all-Union population censuses of 1926, 1937 and 1939, which make it possible to conduct a comparative analysis of various types of sources and assess their reliability.

The study of quantitative and qualitative characteristics of the peasant family make it possible to conclude that demographic catastrophes had an ambiguous effect on family processes: on the one hand, they accelerated the demographic transition from a complex multi-generation family to a nuclear one, and on the other, they contributed to the preservation of many traditional features of the family organisation. Together with gender and age disproportions in the structure of the rural population and the revival of traditional family relations in the peasant environment, new

patterns of marriage behaviour and family structure are typical of the final stage of the demographic transition.

K e y w o r d s: demographic catastrophe; peasant family; household; demographic transition; structure and functions of the family.

Acknowledgements
The study is supported by *Russian Foundation for Basic Research*, grant 18-09-00592 "The Evolution of the Peasant Family in the Middle Urals in the 20th Century: An Attempt at Reconstruction according to Budget Study Materials".

C i t a t i o n: Mazur, L. N. (2019). Demograficheskie katastrofy kak faktor transformatsii krest'ianskoi sem'i v Rossii pervoi poloviny XX v. [Demographic Catastrophes as a Factor of Transformation of the Peasant Family in Russia in the First Half of the 20th Century]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 168–187. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.054

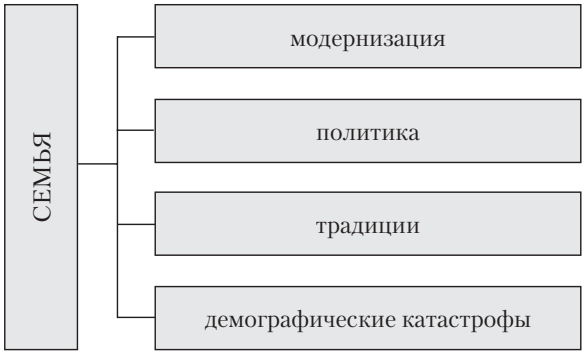
Submitted on 28 June, 2019
Accepted on 14 August, 2019

Вторая половина XIX — XX в. — время активного социального транзита, затронувшего все сферы жизни общества, в том числе его первичную ячейку — семью. Этот период получил название демографического перехода, результатом которого стала кардинальная структурно-функциональная перестройка семьи из преимущественно сложной многопоколенной в простую нуклеарную. Быстрее этот процесс протекал в городе, где уже в начале XX в. в среде мещанства и разночинцев были заметны существенные сдвиги в семейно-брачном поведении. Медленнее демографический переход происходил в крестьянской среде, поскольку цементирующим фактором здесь выступала хозяйственная деятельность. Крестьянская семья — это хозяйство, которое живет по экономическим законам семейного производства с учетом таких параметров, как оптимальный размер, разделение труда, специализация, кооперация, эффективность. Экономика дворохозяйства в значительной степени определяла семейно-брачное поведение крестьян.

Если систематизировать все факторы влияния на развитие крестьянской семьи в XX в. и, соответственно, на темпы демографического перехода, то появляется возможность их разделения на внешние и внутренние. Внешние факторы формируют основной тренд эволюции семьи. К ним относятся такие глобальные процессы, как индустриализация, в том числе сельскохозяйственная, урбанизация и эмансипация, объединяемые общим понятием «модернизация». Их дополняют внешние субъективные факторы, преимущественно политического характера (брачно-семейное законодательство, демографическая, налоговая, аграрная политика). К субъективным факторам следует отнести также идеологию, на которую опирались политические решения (см. рисунок).

Внешние субъективные факторы ускоряют или замедляют процессы семейных трансформаций и определяют их специфику. Это хорошо иллюстрирует

советский опыт. Наиболее заметное влияние идеология оказывала на семью в раннесоветский период, когда было принято новое семейное законодательство, отменившее церковный брак, утвердившее принцип равенства брачных партнеров и разрешившее развод по желанию супругов. В целом, семейная политика большевиков способствовала демократизации и огосударствлению института семьи, с одной стороны, разрушая ее патриархальные основы, освобождая женщин от «кухонного рабства», а с другой — способствуя включению семьи через профсоюзы и другие социальные институты в публичную сферу, расширяя тем самым замкнутый мир семьи. В 1930-е гг. наблюдается традиционалистский откат, связанный с реабилитацией семейных ценностей и укрепивший пошатнувшийся было патриархальный характер внутрисемейных отношений.



Факторы влияния на эволюцию крестьянской семьи в XX в.
Factors influencing the evolution of peasant families in the 20th century

В ходе этой революционной перестройки сформировался новый тип советской семьи, которую можно рассматривать как некоторую разновидность «современной» семьи (*modern family*). Ее основными функциями были репродуктивная и рекреационная, т. е. воспроизводство и восстановление рабочей силы. В этом смысле семья рассматривалась как производственный элемент организации, а семейные проблемы были включены в сферу ее социальной политики.

Внутренние факторы — это семейные традиции и культурные нормы семейно-брачного поведения, принятые в обществе. Они влияют на разнообразие типов семейных организаций, отражая социальную и этнорелигиозную специфику. Традиция как механизм влияния способствует устойчивости института семьи. Если внешние факторы подталкивают к изменениям, внутренние сопротивляются им, поскольку направлены на сохранение семейных ценностей. Проблемы возникают в условиях быстрой смены культурной нормы и, как правило, приводят к нестабильности/кризису семьи — ситуация, которую можно было наблюдать в 1917 — 1920-е гг.

Демографические катастрофы и сельский социум

Кризис российской семьи тесно связан с еще одним понятием — *демографическая катастрофа*[1]. Катастрофы занимают особое место в процессах эволюции семьи. Сам термин был введен в научный оборот А. А. Чупровым в начале 1920-х гг. и использовался для оценки демографической картины, сложившейся в России в период Первой мировой войны. Применительно к истории России первой половины XX в. данное понятие было уточнено В. А. Исуповым. Он предложил в качестве критериев катастрофического состояния демосферы следующие: «внезапное», связанное с внешним фактором, увеличение смертности, при котором ее показатели превышают рождаемость, что приводит к резкому сокращению численности населения и деформации половозрастной структуры [Исупов, с. 9]. Эти критерии были дополнены С. Максудовым, который уточнил количественные параметры катастрофы (сокращение численности населения на 10–20 млн чел.); а также добавил качественные характеристики — снижение средней продолжительности жизни, формирование нового режима воспроизводства, необратимость изменений (сохранение и усиление половозрастной диспропорции) [Максудов, 2012, с. 31–32].

Причинами демографической катастрофы могут стать голод, эпидемии, стихийные бедствия, а также войны и революции. Именно такой сценарий демонстрируют события российской истории первой половины XX в., среди которых по силе влияния выделяются мировые войны, а также Революция 1917 г. и Гражданская война, в совокупности изменившие демографический профиль России. К этому перечню причин может быть добавлена миграция, которая наравне с событиями, повышающими смертность, подрывает демографический потенциал страны или региона.

Таким образом, к изучению демографических катастроф сформировалось два подхода: 1) узкий, ограничивающий причины сокращения численности населения повышенной смертностью [Исупов]; и 2) широкий, включающий в перечень причин не только повышенную смертность, но и миграцию, снижение рождаемости и средней продолжительности жизни [Демографическая модернизация; Максудов, 2012; Райзберг, с. 110].

Расхождения в подходах к определению понятия демографической катастрофы повлияли и на ее диагностику. В частности, в истории России первой половины XX в. В. А. Исупов, основываясь на изучении динамики показателей смертности, выделил две катастрофы (1933–1934 гг. и 1941–1943 гг.) и несколько кризисных периодов (1915–1917 гг.; 1939 — первая половина 1941 гг.) [Исупов, с. 236–237]. В коллективной монографии, вышедшей под редакцией А. Г. Вишневского, также указаны две катастрофы: 1914–1926 гг. и 1927–1953 гг. Авторы рассматривают их как череду событий, усиливающих негативный демографический

[1] *Демографическая катастрофа* — резкое снижение численности населения страны или представителей этноса в связи со значительным ростом смертности, низкой рождаемостью и негативным сальдо миграции [Райзберг, с. 110].

эффект. К ним относятся не только войны, но и ускоренная индустриализация, коллективизация, голод и репрессии [Демографическая модернизация...].

Наиболее обоснованной выглядит точка зрения С. Максудова, который, сочетая демографический и исторический контексты, выделяет в первой половине XX в. три демографические катастрофы: первая соотносится с 1914–1921 гг. и представляет собой результат Первой мировой и Гражданской войн с сопутствующими им голодом, эпидемиями, «красным» и «белым» террором (потери 10–12 млн чел.); вторая катастрофа охватывает 1930-е гг. и непосредственно связана с ускоренной индустриализацией, коллективизацией, массовым голодом и репрессиями (потери 10–11 млн чел.); третья катастрофа произошла в годы Великой Отечественной войны, прямые и косвенные потери в ходе которой достигли 26–29 млн чел. [Максудов, 2012, с. 26].

Этот список, по мнению С. Максудова, не исчерпывает кризисные ситуации, которые пережило российское общество в XX в. Четвертой катастрофой он считает 1990-е гг., когда убыль населения страны в результате сокращения средней продолжительности жизни, роста смертности и миграции составила 14,4 млн чел. [Там же, с. 31–39].

В том же ряду стоит еще одна демографическая катастрофа, поразившая в 1960–1970-е гг. сельскую Россию. В ее основе лежали не столько естественные демографические процессы снижения рождаемости, характерные для поздней стадии демографического перехода, сколько миграция, опустошившая деревню и сформировавшая уже в 1970-е гг. новую демографическую модель села, для которой был характерен режим суженного воспроизводства и общее постарение населения. Первоначально эта катастрофа носила локальный характер, охватывая преимущественно сельскую местность, но в конечном счете отразилась на динамике и структуре городского населения.

По характеру воздействия на общество и его первичную ячейку — семью — демографические катастрофы XX в. также различались. События 1914–1923 гг. потрясли не только демографические основы общества в целом, они повлияли на семью, ускорив процессы ее модернизации. Поскольку в социально-экономическом плане страна находилась на раннеиндустриальной стадии и была преимущественно крестьянской, то сельское население пострадало в большей степени. В частности, из 15,5 млн мобилизованных в годы Первой мировой войны воинов 12,8 млн человек были крестьянами [Ямщиков, с. 166]. В результате военных потерь выросло число вдов, семей без кормильца, которые не могли вести полноценную хозяйственную деятельность. Они пополняли число мигрантов, либо включались в состав родственных семейных коллективов, способствуя увеличению доли составных семей.

Негативный демографический эффект Первой мировой войны, а также событий Гражданской войны был преодолен к концу 1920-х гг., во многом благодаря сохранению крестьянской семьи как производственной единицы. Но ее поджидала другая угроза — сплошная коллективизация, сопровождавшаяся раскулачиванием, бегством тысяч крестьян из деревни в город, повышенной смертностью

в результате репрессий и голода. Демографическая катастрофа 1930-х гг. ударила непосредственно по крестьянской семье, подталкивая семейные коллективы к разукрупнению и нуклеаризации и, главное, изменению их экономического статуса.

Вторая мировая война в равной степени затронула городское и сельское население и способствовала не только сокращению его численности, деформации половозрастной структуры, но и превращению неполных семей в типичное явление. Последствия этой катастрофы оказались необратимыми для сельской местности, где так и не произошло восстановление довоенного уровня ни по численности населения, ни по его структуре. Село превратилось в «бабье царство» в результате военных потерь, а также в связи с массовым отходничеством мужчин (разновидность трудовой миграции) в послевоенный период, ознаменовавшим начало массового бегства из деревни. Его не могли остановить ни административные ограничения (отсутствие паспортов у колхозников, режим прописки), ни пропагандистские компании по привлечению в колхозы специалистов и руководителей. В дальнейшем миграционный поток пополнился молодежью, а с началом реализации политики сселения малых деревень — и семьями в расцвете своего жизненного цикла. Воздействие демографических катастроф на сельское население хорошо прослеживается по табл. 1.

Таблица 1

Динамика численности населения России и Урала в первой половине XX в., млн чел.*

Год**	Население России	Население Урала	Сельское население Урала
1897	68,0	6,8	6,352
1900	71,1	7,3	нет данных
1910	85,4	нет данных	нет данных
1920	88,2	6,4	5,209
1926	93,1	10,8	5,379
1937	104,0	12,4	7,982
1939	104,0	10,3	6,082
1945	90,3	13,3	7,044
1959	117,5	17,5	5,311

* Сост. по: [Население Урала, с. 136–138, 190, 192, 194; Всесоюзная перепись населения 1937 г., с. 51, 58–59; Уральский статистический ежегодник, с. 21].

** 1897, 1900, 1910 гг. — данные приведены в границах Пермской и Уфимской губерний; 1920, 1926 гг. — Уралобласти; 1937–1959 гг. — Молотовской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, Башкирии и Удмуртии.

По данным переписи 1920 г., население Урала (в границах Уралобласти) насчитывало 6 427,2 тыс. чел., из них 55,4 % составляли женщины, 12,7 % — городское население [Уральский статистический ежегодник, с. 21]. За 1920–1923 гг. численность населения Урала в границах Уралобласти сократилась на 581 тыс. чел. за счет крайне низкого естественного прироста [Население Урала, с. 32].

За период между переписями 1926 и 1939 гг. население Свердловской области увеличилось на 973 тыс. чел. (30,9 %), причем городское население выросло на 45 % (1 227,1 тыс. чел.), а сельское уменьшилось на 15,7 % (363,9 тыс. чел.) [Население Урала, с. 34]. Сокращение сельского населения на Урале продолжалось и в послевоенный период, свидетельствуя о необратимости изменений сложившейся модели воспроизводства.

Эволюция крестьянской семьи в первой трети XX в. в зеркале бюджетной статистики

Данное исследование эволюции крестьянской семьи в первой половине XX в. основано преимущественно на изучении первичных данных бюджетных обследований крестьянских хозяйств 1928/1929 г., а также материалов переписей населения. Обращение к статистике бюджетов не случайно: источниковая база изучения крестьянской семьи очень ограничена [Mazur, Gorbachev]. В бюджетных бланках содержались данные по составу семьи с указанием возраста, пола, семейного статуса каждого члена семьи. Кроме того, в программу бюджетных обследований крестьянских хозяйств 1920-х гг. были включены вопросы, ориентированные на ретроспективный анализ семейной динамики, в том числе приводились сведения о составе и хозяйстве крестьянской семьи по состоянию на 1913 г. С использованием технологии баз данных и метода группировки были систематизированы сведения по 325 крестьянским хозяйствам. Географические рамки бюджетного обследования — Уральская область. Изучаемый регион относится к числу промышленных, но в отношении демографических процессов демонстрирует среднестатистический вариант развития, по которому можно судить о российской специфике в целом (см. табл. 2).

Таблица 2

Структура крестьянских домохозяйств Урала по числу членов и динамика их трансформации в 1913–1929 гг.*

Число членов домохозяйства	1913		1929	
	Количество хозяйств	%	Количество хозяйств	%
1	1	0,50	1	0,31
2–4	66	32,67	91	28,00
5–7	83	41,09	196	60,30
8–10	37	18,32	34	10,46
11 и более	14	6,93	3	0,93
нет сведений	1	0,49	0	0,00
Итого	202	100,00	325	100,00

* Подсчитано на основе бюджетов крестьянских хозяйств за 1928/1929 г. [ГАСО, ф. 1812, оп. 12, д. 39–60].

Общая статистическая картина крестьянской семьи в конце 1920-х гг. и ее структурно-количественные характеристики соответствуют представлениям о сохранении ее традиционной модели, для которой были свойственны следующие черты: высокий удельный вес семей с составной многопоколенной структурой, раннее вступление в брак и высокий уровень брачности и рождаемости, религиозно-этническое разнообразие.

Из 325 семей, участвовавших в бюджетном опросе 1928/1929 гг., 202 (62,2 %) хозяйства были созданы до 1913 г., остальные были образованы в 1920-е гг. На вопрос о их состоянии и тенденциях развития 32 % семей отмечали, что хозяйство выросло в сравнении с дореволюционным периодом, 41,5 % — «стоит на месте» и в 25,2 % случаев наблюдался упадок хозяйства, причины которого были связаны с неурожаями, высокими налогами, недостатком рабочего скота, а также нехваткой рабочих рук[2]. Последнее обстоятельство — традиционная проблема уральского земледелия, обостренная последствиями войны и революции. 13,8 % семей в числе причин, мешающих развитию хозяйства, указывали на недостаток рабочих рук и пытались компенсировать его либо путем привлечения наемной рабочей силы на условиях поденной оплаты (66,8 %), либо путем расширения трудового потенциала семьи за счет приемных детей.

Сравнение структуры крестьянских домохозяйств по численности членов семьи свидетельствует о преобладании семей с числом членов от 5 до 7 чел., причем их доля к 1929 г. выросла с 41,1 % до 60,3 %. Численность малых семей (2–4 чел.) составила чуть меньше трети и имела тенденцию к сокращению. Доля крупных хозяйств с числом членов 8 чел. и более сократилась в 2,3 раза: с 25,7 % в 1913 г. до 11,4 % в 1929 г. Колебания в значительной степени вызваны естественными причинами, связанными с жизненным циклом семьи. Кроме того, следует учитывать влияние демографической катастрофы 1914–1923 гг. на развитие домохозяйств. В изучаемый период оно носило противоречивый характер: с одной стороны, военный кризис стимулировал процессы объединения и укрупнения хозяйств; с другой — нэп, налоговая политика советской власти в 1926–1929 гг. и угроза раскулачивания способствовали разделу хозяйств (см. табл. 3).

Средний состав крестьянской семьи по данным бюджетных обследований снизился и составил в 1913 г. 6,1 чел., в 1929 г. — 5,52 чел. При сравнении полученных данных с материалами переписей 1920 и 1926 г. можно отметить, что в бюджетных обследованиях средние показатели выше.

Расхождение средних показателей размера крестьянской семьи, рассчитанных по разным источникам, связано с особенностями выборки при проведении бюджетного обследования. Как отмечает Ю. П. Бокарев, органами статистики преимущественно изучались семейные хозяйства, *систематически* занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью и получающие от нее доход. Поэтому

[2] Здесь и далее, если нет ссылок, статистические показатели рассчитаны на основе БД бюджетов крестьянских хозяйств за 1928/1929 г. [ГАСО, ф. 1812, оп. 12, д. 39–60].

доля крайних групп в бюджетных обследованиях оказалась заниженной [Бокарев, с. 71]. Это также касается крестьян-одиночек: в бюджетных материалах 1928/1929 г. был зафиксирован всего один такой случай: хозяйство молодого комсомольца [ГАСО, ф. 1812, оп. 2, д. 39, бюджет 13]; по материалам переписи 1920 г. отмечено 2,9 % одиноких, что можно рассматривать как «норму» для традиционного общества [Уральский статистический ежегодник, с. 270].

Таблица 3

Крестьянское хозяйство на Урале в 1916–1926 гг.*

Показатель	1916	1920	1923	1926
Число хозяйств, тыс.	1105	1088	1075	1224
В среднем на хозяйство:				
Человек	5,11	5,82	4,88	4,7
Рабочих лошадей	1,45	1,41	1,15	1,21
Коров	1,70	1,48	1,18	1,46
Площадь посева, дес.	4,21	3,55	2,69	4,00

* Сост. по: [Уральский статистический ежегодник, с. 268, 270, 272, 281, 284]. Статистические данные пересчитаны в границах Уралобласти.

Таблица 3 позволяет наглядно проиллюстрировать «ответ» крестьянского хозяйства на вызовы войны и революции: при общем сокращении численности крестьянских хозяйств происходит их укрупнение к 1920 г., а затем — в результате восстановления экономики и под влиянием нэпа — разукрупнение и рост производственных характеристик. В некотором смысле концентрация демографических ресурсов — это типичная реакция на кризис, которая позволила сохраниться крестьянскому хозяйству.

Анализируя структуру семей по материалам бюджетных обследований 1929 г., можно сделать вывод о сохранении традиционных механизмов функционирования крестьянской семьи, в основе которых лежали хозяйственные практики: 6,5 % семей относились к числу неполных, в остальных семейное ядро составляла полная брачная пара[3].

В 96,6 % случаев хозяйства возглавлялись мужчинами, что также свидетельствует о сохранении традиционных ролевых функций. При утере кормильца вдова, чтобы поддержать хозяйство, стремилась к повторному браку. В материалах бюджетов есть описание нескольких семей, где хозяйка вступала в неравный брачный союз, стремясь решить проблему рабочих рук: в одном случае женщина 48 лет вышла замуж за мужчину 27 лет, который принял на себя функции главы семьи [ГАСО, ф. 1812, оп. 2, д. 42, бюджет 58]; в другом подобная ситуация отмечена в татарской семье — мужчина 29 лет взял в жены 40-летнюю вдову с 4 детьми

[3] По данным партийной переписи удельный вес неполных семей в крестьянской среде был заметно выше и достигал в 1922–1923 г. 19,8 % [Мазур, 2016, с. 94].

[ГАСО, ф. 1812, оп. 2, д. 43, бюджет 73]. Вдовцы также стремились вступить в повторный брак, особенно если было необходимо ухаживать за маленькими детьми [Там же, д. 49, бюджет 40]. Эта практика была характерна для уральской деревни в прошлом и встречается в первой половине XX в. Кроме того, сохранялся обычай, когда «детные» вдовы продолжали жить в семье мужа.

В 1929 г. более половины семей в выборке (56,9 %) составили простые нуклеарные семейные коллективы, в большинстве случаев представленные демографическим типом «брачная пара с детьми». Также отмечается высокий удельный вес многопоколенных семей, относящихся к подтипам «расширенные по восходящей» (21,9 %) и «расширенные по нисходящей» (14,8 %). Их дополняют различные варианты неполных семей (6,5 %), половина из которых относится к простым нуклеарным (табл. 4). Интересно, что дальнейшая тенденция развития семейных структур связана с уменьшением разнообразия демографических типов и увеличением удельного веса неполных семей.

Таблица 4

Распределение крестьянских семей Среднего Урала в 1929–1963 гг. по демографическому типу*

Демографический тип семьи	1929		1963	
	хозяйств	%	хозяйств	%
Брачная пара без детей (простая)	11	3,38	23	10,41
Брачная пара с детьми (простая)	164	50,46	82	37,10
Брачная пара с детьми и родителями (расширенная по восходящей)	71	21,85	27	12,22
Брачная пара с детьми и внуками (расширенная по нисходящей)	48	14,77	0	0,00
Брачная пара без детей с родителями и родственниками (расширенная боковая)	8	2,46	5	2,26
Братская семья (составная)	1	0,31	0	0,00
Глава семьи (мать или отец) с детьми (простая)	10	3,08	47	21,27
Глава семьи с детьми и родителями (расширенная по восходящей)	1	0,31	17	7,69
Глава семьи с родителями и родственниками (расширенная по восходящей + боковая)	1	0,31	0	0,00
Глава семьи с родственниками (расширенная боковая)	1	0,31	0	0,00
Глава семьи с детьми и внуками (расширенная по нисходящей)	8	2,46	0	0,00
Одинокий	1	0,31	20	9,05
Итого	325	100,00	221	100,00

* Таблица составлена на основе расчетов по базам данных бюджетов крестьянских хозяйств за 1928/1929 и 1963 гг.

Особенностью традиционной крестьянской семьи считается высокий уровень рождаемости и детности. Как показывает бюджетное обследование 1928/1929 г., более 70 % хозяйств имели в своем составе от 2 до 4 несовершеннолетних детей, а 7,4 % — 5 и более детей до 18 лет. Семьи, в которых не было детей или указан один ребенок, встречаются в 22,5 % случаев. Отсутствие детей могло быть связано с бездетностью или, что фиксируется в 60 % случаев, с взрослением детей и переходом их в категорию совершеннолетних членов семьи. Таким образом, показатель «количество несовершеннолетних детей» не отражает в полной мере уровень детности, но позволяет получить представление об особенностях демографического поведения крестьянской семьи. По воспоминаниям крестьянки, «в средней семье было четверо-пятеро детей. Редко было трое. Раньше всех рожали, но умирали много, ведь их не лечили: выживет — так выживет. Нас у мамы девять было, осталось лишь трое» [Бердинских, с. 178].

Итак, в конце 1920-х гг., несмотря на произошедшие в российском обществе перемены, крестьянская семья сохраняла традиционные черты и меньше городской семьи была затронута модернизационными процессами. Внутрисемейные отношения в крестьянских семьях сохраняли патриархальный характер, что подтверждается свидетельствами устной истории. А. А. Марков (1925 г. р.) вспоминает:

> В детстве я жил в большой семье. Дед был очень суровый и иногда даже обижал отца, не говоря уж о бабушке и матери. Мы его боялись. Все вопросы решал дед, его слово для нас было законом. Когда он нервничал, мы все прятались. Отец высказывал свои мнения и был недоволен дедом. Однако домостроевскую жизнь в доме сломить не мог. Он отделился от отца и построил свой дом на окраине деревни, где мы жили с мамой, тетей и пятеро ребятишек [Там же, с. 148].

Бюджеты фиксируют и такие семейные традиции, как выплата калыма (выкупа) за невесту, который мог колебаться в конце 1920-х гг. от 20 до 70 руб. [ГАСО, ф. 1812, оп. 2, д. 59, бюджет 267; д. 58, бюджет 210]. Эти данные также подтверждаются воспоминаниями крестьян:

> Договаривались о запросе, то есть цене невесты, — рассказывает А. С. Бусыгин, — Маму мою, в свое время, оценили в 60 рублей. Это по тем временам очень большая цена. Для сравнения, корова стоила 30 рублей. Так вот, 30 рублей заплатили деньгами, а 30 рублей — золотом [Бердинских, с. 165–166].

Несмотря на широкую антирелигиозную пропаганду и отделение церкви от государства, в том числе провозглашение гражданского брака в качестве основного [Декрет ВЦИК и СНК от 18(31) декабря 1917 г.], на протяжении 1920-х гг. в крестьянской среде сохранял свои позиции церковный брак. Исполнение семейных церковных обрядов соблюдалось практически всеми, даже членами партии и комсомольцами. Известны случаи, когда коммунисты — участники обряда венчания — исключались из партии [ЦДООСО, ф. 76,

оп. 1, д. 574, л. 192; д. 569, л. 145–154]. Таким образом, религия и религиозная семейная обрядность оставались характерными чертами образа жизни крестьянства вплоть до конца 1920-х гг. Дополнительным фактором, ускорившим процесс секуляризации крестьянской повседневности, стало массовое закрытие церквей (1929–1930). Если в 1917–1921 гг. церковными были 9 браков из 10, то в 1934–1935 гг. — всего 2,4 % [Население Урала, с. 53].

Новым явлением в российской деревне 1920-х гг. стал развод. Разрешенный декретами советской власти, он не сразу стал привычным для крестьян, но способствовал росту нестабильности семьи [Декрет ВЦИК и СНК от 16(29) декабря 1917 г.]. В 1,8 % бюджетных бланков «нелады в семье» указывались в качестве причины упадка хозяйства. Инициатором развода чаще всего выступал мужчина. В одном из бланков бюджетного обследования отмечено, что крестьянин деревни Малые Лужки Пермского округа Уральской области в возрасте 40 лет оставил жену и пять несовершеннолетних детей [ГАСО, ф. 1812, оп. 2, д. 48, бюджет 95]. В расходной части бюджетов неоднократно встречаются факты выплаты алиментов [Там же, д. 60, бюджет 252; д. 47, бюджет 108; бюджет 96]. Всего в 1920-е гг. в сельской местности СССР на каждую тысячу браков приходилось от 100 до 150 разводов — почти вдвое меньше, чем у горожан [Вербицкая, 2010, с. 340].

Таким образом, к началу массовой коллективизации крестьянская семья сохраняла свои традиционные черты, и не сразу, но преодолела негативные последствия первой демографической катастрофы. Вместе с тем фиксируются и новые моменты, свидетельствующие о переменах, — увеличение доли средних семей при сокращении крайних групп (малых и крупных семей), что связано с уменьшением детской смертности, а также распространение в крестьянской среде разводов и гражданских браков.

Кризис крестьянской семьи на Урале в 1930–1950-е гг.

Серьезные изменения в семейной структуре российского крестьянства и функциях семьи происходят в 1930-е гг. На семейные процессы в этот период оказали влияние три основных события: 1) коллективизация, следствием которой стали ликвидация индивидуальных хозяйств и изменение аграрного строя, основу которого составили крупные сельскохозяйственные предприятия — колхозы и совхозы; 2) раскулачивание и последующие репрессии; 3) голод 1932–1933 гг.

Всего в 1929–1932 гг. от раскулачивания пострадали, по данным В. Н. Земскова, около 4 млн чел., из них в 1930–1940 гг. в кулацкой ссылке побывало 2,5 млн чел. [Земсков]. По общему признанию, это были наиболее успешные в экономическом плане, а значит, и наиболее крупные и демографически сбалансированные хозяйства [Нефедов]. Объективно раскулачивание способствовало разукрупнению крестьянской семьи, которое началось еще в 1927–1928 гг. Семьи, не попавшие под раскулачивание, стали жертвой голода 1932–1933 гг.,

унесшего, по разным расчетам, от 7 до 10 млн жизней[4]. Последовавшие репрессии, в том числе по экономическим основаниям [Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г.], завершили процесс нуклеаризации крестьянской семьи. По данным переписи 1939 г., на Урале вырос удельный вес малых семей из 2–4 человек — до 64,3 %; и, напротив, сократилась доля больших семей (так, семьи из 5–7 человек составили 32 %; из 8 и более человек — 3,7 %). Средний состав крестьянской семьи снизился до 4,03 чел. [подсчитано по: Всесоюзная перепись населения СССР 1939 г., с. 289].

В переписи 1939 г. доля одиноких среди сельского населения Урала составила 1,8 %, в том числе в Свердловской области — 2,4 %, в Пермской области — 2,6 %, в Челябинской — 2 % [Население Урала, с. 55]. К ним относились лица, не состоявшие в браке, не имеющие семьи и не поддерживающие регулярных материальных связей с семейной группой. В 1939 г. удельный вес одиноких находился на уровне 1920 г. и соответствовал статистической «норме», в послевоенный период он превращается в проблему одиночества, преимущественно женского. По данным бюджетной статистики 1963 г., число одиноких колхозников в уральской деревне составляло около 9,1 % [Мазур, 2012, с. 380].

Другая заметная тенденция 1930-х гг. — снижение рождаемости. Среди сельского населения России с 1925 по 1939 гг. рождаемость сократилась с 47,6 на 1 000 чел. в 1925 г. до 38,6 рождений в 1939 г., в то время как среди городского населения этот показатель практически не изменился [Естественное движение..., с. XXII; ГАРФ, ф. 8009, оп. 6, д. 503, л. 26–27]. Снижение рождаемости — это объективный процесс в условиях демографической модернизации, но в рассматриваемый период он приобрел кризисные черты, связанные с ранним поворотом к малодетности под влиянием внешних факторов: во-первых, вовлечения женщин в общественное производство[5]; во-вторых, отсутствия социальной инфраструктуры по уходу за детьми; и главное — низкого уровня доходов колхозников. Последнее обстоятельство способствовало формированию отрицательной мотивации рождаемости. В 1938 г. среднее количество детей в крестьянских семьях России сократилось до 4,4 вместо 5,4 (в 1926/1927 г.), а к 1959 г. уменьшилось до уровня менее 3 человек [Курман, с. 5]. В целом демографический потенциал крестьянской семьи в довоенный период обеспечивал прирост населения, хотя и на уровне, близком к простому воспроизводству.

Правительство прикладывало усилия для увеличения рождаемости. Помимо запрета абортов, оно вводило дополнительные единоразовые выплаты [Указ Президиума Верховного Совета]. Однако эти меры не всегда были доступны колхозникам и не могли компенсировать материальных проблем многодетной

---

[4] С. Максудов определял число смертей от голода в 9,8 млн ± 3 млн [Максудов, 1989, с. 145–147, 154]; Р. Конквест — в 8 млн [Конквест], отечественные демографы говорят о 7,2–10,8 млн [Население России в XX веке, с. 275–276].

[5] С 1939 г. каждый трудоспособный колхозник и колхозница должны были отработать обязательный минимум трудодней: от 60–80 до 100 (в хлопковых районах) трудодней в году [Постановление ЦК ВКП(б) и СНК от 27 мая 1939 г.].

семьи. Несмотря на отсутствие эффективных способов регулирования рождаемости, ее уровень продолжал снижаться.

Демографические потери крестьянства в 1930-е гг. усугублялись переменами в хозяйственной деятельности семьи, которые принесла с собой коллективизация. В ее ходе была предпринята попытка лишить семью собственного хозяйства и переключить демографические ресурсы крестьянской семьи на колхозное производство. Но поскольку вновь создаваемая колхозная система основывалась на внеэкономических методах управления (реквизиционно-мобилизационная модель) и не учитывала интересы крестьянства даже на витальном уровне, декларируя оплату труда, но фактически ее не гарантируя, отказаться полностью от семейных хозяйственных практик было невозможно. В результате на смену крестьянскому хозяйству как полноценному экономическому организму пришел его редуцированный вариант — приусадебное хозяйство с урезанной отраслевой структурой (без полевого надела). Размеры приусадебного хозяйства колхозника имели ограничения по основным производственным показателям — земельному наделу, количеству продуктивного скота, птицы [Примерный устав сельскохозяйственной артели]. Оно не требовало слишком много рабочих рук и базировалось на ручном, преимущественно женском и детском, труде. Кроме того, практика наделения семей колхозников приусадебной землей не зависела от количества членов, как это было в крестьянской общине, и объективно способствовала их дроблению. Дети, вступив в брак, стремились отделиться от родительской семьи и создать свое хозяйство. В любом случае экономическая потребность сельского сообщества в большой многодетной семье исчезла.

Целью приусадебного хозяйства, согласно Уставу, было обеспечение потребностей семьи в продуктах питания, но на практике вплоть до 1960-х гг. оно выполняло функции основного источника формирования бюджета семьи, в том числе в денежной форме. Таким образом, производственная функция крестьянской семьи сохранялась. В 1940–1950-е гг. проводилась политика ограничения личного подсобного хозяйства, которая дополнялась налоговыми ужесточениями, способствовавшими самоограничению производственной деятельности крестьян. В совокупности все эти меры вели к дальнейшему свертыванию семейного производства и разрушению того, что составляло экономическую основу крестьянской семьи [Мазур, 2012].

Углубление кризиса и завершение демографического перехода было связано с Великой Отечественной войной и ее демографическими последствиями, а также с послевоенной аграрной политикой советского руководства, имевшей ярко выраженный антикрестьянский характер. Одним из последствий такой политики стал голод 1946/1947 г., охвативший наиболее плодородные территории — Украину и Центрально-Черноземный район России. По оценке М. Эллмана, всего от голода в 1946–1947 гг. в СССР погибло от 1 до 1,5 млн чел. [Эллман]. Обнищание крестьян, тяжелые условия труда и быта способствовали росту миграционных настроений: сначала трудоспособные мужчины, а с середины 1950-х гг. — и женщины стали покидать деревню и переезжать в город.

В целом, послевоенный этап характеризуется резким уменьшением численности сельского населения (на Урале с 1941 по 1965 г. оно сократилось на 41 % [Население Урала, с. 137–139]), изменением его половозрастной и, как следствие, семейной структуры. В частности, из-за прямых потерь мужского населения в годы войны, а также миграционного оттока в послевоенный период увеличилась доля неполных семей и выросло число одиноких женщин, сократилось количество детей в семье. Согласно данным демографической статистики, в 1950 г. семей с одним-тремя детьми в российской деревне было большинство (72,8 %), а в 1960 г. — 80 %. Соответственно, стремительно снижалась доля многодетных семей с четырьмя и более детьми [Вербицкая, 2011]. Продолжилось снижение средней численности крестьянской семьи: в 1926 г. на Урале она составила 4,06 чел., к 1939 г. — 4,03 чел., в 1959 г. — 3,7 чел. [Население Урала, с. 55].

К началу 1970-х гг. в сельской местности Нечерноземья и во многих регионах центральной России устанавливается режим суженного воспроизводства, в основе которого лежали как изменения в естественном движении населения, так и миграционные процессы.

Выводы

Влияние демографических катастроф на семейные структуры и семейно-брачное поведение было противоречивым. С одной стороны, они деформировали базисные демографические процессы (рождаемость, смертность), преждевременно меняя форму тренда с линейной (характерной для ранней стадии демографического перехода) на логистическую. С другой стороны, под влиянием войн и революций шел ускоренный процесс разрушения традиционной семьи с последующей ее модернизацией. Вместе с тем, сохранение в качестве экономической основы крестьянской семьи приусадебного хозяйства в определенной мере способствовало укреплению ее архаических черт — патриархального характера внутрисемейных отношений, традиций половозрастного распределения труда, подчиненной роли женщины.

Таким образом, для семейной жизни крестьян было характерно отставание социальных трансформаций от демографических. Этот разрыв во многом определял специфику демографического перехода крестьянской семьи, который в целом завершился к началу 1980-х гг.

Демографический переход российской крестьянской семьи охватил в общей сложности около 100 лет: с 1860-х по 1970-е гг., т. е. протекал достаточно быстро. Наиболее значимые трансформации пришлись на 1930–1960-е гг.; происходили они на фоне демографических катастроф, которые затронули в первую очередь сельское население. Коллективизация и формирование нового аграрного строя, где крестьянская семья выступала в качестве источника, обеспечивающего трудовыми ресурсами общественное производство, привели к кризису традиционной семьи-дворохозяйства и ускоренной ее перестройке. Фактором, окончательно подорвавшим демографический потенциал сельской местности, стала

гипертрофированная сельская миграция 1950–1960-х гг., по своим последствиям также сопоставимая с демографической катастрофой.

Опираясь на материалы бюджетных обследований и данные переписей населения Урала, можно выделить следующие этапы демографического перехода, характерные для крестьянской семьи.

I этап — вторая половина XIX — первая треть XX в. (эволюционный) — характеризуется постепенным накоплением модернизационных изменений в семейной сфере, которые, однако, не касались ее экономической основы и не меняли принципиально семейной структуры крестьянства, в целом соответствующей традиционному типу. Первая демографическая катастрофа ускорила модернизационную перестройку внутрисемейных отношений, но, благодаря сохранению традиционной модели воспроизводства, негативные последствия катастрофы были компенсированы.

II этап — 1930-е гг. (кризис крестьянской семьи) — связан с проведением массовой коллективизации. Она способствовала: 1) разукрупнению крестьянской семьи и ее нуклеаризации; 2) вовлечению женщин в общественное производство и повороту к малодетности; 3) разрушению экономической основы крестьянской семьи. Демографический потенциал семьи на данном этапе сохранялся и обеспечивал режим расширенного воспроизводства.

III этап — 1940–1950-е гг. (углубление кризиса) — отягощен невосполнимыми демографическими потерями в Великой Отечественной войне, а также послевоенным кризисом колхозного производства, ставшего причиной массового бегства из села. К концу 1950-х гг. в сельской местности складывается суженный тип воспроизводства, а смещения в половозрастной структуре сельского населения приобретают необратимый характер.

IV этап — 1960–1980-е гг. (завершение демографического перехода). Крестьянская семья окончательно теряет свою экономическую основу: приусадебное хозяйство приобретает статус подсобного, что способствует трансформации крестьянской семьи в разновидность современной урбанизированной семьи, проживающей в сельской местности. В 1990-е гг., благодаря фермерскому движению, имели место попытки реанимации крестьянской семьи как особого типа, но без заметного успеха.

На Урале демографические катастрофы носили более сглаженный характер, чем в центральных и западных районах России, сильнее пострадавших от опустошительных войн и голода первой половины XX в. Демографические процессы на Урале подпитывались миграционным притоком как репрессированных, так и завербованных на стройки пятилетки, а в годы Великой Отечественной войны — эвакуированных. Положительный миграционный баланс вплоть до 1950-х гг. смягчал общую ситуацию, но для сельской среды и крестьянской семьи эти моменты не играли особой роли.

Источники

Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги. М. : ИРИ РАН, 1991.

Всесоюзная перепись населения СССР 1939 г. Уральский регион / сост. В. П. Мотревич. Екатеринбург : Изд-во гуманитар. ун-та, 2002.

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. Ф. 8009 : М-во здравоохранения СССР, 1936–1991.

ГАСО — Государственный архив Свердловской области. Ф. 1812 : Свердл. обл. комитет гос. статистики гос. комитета РФ по статистике, 1924–1933.

Декрет ВЦИК и СНК от 18(31) декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» // Декреты Советской власти. Т. I : 25 октября 1917 г. — 16 марта 1918 г. М. : Гос. изд-во полит. литературы, 1957. С. 247.

Декрет ВЦИК и СНК от 16(29) декабря 1917 г. «О расторжении брака» // Декреты Советской власти. Т. I : 25 октября 1917 г. — 16 марта 1918 г. М. : Гос. изд-во полит. литературы, 1957. С. 237–238.

Естественное движение населения РСФСР за 1926 г. М. : ЦСУ РСФСР, 1928.

Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» // Собрание законодательства СССР. 1932. № 62. Ст. 360.

Постановление ЦК ВКП(б) и СНК от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания» // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4188.htm (дата обращения: 25.06.2019).

Примерный устав сельскохозяйственной артели. Утвержден СНК СССР и ЦК ВКП(б) 17 февраля 1935 года // Библиотека нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических республик. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4042.htm (дата обращения: 25.06.2019).

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия — звания "Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства"» // Система «Гарант». URL: http://base.garant.ru/186976/ (дата обращения: 25.06.2019).

Уральский статистический ежегодник. 1923/1924 гг. / под ред. В. С. Немчинова, П. Ф. Неволина. Свердловск : Урал. облисполком, 1925.

ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской области. Ф. 76 : Екатеринб. губ. комитет РКП(б).

Исследования

Бердинских В. Русская деревня: быт и нравы. М. : Ломоносов, 2013.

Бокарев Ю. П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как исторический источник. М. : Наука, 1981.

Вербицкая О. М. Основные закономерности развития сельской семьи в России в XX в. // Тр. Ин-та рос. истории. Вып. 9. М. ; Тула, 2010. С. 332–353.

Вербицкая О. М. Женщины и дети в сельских семьях России (1930–1950-е годы) // Уваровские чтения — VII. Семья в традиционной культуре и современном мире : материалы Всерос. науч. конф. Муром, 29 апреля — 1 мая, 2008 г. Владимир : Транзит ИКС, 2011. С. 199–205. URL: http://old.museum-murom.ru/nauch-rab/uvar-vii/zhenshchiny-i-deti (дата обращения: 25.06.2019).

Демографическая модернизация России, 1900—2000 / под ред. А. Г. Вишневского. М. : Новое изд-во, 2006

Земсков В. Н. К вопросу о масштабах репрессий в СССР // Социол. исследования. 1995. № 9. С. 118–127.

Исупов В. А. Демографические катастрофы и кризисы в России в первой половине XX века: Историко-демографические очерки. Новосибирск : Сиб. хронограф, 2000.

Конквест Р. Жатва скорби // Новый мир. 1989. № 10. С. 179–200.

Курман М. Динамика среднего числа детей в семье в СССР // Подрастающее поколение: Демографический аспект / ред. Д. И. Валентей. М. : Статистика, 1981. С. 3–18.

Мазур Л. Н. Российская деревня в условиях урбанизации: региональное измерение (вторая половина XIX — XX в). Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2012.

Мазур Л. Н. Семья коммунистов Екатеринбургской губернии (по материалам Всероссийской партийной переписи 1922 г.). DOI 10.15826/izv2.2016.18.3.045 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2016. Т. 18. № 3 (154). С. 85–105.

Максудов С. Потери населения СССР. Benson, Vermont : Chalidze Publications, 1989.

Максудов С. Четвертая демографическая катастрофа // Свободная мысль. 2012. № 1–2. С. 24–39. URL: http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/1-2-2012/03.pdf (дата обращения: 06.06.2019).

Население России в XX веке. Исторические очерки : в 3 т. / Рос. акад. наук, Отд-ние истории, Науч. совет по ист. демографии и ист. географии, Ин-т рос. истории ; [отв. ред. Ю. А. Поляков]. Т. 1 : 1900–1939 / отв. ред. В. Б. Жиромская. М. : Рос. полит. энциклопедия, 2000.

Население Урала. XX век. История демографического развития / А. И. Кузьмин, А. Г. Оруджиева, Г. Е. Корнилов. Екатеринбург : Екатеринбург, 1996.

Нефедов С. А. Аграрные и демографические итоги сталинской коллективизации. Тамбов : Изд. дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2013.

Райзберг Б. А. Современный социоэкономический словарь. М. : ИНФРА-М, 2012.

Эллман М. Голод 1947 г. в СССР // Экономическая история. Обозрение. Вып. 10 / под ред. Л. И. Бородкина. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2005. С.197–199.

Ямщиков С. В. Социально-психологические детерминанты «солдатской революции» 1917 г. в России // Историческая психология и социология истории. 2008. № 2. С. 163–179.

Mazur L., Gorbachev O. Primary sources on the history of the Soviet family in the twentieth century: an analytical review // The History of the Family. 2016. Vol. 21. Iss. 1. Special Issue: Three Centuries of Northern Population Censuses. P. 101–120.

References

Berdinskih, V. (2013). *Russkaya derevnya: byt i nravy* [Russian Village: Life and Customs]. Moscow: Lomonosov. (In Russian)

Bokarev, Yu. P. (1981). *Byudzhetnye obsledovaniya krest'ianskih hoziajstv 20-h godov kak istoricheskij istochnik* [Budget Surveys of Peasant Farms of the 1920s as a Historical Source]. Moscow: Nauka. (In Russian)

Conquest, R. (1989). Zhatva skorbi [Harvest of Sorrow]. *Novyj mir*, 10, 179–200. (In Russian)

Ellman, M. (2005). Golod 1947 g. v SSSR [The Famine of 1947 in the USSR]. In L. I. Borodkin (Ed.), *Ekonomicheskaia istoriia. Obozrenie* (Iss. 10, pp. 197–199). Moscow: Moscow University Press. (In Russian)

Isupov, V. A. (2000). *Demograficheskie katastrofy i krizisy v Rossii v pervoj polovine XX veka: Istoriko-demograficheskie ocherki* [Demographic Disasters and Crises in Russia in the First Half of the 20th Century: Historical and Demographic Essays]. Novosibirsk: Sibirskij hronograf. (In Russian)

Kurman, M. (1981). Dinamika srednego chisla detej v semje v SSSR [The Dynamics of the Average Number of Children in the Family in the USSR]. In D. I. Valentej (Ed.), *Podrastayushchee pokolenie: Demograficheskij aspect* [The Younger Generation: Demographic Aspect] (pp. 3–18). Moscow: Statistika. (In Russian)

Kuzmin, A. I., Orudzhieva, A. G., & Kornilov, G. E. (1996). *Naselenie Urala. XX vek. Istoriia demograficheskogo razvitiia* [The Population of the Urals. 20th Century. History of Demographic Development]. Yekaterinburg: Yekaterinburg. (In Russian)

Maksudov, S. (1989). *Poteri naseleniya SSSR* [The Loss of the Population of the USSR]. Benson, Vermont: Chalidze Publications. (In Russian)

Maksudov, S. (2012). Chetvertaya demograficheskaia katastrofa [Fourth Demographic Catastrophe]. *Svobodnaya mysl'*, 1–2, 24–39. Retrieved from http://www.intelros.ru/pdf/svobodnay_misl/1-2-2012/03.pdf. (In Russian)

Mazur, L. N. (2012). *Rossijskaya derevnya v usloviyah urbanizatsii: regional'noe izmerenie (vtoraya polovina XIX — XX v.)* [The Russian Village in the Conditions of Urbanization: Regional Dimension (the Second Half of the 19th — 20th Centuries)]. Yekaterinburg: Ural University Press.

Mazur, L. N. (2016). Semja kommunistov Ekaterinburgskoj gubernii (po materialam Vserossijskoj partijnoj perepisi 1922 g.) [The Family of Yekaterinburg Governorate Communists (With Reference to the 1922 All-Russian Party Census)]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 18*, 3 (154), 85–105. doi: 10.15826/izv2.2016.18.3.045 (In Russian)

Mazur, L., & Gorbachev, O. (2016). Primary Sources on the History of the Soviet Family in the Twentieth Century: An Analytical Review. *The History of the Family, 21*(1), Special Issue: Three Centuries of Northern Population Censuses, 101–120.

Nefedov, S. A. (2013). *Agrarnye i demograficheskie itogi stalinskoj kollektivizatsii* [Agrarian and Demographic Results of Stalin's Collectivization]. Tambov: TGU im. G. R. Derzhavin Publishing House. (In Russian)

Reisberg, B. A. (2012). *Sovremennyj socioekonomicheskij slovar'* [Modern Socio-Economic Dictionary]. Moscow: INFRA-M. (In Russian)

Verbitskaya, O. M. (2010). Osnovnye zakonomernosti razvitiia sel'skoj semji v Rossii v XX v. [Basic Laws of Development of the Rural Family in Russia in the 20th Century]. *Trudy Instituta rossijskoj istorii, 9*, 332–353. (In Russian)

Verbitskaya, O. M. (2011). Zhenshchiny i deti v sel'skih semjakh Rossii (1930–1950-e gody). In *Uvarovskie chteniya — VII. Semja v traditsionnoj kul'ture i sovremennom mire: materialy Vserossijskoj nauchnoj konferencii. Murom, 29 aprelya — 1 maya, 2008 g.* [Uvarov Readings — VII. Family in Traditional Culture and the Modern World] (pp. 199–205). Vladimir: Tranzit IKS. Retrieved from http://old.museum-murom.ru/nauch-rab/uvar-vii/zhenshchiny-i-deti. (In Russian)

Vishnevsky, A. G. (Ed.). (2006). *Demograficheskaya modernizatsiya Rossii, 1900–2000* [Demographic Modernisation of Russia, 1900–2000]. Moscow: Novoe izdatel'stvo. (In Russian)

Yamshchikov, S. V. (2008). Sotsial'no-psihologicheskie determinanty "soldatskoj revolyutsii" 1917 g. v Rossii [Socio-psychological Determinants of the "Soldier Revolution" of 1917 in Russia]. *Istoricheskaya psihologiya i sociologiya istorii,* 2, 163–179. (In Russian)

Zemskov, V. N. (1995). K voprosu o masshtabah repressij v SSSR [On the Question of the Extent of Repression in the USSR]. *Sociologicheskie issledovaniya*, 9, 118–127. (In Russian)

Zhiromskaya, V. M. (Ed.). (2000). *Naselenie Rossii v XX veke. Istoricheskie ocherki* [The Population of Russia in the 20th Century. Historical Essays] (Vol. 1 : 1900–1939). Moscow: Rossijskaia politicheskaia enciklopediia. (In Russian)

Мазур Людмила Николаевна
доктор исторических наук, заведующая кафедрой документоведения, архивоведения и истории государственного управления
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
E-mail: Lmaz@mail.ru

Mazur, Ludmila Nikolaevna
Dr. Hab. (History), Associate Professor, Head of the Department of Document Management, Archives and History of Public Administration
Ural Federal University
4, Turgenev Str., 620000 Yekaterinburg, Russia
Email: Lmaz@mail.ru
ORCID: 0000-0003-0407-3816
Researcher ID: B-3622-2016
Scopus ID: 56625686000

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.055
УДК 35.07:393.05 + 368.916

С. Ю. Малышева
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Казань, Россия

НАЦИОНАЛЬНО-КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАСЕЛЕНИЯ В СОВЕТСКИХ ПРОЕКТАХ И ДОКУМЕНТАХ, РЕГУЛИРОВАВШИХ ПОГРЕБЕНИЕ

В статье рассматривается, как проблемы национально-конфессионального разнообразия страны отражались и решались в советских официальных документах, касавшихся погребальной сферы. Анализ таких источников, как декреты, правила, инструкции, положения и их проекты, касавшихся кладбищ и похорон, показывает, что их дискурсы и содержание отражали подходы в национальной политике, смену экономического курса, объективные и субъективные условия разных этапов истории страны. Методологически изучаемые проблемы вписаны в исследовательские контексты истории национальной политики, имперской истории, экономической истории, истории советского социального проектирования. До конца Великой Отечественной войны, несмотря на артикулируемый на государственном уровне атеизм и проводившиеся антирелигиозные кампании, вопрос о целенаправленной ликвидации вероисповедальных кладбищ в контексте этих кампаний серьезно не рассматривался. Их исчезновение оказывалось, скорее, следствием роста и перепланирования городов, и, соответственно, «переноса» кладбищ из центра на окраины, возникновения новых кладбищ. Последние устраивались уже без учета национально-конфессионального принципа, нередко именовались «интернациональными», что подчеркивало их отличие от прежних вероисповедальных кладбищ. Появление проекта 1946 г., разделявшего мортальное пространство по конфессиональному принципу, фактически предлагавшего устройство конфессиональных кладбищ, фиксировало происходившие с 1930-х гг. изменения в национальной политике — усиление державно-государственнических и националистических тенденций. Однако этот слишком радикальный для государственного атеизма подход был смягчен в советских документах конца 1940-х — 1970-х гг., касавшихся погребальной сферы: ими рекомендовался учет «национальных» обычаев в погребальном деле и в погребальном пространстве при превалировании квазисекулярной «чистой» формы советскости. Как показывает анализ законопроекта 2014–2017 гг., конфессиональный критерий вновь был востребован в постсоветское время как весьма значимый для дифференцирования погребального пространства и национально-конфессионального разнообразия населения.

Ключевые слова: история смерти; погребение; похороны; советские кладбища; вероисповедальные кладбища; социальное проектирование.

Цитирование: *Малышева С. Ю.* Национально-конфессиональное разнообразие населения в советских проектах и документах, регулировавших погребение.

© Малышева С. Ю., 2019
CC BY-NC

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.055 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 188–201.

Поступила в редакцию 07.04.2019
Принята к печати 21.06.2019

Svetlana Yu. Malysheva
Kazan (Volga Region) Federal University
Kazan, Russia

THE NATIONAL AND CONFESSIONAL DIVERSITY OF THE POPULATION IN THE SOVIET PROJECTS AND DOCUMENTS REGULATING BURIAL

This article examines how issues of national and confessional diversity of the country were reflected and resolved in Soviet official documents concerning the funerary sphere. Analysis of such sources as decrees, rules, instructions, regulations and their projects concerning cemeteries and funerals demonstrates that their discourse and content reflected approaches in national politics, changes in the economic course, and objective and subjective conditions at different stages of the country's history. Methodologically, the issues considered are included in the research contexts of the history of national politics, imperial history, economic history, and the history of Soviet social engineering. Until the end of the Great Patriotic War, despite state-proclaimed atheism and anti-religious campaigns, a targeted elimination of denominational cemeteries was not seriously considered in the context of the campaigns. Rather, their disappearance was a result of growth and redevelopment of cities and, consequently, the "relocation" of cemeteries from the centre to the outskirts and the emergence of new cemeteries. The latter were arranged without considering the national-confessional principle and were often called "international", which emphasised their difference from the former denominational cemeteries. The emergence of a project in 1946 which divided burial space according to the denominational principle, in fact, proposed the establishment of denominational cemeteries and reflected changes in national policy from the 1930s, i.e. the strengthening of power-state and nationalist tendencies. However, this too radical an approach for state atheism was mitigated in Soviet documents of the late 1940s — 1970s concerning the burial sphere: they recommended to consider "national" customs with regard to the funerary issue and burial space with the prevalence of quasi-secular "clean" form of Sovietness. As the analysis of the 2014–2017 bill demonstrates, the confessional criterion is in demand in Post-Soviet time again as very significant for differentiating burial space and the national and confessional diversity of the population.

K e y w o r d s: history of death; burial; funeral; Soviet cemeteries; denominational cemeteries; social engineering.

C i t a t i o n: Malysheva, S. Yu. (2019). Natsional'no-konfessional'noe raznoobrazie naseleniia v sovetskikh proektakh i dokumentakh, regulirovavshikh pogrebenie

[The National and Confessional Diversity of the Population in the Soviet Projects and Documents Regulating Burial]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 188–201. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.055

Submitted on 07 April, 2019
Accepted on 21 June, 2019

Проблемы классификации «человеческого разнообразия» неотделимы от практик властвования. И эти практики простираются не только на живущих, но и — прямо или опосредованно — на мертвых. Смена политического режима, влекущая за собой переопределение социальных статусов, переформирование всей общественной системы, влияет и на статус покойников как символического ресурса социума. Этот статус подвергается пересмотру, а сами умершие переупорядочиваются и встраиваются в новые системы социально-классовой и культурной идентификации.

После Октябрьской революции 1917 г. для большевиков, пришедших к власти под лозунгами гражданской войны, разумеется, приоритетным было дифференцирование населения по классовому признаку: «свои», «классово ценные», «классово близкие», «классово чуждые», «враги» — эти и другие идентификационные маркеры широко использовались ими в первые советские годы. Пафос и ярость классового противостояния простирались в эти годы на умерших врагов и их захоронения (практика глумления и осквернения могил противников была нередка в годы гражданской войны — вспомним хотя бы судьбу захоронения и тела генерала Л. Г. Корнилова). В дальнейшем в отношении «вражеских могил» широко использовался принцип *damnatio memoriae*.

В мортальном пространстве советская власть решала проблемы выстраивания новой социальной иерархии, а также социально-классовой чистоты мест упокоения своих героев, вождей, приверженцев [Roth; Malysheva]. В нем идеи социального «смешения» были отвергнуты сразу. Начиная с 1917 г. проводилась политика территориального отграничения захоронений «своих» от социально-классово чуждых. Причем речь шла не только о создании наиболее почетных мест захоронения для вождей и героев на Марсовом поле в Петрограде или у Кремлевской стены в Москве или о резервировании для партийно-советской элиты отдельных кладбищ, первым и главным из которых в 1927 г. стало Новодевичье кладбище (на последнем, кстати, не только сохранялись некоторые дореволюционные захоронения, но и уже в советское время появлялись родственные захоронения «обычных людей»). На большинстве советских кладбищ недопущение «смешивания» захоронений своих и чужих вначале обеспечивалось практикой выделения отдельных участков для «своих». В раннесоветский период они получили наименование «коммунистических площадок», по названию появившегося уже в 1919 г. и отделенного от прочих участка на кладбище Александро-Невской Лавры. Вслед за этим «коммунистические площадки» появились на многих кладбищах городов страны. С конца 1930-х гг. «коммунистические площадки» уже не выделялись (что, вероятно,

было связано с декларированием в Конституции 1936 г. равенства всех граждан и отсутствия в СССР эксплуататорских классов). Но необходимость отведения привилегированных, лучших мест и участков кладбищ для погребения советских «знатных людей» привычно упоминалась во многих советских документах 1930–1970-х гг., вплоть до Инструкции 1979 г. [Инструкция о порядке похорон..., с. 30, 38]. Проблему идеологической «чистоты» и гомогенности власть решала и путем еще более жесткого отграничения мест и способов захоронения «своих» и явных «врагов» («врагов народа», солдат и офицеров гитлеровской армии) на протяжении 1920–1940-х гг. [Малышева].

Но многонациональность и многоконфессиональность населения страны требовала от большевистского руководства вырабатывать и практики обращения с ним. В данной статье внимание будет сосредоточено на рассмотрении того, как в советских проектах документов и документах официального происхождения, касавшихся погребальной сферы, решались проблемы «укрощения» национально-конфессионального разнообразия населения страны. В дискурсе этих, подчас противоречивых, документов отражались и подходы к национальной политике, и смена официального экономического курса, и объективные и субъективные условия тех или иных этапов истории страны, и признаки понимания реального состояния в погребальной сфере и практик населения страны, подчас весьма далеко отстоявших от проектов власти. Как таковая эта проблема вписана в разнообразные исследовательские контексты истории национальной политики, имперской истории, экономической истории, истории советского социального проектирования. Кроме того, в заключении будет затронут и вопрос о том, как советский опыт обращения с национально-конфессиональным разнообразием в мортальном пространстве находит свои параллели и перерабатывается в постсоветское время.

Нужды социалистического строительства и судьба конфессиональных кладбищ

К моменту Октябрьского переворота российские кладбища носили конфессиональный характер, были в основном культурно однородными. Наведением порядка в смертных пространствах большевистское руководство озаботилось практически в первые же годы. Причем, создавая упорядочивавшие это пространство документы, оно вполне очевидно исходило из актуальных политических дискурсов и экономических нужд. Однако регулирование национально-конфессиональной однородности или «смешанности» кладбищ чаще всего не фиксировалось в этих документах в качестве прямого запрета или предписания, а оказывалось косвенным результатом инонаправленных действий, решения практических вопросов. Уже в первые годы советской власти культурному «смешению» в местах захоронений немало способствовали не столько антирелигиозная пропаганда и агитация, сколько реформирование похоронного дела и его последствия.

Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви от 20 января (2 февраля) 1918 г. провозгласил светский характер государства и лишил религиозные организации прав собственности. Декрет «О кладбищах и похоронах» от 7 декабря 1918 г., отменивший дореволюционное деление погребений на разряды (в зависимости от их стоимости) и провозгласивший одинаковые и бесплатные для всех похороны, утверждал эгалитарную миссию революции. Он, фактически, дезавуировал идею конфессиональной «чистоты», культурной однородности российских кладбищ как нормы. Ведь теоретически отныне любой человек мог быть похоронен на любом кладбище, вне зависимости от нации и вероисповедания. Хотя в примечании к п. 2 Декрета гражданам разрешалось совершать похоронный религиозный обряд в храме и на кладбище, но санкция на погребение и его организация были секуляризованы: разрешение на погребение давалось по предоставлению справки из органов записи актов гражданского состояния, а дело похорон и сами кладбища передавались в ведение местных советов [Декрет Совета Народных Комиссаров...]. Рожденная в результате передачи последним погребального дела кладбищенская неразбериха и похоронный кризис, усугубленные массовыми смертями первых лет советской власти, реалиями «общих могил», пропагандой безрелигиозных похорон размывали конфессиональную однородность на практике.

Отмена этого Декрета Советом Народных Комиссаров 18 мая 1922 г. и издание по его поручению летом того же года Народными комиссариатами внутренних дел, юстиции и социального обеспечения Инструкции о порядке похорон умерших граждан и пользования кладбищами, дезавуировавшей монополию советов на похоронное дело и принцип бесплатности погребения, знаменовали приход нэпа и в кладбищенские пределы. Передачи кладбищ в 1922 г. в аренду частным лицам, под управление религиозных общин [Реформа похоронного дела, с. 18] на некоторое время как будто бы вернули конфессиональным кладбищам их статус. На деле же их существование подкрепляло дискурс коренизации и легитимировалось последней: конфессиональные кладбища позиционировались в 1920-е гг. не как вероисповедальные, а как этнические, соответственно, нехристианские — как «нацменовские».

Уже в июне 1929 г. опубликованные Народными комиссариатами внутренних дел и здравоохранения по поручению Совета Народных Комиссаров РСФСР Правила «Об устройстве кладбищ и порядке погребения» отменили эту Инструкцию 1922 г. и вернули монополию государства на управление кладбищами, провозгласив окончание нэпа. Городские кладбища перешли в ведение местных органов коммунального хозяйства, сельские — сельсоветов, контроль религиозной общины за кладбищами был окончательно снят, а вместе с ним — и препятствия для размывания их конфессиональной гомогенности [Правила..., с. 459]. Издание 16 октября 1931 г. Инструкции Постоянной комиссии при Президиуме ВЦИК по вопросу культов «О порядке устройства, закрытия и ликвидации кладбищ и о порядке сноса надмогильных памятников», узаконившей упрощенную схему ликвидации кладбищ, решало актуальные,

связанные с индустриализацией страны и перепланированием городов проблемы необходимости расширения городских пространств и заготовки камня и металла. Уничтожение монастырских кладбищ, строительство в 1927 г. крематория на кладбище Донского монастыря в Москве, массовое использование надмогильных памятников и оград для нужд «социалистического строительства», «перенос» кладбищ и устройство на их месте парков и стадионов дезавуировали не только «конфессиональную чистоту» кладбищ, но и нанесли удар по их сакральному статусу. Перепланирование многих городов в 1930-е гг., расширение их территории приводили к тому, что старые конфессиональные кладбища (как правило, переполненные и находившиеся теперь в черте города) нередко закрывались, а новые открывались уже в качестве общественных, называемых, в отличие от «нацменовских», «интернациональными» [ГАРФ, ф. А–314, оп. 1, д. 2715, л. 3; д. 4713, л. 1, 4, 15, 21, 30].

Однако секуляризация кладбищ вовсе не означала, что на них не проводились религиозные погребальные обряды. Уровень религиозности населения оставался в это время весьма высоким [Мазур, с. 310–311]. В 1930-е гг. в некоторых российских регионах религиозному отпеванию предавали 93 % умерших [Лебина, с. 206]. К тому же к концу 1920-х гг. интерес большевистского руководства к насаждению красной погребальной обрядности среди населения зримо снижается [Соколова, с. 207], свирепый активизм антирелигиозников в 1930-е гг. в этой сфере тоже идет на спад, и традиционный религиозный обряд похорон открыто господствует повсеместно и в городе, не говоря уже о деревне. В. Смолкин-Ротрок справедливо отметила, что обряды погребения относились советским руководством к периферийным, не приоритетным вопросам «по крайней мере до 1956 г.», а то и до хрущевского времени [Смолкин-Ротрок, с. 443]. Создавалось странное впечатление, что и местные, и центральная власти молчаливо «отпустили» ситуацию на ставших официально общественными кладбищах, предоставив погребальному обычаю время и возможность самостоятельно «уложиться», «утрястись», размыться и обрести компромиссную форму между «национальным» и советским, и таким образом нормализоваться в качестве общей квазисекулярной нормы. Да и само погребальное дело и проблемы кладбищ оставались звеном системы коммунального хозяйства, до которого у советской власти многие десятилетия не доходили руки, которое снабжалось и управлялось по остаточному принципу. Достаточно сказать, что впервые более или менее систематические (но далеко не полные) сведения о количестве кладбищ в городах РСФСР были собраны только в 1940 г. и представлены 23 июня 1940 г. Народным комиссаром коммунального хозяйства РСФСР К. Д. Памфиловым и начальником управления благоустройства городов Народного комиссариата коммунального хозяйства Мельниковым в письме в Совет народных комиссаров РСФСР [ГАРФ, ф. А–314, оп. 1, д. 470, л. 9–12; д. 4760, л. 1–3].

В чрезвычайных условиях Великой Отечественной войны власть вынуждена была прибегнуть к жесткому и дифференцированному регулированию погребений гражданского населения в тылу и в прифронтовой зоне, воюющих — «своих»

и «врагов». Целый ряд документов подробно расписывал правила захоронения гражданских и военных лиц (например, погребение гражданского населения определялось «Положением по организации похоронного дела в городах РСФСР» Народного комиссариата коммунального хозяйства РСФСР от 15 июля 1942 г., но, например, при захоронении погибших при воздушных налетах предписывалось руководствоваться Инструкцией Главного управления местной противовоздушной обороны Народного комиссариата внутренних дел СССР от 25 августа 1941 г.). Однако вопросы национально-конфессиональных различий мест захоронения в документах не затрагивались. Практически все документы, изданные в эти годы, были направлены прежде всего на решение главной проблемы — санитарной безопасности. Реже в официальной документации открыто проговаривалась связь между идеологическим и санитарным пониманием «чистоты» — например, при решении в конце Великой Отечественной войны проблемы различий захоронения «своих» и «чужих» павших на полях сражений [Малышева].

От плана конфессиональной дифференциации к «учету национальных обычаев» в погребальном пространстве

В 1946 г. в недрах Министерства коммунального хозяйства РСФСР появляется любопытный проект. Скорее всего, его разработка была начата еще в конце войны, так как в нем, помимо упоминания о согласовании документа с Главной государственной инспекцией Наркомата здравоохранения РСФСР от 6 февраля 1946 г., есть упоминание о согласовании с Советом по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров СССР и Советом по делам религиозных культов при Совете народных комиссаров СССР от 9 сентября 1944 г.

Причины составления этого проекта можно, разумеется, усматривать в целом комплексе обстоятельств. Немало написано об изменении взаимоотношений советской власти с церковью, и о «народном запросе», об усилившейся в годы войны религиозности населения, и о необходимости привлечь симпатии союзников и жителей освобождаемых от германских войск территорий [см.: Майнер; Одинцов, Кочетова; и др.]. Но содержание и язык этого документа дают основание связывать его рождение с усилением в системе властвования государственнических и националистических тенденций, наметившихся уже в 1930-е гг. [Brandenberger], и сопряженной с ними актуализацией проблемы национально-конфессиональной дифференциации населения, учета и упорядочивания национально-конфессионального разнообразия страны, усиления контроля над ним. Потому что вряд ли проектировщики коммунхоза вдруг без отмашки сверху задумались о конфессиональных запросах населения и необходимости пересмотреть действовавшую Инструкцию Постоянной комиссии при Президиуме ВЦИК по вопросу культов «О порядке устройства, закрытия и ликвидации кладбищ и о порядке сноса надмогильных памятников» от 16 октября

1931 г., в которой о конфессиональных кладбищах не было ни слова [Инструкция Постоянной комиссии...].

Главное управление проектных организаций Министерства коммунального хозяйства РСФСР в проекте «Основных положений по проектированию и строительству кладбищ в городах и поселках с населением от 10 до 100 тысяч человек» фактически выдвинуло планы строительства новых конфессиональных кладбищ:

> Захоронение верующих христианских вероисповеданий (православные, старообрядцы, католики, протестанты, евангельские христиане и др.) возможно на одном кладбище. Захоронение верующих нехристианских вероисповеданий (иудейского, магометанского, буддийского) желательно производить на специально отведенных участках кладбищ, отделив таковые от общегражданского кладбищенского участка и от участка, отведенного для захоронения верующих христианских вероисповеданий, оградой. При наличии в населенном пункте подавляющего количества жителей, состоящих из мусульман или евреев, желательно устраивать специальное кладбище. Постройку специальных помещений для молитвенных собраний на кладбищах (церкви, часовни, мечети, костелы, синагоги) предусматривать не следует. <...> Для захоронения лиц-иноверцев на кладбище должны быть выделены специальные участки, имеющие самостоятельные въезды [ГАРФ, ф. А–314, оп. 2, д. 1637, л. 8, 10 об.].

То обстоятельство, что культовых зданий ставить на конфессиональных кладбищах не предполагалось, могло свидетельствовать как раз о том, что речь шла не столько об усилении позиций церквей и конфессий, сколько об одном из возможных (и проверенных) инструментов «сортировки», упорядочивания, описания подведомственного населения и его убыли. Для сходства со «старорежимным», дореволюционным дискурсом описания конфессионального разнообразия страны, помимо разделения «христианские — нехристианские» и употребленного в документе термина «иноверцы», не хватало только часто шедшего с ним в паре «инославцы». Обращает на себя внимание и прозрачное обозначение «нормы», главной «чистой» формы в этом конфессиональном разнообразии, каковой оказывались «общегражданский кладбищенский участок» и «участок для захоронения верующих христианских вероисповеданий», отделяемые от прочих оградой.

Проект 1946 г. утвержден не был, однако стал своеобразным разрешительным сигналом для легитимации открытой конфессиональной идентификации в мортальном пространстве, прописанной затем в целом ряде последовавших документов. Но взамен слишком радикального для атеистического советского дискурса прямого упоминания конфессии в дальнейшем чаще прибегали к эвфемизмам «национального». Уже в том же 1946 г. в ходе июньского Совещания Союза архитекторов СССР и Союза художников СССР по проблемам мемориальной архитектуры при обсуждении вопросов сооружений на индивидуальных надгробиях, братских могилах и триумфальных монументах участники настаивали на необходимости «национальных форм» надгробных сооружений и прямо

указывали на крест как на основу этой «национальной формы» [Из стенограммы Совещания..., с. 252–254].

Апелляция к элементам конфессиональных предписаний и необходимость учета «национальных обычаев» погребения были зафиксированы в Санитарных правилах по устройству и содержанию кладбищ 1948, 1960 и 1977 гг. [Санитарные правила..., 1948; 1960; 1977]. А в «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР» от 12 января 1979 г. уже прямо указывалось, что на памятниках, наряду с изображением «советских трудовых и боевых символов», также «допускается изображение религиозных символов», а «порядок проведения похорон и захоронения с учетом национальных обычаев может быть дополнен и изменен по согласованию с советами министров АССР, краевыми и областными исполнительными комитетами Советов народных депутатов» [Инструкция о порядке похорон..., с. 3]. Инструкция примечательна тем, что, констатируя и легитимируя разнообразие «национальных обычаев», она подводила под это разнообразие единый знаменатель «советскости». Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что под видом этой секулярной «чистой» советской формы она институализировала и некоторые обычаи православного погребения в сочетании с сильными языческими традициями (например, покрытие тканью зеркал и других отражающих поверхностей, вынос покойника ногами вперед или бросание в могилу горсти земли позиционировалось в документе как часть нормативного советского обряда) [Инструкция о порядке похорон..., с. 8] и чертами советского гражданского обряда (гражданская панихида).

Возрождение конфессиональных кладбищ в современной России

Проект 1946 г. неожиданно нашел отклик в наше время. В 2014 г. в российской печати появились сообщения, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) готовит проект создания конфессиональных кладбищ [В могилах нащупали золотое дно...; В России могут появиться частные...; и др.]. В результате в недрах Минстроя появился проект федерального закона, в ряде статей которого фигурировали вероисповедальные кладбища.

Хотя упоминания о них зафиксированы уже в Федеральном законе «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 г.: ст. 15 подразделяла места погребения «по обычаям» — на «общественные, вероисповедальные, воинские», а ст. 19 «Вероисповедальные кладбища» определяла их как предназначенные «для погребения умерших одной веры». Вероисповедальные кладбища могли находиться в ведении органов местного самоуправления, которые и определяли порядок их деятельности по согласованию с религиозными объединениями. Причем последние, согласно ст. 15, получали право вносить предложения по созданию вероисповедальных кладбищ [Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»...].

Проект Минстроя скорректировал классификацию кладбищ «по обычаям»: из триады «общественные, вероисповедальные, воинские» исчезли общественные

кладбища, зато дополнительно появились «военные мемориальные», а в одной из редакций — даже «этнические» (ст. 24). Кроме того, весьма пространная статья 27 законопроекта конкретизировала понятие вероисповедальных кладбищ, отнеся к ним «места захоронений на территориях земельных участков, принадлежащих на праве собственности или ином праве централизованным религиозным организациям или религиозным организациям, входящим в их структуру», а также предусмотрела создание и содержание указанными организациями частных вероисповедальных кладбищ. Причем определение правил содержания этих кладбищ проект передавал из рук местного самоуправления в ведение органов государственной власти субъектов Российской Федерации с обязательным участием религиозных организаций [см.: Проект. Федеральный закон «О похоронном деле...»; Проект закона «О государственном регулировании похоронного дела в России»].

Широкое освещение средствами массовой информации предложений Минстроя стало сигналом, фактически инициировавшим создание конфессиональных кладбищ в стране: органы местного самоуправления начинают активно использовать слабо работавшую прежде статью Федерального закона. Так, 16 февраля 2015 г. Постановлением Исполнительного комитета города Казани № 693 был утвержден «Порядок деятельности вероисповедальных кладбищ города Казани». Согласно документу, «на вероисповедальном кладбище захоронения умерших (погибших) другой веры (конфессии) не допускаются». Конфессиональная «чистота» кладбища обеспечивается тем, что «захоронение умерших на вероисповедальном кладбище производится с ведома соответствующего религиозного объединения» и «в целях предотвращения захоронения на вероисповедальном кладбище умерших иной религии (конфессии) представитель религиозного объединения, отпевающий умершего, читающий за упокоенную душу, или присутствующий на похоронах священнослужитель делает на заявлении установленного образца отметку о принадлежности умершего к той или иной конфессии и указывает должность религиозного деятеля, сделавшего отметку» [Порядок деятельности вероисповедальных кладбищ...]. В документе отдельно регулировался порядок деятельности мусульманских, иудейских и православных вероисповедальных кладбищ, подробно описывались правила захоронения тел по каждой из религий. Элементы дифференцирования умерших присутствовали, однако, и в однородном пространстве конфессионального кладбища. Так, «территория иудейского кладбища делится на две части: для евреев и для неевреев по галахе», а «на православном кладбище рекомендуется организовать участок в непосредственной близости от культового сооружения (храм, часовня, молельная комната) для погребения умерших, имевших при жизни особые заслуги перед Русской православной церковью и обществом, внесших значимый вклад в духовное развитие и просвещение» [Там же].

В апреле 2016 г. Минстрой направил законопроект «О госрегулировании похоронного дела в России» в Правительство РФ. Однако в мае 2017 г. проект был отправлен на доработку (эксперты усмотрели коррупционные риски в ряде

его положений), и статьи, касавшиеся вероисповедальных кладбищ, в редакции Федерального закона от 25 мая 2018 г. остались без изменений, полностью повторяя статьи 1996 г.

Заключение

Таким образом, с первых советских лет почти до конца Великой Отечественной войны вопрос о национально-конфессиональной однородности или «смешанности» кладбищ имел в советской мортальной политике периферийное значение, весьма уступая в актуальности другой дихотомии — захоронений «своих» и «врагов». Вопрос о существовании или ликвидации конфессиональных кладбищ слабо коррелировался с провозглашавшимися принципами (равенства, интернационализма) и антирелигиозными кампаниями. Их судьба скорее обуславливалась общими утилитарными тенденциями политики в отношении кладбищ и потребностями решения конкретных практических задач (удешевление погребений и решение проблем нехватки городской земли, нужды индустриального строительства, перепланирования городов, и т. д.), при необходимости их существование инструментализировалось (так, в годы «коренизации» конфессиональные кладбища во властном дискурсе легко трансформировались в «нацменовские»). Культурная однородность уцелевших конфессиональных кладбищ оказалась размытой, а новые советские кладбища позиционировались как «интернациональные». При этом к концу этого периода бытование религиозных погребальных практик в мортальном пространстве молчаливо санкционировалось «сверху».

После Великой Отечественной войны попытка оперировать конфессиональными критериями при дифференцировании кладбищенского пространства обуславливалась актуализацией и усилением нараставшего с 1930-х гг. державно-националистического тренда во властной политике, необходимостью пересмотра инструментов упорядочивания «человеческого разнообразия». Однако обозначенный проектом 1946 г. переход от культурной гибридности «интернационального» погребального пространства к иерархизированной мультиконфессиональности в этом пространстве, вероятно, оказался слишком радикальным, ввиду чего в дальнейшем в опубликованных советских документах конца 1940-х — 1970-х гг., касавшихся погребальной сферы, этот переход был реализован в более мягкой форме рекомендации учитывать «национальные» обычаи в погребальном деле и в погребальном пространстве.

Нельзя не усмотреть интересные параллели в условиях и причинах возникновения, а также в ситуации официальной «недооформленности», неутверждения двух проектов — советского проекта Минкоммунхоза 1946 г. и законопроекта Минстроя РФ 2014–2017 гг. Планы создания конфессиональных кладбищ актуализируются в условиях переутверждения / укрепления властной вертикали и мобилизационного потенциала населения, аргументируемых внешними или скрытыми внутренними (космополитизм, иностранные агенты) угрозами.

Неустойчивая культурная гибридность выглядит в этих условиях подозрительно. Намного более желательным оказывается иметь дело с «народом» (советским, российским), отряды которого четко идентифицируются и дифференцируются по знакомым аскриптивным категориям (конфессия, нация), но цементируются некими общими базовыми «скрепами». Инициатива проговаривания мысли о существовании и допустимости конфессионального разнообразия в мортальном пространстве делегируется практическим ведомствам (Минкоммунхозу СССР, Минстрою РФ), но не полагается необходимым слишком детальное и четкое закрепление его легитимности, почему, вероятно, проекты и не были утверждены. Намного важнее оказывается, что это разнообразие чистых форм увенчивается главной, доминирующей чистой образцовой формой: в одном случае — квазисекулярной (с мощным языческо-православным налетом) «советской», в другом — «российской» с явно прочитываемой державно-православной стилистикой (образцовый вариант последней ясно представлен в созданном Указом Президента главном пантеоне выдающихся людей РФ — Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах и православном храме на его территории).

Источники

В могилах нащупали золотое дно. Минстрой предлагает создать сеть частных кладбищ // Коммерсантъ. 2014. 12 августа. URL: https://www.kommersant.ru/doc/2543316 (дата обращения: 08.03.2019).

В России могут появиться частные и конфессиональные кладбища // Суть событий. 2014. 12 августа. URL: https://argumentiru.com/society/2014/08/358022 (дата обращения: 07.03.2019).

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. Ф. А-314. Оп. 1. Д. 470, 2715, 4713, 4760; Оп. 2. Д. 1637.

Декрет Совета Народных Комиссаров «О кладбищах и похоронах». 7 декабря 1918 г. // Декреты Советской власти. М. : Госполитиздат, 1968. Т. 4. С. 163–164.

Из Стенограммы Совещания по проблемам мемориальной архитектуры 3–5 июня 1946 г. // Советское изобразительное искусство и архитектура 60–70-х годов / [редкол.: Хазанова В. Э. (отв. ред.) и др.]. М. : Наука, 1979. С. 252–260.

Инструкция о порядке похорон и содержании кладбищ в РСФСР. Утверждена Приказом по Министерству жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12 января 1979 г. № 25. М. : Стройиздат, 1980.

Инструкция Постоянной комиссии при Президиуме ВЦИК по вопросу культов «О порядке устройства, закрытия и ликвидации кладбищ и о порядке сноса надмогильных памятников». 16 октября 1931 г. URL: http://cddk.ru/gos_i_religia/history/sov-law/043.htm (дата обращения: 08.03.2019).

Порядок деятельности вероисповедальных кладбищ города Казани. Утвержден Постановлением Исполнительного комитета г. Казани от 16 февраля 2015 года № 693. URL: http://docs.cntd.ru/document/432900362 (дата обращения: 07.03.2019).

Правила № 198/Б/197/мв Народного комиссариата внутренних дел и Народного комиссариата здравоохранения «Об устройстве кладбищ и порядке погребения» 7/11 июня 1929 г. // Бюллетень Народного комиссариата внутренних дел. 1929. № 23–24. С. 458–462.

Проект закона «О государственном регулировании похоронного дела в России». URL: http://rusapo.ru/news/35-proekt-zakona-o-gosudarstvennom-regulirovanii-pohoronnogo-dela-v-rossii.html (дата обращения: 07.03.2019).

Проект. Федеральный закон «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». URL: http://funeralportal.ru/news/34235.html (дата обращения: 08.03.2019).

Реформа похоронного дела // Коммунальное хозяйство. 1922. № 7 (август). С. 18.

Санитарные правила по устройству и содержанию кладбищ (Извлечение). 20 декабря 1948 г. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU;n=22613;req=doc (дата обращения: 08.03.2019).

Санитарные правила устройства и содержания кладбищ. 1 ноября 1960 г. URL: http://bestpravo.ru/sssr/eh-pravo/m1w.htm (дата обращения: 08.03.2019).

Санитарные правила устройства и содержания кладбищ. 10 февраля 1977 г. URL: http://bestpravo.ru/sssr/gn-dokumenty/y3a.htm (дата обращения: 08.03.2019).

Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ (редакция 25.05.2018). URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?from=292687-0&rnd=95B1730A6642EA3554FCA38BC68B3E8D&req=doc&base=LAW&n=298701&REFDOC=292687&REFBASE=LAW#20rgq2edtf9 (дата обращения: 08.03.2019).

Исследования

Лебина Н. Б. Советская повседневность: нормы и аномалии. От военного коммунизма к большому стилю. М. : НЛО, 2015.

Мазур Л. Н. Религиозность советского человека в 1920–1930-е гг.: эволюция, формы и практики // Раннесоветское общество как социальный проект, 1917–1930-е гг. Ч. 2 : Советское общество: культура, сознание, поведение / под общ. ред. Л. Н. Мазур. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. С. 309–328.

Майнер С. М. Сталинская священная война. Религия, национализм и союзническая политика, 1941–1945 / пер. с англ. В. Артемова. М. : РОССПЭН, 2010.

Малышева С. «Братские могилы» и «вражеские могильники»: символическое означивание массовых захоронений в Советской России / СССР 1920-х — 1940-х годов // The Soviet and Post-Soviet Review. 2017. Vol. 44. No. 3. P. 233–263.

Одинцов М. И., Кочетова А. С. Конфессиональная политика в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М. : РОССПЭН, 2014.

Смолкин-Ротрок В. Проблема «обыкновенной» советской смерти: материальное и духовное в атеистической космологии // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 3–4 (30). С. 430–463.

Соколова А. Д. «Нельзя, нельзя новых людей хоронить по-старому!» // Отечественные записки. 2013. № 5. С. 191–208.

Brandenberger D. National Bolshevism. Stalinist Mass Culture and Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956. Cambridge : Harvard Univ. Press, 2002.

Malysheva S. The Russian Revolution and the Instrumentalization of Death // Slavic Review. 2017. Vol. 76. No. 3. P. 647–654.

Roth P. Totenkult in Russland. Politik und Religion // Glaube in der 2. Welt. 1999. Bd. 27. No. 2. S. 25–29.

References

Brandenberger, D. (2002). *National Bolshevism. Stalinist Mass Culture and Formation of Modern Russian National Identity, 1931–1956*. Cambridge: Harvard University Press.

Lebina, N. B. (2015). *Sovetskaia povsednevnost': normy i anomalii. Ot voennogo kommunizma k bol'shomu stiliu* [Soviet Daily Life: Norms and Anomalies. From War Communism to Big Style]. Moscow: NLO. (In Russian)

Miner, S. M. (2010). *Stalinskaia sviashchennaia voina. Religiia, natsionalizm i soiuznicheskaia politika, 1941–1945* [Stalin's Holy War. Religion, Nationalism and Allied Politics, 1941–1945]. Moscow: ROSSPEN. (In Russian)

Malysheva, S. (2017a). “Bratskie mogily” i “vrazheskie mogil’niki”: simvolicheskoe oznachivanie massovykh zakhoronenii v Sovetskoi Rossii / SSSR 1920-kh — 1940-kh godov [“Mass Graves” and the “Burial Grounds of Enemies”: The Symbolic Significance of Mass Burials in Soviet Russia/USSR, 1920s–1940s]. *The Soviet and Post-Soviet Review, 44*(3), 233–263. (In Russian)

Malysheva, S. (2017b). The Russian Revolution and the Instrumentalization of Death. *Slavic Review*, *76*(3), 647–654.

Mazur, L. N. (2019). Religioznost’ sovetskogo cheloveka v 1920–1930-e gg.: evoliutsiia, formy i praktiki [Religiousness of the Soviet Man in the 1920–1930s: Evolution, Forms and Practices]. In L. N. Mazur (Ed.), *Rannesovetskoe obshchestvo kak sotsial’nyi proekt, 1917–1930-e gg.* [Early Soviet Society as a Social Project, 1917–1930s]. Pt. 2 : Sovetskoe obshchestvo: kul’tura, soznanie, povedenie [Soviet Society: Culture, Consciousness, Behaviour] (pp. 309–328). Yekaterinburg: Ural University Press. (In Russian)

Odintsov, M. I., & Kochetova, A. S. (2014). *Konfessional’naia politika v Sovetskom Soiuze v gody Velikoi Otechestvennoi voiny 1941–1945 gg.* [Confessional Policy in the Soviet Union during the Great Patriotic War of 1941–1945]. Moscow: ROSSPEN. (In Russian)

Roth, P. (1999). Totenkult in Russland. Politik und Religion. *Glaube in der 2. Welt*, *27*(2), 25–29. (In German)

Smolkin-Rotrok, V. (2012). Problema “obyknovennoi” sovetskoi smerti: material’noe i dukhovnoe v ateisticheskoi kosmologii [The Problem of “Ordinary” Soviet Death: The Material and the Spiritual in Atheistic Cosmology]. *Gosudarstvo, religiia, tserkov’ v Rossii i za rubezhom*, 3–4 (30), 430–463. (In Russian)

Sokolova, A. D. (2013). “Nel’zia, nel’zia novykh liudei khoronit’ po-staromu!” [“It Is Impossible, It Is Impossible to Bury New People in the Old Way!”]. *Otechestvennye zapiski*, 5, 191–208. (In Russian)

Малышева Светлана Юрьевна
доктор исторических наук, профессор
кафедры отечественной истории
Казанский (Приволжский) федеральный
университет
420008 Казань, ул. Кремлевская, 18
E-mail: Svetlana.Malycheva@kpfu.ru,
svetatuebingen@mail.ru

Malysheva, Svetlana Yurievna
Dr. Hab. (History), Professor
Department of Russian History
Kazan (Volga Region) Federal University
18, Kremlevskaya Str., 420008 Kazan, Russia
Email: Svetlana.Malycheva@kpfu.ru,
svetatuebingen@mail.ru
ORCID: 0000-0002-4442-4580
Researcher ID: G-3745-2013
Scopus ID: 57188731757

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.056
УДК 316.344.42:329.15 + 94(571)“1920”

Т. И. Морозова
Институт истории СО РАН
Новосибирск, Россия

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОЙ ЭЛИТЫ СИБИРИ В 1920-е гг.*

Статья посвящена партийно-советской элите Сибири 1920-х гг. Основные задачи исследования заключались в определении границ и сущности понятия «партийно-советская элита Сибири», выяснении ее численности и персонального состава. Работа выполнена с учетом достижений отечественной историографии. Источниковую базу составили документы, выявленные автором в центральных и региональных архивах. Автор статьи солидаризировалась со специалистами, полагающими, что главным критерием принадлежности к политической элите являются не социальное происхождение, наличие образования, управленческого таланта или опыта, а обладание реальной властью и вытекающими из этого привилегиями. Такой подход обусловил понимание партийно-советской элиты Сибири как группы партийно-советских работников областного / краевого уровня, по должности имевших право принимать и на самом деле принимавших важные политические решения. В 1920-е гг. в Сибири такими людьми являлись члены и кандидаты в члены Сибревкома, Сиббюро ЦК РКП(б), бюро Сибкрайкома РКП(б)–ВКП(б) и президиума Сибкрайисполкома Советов. Анализ персонального состава четырех названных органов позволил выяснить, что с января 1920 по декабрь 1929 г. численность партийно-советской элиты Сибири выросла с 5 до 34 человек. Причем если в начале 1920-х гг. динамика роста была стремительной, то приблизительно с 1923 г. она серьезно замедлилась. Сделан вывод, что основной причиной этого стало введение номенклатурной системы учета и распределения кадров, в условиях которой решающее значение стали играть не революционные заслуги и партийный стаж, а занимаемая должность. С этого времени обновление партийно-советской элиты происходило главным образом за счет ротации кадров, возглавлявших краевые партийные, советские, хозяйственные и военные органы или общественные организации. Благодаря постоянному обновлению персонального состава в 1920-е гг. в партийно-советскую элиту входили в общей сложности 117 человек. Для одних из них работа в Сибири стала вершиной политической карьеры, для других — залогом дальнейшего продвижения по службе.

К л ю ч е в ы е с л о в а: политическая элита; партийно-советская элита; РКП(б); ВКП(б); Сиббюро ЦК; Сибкрайком; Сибревком; Сибкрайисполком; Сибирь.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-39-00100 мол_а «Партийно-советская элита Сибири 1920-х годов: социокультурные и политические характеристики».

© Морозова Т. И., 2019
BY-NC

Цитирование: *Морозова Т. И.* Динамика численности и персонального состава партийно-советской элиты Сибири в 1920-е гг. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.056 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 202–216.

Поступила в редакцию 14.03.2019
Принята к печати 17.07.2019

Tatiana I. Morozova
Institute of History SB RAS
Novosibirsk, Russia

THE DYNAMICS OF NUMBER AND PERSONAL COMPOSITION OF THE PARTY AND SOVIET ELITE OF SIBERIA IN THE 1920s

This paper considers the party and Soviet elite of Siberia in the 1920s. The main tasks of the research consist in determining the scope and essence of the notion of "party and Soviet elite of Siberia" and establishing their number and personal composition. The author relies on the achievements of national historiography referring to documents found in central and regional archives. The author shares the opinion that the main criterion indicative of political elite is not social background, education, strong leadership skills or experience, but the possession of real power and corresponding privileges. Such an approach determines the understanding of the party and Soviet elite of Siberia as a group of party and Soviet officials of regional / krai level, whose position entitled them to take important political decisions which they did take. In 1920s Siberia, such people were members and alternate members of the Siberian Revolutionary Committee, Siberian Bureau of the Central Committee of RCP(b), the Bureau of the Siberian Krai Committee of RCP(b)–AUCP(b) and the Presidium of the Siberian Krai Executive Committee of the Soviets. The analysis of the personal composition of the four abovementioned bodies demonstrates that from January 1920 to December 1929, the number of party and Soviet elite members increased from 5 to 34 persons. At the same time, at the beginning of the 1920s, the growth dynamics were rapid but starting with 1923 they slowed down significantly. The author concludes that its main cause was the introduction of a nomenclature system of recording and distributing the staff; in such conditions, it was not revolutionary merits or length of membership in the party, but the position occupied that was considered of primary importance. From that time onward, the renewal of the party and Soviet elite occurred mainly due to the rotation of officials heading the krai party, Soviet, economic, and military bodies and social organisations. Thanks to permanent renewal of personal composition in the 1920s, the party and Soviet elite included 117 people. For some of them, the work in Siberia was the top of their political career, while for others it was a way for further career growth.

Keywords: political elite; party and Soviet elite; RCP(b); AUCP(b); Siberian Bureau of CC; Siberian Krai Committee; Siberian Revolutionary Committee; Siberian Krai Executive Committee; Siberia.

Acknowledgements
The research was supported by the *Russian Foundation for Basic Research*, research project 18-39-00100 mol_a "Party and Soviet Elite of Siberia in 1920s: Social-cultural and Political Characteristics".

Citation: Morozova, T. I. (2019). Dinamika chislennosti i personal'nogo sostava partiino-sovetskoi elity Sibiri v 1920-e gg. [The Dynamics of Number and Personal Composition of the Party and Soviet Elite of Siberia in the 1920s]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 202–216. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.056

Submitted on 14 March, 2019
Accepted on 17 July, 2019

Всемирная история свидетельствует о том, что политические элиты играли и играют решающую роль в жизни любого государства. Как правило, именно они формулируют стоящие перед обществом цели и задачи, определяют пути и способы их достижения, осуществляют управленческие функции. Отсюда прямая и тесная взаимосвязь между находящейся у власти политической элитой и существующим политическим режимом.

Взятие большевиками государственной власти в России в октябре 1917 г. и их победа в гражданской войне обусловили генезис принципиально нового правящего класса — партийно-советской элиты. Становление последней пришлось главным образом на 1920-е гг., когда были выработаны базовые принципы ее формирования и функционирования. Заняв руководящие посты в партийном и советском аппарате разных уровней, она стала главным актором политического процесса.

В результате установления центр-периферийных отношений и распределения властных полномочий между партийными и советскими органами разных уровней проведение политики советской власти на местах во многом стало зависеть от местной элиты. Поэтому для адекватного понимания специфики направлений, темпов, форм, методов и результатов развития отдельных краев и областей РСФСР важно учитывать, что представляла собой краевая / областная политическая элита: как и по какому принципу она формировалась, насколько мало- или многочисленной была, из кого состояла персонально.

Термин «элита» впервые был введен в оборот еще на рубеже XIX–XX вв. итальянскими исследователями Г. Моски и В. Парето для обозначения избранной части общества, имеющей «высший показатель в своей области деятельности» [цит. по: Осипова, с. 323]. Главным условием попадания в элиту В. Парето считал обладание врожденными психологическими качествами, обеспечивающими превосходство над другими людьми.

Господство в СССР марксистско-ленинской идеологии обусловило невозможность изучения партийно-советской элиты. Исключение составляли лишь биографические исследования, посвященные отдельным политическим деятелям. Но сам факт существования элиты в РСФСР–СССР был признан только

в начале 1990-х гг., причем далеко не всеми отечественными историками. Некоторые исследователи по-прежнему полагают, что говорить о партийно-советской элите нельзя. Руководствуясь классическим определением термина «элита», в качестве ключевого аргумента для защиты своей позиции они приводят тот факт, что в СССР «господствующий класс отличался далеко не лучшими, а крайне низкими нравственными и профессиональными качествами» [подробнее см.: Головинова, с. 75]. Другая и заметно более распространенная точка зрения заключается в том, что главным критерием принадлежности к политической элите являются не социальное происхождение, наличие образования, управленческого таланта или опыта, а обладание реальной властью и вытекающими из этого привилегиями [см., например: Мохов, с. 43–53; Саранцев, с. 9].

Сторонники второго подхода за последние три десятка лет изучили процессы формирования, трансформации и произошедшего в середине 1930-х гг. радикального обновления политической элиты [Бадовский; Кислицын, 1994; 2011; Березкина; Гаман-Голутвина; Гимпельсон; Саранцев; Саранцев, Кирякова; и др.]. Параллельно с публикациями обобщающего характера появились исследования, выполненные в более узких территориальных рамках: в масштабах отдельных краев, областей и губерний [см., например: Чистиков; Ракитин, Саранцев; Мамсиров]. Историки внесли вклад и в изучение партийно-советской элиты Сибири. Сначала советские, а затем и постсоветские авторы реконструировали биографии таких видных представителей политической элиты 1920-х гг., как С. В. Косиор, И. Н. Смирнов, С. И. Сырцов, В. И. Хотимский, А. А. Ширямов, Б. З. Шумяцкий, Р. И. Эйхе, Е. М. Ярославский. В 2009 г. были введены в научный оборот сведения о персональном составе областных / краевых органов власти и управления: опубликованы списки членов Сибирского революционного комитета и Сибирского бюро ЦК РКП(б), членов и кандидатов в члены бюро Сибирского краевого комитета партии, членов и кандидатов в члены президиума Сибирского краевого исполнительного комитета Советов [Шишкин, 2009]. Специальный анализ численности и состава Сиббюро ЦК и Сибкрайкома РКП(б)–ВКП(б) осуществила автор этих строк [Морозова, 2013а; 2013б; 2018]. Таким образом, исследователями был создан значительный задел, позволяющий перейти к комплексному анализу партийно-советской элиты Сибири 1920-х гг.

Первым шагом в этом направлении является данная статья, в задачи которой входит определение границ и сущности понятия «партийно-советская элита Сибири», выяснение ее численности и анализ персонального состава на всем протяжении 1920-х гг. Наряду с научной литературой при подготовке статьи использованы источники, выявленные в центральных и региональных архивах.

* * *

Автор статьи разделяет точку зрения исследователей, полагающих, что политическая элита в СССР формировалась из людей, обладавших властью, независимо от наличия у них выдающихся качеств. Поэтому под партийно-советской элитой Сибири здесь и далее понимается группа партийно-советских

работников областного / краевого уровня, по должности имевших право принимать и на самом деле принимавших важные политические решения.

Первоначально эта группа состояла из членов и кандидатов в члены двух областных органов: Сибирского революционного комитета и Сибирского областного бюро РКП(б). Первый был создан в августе 1919 г. для руководства советским строительством в Сибири, второй — в ноябре 1919 г. для проведения в жизнь политики коммунистической партии. В апреле 1920 г. пленум ЦК РКП(б) принял решение о преобразовании Сибоблбюро в Сибирское бюро ЦК, придав последнему тем самым статус своего территориального отдела. Члены названных органов, как правило, назначались Москвой: члены Сиббюро ЦК — Центральным комитетом РКП(б), члены Сибревкома — с санкции ЦК РКП(б) или Совнаркома Всероссийским Центральным исполнительным комитетом Советов.

В апреле 1923 г. XII съезд РКП(б) принял курс на реорганизацию областных партийных и советских органов «в направлении постепенной замены назначения их членов выборностью на областных конференциях» [Двенадцатый съезд..., с. 697–698]. В рамках реализации этой установки вместо Сиббюро ЦК РКП(б) в мае 1924 г. был избран Сибирский краевой комитет РКП(б), а вместо Сибревкома в декабре 1925 г. — Сибирский краевой исполнительный комитет Советов. Новые органы имели трехуровневую структуру: пленум, бюро / президиум, аппарат. Пленум Сибкрайкома избирался на краевых партийных конференциях, пленум Сибкрайисполкома — на краевых съездах Советов. Однако сложившаяся в СССР к середине 1920-х гг. бюрократическая система власти не предполагала наделения выборных органов, в состав которых наряду с ответственными работниками входили также рабочие и крестьяне, по-настоящему широкими полномочиями. Основной функцией пленумов была лишь легитимация решений, принимавшихся постоянно действующими органами — бюро Сибкрайкома и президиумом Сибкрайисполкома.

Тем самым, можно утверждать, что партийно-советская элита Сибири 1920-х гг. была представлена членами и кандидатами в члены Сибревкома, Сиббюро ЦК, бюро Сибкрайкома и президиума Сибкрайисполкома. Соответственно, для ответа на вопросы о численности и персональном составе элиты необходимо проанализировать численность и персональный состав всех четырех названных органов.

Сибревком был учрежден Президиумом ВЦИК 27 августа 1919 г. в составе трех человек: члена Реввоенсовета 5-й армии И. Н. Смирнова (председатель), бывшего секретаря Рогожско-Симоновского райкома партии Москвы В. М. Косарева и члена коллегии Наркомпрода М. И. Фрумкина [Шишкин, 2019, с. 88].

Два с лишним месяца спустя, 6 ноября 1919 г., в Челябинске группой руководящих партийно-советских работников Сибири было создано Сибирское областное бюро РКП(б). В его состав вошли И. Н. Смирнов, В. М. Косарев, председатель Челябинского губернского оргбюро РКП(б) А. П. Спундэ, военком

5-й стрелковой дивизии 5-й армии И. Н. Стуков и заместитель председателя Челябинского губернского оргбюро В. И. Хотимский. 3 декабря 1919 г., т. е. уже после переезда в Омск, состоялось первое заседание Сибоблбюро РКП(б). На нем областной партийный орган принял решение продолжить работу в прежнем составе с двумя небольшими изменениями: без И. Н. Стукова, служившего в 5-й армии и потому не присутствовавшего на заседаниях, но с М. И. Фрумкиным, введенным в члены Сибоблбюро по предложению И. Н. Смирнова.

Таким образом, к началу 1920 г. партийно-советская элита Сибири насчитывала в своем составе всего пять человек, трое из которых являлись одновременно членами Сибревкома и членами Сибоблбюро РКП(б). Все пятеро имели многолетний опыт революционной работы и, несомненно, пользовались доверием Центра.

Важное изменение в партийно-советской элите Сибири произошло 8 апреля 1920 г. Состоявшийся в этот день пленум ЦК РКП(б) преобразовал Сибоблбюро в Сибирское бюро ЦК РКП(б) и утвердил состав нового органа. Вместе со Смирновым, Косаревым и Хотимским в него были включены также председатель Пермского губкома РКП(б), кандидат в члены ЦК партии Е. М. Ярославский, отозванная из коллегии Наркомпрода РСФСР В. Н. Яковлева и выполнявшая с декабря 1919 г. функции технического секретаря Д. К. Гончарова [Сибирское бюро..., с. 280]. Тогда же пленум ЦК РКП(б) в связи с изменением функций Сибревкома расширил его состав. Кроме уже состоявших в нем Косарева и Смирнова пленум утвердил членами Сибревкома С. Т. Ковылкина, А. К. Пайкеса, В. Н. Соколова, В. И. Шорина и А. В. Шотмана, назначенных одновременно заведующими отделами ревкома. В результате весной 1920 г. численность партийно-советской элиты Сибири увеличилась до 11 человек.

В дальнейшем состав партийно-советской элиты неоднократно менялся. Как правило, отзыв одних и назначение других членов Сиббюро и Сибревкома осуществлялись в индивидуальном порядке. Причем происходило это довольно часто. За четыре с половиной года существования Сиббюро ЦК его членами и кандидатами являлись в общей сложности 27 коммунистов. Сибревком функционировал на полтора года больше, за счет чего в качестве его членов успели поработать 34 человека.

Анализ персонального состава Сиббюро ЦК и Сибревкома позволяет утверждать, что в начале 1920-х гг. партийно-советская элита Сибири формировалась преимущественно из профессиональных революционеров, начавших свою политическую деятельность еще в конце XIX — начале XX в. Так, Смирнов состоял в РСДРП с 1899 г., Косарев и Фрумкин — с 1898 г. [ГАРФ, ф. 533, оп. 2, д. 2142, л. 1; оп. 3, д. 2754, л. 1; ф. Р-1235, оп. 8, д. 171, л. 1]. Все трое за революционную деятельность подвергались ссылке в Сибирь и, следовательно, ко времени своего назначения имели представления о специфике этой области. Старыми большевиками являлись члены Сиббюро Гончарова, Яковлева, Ярославский, члены Сибревкома Соколов и Шотман. В феврале 1921 г. в состав Сиббюро ЦК были введены член РСДРП с 1900 г. А. А. Ширямов, а также члены РСДРП с 1903 г.

С. Е. Чуцкаев и Б. З. Шумяцкий. С ноября 1921 г. заместителем председателя Сибревкома и одновременно членом Сиббюро ЦК стал М. М. Лашевич, партийный стаж которого исчислялся с 1901 г.

Положительно зарекомендовавшие себя представители партийно-советской элиты Сибири, как правило, отзывались в распоряжение ЦК для назначения на аналогичные или более ответственные должности в Европейской России. На смену им членами Сиббюро и членами Сибревкома назначались чаще всего более «молодые» коммунисты: большевики, вступившие в партию в 1905, 1907, 1915 и даже 1917 г. Одной из причин такого омоложения состава партийно-советской элиты, судя по всему, являлось введение номенклатурной системы учета и распределения кадров [Морозова, 2018, с. 157].

К концу апреля 1924 г. Сибревком состоял из десяти человек: председателя М. М. Лашевича, заместителей председателя А. П. Брыкова и Р. И. Эйхе, а также семи членов — уполномоченного Наркомата земледелия А. И. Кашникова, уполномоченного Наркомата труда И. И. Кокосова, Полпреда ОГПУ И. П. Павлуновского, уполномоченного Наркомфина А. М. Поволоцкого, уполномоченного Наркомпрода А. Р. Розита, председателя Сибпромбюро ВСНХ А. М. Тамарина и председателя Сиббюро ВЦСПС Ю. П. Фигатнера.

Сиббюро ЦК РКП(б) в то же время насчитывало в своем составе восемь человек. В их числе секретарь Сиббюро С. В. Косиор, секретарь Новониколаевского губкома РКП(б) П. С. Заславский, заведующий агитпропотделом Сиббюро Б. Д. Пинсон, заведующий орготделом Сиббюро Н. В. Рогозинский, а также упомянутые выше Лашевич, Брыков, Павлуновский и Фигатнер.

Сравнительный анализ персонального состава Сибревкома и Сиббюро ЦК свидетельствует о том, что общая численность партийно-советской элиты Сибири в апреле 1924 г. составила 14 человек. Из них только трое — Лашевич, Тамарин и Фигатнер — вступили в большевистскую партию ранее 1905 г. и пятеро — Заславский, Косиор, Павлуновский, Пинсон, Эйхе — стали членами РСДРП(б) в годы Первой русской революции.

Избрание первой Сибирской партийной конференцией вместо Сиббюро ЦК Сибирского краевого комитета РКП(б) привело к заметному увеличению численности руководящего партийного органа Сибири: с 8 до 48 человек. Логично предположить, что произошедшие изменения должны были существенно сказаться на численности и составе областной элиты. Однако анализ источников не подтверждает эту гипотезу.

Состоявшийся 11 мая 1924 г. первый пленум Сибкрайкома избрал бюро крайкома в количестве девяти членов и двух кандидатов в члены. Семь из них ранее состояли в Сиббюро ЦК: Заславский, Косиор, Лашевич, Павлуновский, Пинсон, Рогозинский и Фигатнер. Восьмым членом бюро Сибкрайкома стал зам. председателя Сибревкома Эйхе. И только трое вошли в областную элиту Сибири впервые: член бюро, председатель Сиббюро ЦК профсоюза железнодорожников Житков и два кандидата в члены бюро — председатель Сибкрайсоюза И. И. Панкратов и секретарь ячейки депо станции Новониколаевск Н. И. Севастьянов

[ГАНО, ф. П-2, оп. 1, д. 1. л. 1]. Причем Житков, судя по всему, был избран заочно, ни на одном заседании бюро краевого комитета ни разу не присутствовал и, будучи вскоре отозванным в Москву, перестал числиться в составе этого органа. Следовательно, избрание Сибкрайкома вместо упраздненного Сиббюро ЦК привело к увеличению численности партийно-советской элиты Сибири лишь на два человека.

Если Сиббюро ЦК назначалось Центральным комитетом непосредственно, то формирование бюро Сибкрайкома РКП(б) осуществлялось более сложным путем. Члены и кандидаты в члены бюро краевого комитета предварительно рекомендовались ЦК, после чего избирались пленумом Сибкрайкома. Такая практика позволяла ЦК при внешнем сохранении принципа выборности партийного руководства Сибири регулировать его персональный состав. Усилению контроля в данной сфере способствовали решение Оргбюро ЦК от 25 сентября 1925 г. и закрепившее его постановление Политбюро ЦК от 15 октября того же года [РГАСПИ, ф. 17, оп. 3, д. 523, л. 7, 15]. Согласно названным документам, бюро Сибкрайкома после избрания обязательно должно было утверждаться ЦК РКП(б).

Характерная для 1920-х гг. высокая степень вертикальной и горизонтальной мобильности способствовала постоянному обновлению состава бюро Сибкрайкома. Из девяти членов этого органа, избранных в мае 1924 г., к началу декабря 1925 г. свои позиции сохранили только трое: Косиор, Павлуновский и Эйхе. Еще в сентябре 1924 г. из кандидатов в члены бюро крайкома был переведен Панкратов. Остальные были откомандированы на другую работу в Сибири или отозваны за ее пределы. Однако общая численность бюро Сибкрайкома при этом не только не сократилась, но даже увеличилась с 11 до 14 человек. Такой рост был достигнут за счет введения в состав этого органа семи новых членов: председателя Сибкрайсовпрофа Л. И. Гинзбурга, заведующего агитпропотделом Сибкрайкома М. В. Зайцева, заведующего орграспредотделом Сибкрайкома Р. Я. Кисиса, второго секретаря Сибкрайкома А. К. Лепы, заместителя председателя Сибкрайисполкома Советов А. Н. Позднышева, председателя Сибпромбюро ВСНХ А. М. Тамарина, секретаря Новониколаевского окружкома РКП(б) Н. А. Филатова. Кандидатами в члены бюро Сибкрайкома стали председатель профсоюза горняков Сибири Р. Г. Денисов, заведующая женотделом Сибкрайкома Е. В. Кузнецова и начальник политуправления Сибирского военного округа (далее — СВО) Л. С. Сонкин.

Новый состав бюро Сибкрайкома наглядно демонстрирует, что к середине 1920-х гг. занимаемая должность стала по-настоящему определяющим условием для включения в краевую элиту. Первый и второй секретари Сибкрайкома, заведующие двумя его важнейшими отделами, председатель и заместитель председателя Сибревкома, а также руководители краевых хозяйственных и профсоюзных органов в обязательном порядке избирались в члены бюро Сибкрайкома независимо от того, кто занимал эти должности персонально.

В декабре 1925 г. первый краевой съезд Советов Сибири избрал пленум Сибирского краевого исполнительного комитета в составе 109 человек. Из них

15 человек были избраны членами президиума Сибкрайисполкома: упомянутые выше Косиор, Гинзбург, Павлуновский, Панкратов, Тамарин, Позднышев, Эйхе, уполномоченный Наркомата рабоче-крестьянской инспекции (далее — РКИ) В. С. Калашников, заведующий Сибирским краевым отделом труда И. И. Кокосов, заведующий Сибкрайземотделом А. П. Месяцев, управляющий конторой Госбанка СССР А. М. Певзнер, командующий войсками СВО Н. И. Петин, уполномоченный Наркомфина А. П. Поволоцкий, председатель Новосибирского окрисполкома А. Г. Ремейко-Тихомиров и зам. председателя Ачинского окрисполкома И. А. Сукач. Последний был избран вторым зам. председателя, Позднышев — первым зам. председателя, Эйхе — председателем Сибкрайисполкома. Еще восемь человек были избраны кандидатами в члены президиума крайисполкома: второй секретарь Сибкрайкома А. К. Лепа, зам. уполномоченного Наркомата РКИ Я. М. Банкович, уполномоченный Наркомздрава М. И. Баранов, уполномоченный Наркомпроса А. Я. Голышев, начальник политуправления СВО М. С. Дуганов, заведующий Сибирским краевым административным отделом А. И. Клевер, представитель Сибкрайисполкома в Москве В. С. Корнев, зам. председателя Сибкрайсовпрофа Г. В. Прокопьев [ГАНО, ф. Р-1, оп. 1, д. 1394а, л. 10–21].

Сравнение персонального состава президиума Сибкрайисполкома с составом Сибревкома свидетельствует о преемственности этих органов: 10 из 15 членов президиума ранее являлись членами ревкома. Однако, несмотря на это, по качественным параметрам президиум Сибкрайисполкома все же отличался от своего предшественника. Наиболее значительное отличие заключалось в том, что двое его членов — Сукач и Петин — являлись беспартийными. Таким образом, можно утверждать, что в декабре 1925 г. партийно-советская элита Сибири утратила однородность по партийному признаку. Из входивших в нее 30 человек трое вступили в большевистскую партию до Первой русской революции, 14 человек — в 1905–1916 гг., 11 человек — в 1917–1920 гг. и двое являлись беспартийными.

На протяжении второй половины 1920-х гг. состав партийно-советской элиты Сибири обновлялся по меньшей мере шесть раз. Пленум краевого комитета ВКП(б) после каждой краевой партийной конференции (декабрь 1925 г., март 1927 г. и март 1929 г.) избирал бюро Сибкрайкома, а пленум краевого исполнительного комитета после каждого краевого съезда Советов (декабрь 1925 г., апрель 1927 г., апрель 1929 г.) — президиум Сибкрайисполкома.

Иногда между этими событиями представители партийно-советской элиты Сибири отзывались в распоряжение ЦК ВКП(б). Кадры, присланные из Центра им на смену, вводились в состав краевых органов, как правило, путем избрания на очередном пленуме или путем кооптации. В отдельных случаях решения принимались иными способами, нигде и никем не регламентированными. Например, 8 января 1926 г. бюро Сибкрайкома по предложению Косиора, сообщившего о своем отзыве в распоряжение ЦК, постановило на пост нового секретаря краевого комитета «выдвинуть кандидатуру» бывшего заведующего

орграспредотделом ЦК, члена РСДРП(б) с 1913 г. С. И. Сырцова и «проголосовать этот вопрос среди членов крайкома путем опроса» [ГАНО, ф. П-2, оп. 4, д. 7, л. 6].

В середине января 1926 г. был откомандирован в Москву Павлуновский [Там же, л. 43 об.]. На освободившуюся в результате этого должность Полпреда ОГПУ по Сибири Оргбюро ЦК назначило бывшего начальника Одесского губотдела ОГПУ, члена РСДРП(б) с 1913 г. Л. М. Заковского. 9 февраля 1926 г. бюро Сибкрайкома дало согласие на это назначение (что являлось ненужной и непредусмотренной формальностью), разрешив ему «присутствовать на заседаниях бюро крайкома» [Там же, л. 98]. Состоявшийся 6 марта 1926 г. пленум краевого комитета избрал Л. М. Заковского членом бюро [Там же, оп. 2, д. 124, л. 113]. В июне 1926 г. откомандированного в Омск Филатова сменил на посту секретаря Новосибирского окружкома ВКП(б) бывший секретарь Барабинского окружкома, член РСДРП(б) с марта 1917 г. П. В. Клоков, избранный вскоре после этого членом бюро Сибкрайкома [Там же, д. 125, л. 325].

В результате переизбрания, кооптации и других способов обновления партийно-советской элиты к началу апреля 1927 г. ее численность увеличилась незначительно — до 33 человек, но персональный состав при этом заметно изменился. Из числа членов и кандидатов в члены краевых органов, избранных в декабре 1925 г., свои позиции сохранили только 17 человек. Еще 16 были введены в бюро Сибкрайкома и в президиум Сибкрайисполкома с конца декабря 1925 по начало апреля 1927 г. Среди них, кроме Сырцова, Заковского и Клокова, были также зам. председателя Сибкрайисполкома И. М. Воронин, зам. уполномоченного Наркомата РКИ Я. М. Банкович, председатель Сибсельскосоюза М. И. Галунов, председатель Новосибирского окрисполкома И. Г. Зайцев, представитель Сибкрайисполкома в Москве Н. В. Камбалин, член секретариата Сибкрайкома Д. Я. Карпов, начальник политуправления войск СВО С. Н. Кожевников, уполномоченный Наркомата путей сообщения в Сибири Г. В. Подшивалин, уполномоченный Наркомата внутренней торговли И. И. Рещиков, заведующий Сибкрайфинотделом П. К. Сергиевский, председатель правления Сибкрайсоюза кооперативов Л. С. Стриковский, заведующий Сибкрайземуправлением И. Н. Харламов, председатель Сибкрайсовпрофа В. Ф. Шарангович [ГАНИИО, ф. 16, оп. 1, д. 166, л. 2; ГАНО, ф. Р-47, оп. 1, д. 549, л. 10–19].

Сравнение новых составов бюро Сибкрайкома и президиума Сибкрайисполкома с предшествующими свидетельствует, что набор должностей, занятие которых обеспечивало вхождение в партийно-советскую элиту Сибири, почти не менялся. Изменения происходили именно на персональном уровне за счет ротации кадров, эти должности занимавших.

Выявленная зависимость прослеживается и в последующие годы. Так, 6 марта 1929 г. в бюро Сибкрайкома, а 15 апреля 1929 г. — в президиум Сибкрайисполкома вновь были избраны руководители краевых советских, хозяйственных, военных органов и общественных организаций. Однако тех, кто принадлежал к партийно-советской элите Сибири весной 1927 г., среди них оказалось

не более трети. За прошедшие с того времени два года в краевую элиту вошли председатель правления Сибугля Я. К. Абрамов, заместитель председателя Сибирской краевой РКИ А. И. Бочков, уполномоченный Наркомата путей сообщения Я. К. Бунгш, заведующий Сибирским краевым отделом образования Н. В. Вихирев, ответственный инструктор Сибкрайкома В. Ю. Егер, председатель Сибирского краевого торгового управления А. Н. Злобин, председатель правления Сибторга М. Т. Зуев, заведующий орготделом Сибкрайисполкома Б. А. Каврайский, заведующий отделом по работе в деревне Сибкрайкома ВКП(б) В. А. Каврайский, председатель Сибколхозсоюза В. Ф. Комаров, заведующий орграспредотделом Сибкрайкома ВКП(б) В. Н. Кузнецов, командующий войсками СВО Н. В. Куйбышев, первый секретарь Сибкрайкома ВЛКСМ А. Я. Курганов, зам. председателя Сибкрайсовпрофа Н. Д. Леушин, председатель Сибирской краевой контрольной комиссии ВКП(б) Ф. Ф. Ляксуткин, заведующий Сибкрайфинотделом И. Б. Маймин, начальник политуправления войск СВО А. И. Мезис, заведующий Сибирским краевым отделом труда А. Н. Соловьев, зам. председателя Сибкрайсовнархоза В. Ф. Тиунов, заведующая Сибирским отделом социального обеспечения А. И. Трусевич, заведующая женотделом Сибкрайкома ВКП(б) О. И. Чазова. Таким образом, к середине апреля 1929 г. общая численность краевой партийно-советской элиты Сибири насчитывала 32 человека.

Очередным изменениям ее состав подвергся в июне 1929 г. Начало им положило назначение Сырцова председателем Совнаркома РСФСР. Вместо него ЦК рекомендовал избрать первым секретарем Сибкрайкома Эйхе, являвшегося к тому времени, наверное, единственным в Сибири партийным работником, на протяжении почти семи лет занимавшим ответственные должности краевого уровня. Для замещения освободившегося в результате этого поста председателя Сибкрайисполкома ЦК ВКП(б) командировал в Сибирь члена РСДРП(б) с 1915 г. С. М. Кузнецова, что предопределило его введение в состав не только президиума Сибкрайисполкома, но и бюро Сибкрайкома. Одновременно с Кузнецовым членом президиума Сибкрайисполкома стал председатель Сибкрайплана Я. К. Яглом. В начале ноября 1929 г. вместо В. Ф. Комарова, показательно снятого со всех постов за приписанный ему «правый уклон», председателем Сибколхозсоюза был назначен Н. А. Базовский, сразу же после этого избранный членом бюро крайкома. В конечном счете, к декабрю 1929 г. численность партийно-советской элиты Сибири достигла 34 человек.

Тем самым, можно утверждать, что за десять лет численность партийно-советской элиты Сибири заметно выросла. Однако если в начале 1920-х гг. динамика роста была стремительной, то приблизительно с 1923 г. она замедлилась. Судя по всему, основной причиной этого стало изменение принципов формирования состава руководящих партийных и советских органов края. В условиях функционирования номенклатурной системы учета и распределения кадров решающее значение стали играть не революционные заслуги и не партийный стаж, а занимаемая должность. Поэтому, когда круг должностей, нахождение

на которых само по себе являлось условием членства в краевых руководящих органах, в основном определился, необходимость в увеличении численности последних отпала. С этого времени обновление партийно-советской элиты происходило главным образом за счет ротации кадров, возглавлявших краевые партийные, советские, хозяйственные и военные органы или общественные организации. Эта ротация, несмотря на произошедшую в 1920-е гг. трансформацию системы подбора и распределения кадров, на протяжении всего десятилетия неизменно жестко контролировалась Центром. ЦК РКП(б)–ВКП(б) назначал, рекомендовал, утверждал или отзывал работников, в большинстве случаев никак не аргументируя свои решения. Возможность краевой партийно-советской элиты официально или неофициально влиять на принятие данных решений оставалась крайне ограниченной.

Благодаря постоянному обновлению персонального состава с января 1920 г. по декабрь 1929 г. в партийно-советскую элиту входили в общей сложности 117 человек. Это на 57 человек меньше, чем могло быть, если бы одни и те же люди на протяжении исследуемого периода не являлись членами нескольких областных / краевых органов. Такое совмещение, с одной стороны, ограничивало численность элиты, а с другой — увеличивало шансы отдельных ее представителей на дальнейший карьерный рост. Для некоторых из них занятие сразу нескольких номенклатурных должностей краевого уровня стало залогом успешного продвижения по службе. Остальные, войдя в состав партийно-советской элиты Сибири, достигли вершины своей политической карьеры.

Источники

ГАНИИО — Государственный архив новейшей истории Иркутской области. Ф. 16. Оп. 1. Д. 166.

ГАНО — Государственный архив Новосибирской области. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 1; Оп. 2. Д. 124, 125; Оп. 4. Д. 7; Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 1394а; Ф. Р-47. Оп. 1. Д. 549.

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации. Ф. 533. Оп. 2. Д. 2142; Оп. 3. Д. 2754; Ф. Р-1235. Оп. 8. Д. 171.

Двенадцатый съезд РКП(б): стенографический отчет. М. : Политиздат, 1968.

РГАСПИ — Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 17. Оп. 3. Д. 523.

Сибирское бюро ЦК РКП(б). 1918–1920 гг.: сборник документов. Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. Ч. I.

Исследования

Бадовский Д. В. Трансформация политической элиты в России — от «организации профессиональных революционеров» к «партии власти» // Полис. 1994. № 6. С. 42–59.

Березкина О. С. Революционная элита переходного периода (1921–1927) // Свободная мысль. 1997. № 11. С. 56–79.

Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М. : Интеллект, 1998.

Гимпельсон Е. Г. Советские управленцы 1917–1920 гг. М. : ИРИ РАН, 1998.

Головинова Ю. В. Партийно-административная элита СССР в отечественной историографии рубежа XX–XXI вв. // Изв. Алт. гос. ун-та. 2011. № 4/2. С. 74–77.

Кислицын С. А. Большевистская политическая элита 20–30-х гг.: Личность и власть : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. Ростов н/Д, 1994.

Кислицын С. А. Контрэлиты, оппозиции и фронды в политической истории России. М. : URSS, 2011.

Мамсиров Х. Б. Проблемы становления советской административно-политической элиты в национальных автономиях Северного Кавказа в 1920-х гг. // Изв. Самар. науч. центра РАН. 2010. Т. 12. № 6 (38). С. 70–77.

Морозова Т. И. Бюро Сибирского краевого комитета РКП(б)–ВКП(б): компетенция, состав, формы и методы деятельности (май 1924 — август 1930 г.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2013а. № 1. С. 45–48.

Морозова Т. И. Сибирский краевой комитет РКП(б)–ВКП(б): численность и кадровый состав (май 1924 — август 1930 г.) // Вестн. НГУ. Сер. : История, филология. 2013б. Т. 12. Вып. 1. С. 104–108.

Морозова Т. И. Социокультурные и политические характеристики членов Сибирского областного бюро РКП(б) — Сибирского бюро ЦК РКП(б) (3 декабря 1919 — 11 мая 1924 г.) // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых / отв. ред. Т. И. Морозова. Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2018. С. 152–169.

Мохов В. П. Элитизм и история: проблема изучения советских региональных элит. Пермь : Перм. гос. техн. ун-т, 2000.

Осипова Е. В. Социологическая система Вильфредо Парето // История буржуазной социологии XIX — начала XX в. / отв. ред. И.С. Кон. М. : Наука, 1979. С. 309–331.

Ракитин А. А., Саранцев Н. В. Элита РКП(б)–ВКП(б) Саратовского региона: 20–30-е гг. XX века: историко-социологические аспекты. Саратов : СГСЭУ, 2009.

Саранцев Н. В. Большевистская властвующая элита: возникновение, становление и трансформация. 1900–1939: историко-социологические аспекты. Саратов : СГСЭУ, 2001.

Саранцев Н. В., Кирякова О. Г. Большевистская революционная элита: подполье, власть, гибель: историко-социологические аспекты. Саратов : СГСЭУ, 2007.

Чистиков А. Н. Партийно-государственная бюрократия Северо-Запада Советской России 1917–1920-х годов. СПб. : Европейский дом, 2007.

Шишкин В. И. Персональный состав высших советских органов власти и управления в Сибири (1919–1930) // Историческая энциклопедия Сибири / гл. ред. В. А. Ламин. Новосибирск : Ист. наследие Сибири, 2009. Т. 3. С. 685–689.

Шишкин В. И. Сибирский революционный комитет в советской политической системе периода гражданской войны // Урал. ист. вестн. 2019. № 2 (63). С. 87–95.

References

Badovsky, D. V. (1994). Transformatsiia politicheskoi elity v Rossii — ot “organizatsii professional’nykh revoliutsionerov” k “partii vlasti” [The Transformation of the Political Elite in Russia — from the “Organisation of Professional Revolutionaries” to the “Party of Power”]. *Polis*, 6, 42–59. (In Russian)

Berezkina, O. S. (1997). Revoliutsionnaia elita perekhodnogo perioda (1921–1927) [The Revolutionary Elite of the Transition Period (1921–1927)]. *Svobodnaia mysl’*, 11, 56–79. (In Russian)

Chistikov, A. N. (2007). *Partiino-gosudarstvennaia biurokratiia Severo-Zapada Sovetskoi Rossii 1917–1920-kh godov* [Party and State Bureaucracy of the North-West of Soviet Russia in 1917–1920]. St Petersburg: Evropeiskii dom. (In Russian)

Gaman-Golutvina, O. V. (1998). *Politicheskie elity Rossii. Vekhi istoricheskoi evoliutsii* [Political Elites of Russia. The Landmarks of Historical Evolution]. Moscow: Intellekt. (In Russian)

Gimpelson, E. G. (1998). *Sovetskie upravlentsy 1917–1920 gg.* [Soviet Administrators of 1917–1920]. Moscow: IRI RAN Publ. (In Russian)

Golovinova, Yu. V. (2011). *Partiino-administrativnaia elita SSSR v otechestvennoi istoriografii rubezha XX–XXI vv.* [Party and Administrative Elite of the USSR in National Historiography at the Turn of the 21st Century]. *Izvestiia Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta*, 4/2, 74–77. (In Russian)

Kislitsyn, S. A. (1994). *Bol'shevistskaia politicheskaia elita 20–30-kh gg.: Lichnost' i vlast'* [Bolshevist Political Elite of the 1920–30s: Personality and Power] (habilitation dissertation). Rostov-on-Don. (In Russian)

Kislitsyn, S. A. (2011). *Kontrelity, oppozitsii i frondy v politicheskoi istorii Rossii* [Counter-elites, Opposition and Fronds in the Political History of Russia]. Moscow: URSS. (In Russian)

Mamsirov, Kh. B. (2010). Problemy stanovleniia sovetskoi administrativno-politicheskoi elity v natsional'nykh avtonomiiakh Severnogo Kavkaza v 1920 kh gg. [Problems of the Formation of the Soviet Administrative and Political Elite in the National Autonomies of the Northern Caucasus in the 1920s]. *Izvestiia Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk, 12*, 6 (38), 70–77. (In Russian)

Mokhov, V. P. (2000). *Elitizm i istoriia: problema izucheniia sovetskikh regional'nykh elit* [Elitism and History: The Problem of Studying Soviet Regional Elites]. Perm: Perm State Technical University. (In Russian)

Morozova, T. I. (2013a). Biuro Sibirskogo kraevogo komiteta RKP(b)–VKP(b): kompetentsiia, sostav, formy i metody deiatel'nosti (mai 1924 — avgust 1930 g.) [The Bureau of the Siberian Regional Committee of the RCP(b) — AUCP(b) (Sibkraikom): Competence, Structure, Forms and Methods of Activities (May 1924 — August 1930)]. *Gumanitarnye nauki v Sibiri*, 1, 45–48. (In Russian)

Morozova, T. I. (2013b). Sibirskii kraevoi komitet RKP(b)–VKP(b): chislennost' i kadrovyi sostav (mai 1924 — avgust 1930 g.) [The Siberian Regional Committee of RCP(b)–AUCP(b): Number and Personal Composition (May 1924 — August 1930)]. *Vestnik NSU. Seriia: Istoriia, filologiia, 12*, 1, 104–108. (In Russian)

Morozova, T. I. (2018). Sotsiokul'turnye i politicheskie kharakteristiki chlenov Sibirskogo oblastnogo biuro RKP(b) — Sibirskogo biuro TsK RKP(b) (3 dekabria 1919 — 11 maia 1924 g.) [Sociocultural and Political Characteristics of the Members of the Siberian Regional Bureau of RCP(b) — Siberian Bureau of CC of RCP(b) (December 3, 1919 — May 11, 1924)]. In T. I. Morozova (Ed.), *Aktual'nye problemy istoricheskikh issledovanii: vzgliad molodykh uchenykh* [Relevant Issues of Historical Research: A View of Young Scholars] (pp. 152–169). Novosibirsk: IPTs NGU. (In Russian)

Osipova, E. V. (1979). Sotsiologicheskaia sistema Vilfredo Pareto [The Sociological System of Vilfredo Pareto]. In I. S. Kon (Ed.), *Istoriia burzhuaznoi sotsiologii XIX — nachala XX v.* [History of Bourgeois Sociology of the 19th — Early 20th Centuries] (pp. 309–331). Moscow: Nauka. (In Russian)

Rakitin, A. A., & Sarantsev, N. V. (2009). *Elita RKP(b)–VKP(b) Saratovskogo regiona: 20–30-e gg. XX veka: istoriko-sotsiologicheskie aspekty* [The Elite of RCP(b) — AUCP(b) of Saratov Region: 1920s–30s: Historical and Sociological Aspects]. Saratov: SGSEU. (In Russian)

Sarantsev, N. V. (2001). *Bol'shevistskaia vlastvuiushchaia elita: vozniknovenie, stanovlenie i transformatsiia. 1900–1939: istoriko-sotsiologicheskie aspekty* [Bolshevist Ruling Elite: Origin, Formation and Transformation. 1900–1939: Historical and Sociological Aspects]. Saratov: SGSEU. (In Russian)

Sarantsev, N. V., & Kiryakova, O. G. (2007). *Bol'shevistskaia revoliutsionnaia elita: podpol'e, vlast', gibel': istoriko-sotsiologicheskie aspekty* [Bolshevist Revolutionary Elite: Underground, Power, Destruction: Historical and Sociological Aspects]. Saratov: SGSEU. (In Russian)

Shishkin, V. I. (2009). Personal'nyi sostav vysshikh sovetskikh organov vlasti i upravleniia v Sibiri (1919–1930) [The Personal Composition of Highest Authorities and Management in Siberia (1919–1930)]. In V. A. Lamin (Ed.), *Istoricheskaia entsiklopediia Sibiri* [Historical Encyclopaedia of Siberia] (Vol. 3, pp. 685–689). Novosibirsk: Istoricheskoe nasledie Sibiri. (In Russian)

Shishkin, V. I. (2019). Sibirskii revolyutsionnyi komitet v sovetskoi politicheskoi sisteme perioda grazhdanskoi voiny [Siberian Revolutionary Committee in the Soviet Political System of the Civil War Period]. *Ural'skii istoricheskii vestnik,* 2 (63), 87–95. (In Russian)

Морозова Татьяна Игоревна
кандидат исторических наук,
младший научный сотрудник
сектора истории общественно-
политического развития
Институт истории СО РАН
630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8
E-mail: mti137@yandex.ru

Morozova, Tatiana Igorevna
PhD (History), Junior Research Fellow
Section of the History of Social and Political
Development
Institute of History SB RAS
8, Nikolaev Str., 630090 Novosibirsk, Russia
Email: mti137@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-8601-1290
Researcher ID: M-8817-2016
Scopus ID: 57194705184

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.057
УДК 316.343.722 + 323.332 +
+ 331.105.415(470.5)

С. В. Воробьев
Институт истории и археологии УрО РАН
Екатеринбург, Россия

СОЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЕНИЯ РАБОЧИХ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕРЕДИНЕ 1920-х гг.: (по информационным сводкам ОГПУ)

В статье на основании информационных сводок ОГПУ рассматриваются социальные настроения рабочих Уральской области и их проявления в середине 1920-х гг. в условиях нэпа. Показаны основные причины негативных настроений рабочих (высокие нормы выработки, низкая зарплата, обеспечение спецодеждой, жилищный вопрос). Важными факторами недовольства рабочих являлись напряженные взаимоотношения с заводской администрацией, спровоцированные ее грубостью, и бездействие профсоюзных организаций, которые часто приводили к забастовкам. В этот период наблюдается неуклонный рост числа забастовок в Уральской области, в 1926 г. число забастовок выросло в три раза по сравнению с 1925 г. Значительное число конфликтов, которые приводили к забастовкам, имело экономическую основу — они возникали из-за невыполнения администрацией своих обязательств. Недовольство рабочих администрацией заводов и спецами подогревало их вызывающее, демонстративное поведение и злоупотребления служебным положением. Рабочие сравнивали современную ситуацию на заводах с царскими временами. В результате в среде промышленных рабочих Урала начинали возникать политическое недовольство, антисоветские и антикоммунистические настроения.

Таким образом, социально-экономическое положение уральских рабочих слабо коррелировало с официальным статусом рабочего класса как класса-гегемона в Советской России. В то же время большинство рабочих лояльно относилось к советской власти, которую считали «своей». Рабочих в большей степени волновали экономические аспекты их повседневного существования. Социальные волнения могли приобрести более-менее широкий размах в случае ухудшения экономической обстановки в стране, но вряд ли могли перерасти в политические волнения.

Ключевые слова: рабочие; забастовки; социальные настроения; заводская администрация; профсоюзы; Уральская область; нэп; информационные сводки; ОГПУ.

Цитирование: *Воробьев С. В.* Социальные настроения рабочих Уральской области в середине 1920-х гг. (по информационным сводкам ОГПУ). DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.057 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 217–234.

Поступила в редакцию 11.03.2019
Принята к печати 17.07.2019

© Воробьев С. В., 2019

(cc) BY-NC

Sergey V. Vorobyev
Institute of History and Archaeology UB RAS
Yekaterinburg, Russia

THE SOCIAL SENTIMENT OF WORKERS OF URAL REGION IN THE MID-1920s (with Reference to Information Bulletins of JSPD)

Referring to information reports of the Joint State Political Directorate (*Rus.* OGPU), this article examines the social sentiments of workers of Ural Region and their causes and manifestations in the mid-1920s in the conditions of the New Economic Policy (NEP). The paper illustrates the main causes of negative sentiments among workers (high production rates, low wages, protective clothing, housing issues, etc.). Among important factors for the workers' discontent were their tense relations with the factory administration provoked by its rudeness, as well as the inaction of trade union organisations, which often led to strikes. The period faced a steady increase in the number of strikes in Ural Region. In 1926, the number of strikes tripled compared to 1925. A large number of conflicts that led to strikes had an economic basis, i.e. they arose from failure of the administration to fulfil its obligations. The defiant, demonstrative behaviour of the administration of factories and specialists and their malpractice fueled the workers' dissatisfaction. Workers compared the situation in the factories with the times of the tsar. As a result, political discontent and anti-Soviet and anti-Communist moods began to arise among industrial workers of the Urals.

Thus, the social and economic situation of workers had little to do with the official status of the working class as a hegemonic class in Soviet Russia. At the same time, most workers were loyal to the Soviet government which they considered "their own". The workers were more concerned about the economic aspects of their daily existence. Social unrest could become more widespread in case of deterioration of economic situation in the country but could hardly develop into political unrest.

K e y w o r d s: workers; strikes; social sentiments; factory administration; unionists; Ural region; NEP; information bulletins; JSPD; OGPU.

C i t a t i o n: Vorobyev, S. V. (2019). Sotsial'nye nastroeniia rabochikh Ural'skoi oblasti v seredine 1920-kh gg. (po informatsionnym svodkam OGPU) [The Social Sentiments of Workers of Ural Region in the Mid-1920s (with Reference to Information Bulletins of JSPD)]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 217–234. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.057

Submitted on 11 March, 2019
Accepted on 17 July, 2019

В отечественной историографии проблема социальных настроений в значительной степени находилась в сфере интересов социологов и социальных психологов [Парыгин, 1966; 1999; Петровский, Ярошевский]. Профессиональные советские историки этой проблематикой не занимались. Исключением стала книга известного историка Б. Ф. Поршнева, в которой он отмечал, что

«психология человека социальна», поэтому необходимо учитывать социальные настроения при изучении исторических событий и процессов [Поршнев]. Правда, рассматривались они через призму марксистской методологии.

В условиях краха официальной идеологии и начала «архивной революции» российские историки стали обращаться к этой проблематике в статьях и монографиях, используя новые методологические подходы и источники, в том числе для изучения периода нэпа. А. Я. Лившин и И. Б. Орлов в рамках исторической антропологии рассматривали социальные настроения различных социальных групп в послереволюционное десятилетие на основании такого источника, как «письма во власть» [Лившин, Орлов]. В своей монографии А. Я. Лившин расширил хронологические рамки исследования, показав «многообразные и многослойные» общественные настроения периода 1917–1932 гг. в отношении центральной и региональной властей, социальных и политических процессов, происходивших в обществе [Лившин]. О. В. Великанова проанализировала массовые настроения в отношении советских мобилизационных кампаний 1920-х гг. [Великанова]. Общественные настроения населения Центрально-промышленного региона России и их проявление в протестной форме показал Н. И. Лозбенев [2012; 2013]. Социальные настроения рабочих, крестьян и служащих в период нэпа на уральском материале рассматривались в работах С. В. Воробьева [2008; 2017].

Появляются публикации, в которых изучаются социальные настроения разных социальных групп. К. Б. Литвак для анализа социального настроения крестьянства 1920-х гг. использовал метод контент-анализа [Литвак]. Также эта проблема рассматривалась в работах других исследователей, в том числе на региональном материале [Ибрагимова; Мельников; Миронова; Ходяков; Хришкевич]. С. В. Яров проанализировал общественные настроения петроградских рабочих в годы революции, Гражданской войны и начального периода нэпа [Яров]. Радикальные проявления общественных настроений в рабочей среде в период нэпа также оказались в сфере внимания историков [Гафурова; Камардин; Ульянова, Офицерова; Чураков]. Социальные настроения рабочих и крестьян Южного Урала в рамках изучения социальной политики государства в годы нэпа рассматривались в монографии В. А. Надеждиной [2005]. Настроения уральских рабочих этого периода нашли отражение в работах М. А. Фельдмана и С. П. Постникова [Постников, Фельдман; Фельдман, 2003]. Однако этот вопрос на материалах Урала остается еще недостаточно изученным.

Цель статьи — показать основные причины, влиявшие на социальные настроения уральских рабочих и их проявление в период восстановления промышленности в условиях нэпа. По определению историка Е. Ю. Зубковой, социальные настроения «представляют собой сложный комплекс коллективных чувств, эмоций и суждений, отражающих текущие и перспективные ожидания, требования и претензии людей, а также представления о возможности их реализации в конкретной исторической ситуации» [цит. по: Лившин, с. 12]. Исследование основано на анализе архивных документов — информационных сводок ОГПУ.

Они являются одним из наиболее ценных источников с точки зрения полноты и достоверности содержащихся в них сведений о событиях, происходивших в стране в 1920–1930-е гг. Эти материалы предназначались не для публичного ознакомления, а для служебного пользования (шли под грифом «Совершенно секретно»). В директивных документах постоянно указывалось на необходимость критической оценки включаемых в информационные сводки фактов, сбалансированности их отбора [Источниковедение...; Мидиненко]. В то же время к сводкам следует относиться критически, учитывая, что в них, во-первых, отражались в первую очередь социальные настроения наиболее активной части общества, часто настроенной критически, а не «безмолвствующего большинства», которое относилось к власти «нормально». Хотя не обязательно это означало с его стороны одобрение или поддержку, это могли быть нейтральная позиция или конформизм. Во-вторых, по мнению некоторых исследователей, в сводках могла проявляться определенная ангажированность их составителей, тенденциозность в подборе материала, что было обусловлено «уровнем осведомленности или уровнем подготовки автора, возможно, личными пристрастиями» [Килин, с. 78].

В середине 1920-х гг. экономическая ситуация в стране стабилизировалась по сравнению с периодом «военного коммунизма» благодаря переходу к новой экономической политике. Допущение в экономику рыночных механизмов хозяйствования позволило восстановить товарно-денежные отношения и стимулировало предпринимательскую инициативу на низовом и среднем уровнях, что позволило в значительной мере обеспечить текущие потребности населения страны и повысить уровень его благосостояния. Однако у нэпа была и своя оборотная сторона, он имел свои противоречия, по-разному повлиял на различные социально-экономические группы советского общества. Соответственно, реакция на нэп и оценка действий власти в этих условиях у представителей различных слоев населения могла быть разной.

Социальные настроения в советском обществе 1920-х гг. внимательно отслеживали органы государственной безопасности (ОГПУ), используя собственные специальные каналы сбора информации. Полученные данные тщательно анализировались, составлялись ежемесячные информационные сводки для партийных и советских структур власти, в которых отражались настроения различных социальных групп, причины, влиявшие на их настроения, и тенденции этих настроений. Значительное внимание в информационных сводках ОГПУ уделялось настроениям рабочих, что не удивительно, ведь рабочие считались основным классом советского государства, были главной социальной базой коммунистической партии. «Государство рассматривало государственную промышленность как свою экономическую и социальную (в лице рабочего класса) опору» [Суворова, с. 94]. Поэтому от настроений рабочих во многом зависела стабильность советского политического режима.

На Урале в 1925 г. составители информационных сводок в качестве основных причин негативного социального настроения рабочих (как промышленных, так

и сезонных) указывали следующие: вопросы зарплаты, нормы выработки, обеспечение спецодеждой, жилищный вопрос. Важными факторами недовольства рабочих являлись ненормальные, напряженные взаимоотношения с заводской администрацией и бездействие профсоюзных организаций. Сотрудники ОГПУ отмечали:

> Большую часть случаев возникновения забастовок и волынок нужно отнести на счет вины администрации хозяйственных учреждений и профсоюзных организаций, которые показывали полную свою несостоятельность и нечуткость в этом вопросе [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 40].

Середина 1920-х гг. была благоприятной для развития промышленности. Наблюдался рост промышленного производства и сбыта продукции. «Уже в 1925/26 году тяжелая промышленность по объемным показателям сначала догоняет, а затем и опережает динамику роста группы “Б”. В итоге, в 1926 году промышленность СССР в целом перешагнула уровень выпуска продукции 1913 года» [Белоусов, с. 320]. В конце восстановительного периода базовая отрасль Урала — металлургическая промышленность — «достигла 92,2 % довоенного уровня. <...> Выпуск таких ценных изделий, как, например, сортовое железо, увеличился с 1923/24 по 1925/26 г. в 3 раза, посуды — в 5 раз, кос — в 6 раз, гвоздей — в 2 раза» [Фельдман, 1989, с. 89]. По планам Уралпромбюро на 1922–1927 гг. «намечалось восстановить крупную промышленность в течение намеченного срока на 50 %, а в действительности уже на 1924/25 г. она достигла 61 % от уровня 1913 г.» [Гараев, с. 178].

Такая благоприятная конъюнктура должна была позитивно повлиять на материальное положение рабочих. Однако, в информационных сводках указывается на неуклонный рост числа забастовок в Уральской области в этот период. Забастовки были формой проявления негативных социальных настроений рабочих. Известный социолог Б. Д. Парыгин отмечает, что социальное настроение сначала может носить скрытый характер, «но со временем проявляется и выливается в действие, сказывается на поведении различных социальных групп общества. Групповое, особенно массовое, настроение, в большей мере, чем индивидуальное, способно к быстрому перерастанию в действие» [Парыгин, 1999, с. 316].

В 1924 г. забастовок и волнений было 17, из них «12 забастовок по причинам несвоевременной выдачи зарплаты, вследствие выдачи зарплаты натурою и, наконец, из-за снижения зарплаты». Остальные пять забастовок рабочих были связаны с неудовлетворительными условиями труда [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 40]. Но уже в 1925 г. наблюдается рост числа забастовок и волнений по Уральской области до 27. Большинство забастовок (17) произошло из-за проблем с заработной платой, остальные были вызваны плохими условиями труда [Там же]. 1926 год был отмечен всплеском забастовочных настроений и забастовок среди уральских рабочих: «За 7 месяцев тек[ущего] г[ода] мы имеем забастовок и конфликтов, непосредственно повлекших за собою прекращение работ — 53,

т. е. почти в три раза больше, нежели за целый 1925 г.» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 125]. Причины забастовок и конфликтов были те же, что и в предыдущие годы — «преимущественно вопросы зарплаты (низкий заработок, снижение расценок, увеличение норм, задержка зарплаты и т. д.)» [Там же]. Как отмечает М. А. Фельдман, «дискуссии в рабочей среде Урала характеризовались преобладанием экономических требований» [Фельдман, 2003, с. 25].

Таким образом, значительное число конфликтов, которые приводили к забастовкам, имело экономическую основу — они возникали «на почве невыполнения администрацией возложенных на нее коллективными или трудовыми договорами обязательств» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 126]. Заводская администрация могла в одностороннем порядке изменить условия труда рабочих: увеличить нормы выработки и снизить расценки за выполняемые работы, что естественно вызывало недовольство со стороны рабочих.

В условиях нэпа, когда руководство предприятий в условиях проводившейся государством экономической политики должно было думать о проблеме их экономической эффективности, снижении издержек производства, оно старалось решить эти вопросы за счет рабочих. «В промышленности стали проводиться кампании по поднятию производительности труда, которые в большей мере шли через снижение расценок и повышения норм выработки, а не через рационализацию производства» [Суворова, с. 123–124]. В результате этих мероприятий «увеличение выработки в расчете на одного рабочего в промышленности опережало динамику роста его среднемесячной зарплаты и в 1926 году превысило уровень производительности довоенного 1913 года» [Белоусов, с. 315]. Такие действия администрации вели к ухудшению условий труда, материального положения рабочих, к усилению их эксплуатации за счет повышения норм выработки и снижения расценок, что естественно вызывало в рабочей среде законный протест. Как отмечает Д. О. Чураков, виноваты в росте протестных настроений были не рабочие, «а руководители фабрик и заводов, поскольку все тяготы ускоренной модернизации стремились переложить на рабочих» [Чураков, с. 253].

Ответом администрации на протесты были угрозы, грубость, хамство в отношении «классового гегемона». В информационных сводках ОГПУ отмечаются многочисленные факты грубости со стороны заводской администрации и спецов, говорится о бесчисленных сообщениях «об оскорблении рабочих словами вроде “пошел вон”, “лентяй”, “болван” и т. п.» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 144]. В результате «вопрос о взаимоотношениях рабочих с администрацией и спецами — самый больной из всех вопросов в области рабочего быта и производства. По этому вопросу мы имеем наибольшее количество отрицательных фактов (439) грубого, пренебрежительного отношения администрации и спецов к рабочим, доходящего во многих случаях не только до словесного оскорбления, но и до мордобития» [Там же, л. 42]. Так, заведующий Ишимским пивзаводом избил рабочего. «Директор Сарсинского стеклозавода вытолкал рабочего из конторы и столкнул его с лестницы так, что тот расшиб себе голову о мостовую» [Там же, л. 144–145].

Таким образом, как отмечают исследователи, «в новой “социалистической” организации производства и трудовых отношений легко проследить черты, унаследованные от прошлого» [Ульянова, Офицерова, с. 104]. В отношении рабочих со стороны хозяйственных руководителей начинают воспроизводиться дореволюционные управленческие практики: «Грубость спецов и администрации к рабочим, оставаясь безнаказанной, переходит в обычное явление на предприятиях» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 42]. «Обругать рабочего болваном, мерзавцем и пообещать выгнать из завода вон, ничего не составляет для техника Симского горного округа» [Там же]. В ноябре 1925 г. не вышли на работу 200 горнорабочих Челябинских копей, причиной конфликта стало грубое обращение с рабочими зав. разрезом Курочкина и его помощника Гольца, члена ВКП(б), а также «высокие нормы выработки и низкие расценки» [Там же, л. 41].

Недовольство рабочих администрацией заводов и спецами подогревало их вызывающее, демонстративное поведение, связанное с созданием для себя комфортных, благоприятных условий существования, на фоне тяжелого материального положения уральских рабочих. По свидетельству сотрудников ОГПУ властями периодически проводились кампании по борьбе со злоупотреблениями и излишествами хозяйственных руководителей, такими как излишние накладные расходы, ненужные штаты для родственников и знакомых, необязательные выезды и прислуга, оборудование рабочих кабинетов и квартир, дутые командировки и счета [Там же, л. 51]. Таким образом, средства предприятия их руководители использовали для удовлетворения собственных потребностей. В информационных сводках указывалось: «Все злоупотребления в промышленности в большинстве случаев носят характер устройства личных дел за счет предприятия (сюда относятся устройство для себя квартир, закупка мебели и т. п.). Неизбежными спутниками всяких злоупотреблений являются излишества (выезды [лошадей], телефоны)» [Там же, л. 52]. Историки указывают на привилегированное положение заводской администрации и инженерно-технического персонала в период нэпа: «Верхушечные слои заводского сообщества (директорат, инженерно-технические работники, квалифицированные служащие, мастера), несмотря на все социальные перемены, смогли сохранить свой статус, положение в фабричной иерархии (в том числе и в оплате труда)» [Ульянова, Офицерова, с. 119].

Однако принимавшиеся меры борьбы со злоупотреблениями хозяйственников носили паллиативный характер, были мало эффективными и эти негативные явления не удавалось купировать, что вызывало озлобление и социальную ненависть со стороны рабочих и низших служащих уральских предприятий, так как на них денег уже не оставалось.

В информационных сводках приводятся конкретные примеры подобного вызывающего поведения заводских властей. Так, на ремонт квартиры технического руководителя Воткинского завода Лузина заводоуправлением было потрачено 1308 руб., а на приобретение мебели для квартиры еще 2900 руб. Кроме этого он потребовал от механического цеха изготовить для него разную

посуду. Ремонт квартиры заведующего мартеновским цехом Варончева обошелся бюджету завода в 4075 руб. Деревообделочный цех завода был загружен работой по производству и ремонту мебели для заводских специалистов [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 51]. Да и директор завода Безонсов, являвшийся членом ВКП(б), не мог отказать себе в использовании средств завода для решения своих жилищных проблем [Там же].

В то же время квартирный вопрос на уральских предприятиях стоял крайне остро. Многие промышленные рабочие Уральской области, особенно работавшие на рудниках, копях или приисках, находились в крайне стесненных жилищных условиях. Например, по данным информационных сводок «жилищные условия рабочих Покровского рудника Надеждинского комбината невозможны. В казармах теснота, грязь, санитарный надзор отсутствует. Рабочие страшно недовольны и говорят: "Мы боролись за лучшее, а живем хуже скотины"» [Там же, л. 48]. На предприятии «Ураласбест» вновь выстроенная для рабочих казарма на 300 человек оказалась более похожей на конюшню — окна были сделаны очень маленького размера, из-за чего в казарме всё время царил полумрак. По этому поводу рабочие говорили: «За то, что мы завоевали свободу, начальство нам устроило конюшню» [Там же, л. 49]. При этом новое хорошее жилье предоставлялось преимущественно представителям заводской администрации и приближенным к ней лицам (спецам, служащим), а рабочие получали жилье по остаточному принципу. «Недовольства рабочих вызываются еще и тем обстоятельством, что при распределении имеющихся квартир лучшие в первую очередь предоставляются спецам и служащим» [Там же].

Поведение заводских руководителей мало чем отличалось от поведения бывших хозяев завода. Как отмечается в информационных сводках, «нередки сообщения о том, что спец или администратор увольняет без причин и принимает на работу по своему усмотрению, при этом на возражения увольняемых заявляя: "Я хозяин, что хочу, то и сделаю"» [Там же, л. 144]. Заведующий литейным цехом Каслинского завода Тепляков имел двух выездных лошадей, на которых любил разъезжать по заводу и пьянствовать, что вызывало недовольство рабочих [Там же, л. 52]. Представители ОГПУ делают вывод о том, что «пьянство, излишества, злоупотребления администрации и спецов окончательно подрывают доверие рабочих к ним, в результате чего все мероприятия со стороны спецов и администрации не встречают поддержки у рабочих» [Там же].

Подобное поведение заводского руководства и спецов будило в рабочих чувство социальной ненависти, желание расправиться с ним самыми радикальными методами, далекими от законности: «Таких администраторов давно бы надо к ногтю, жаль, что не 1918 год, а то бы всадили штык в пузо» [Там же]. Иногда рабочие, защищая себя, переходили от слов к делу, применяя насильственные действия в отношении заводской администрации. Так, рабочие снарядного цеха Златоустовского завода за удар кулаком по лицу токаря цеха мастером Ивановым «со свистом и руганью» выкатили его из цеха и «грозили в случае оставления этого поступка без наказания самосудом» [Там же, л. 42–43].

В ходе конфликтов заводская администрация прибегала к угрозам в отношении рабочих, пытаясь прекратить забастовки. На Златоустовском металлургическом заводе директор завода говорил бастующим рабочим: «Саботажники, эсеры, меньшевики, анархисты, всех зачинщиков передам в ГПУ» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 127]. Директор Воткинского сельскохозяйственного завода также «угрожал инициаторов передать ГПУ» [Там же, л. 128]. Когда на Верхне-Салдинском заводе на почве невыполнения администрацией возложенных на нее трудовым договор обязательств возник конфликт с лесорубами, то администрация для усмирения рабочих вызвала отряд милиционеров, «что повлекло к более обостренному положению» [Там же, л. 126].

Не случайно поэтому в высказываниях уральских рабочих рефреном идет сравнение современной ситуации на заводах с царскими временами. Выводов они делают два, но оба имеют негативную окраску: сейчас или так же, как тогда, или стало хуже. Инициатор забастовки на Златоустовском заводе в своем выступлении перед рабочими делал следующий вывод: «Наши современные хозяйственники нисколько не отличаются от прежних царских хозяйственников, так же дерут с рабочего шкуру» [Там же, л. 135]. Организатор забастовки на Юго-Камском заводе отмечал: «У нас отнимают то, что мы завоевали потом и кровью. Рабочих обижают, т. к. они неграмотны. В царское время хуже не было» [Там же, л. 134] . «Мастер доменного цеха Сысертского завода (Гормет) Сабуров (член ВКП[б]) своим грубым обращением терроризировал рабочих, которые говорят: “нет никакой разницы между царской и советской властью, как нас раньше жали и не давали слова сказать, так и теперь”» [Там же, л. 42]. Рабочие делали нерадостные для себя выводы: «Ничего хорошего не было при царской власти, да и при этой видать ничего. Хорошо только коммунистам, да и то не всем» [Там же, л. 149].

В отличие от рабочих заводская администрация вспоминала царские времена в позитивном контексте, с ностальгией.

> Зав. цехом Сибирской бумажной фабрики толкнул двух рабочих и при этом с сожалением сказал: «Эх, если б старое время, так не то бы было». Зав. цехом Перм[ского] оруд[ийного] завода на просьбу рабочих заявил: «В старое время я бы для вас всё сделал, а теперь идите к своим “товарищам”». Зав. кирпичной ф[абри]кой Кыштымского завода на жалобы рабочих о плохом положении заявил: «Зачем делали Октябрьскую революцию» [Там же, л. 145].

Такое сожаление о старых заводских порядках в значительной степени было связано с тем, что в дореволюционный период многие из специалистов работали на тех же должностях и, свои привычки и методы работы перенесли в новое время:

> Администраторы дореволюционного времени, находясь на службе в тех же должностях в данное время, также грубы и теперь. Так, сильное недовольство вызывает своей грубостью зав. прокатным цехом Златоустовского мех[анического] завода, которого в царское время рабочие за грубость избивали. На заводе «Красная кровля» вызывало недовольство рабочих принудительное отчисление по 1 рубл[ю]

на портфель зав. цехом, как «герою труда», между тем этого зава рабочие в 1905 г. вывозили на тачке [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 145].

Аналогичные факты недовольства отмечались и на других предприятиях. Защищать права рабочих должны были профсоюзные организации, которые на деле показали свою несостоятельность в этом вопросе. В информационных сводках дается следующая оценка:

> Бездеятельность, бюрократизм, грубость и нередко злоупотребления являются основными недостатками в работе профсоюзных организаций, имеющих своим последствием отчужденность рабочих от профработников и оторванность последних от рабочих масс [Там же, л. 43].

Несмотря на низкую эффективность работы профсоюзных органов на предприятиях, рабочие всё-таки апеллировали к ним в поисках поддержки. Рабочие Челябинских копей «...прежде чем прервать работу, неоднократно высказывали свое недовольство <...> профуполномоченному, но результатов своих заявлений не дождались» [Там же, л. 41]. Опыт взаимоотношения рабочих с профсоюзными структурами привел их к выводам о том, что профсоюзы — это формальные бюрократические структуры по защите прав рабочих, которые своих функций не выполняют. У рабочих складывалось четкое понимание зависимости профорганов от администрации. В результате по сведениям информационных сводок ОГПУ профсоюзных представителей «...рабочие по их действиям считают “такими же хозяйственниками”, как и администрацию, а не защищающими интересы рабочих» [Там же, л. 43]. «Рабочие в некоторых случаях, потеряв веру в профработников, и возможность получить со стороны профсоюзных организаций защиту своих интересов, открыто заявляют, что профорганизации стоят на защите не рабочих, а администрации» [Там же].

Далеко не всегда профсоюзные руководители выступали в качестве морального образца для рабочих. Зачастую они были поражены традиционным недугом российского общества — пьянством. «Работа завкома Усть-Катавского завода (Южуралтрест) хромает, т. к. предзавкома пьянствует, мало бывает в среде рабочих, чем подорвал доверие рабочих не только к себе, но и авторитет всего завкома» [Там же, л. 45]. «Председатель фабрично-заводского комитета Мартьянов, член ВКП(б), занимался систематическим пьянством, являясь на службу в пьяном виде. Кроме того, спаивает поступающих вновь рабочих <...> почему авторитета завком в глазах рабочих никакого не имеет» [Там же]. В итоге составители информационных сводок приходят к неутешительному выводу, что «...пьянство и злоупотребления профработников подрывают в глазах рабочих всякий авторитет профсоюзных организаций и их значимость в целом» [Там же].

В информационных материалах приводятся конкретные примеры, которые показывают, что отношение профсоюзных работников к рабочим мало чем отличалось от отношения хозяйственных руководителей. Например, зам. председателя союза горнорабочих на Челябкопях Ложечников «обратившимся к нему

рабочим с просьбой об увеличении разрядов, заявил: “Если не хотите работать, то на бирже безработных много, наберем других”» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 44]. Во время конфликта между рабочими и администрацией на Воткинском сельскохозяйственном заводе председатель завкома «...вместе с управзаводом угрожал инициаторов передать ГПУ, также называл их саботажниками и меньшевиками, <...> открыто заявил рабочим, что защищать их в конфликте завком не будет» [Там же, л. 128].

В итоге «“штрейхбрехерство” официальных профсоюзных органов в условиях трудовых конфликтов, а то и просто их бездействие <...>, разложение и некомпетентность профсоюзных функционеров, другие негативные моменты профстроительства вызывали растущее раздражение рабочих» [Чураков, с. 261]. Соглашательская позиция профсоюзных органов, в результате которой они по сути предавали права рабочих, становилась фактором, провоцирующим забастовки. На это обращалось внимание в информационных сводках:

> Профсоюзные организации на предприятиях нередко, благодаря невнимательному отношению к нуждам рабочих, явной защите действий администрации в ущерб рабочих и т. д. иногда в довольно значительной степени способствуют забастовочным настроениям и переходу таковых в более резкую форму [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 128].

Советские профсоюзы в действительности не были независимыми, они были встроены в систему государственного управления, являясь «карманными профсоюзами» власти. Представители профсоюзов являлись по сути государственными служащими, которые назначались на эти должности органами власти или по протекции заводской администрации и кормились с ее руки.

> Одной из причин недоброжелательного и недоверчивого отношения рабочих к профработникам и профсоюзным организациям в целом является то, что на профсоюзные работы проводятся лица не только неизвестные рабочим, но часто не пользующиеся у них авторитетом [Там же, л. 44].

В информационных сводках показывалось, как проводились подобные назначения:

> Рабочие Баранчинского завода «Вольта» (Эльмаштрест) оказались недовольными перевыборами завкома, т. к. в состав его, как говорят рабочие, «протащили» секретаря старого состава Уфимцева — родственника управзаводом. Уфимцеву рабочие не доверяют и избирать его не хотели [Там же].

Такие назначенцы не имели желания по-настоящему вникать в проблемы рабочих, оказывались совершенно некомпетентными и неспособными разрешить конфликтные ситуации.

> Рудком Кизеловских копей не обращал никакого внимания на заявления рабочих о часто снижающихся расценках и не разъяснял сущность снижения, что и привело к прекращению работ. На Златоустовском металлургическом заводе о новых нормах не могли дать разъяснений ни партактив, ни профактив, ни завком, т. к. по выражению одного из рабочих «профсоюзники при введении новых норм поверили

администрации на честное слово, сами же этот вопрос совершенно не проработали» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 129].

Подобная некомпетентность приводила к тому, что «конфликты, волнения, и забастовки на заводах происходят при полном неведении и незнании профорганизациями предшествующих этим конфликтам настроений рабочих, их нужд и запросов или в результате неумелого подхода к рабочим вообще» [Там же, л. 45].

Составители информационных сводок приходят к выводу о том, что безразличное отношение рабочих к профсоюзным органам «...объясняется ничегонеделанием профорганизаций, отдаленностью их от рабочей массы, бюрократическим поведением отдельных работников, слишком крепкой дружбой с администрацией» [Там же, л. 146].

В связи с тем, что профсоюзные структуры были неработоспособны, часто занимали соглашательскую позицию или явно выступали на стороне администрации, в среде рабочих выдвигались неформальные лидеры, которые организовывали рабочих на протесты, на отстаивание своих экономических интересов. Такие социально активные члены общества, имевшие авторитет среди рабочих, вставали на место безынициативных профсоюзных функционеров и отстаивали права рабочих.

Правда, таких рабочих вождей в информационных сводках ОГПУ зачастую представляли в негативном свете, отмечая их сомнительное социальное происхождение, чуждые политические взгляды (бывшие эсеры, меньшевики, анархисты) или участие в Гражданской войне на стороне врага. В обзоре политических настроений рабочих в 1926 г. отмечалось:

> В ряде случаев забастовочным движением руководили отдельные члены ВКП(б). Но в противовес этому мы имеем 5 случаев, когда инициаторами оказывался явно антисоветский элемент. Так: 1) Забастовкой 1 февраля на Каслинском заводе руководил бывш[ий] урядник, избранный председателем общего собрания, на котором и было вынесено решение о прекращении работ. 2) На Пермском орудийном заводе подстрекал к забастовке 5/III инициатор майской забастовки доброволец Колчака — служащий Главного металлурга, который перед конфликтом агитировал группы рабочих. 3) Конфликт 26 апреля на заводе имени Колющенко принял острую форму благодаря резким выкрикам и призывам быв[шего] каторжника. 4) Перед конфликтом и после такового на Златоустовском мет[аллургическом] заводе особенно выделялись своей агитацией за забастовку два эсэра, работающие в другом цехе, забастовкой не охваченном, один из них — бывший торговец. Третий инициатор — часто высказывал анархические взгляды. Четвертый — участник расстрелов рабочих в 1918–[19]19 гг. 5) Обращают на себя внимание и инициаторы забастовки 1 июня на Усть-Катавском заводе — 5 чел. рабочих, незадолго перед конфликтом приехавшие из Брянской губ[ернии] и сразу же после конфликта из Усть-Катавского завода выехавшие неизвестно куда [Там же, л. 134].

При такой постановке вопроса — «кто» стоит во главе забастовок — уходил на задний план главный вопрос — «почему» они происходили. Надо было заниматься не поисками мнимых врагов советской власти, а выяснять объективные

причины забастовочных настроений рабочих. Здесь сказалась склонность сотрудников ОГПУ всегда искать «второе дно», их склонность к «теории заговора». В результате даже бывший политический каторжник оказался записан в антисоветский элемент. К тому же здесь хотя и не явно, но просматривается позиция: забастовки в царское время — это хорошо, а против советской власти — плохо. Это уже антисоветская деятельность, подстрекательство!

Партийные органы власти зачастую также дистанцировались от разрешения конфликтов между заводской администрацией и рабочими. «Деятельность партийных организаций в предотвращении конфликтов и в момент конфликтов остается в общем в тени» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 129], что несколько удивительно, так как речь шла о главной социальной базе коммунистической партии.

Справедливости ради следует отметить, что иногда члены партии (действующие или бывшие) и профсоюзные работники становились инициаторами забастовок или относились к ним с пониманием. Составители информационных сводок за 1925 г. указывали: «В отдельных отмеченных нами забастовках мы имеем факты, когда во главе забастовок и инициаторами их становятся члены ВКП(б) и профработники» [Там же, л. 41]. Так, на Пермском орудийном заводе во главе забастовки, возникшей в связи со снижением расценок на работы, находились старые рабочие Васев и Кайгородов, которые были членами РКП(б) в 1917–1922 гг. [Там же]. «Подстрекателем» забастовки лесорубов Надеждинского лесничества был председатель месткома. Во время конфликта на Нижнесергинском заводе член Пленума ФЗК на собрании рабочих заявил, что он против перехода на трехсменные работы, так как «...я на Пленуме голосовал за переход, потому что не разобрался в этом вопросе» [Там же, л. 128]. В ноябре 1925 г. в Ялуторовском отделении Моспогрузбюро рабочие устроили стачку, отказавшись во главе с профуполномоченным грузить хлеб [Там же, л. 41].

Не изменилась ситуация и в 1926 г. В информационных материалах сообщается:

> В ряде случаев партийцы оказываются в числе подстрекателей, инициаторов и даже главных руководителей забастовок и конфликтов. Так, на Каслинском заводе большинство членов партии активно участвовали в забастовке 1 февраля, агитировали среди беспартийных за забастовку, снимали с работ комсомольцев и т. д. В забастовку на том же заводе 11 июня главные руководители были коммунист и комсомолец. В Н[ижне]-Сергинском заводе два члена ВКП(б) обходили цеха и призывали рабочих не соглашаться с переходом с 4-х на 3-х сменные работы. В конфликте на Юго-Камском заводе 24 мая главными инициаторами были 2 коммуниста и 2 быв[ших] члена [партии] [Там же, л. 129].

В этой информации ОГПУ можно отметить противоречие: с одной стороны, парторганы обвиняются в бездействии, а с другой — члены партии осуждаются за активное участие в забастовочных акциях. Но ведь члены партии — это по определению наиболее сознательные и «продвинутые» среди рабочих, поэтому не удивительно, что они занимали активную позицию, это наоборот

говорит в их пользу: значит, они не формальные коммунисты, а реальные, которые отстаивают права передового класса советского общества.

Недовольство своим экономическим положением, грубое отношение заводской администрации, с одной стороны, и бездействие партийных и профсоюзных структур — с другой, вели к тому, что в среде промышленных рабочих Урала начинало возникать политическое недовольство. В информационных материалах ОГПУ за 1926 г. отмечается: «Во время конфликтов более резко проявляется и недовольство чисто политического характера» [ЦДООСО, ф. 4, оп. 4, д. 63, л. 136], у рабочих начинают появляться антисоветские и антикоммунистические настроения. Наиболее проницательные рабочие адекватно оценивают политическую ситуацию в стране, сложившуюся систему власти, ее приемы управления:

> «У нас диктатура не рабочих, а партии» (Надеждинский завод). «Бесполезно избирать своих представителей в горсовет, они там будут для мебели, т. к. головки уже назначены парторганизацией» (Надеждинский завод). <...> «Рабочие — рабы коммунистов, которые ведут политику по указке капиталистов. Крестьяне коммунистам не верят» (Сарапульский завод «Красный металлист»). «Нас обманули красивыми лозунгами, теперь поставили приказчиков, которые и обманывают нас на каждом шагу, увеличивая рабочий день до 12-ти часов» (Надеждинский завод). «Советская власть ничего не дает, а только дерет всю шкуру рабочего. Грабители! Обогащайтесь на нашей шее» (Кизелкопи). «Коммунисты сидят на шее рабочих. Рабоче-крестьянская власть только на словах, а на деле правят буржуи и чиновники» (строители Тюменского окр[уга]) [Там же, л. 148–149].

Дальнейшие высказывания уральских рабочих свидетельствуют о том, что их социальное настроение достигло высокого эмоционального накала. Они не только констатируют сложившуюся ситуацию, но и высказывают намерение активно противодействовать советской власти:

> «Все коммунисты бандиты, их надо перевешать» (Златоуст[овский] завод). «Скоро настанет время, когда всех коммунистов передушат и они будут валяться на каждом шагу на улице» (Златоуст[овский] мет[аллургический] завод). «Все коммунисты — сволочи, выведут когда-нибудь нас из терпения. Нигде нет правды, везде нас обманывают, стало хуже, чем раньше» (Надеждинский завод). «Коммунистам скоро будет смерть. Они ездят на наших шеях. Нужно стряхнуть пустоголовое управление» (Пермский оруд[ийный] завод). <...> «Рабочих жмут разными отчислениями хуже, чем раньше. Кровопийцы! Допивайте кровь рабочего до конца! Скоро будет второй Октябрь, тогда мы с вами расправимся» (выдержка из «Обращения в райком РКП(б)», расклеенного на Лялинской фабрике в двух экземплярах) [Там же, л. 49].

В этих словах лояльности абсолютно нет, наоборот, присутствуют враждебное отношение, классовая ненависть, противопоставление «мы — они» (и это позиция рабочих крупных промышленных предприятий!). И это мнение не представителей социально чуждых слоев, заведомых врагов советской власти, ее недоброжелателей, а представителей основной социальной базы большевистской власти. Хотя такую резко отрицательную позицию, конечно, занимали далеко не все рабочие.

Таким образом, в рассматриваемый период негативные социальные настроения уральских рабочих были обусловлены, с одной стороны, мерами экономической политики государства, которые проводились в условиях нэпа, а с другой — преемственностью управленческих традиций неуважительного отношения к рабочим со стороны заводского руководства, характерных для дореволюционной России, и бездействием профсоюзных организаций. В то же время, как свидетельствуют информационные сводки, кризиса доверия к советской власти со стороны большинства уральских рабочих не наблюдалось, они отстаивали свои чисто экономические интересы, а политических требований не выдвигали. Поэтому в случае серьезного ухудшения экономической ситуации эти настроения могли вызвать социальные волнения, но вряд ли бы вылились в политические протесты, способные дестабилизировать советскую политическую систему, так как у основной массы рабочих «преобладали настроения политического индифферентизма» [Постников, Фельдман, с. 328], а радикализм был характерен лишь для некоторой части рабочих.

Источники

ЦДООСО — Центр документации общественных организаций Свердловской области. Ф. 4. Оп. 4. Д. 63.

Исследования

Белоусов Р. А. Экономическая история России: XX век. Кн. 2. М. : ИздАТ, 1999.

Великанова О. В. Разочарованные мечтатели: Советское общество 1920-х гг. М. : РОССПЭН, 2017.

Воробьев С. В. Власть и общественные настроения на Урале в начальный период нэпа (по информационным сводкам ВЧК–ОГПУ) // Документ. Архив. История. Современность : сб. науч. тр. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2008. Вып. 9. С. 148–154.

Воробьев С. В. Местная власть в глазах населения Урала в первые годы нэпа // Партийные архивы. Прошлое и настоящее, перспективы развития : материалы IV междунар. науч.-практ. конф. Пермь, 11–12 мая 2017 г. Ставрополь : Альфа Принт, 2017. С. 197–207.

Гараев Г. Г. Организация и совершенствование системы управления промышленностью Урала (1917–1925 гг.). Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984.

Гафурова В. М. Протестное движение и трудовые конфликты на промышленных предприятиях в годы Новой экономической политики // Гуманитарные и социальные науки : межвуз. сб. тр. Вып. 3. Магнитогорск : МГТУ, 2003. С. 96–99.

Ибрагимова Д. Х. НЭП и перестройка: Массовое сознание сельского населения в условиях перехода к рынку. М. : Памятники исторической мысли, 1997.

Источниковедение новейшей истории России: теория, методология, практика. М. : Высш. шк., 2004.

Камардин И. Н. Забастовки на государственных предприятиях Среднего Поволжья в 1918–1929 гг. Пенза : ПГУ, 2004.

Килин А. П. Информационные сводки Окружных отделов ОПТУ Уральской области за 1924 г. как источник по истории раннесоветского общества // Гуманитарные науки в Сибири. 2017. Т. 24. № 1. С. 60–65.

Лившин А. Я. Настроения и политические эмоции в Советской России: 1917–1932 гг. М. : РОССПЭН, 2010.

Лившин А. Я., Орлов И. Б. Власть и общество: Диалог в письмах. М. : РОССПЭН, 2002.

Литвак К. Б. Жизнь крестьянина 20-х годов: современные мифы и исторические реалии // НЭП: приобретения и потери / [отв. ред. В. П. Дмитренко]. М. : Наука, 1994. С. 186–202.

Лозбенев И. Н. Протестное движение населения Центрально-промышленного региона России в годы Новой экономической политики (1921–1929 гг.). М. : ГУУ, 2012.

Лозбенев И. Н. Общественные настроения и протестные движения в период НЭПа в центральной части европейской России (1921–1929) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. М., 2013.

Мельников В. И. Историческая судьба крестьянства и мелкотоварного производства (Полемика и дискуссии периода НЭПа. 1921 — конец 20-х годов). Нижний Новгород : Нижегор. гос. архитектурно-строит. ун-т, 1999.

Мидиненко А. В. К вопросу о деятельности информационно-аналитической службы органов государственной безопасности советской России по сбору информационных материалов о ситуации в стране в годы нэпа. // Изв. Пенз. гос. пед. ун-та им.В. Г. Белинского. 2008. № 6 (10). С. 54–58.

Миронова Т. П. Общественное сознание российского крестьянства в 20-е годы XX века: По материалам Европейской части России : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02. М., 1998.

Надеждина В. А. «...Все к социализму иду и никак не могу дойти»: рабочие и крестьяне Южного Урала и социальная политика Советского государства в годы НЭПа. Уфа : РИО БашГУ, 2005.

Парыгин Б. Д. Общественное настроение. М. : Мысль, 1966.

Парыгин Б. Д. Социальная психология. Проблемы методологии, истории и теории. СПб. : ИГУП, 1999.

Петровский А. В., Ярошевский М. Г. Психология : словарь. 2-е изд., испр. и доп. М. : Политиздат, 1990.

Поршнев Б. Д. Социальная психология и история. 2-е изд., доп. и испр. М. : Наука, 1979.

Постников С. П., Фельдман М. А. Социокультурный облик промышленных рабочих России в 1900–1941 гг. М. : РОССПЭН, 2009.

Суворова Л. Н. Нэповская многоукладная экономика: между государством и рынком. М. : Аиро-XXI, 2013.

Ульянова С. Б., Офицерова Н. В. Заводское сообщество и власть в Советской России 1920-х годов. СПб. : Изд-во политехн. ун-та, 2017.

Фельдман В. В. Восстановление промышленности Урала в 1921–1926 гг. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1989.

Фельдман М. А. Культурный уровень и политические настроения рабочих крупной промышленности Урала в годы НЭПа // Отеч. история. 2003. № 5. С. 20–30.

Ходяков А. А. Общественные настроения в новгородской деревне в 20-е гг. // Прошлое Новгорода и Новгородской земли. Великий Новгород, 1997. С. 178–181.

Хришкевич Т. Г. Общественно-политические настроения крестьянства Северо-Запада России в период НЭПа (1921–1929 гг.) : дис. ... канд. ист. наук. Псков, 2002.

Чураков Д. О. Бунтующие пролетарии: Рабочий протест в Советской России (1917–1930-е гг.). М. : Вече, 2007.

Яров С. В. Человек перед лицом власти. 1917–1920-е гг. М. : РОССПЭН, 2014.

References

Belousov, R. A. (1999). *Ekonomicheskaia istoriia Rossii: XX vek* [The Economic History of Russia: 20th Century] (Book 2). Moscow: IzdAT. (In Russian)

Churakov, D. O. (2007). *Buntuyushchie proletarii: Rabochij protest v Sovetskoj Rossii (1917–1930-e gg.)* [Rebellious Proletarians: Workers' Protest in Soviet Russia (1917–1930)]. Moscow: Veche. (In Russian)

Feldman, M. A. (2003). Kul'turnyj uroven' i politicheskie nastroeniya rabochih krupnoj promyshlennosti Urala v gody NEPa [Cultural Level and Political Sentiments of Workers of Large-Scale Industry of the Urals in the Years of the NEP]. *Otechestvennaya istoriya*, 5, 20–30. (In Russian)

Feldman, V. V. (1989). *Vosstanovlenie promyshlennosti Urala v 1921–1926 gg.* [The Restoration of the Ural Industry in 1921–1926]. Sverdlovsk: Ural University Press. (In Russian)

Gafurova, V. M. (2003). Protestnoe dvizhenie i trudovye konflikty na promyshlennyh predpriyatiyah v gody Novoj ekonomicheskoj politiki [Protest Movement and Labour Conflicts at Industrial Enterprises in the Years of the New Economic Policy]. In *Gumanitarnye i sotsialnye nauki: mezhvuz. sb. trudov* [Humanities and Social Sciences] (Iss. 3, pp. 96–99). Magnitogorsk: MSTU. (In Russian)

Garaev, G. G. (1984). *Organizatsiia i sovershenstvovanie sistemy upravleniia promyshlennost'iu Urala (1917–1925 gg.)* [The Estabishment and Improvement of the Ural Industry Management System (1917–1925)]. Tomsk: Tomsk University Press. (In Russian)

Ibragimova, D. Kh. (1997). *NEP i perestrojka: Massovoe soznanie sel'skogo naseleniya v usloviyah perekhoda k rynku* [NEP and Perestroika: Mass Consciousness of the Rural Population in the Transition to Market Economy]. Moscow: Pamiatniki istoricheskoj mysli. (In Russian)

Istochnikovedenie novejshej istorii Rossii: teoriya, metodologiya, praktika [Source Studies of the Modern History of Russia: Theory, Methodology, Practice] (2004). Moscow: Vysshaia shkola. (In Russian)

Kamardin, I. N. (2004). *Zabastovki na gosudarstvennyh predpriyatiyah Srednego Povolzh'ia v 1918–1929 gg.* [Strikes at State Enterprises of the Middle Volga Region in 1918–1929]. Penza: PGU. (In Russian)

Khodyakov, A. A. (1997). Obshchestvennye nastroeniya v novgorodskoj derevne v 20-e gg. [Public Sentiments in the Novgorod Village in the 1920s]. In *Proshloe Novgoroda i Novgorodskoj zemli* [The Past of Novgorod and the Novgorod Land] (pp. 178–181). Veliky Novgorod. (In Russian)

Khrishkevich, T. G. (2002). *Obshchestvenno-politicheskie nastroeniya krest'ianstva Severo-Zapada Rossii v period NEPa (1921–1929 gg.)* [Social and Political Sentiments of the Peasantry in North-West Russia in the Period of the NEP (1921–1929 gg.)] (doctoral dissertation). Pskov. (In Russian)

Kilin, A. P. (2017). Informatsionnye svodki Okruzhnyh otdelov OPTU Ural'skoj oblasti za 1924 g. kak istochnik po istorii rannesovetskogo obshchestva [News Reports of County Departments to JSPD of Ural Region in 1924 as a Source for the History of Early Soviet Society]. *Gumanitarnye nauki v Sibiri*, *24*(1), 60–65. (In Russian)

Litvak, K. B. (1994). Zhizn' krest'ianina 20-kh godov: sovremennye mify i istoricheskie realii [The Life of a Farmer in the 1920s: Modern Myths and Historical Realities]. In V. P. Dmitrenko (Ed.), *NEP: priobreteniya i poteri* [NEP: Gains and Losses] (pp. 186–202). Moscow: Nauka. (In Russian)

Livshin, A. Ya. (2010). *Nastroeniya i politicheskie emotsii v Sovetskoj Rossii: 1917–1932 gg.* [Moods and Political Sentiments in Soviet Russia: 1917–1932]. Moscow: ROSSPEN. (In Russian)

Livshin, A. Ya., & Orlov, I. B. (2002). *Vlast' i obshchestvo: Dialog v pis'mah* [Power and Society: Dialogue in Letters]. Moscow: ROSSPEN. (In Russian)

Lozbenev, I. N. (2012). *Protestnoe dvizhenie naseleniia Tsentral'no-promyshlennogo regiona Rossii v gody Novoj ekonomicheskoj politiki (1921–1929 gg.)* [Protest Movement of the Population of the Central Industrial Region of Russia during the New Economic Policy (1921–1929)]. Moscow: GUU. (In Russian)

Lozbenev, I. N. (2013). *Obshchestvennye nastroeniya i protestnye dvizheniya v period NEPa v tsentral'noj chasti evropejskoj Rossii (1921–1929)* [Public Sentiment and Protest Movements during the NEP in the Central Part of European Russia (1921–1929)] (habilitation dissertation abstract). Moscow. (In Russian)

Melnikov, V. I. (1999). *Istoricheskaya sud'ba krest'ianstva i melkotovarnogo proizvodstva (Polemika i diskussii perioda NEPa. 1921 — konec 20-h godov)* [The Historical Destiny of the Peasantry and Small-Scale Production (Controversy and Discussion of the NEP Period. 1921 — Late 1920s)]. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State Architectural-Building University. (In Russian)

Midinenko, A. V. (2008). K voprosu o deiatel'nosti informatsionno-analiticheskoj sluzhby organov gosudarstvennoj bezopasnosti sovetskoj Rossii po sboru informatsionnyh materialov o situatsii v strane v gody nepa [On the Activities of Information-Analytical Department of the State Security of Soviet

Russia on the Collection of Information Materials on the Situation in the Country in the Years of the NEP]. *Izvestiya Penzenskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. V.G. Belinskogo*, 6 (10), 54–58. (In Russian)

Mironova, T. P. (1998). *Obshchestvennoe soznanie rossijskogo krest'ianstva v 20-e gody XX veka: Po materialam Evropejskoj chasti Rossii* [Public Consciousness of the Russian Peasantry in the 1920s: With Reference to the European Part of Russia] (doctoral dissertation abstract). Moscow. (In Russian)

Nadezhdina, V. A. (2005). *"...Vse k sotsializmu idu i nikak ne mogu dojti": rabochie i krest'iane Yuzhnogo Urala i sotsial'naia politika Sovetskogo gosudarstva v gody NEPa* ["...I keep heading to socialism but I cannot manage to reach it": Workers and Peasants of the Southern Urals and Social Policy of the Soviet State during the NEP]. Ufa: RIO BashGU. (In Russian)

Parygin, B. D. (1966). *Obshchestvennoe nastroenie* [Social Sentiments]. Moscow: Mysl'. (In Russian)

Parygin, B. D. (1999). *Sotsial'naya psihologiia. Problemy metodologii, istorii i teorii* [Social Psychology. Problems of Methodology, History, and Theory]. St Petersburg: IGUP. (In Russian)

Petrovsky, A. V., & Yaroshevsky, M. G. (1990). *Psihologiia: Slovar'* [Psychology. Dictionary]. (2nd ed.). Moscow: Politizdat. (In Russian)

Porshnev, B. D. (1979). *Sotsial'naya psihologiia i istoriia* [Social Psychology and History]. (2nd ed.). Moscow: Nauka. (In Russian)

Postnikov, S. P., & Feldman, M. A. (2009). *Sotsiokul'turnyj oblik promyshlennykh rabochikh Rossii v 1900–1941 gg.* [Socio-Cultural Image of Industrial Workers in Russia in 1900–1941]. Moscow: ROSSPEN. (In Russian)

Suvorova, L. N. (2013). *Nepovskaya mnogoukladnaya ekonomika: mezhdu gosudarstvom i rynkom* [The Mixed NEP Economy: Between State and Market]. Moscow: Airo-XXI. (In Russian)

Ulyanova, S. B., & Ofitserova, N. V. (2017). *Zavodskoe soobshchestvo i vlast' v Sovetskoj Rossii 1920-kh godov* [Factory Community and Power in 1920s Soviet Russia]. St Petersburg: Polytechnic University Press. (In Russian)

Velikanova, O. V. (2017). *Razocharovannye mechtateli: Sovetskoe obshchestvo 1920-h gg.* [Frustrated Dreamers: The Soviet Society of the 1920s]. Moscow: ROSSPEN. (In Russian)

Vorobyev, S. V. (2008). Vlast' i obshchestvennye nastroeniya na Urale v nachal'nyj period nepa (po informacionnym svodkam VChK–OGPU) [Power and Public Sentiment in the Urals in the Initial Period of the NEP (according to the Information Reports of the VCheka–JSPD)]. In *Dokument. Arhiv. Istoriya. Sovremennost': sb. nauchn. tr.* [Document. Archive. History. The Present] (Iss. 9, pp. 148–154). Yekaterinburg: Ural State University. (In Russian)

Vorobyev, S. V. (2017). Mestnaya vlast' v glazakh naseleniya Urala v pervye gody nepa [Local Government in the Eyes of the Population of the Urals in the Early Years of the NEP]. In *Partijnye arkhivy. Proshloe i nastoiashchee, perspektivy razvitiia: materialy IV mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Perm, 11–12 maia 2017 g.* [Party Archives. Past and Present, Development Prospects: Proceedings of the IV International Scholarly Conf. Perm, May 11–12, 2017] (pp. 197–207). Stavropol: Alfa Print. (In Russian)

Yarov, S. V. (2014). *Chelovek pered litsom vlasti. 1917–1920-e gg.* [People against Authority. 1917–1920s]. Moscow: ROSSPEN. (In Russian)

Воробьев Сергей Викторович
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора политической и социокультурной истории
Институт истории и археологии УрО РАН
620990, Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16
E-mail: svorob.hist@gmail.com

Vorobyev, Sergey Viktorovich
PhD (History), Senior Researcher,
Department of Political and Sociocultural History
Institute of History and Archaeology UB RAS
16, S. Kovalevskaya Str.,
620990 Yekaterinburg, Russia
Email: svorob.hist@gmail.com

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.058
УДК 316.423.3:394.2 + 394.4

Е. В. Барышева
Российский государственный гуманитарный университет
Москва, Россия

КОММЕМОРАЦИЯ РЕВОЛЮЦИИ В СОВЕТСКОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 1920–1930-х гг.

Статья посвящена актуализации событий революции 1917 г. в процессе государственных праздников 1920–1930-х гг. Интерпретация революции как героического события, открывшего путь в светлое будущее, создавала миф о революции, который активно презентовался в ходе праздничных мероприятий. В ходе празднования годовщин Октябрьской революции складывалась официальная трактовка истории как самой революции, так и советского государства.

Как особый тип памятных мероприятий революционные праздники выполняли не только рекреационную задачу, но и играли мобилизующую роль, а также конструировали в сознании советских граждан память, которая отвечала бы задачам власти о формировании «нового» человека. Эмоционально воздействуя на общество, праздники консолидировали население и создавали каноническую систему символов и риторических фигур.

Большинство информационно-пропагандистских задач решалось в том числе и благодаря изменению атмосферы повседневной жизни: массовый, возвышенно-эмоциональный характер праздничных мероприятий способствовал внедрению в сознание граждан новых духовных ценностей и правил поведения, которые транслировались как единственно верные.

Степень воздействия праздничного ритуала на сознание участников была усилена за счет его художественно-эстетического оформления. Волнение, испытываемое участниками демонстраций и парадов, запоминалось ими надолго, и праздник воспринимался как элемент отдыха, рекреации после тяжелых будней.

В СССР юбилейные торжества превратились в ежегодный формализованный ритуал праздника с театрализованными шествиями и демонстрациями трудящихся.

К л ю ч е в ы е с л о в а: коммеморация; революция; праздничная культура; миф; ритуал; символы; интерпретация революции.

Ц и т и р о в а н и е: *Барышева Е. В.* Коммеморация революции в советской праздничной культуре 1920–1930-х гг. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.058 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 235–244.

Поступила в редакцию 13.06.2019
Принята к печати 17.07.2019

© Барышева Е. В., 2019

BY-NC

Elena V. Barysheva
Russian State University for the Humanities
Moscow, Russia

THE COMMEMORATION OF REVOLUTION IN THE SOVIET FESTIVE CULTURE OF THE 1920s–1930s

This article considers the actualisation of the events of the Russian Revolution of 1917 in the process of public holidays between the 1920s and 1930s. The interpretation of the Revolution as a heroic event which helped pave the way to a brighter future, created the myth of revolution, which was actively presented during festive events. The course of anniversary celebrations of the October revolution faced the establishment of a new interpretation of both the revolution and the Soviet state.

As a special type of commemorative events, the revolution-related holidays not only performed a recreational task, but also played a mobilising role and constructed a memory in the minds of Soviet citizens that would respond to the tasks set by the authorities about the formation of a "new" person. Emotionally affecting society, the holidays consolidated the population and created a canonical system of symbols and rhetorical figures.

Most information and propaganda tasks were carried out, among other things, by means of changing the atmosphere of everyday life: the mass and elevated nature of the festive events helped impose new spiritual values and rules of behaviour on social mentality which were interpreted as the only true ones.

The degree of influence of the festive ritual on the participants' consciousness was enhanced by its artistic and aesthetic presentation. They remembered the excitement experienced during demonstrations and parades for a long time and the holiday was perceived as an element of rest and recreation after hard everyday life.

In the USSR, anniversary celebrations turned into an annual formalised ritual of celebration with theatrical processions and demonstrations of working people.

K e y w o r d s: commemoration; revolution; festive culture; myth; ritual; symbols; interpretation of revolution.

C i t a t i o n: Barysheva, E. V. (2019). Kommemoratsiia revoliutsii v sovetskoi prazdnichnoi kul'ture 1920–1930-kh gg. [The Commemoration of Revolution in the Soviet Festive Culture in the 1920s–1930s]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts*, *21*, 3 (190), 235–244. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.058

Submitted on 13 June, 2019
Accepted on 17 July, 2019

Любое общество нуждается в мифах и порождает мифы, служащие поддержанию его идеологии. Так и миф о коммунистическом обществе как обществе равных был использован для легитимации Великой русской революции.

Память о революции служила поддержанию мифа о легитимности революционных изменений. Политические и демографические перемены, которые имели

место в течение двух последующих десятилетий, нуждались в идеологической поддержке, чему способствовало распространение большевистского мифа о закономерности революции, в том числе и в ходе праздничных мероприятий. Миф, подхваченный революционно настроенным населением и оформленный соответствующим образом художниками и артистами, способствовал складыванию нового слоя граждан, которые воспринимали историю революции как рассказ о единственно верном выборе в развитии Российского государства, совершенном большевиками. Таким образом, формировалась «коллективная память общества», необходимая, как отмечал М. Хальбвакс, в социальной практике для выживания общества и являющаяся залогом его идентичности. Память о революции, образ революции, который складывался у современников, а не само событие как таковое, играли роль символической репрезентации и способствовали передаче опыта и сведений о прошлом. М. Хальбвакс называет такой прием оживления исторического прошлого типом памяти, который конструирует и консолидирует социальные группы [Хальбвакс].

Празднества и ритуалы как необходимый элемент «коллективной памяти» были рассмотрены в трудах Яна Ассмана и Пьера Нора. Разработанная в 1990-е гг. немецким ученым Я. Ассманом теория культурной памяти предполагает и наличие понятия *символической культурной памяти*, которая культивирует воспоминания в памятных местах, датах, церемониях, в письменных, изобразительных и монументальных памятниках, формализуя традицию воспоминания. Французский историк Пьер Нора также рассматривает праздничные церемонии в качестве мест памяти [Ассман; Нора].

Патрик Хаттон вслед за Морисом Хальбваксом считал, что коллективная память — это «сложная сеть общественных нравов — ценностей и идеалов, отмечающая границы нашего воображения в соответствии с позициями тех специальных групп, к которым мы относимся. Именно через взаимосвязь этих отдельных образов формируются социальные рамки... коллективной памяти» [Хаттон, с. 129].

Среди многочисленных вариантов влияния на общество советская власть активно использовала обрядность, создавая особый тип памятных мероприятий. Революционные праздники не только выполняли рекреационную задачу, но и играли мобилизующую роль, а также конструировали в сознании советских граждан память, которая отвечала бы задачам власти о формировании «нового» человека. Эмоционально воздействуя на общество, праздники консолидировали население и создавали каноническую систему символов и риторических фигур.

Со временем революционные праздники стали частью жизни и быта советского человека и оказывали действенное влияние на формирование политической культуры общества. Они способствовали формированию идеи преемственности между революционным прошлым, героическим настоящим и светлым коммунистическим будущим. В ходе праздника не просто демонстрировалось наличие в социалистическом обществе новых духовных ценностей и правил поведения: новые принципы организации общества внедрялись в сознание

граждан как единственно верные. Праздничные мероприятия носили массовый и возвышенно-эмоциональный характер, что способствовало решению большинства информационно-пропагандистских задач. Важнейшие идеи, мысли, соображения, связанные с праздником, переживались и осваивались коллективом, массой, становясь со временем их идеями.

Эмоционально-приподнятое настроение способствовало запуску таких закономерностей и механизмов социальной психологии, как подражание, заражение, внушение, пример, убеждение и т. д. Праздники были средством не только пропаганды и демонстрации новых духовных ценностей, но и мобилизации политической и хозяйственной активности трудящихся масс. Рабочие и крестьяне должны были демонстрировать успехи в хозяйственном и культурном строительстве в ознаменование каждой годовщины революционного праздника. В процессе коллективного переживания праздника люди испытывали наибольший эффект сопричастности не только по отношению к конкретному мероприятию, но и к событию, которое стало причиной праздника.

Степень воздействия праздничного ритуала на сознание участников была усилена за счет художественно-эстетического оформления. Волнение, испытываемое участниками демонстраций и парадов, запоминалось ими надолго, и праздник воспринимался как элемент отдыха, рекреации после тяжелых будней (хотя на самом деле таковым не был, так как обязательное участие в демонстрации уже тогда многими воспринималось как принуждение).

Массовость мероприятий придавала им ореол авторитетности и непререкаемости позиций. Поэтому годовщины Октябрьской революции стали не просто праздниками, а вехами в истории страны, в ходе которых писалась такая история революции и советского государства, какой ее хотела видеть партийная власть.

Интерпретация революции как героического события, открывшего путь в светлое будущее, только в первую ее годовщину в 1918 г. носила характер скорби в память о погибших в революционном огне товарищах. Затем юбилейные торжества превратились в ежегодный формализованный ритуал праздника с театрализованными шествиями и демонстрациями трудящихся. Современные исследователи отмечают создаваемый посредством праздников образ легитимного большевистского государства как логическое завершение революционного движения [Рольф, с. 73–75; Барышева].

Пьер Нора, размышляя об истории Франции, пишет: «каждый год и каждый месяц требует своей порции обязательных или сфабрикованных годовщин» [Нора, с. 96]. Для нового советского государства также требовались свои годовщины и юбилеи революции 1917 г. Проходящие из года в год, в одно и то же время празднества становились ритуалами, стандартизированными коммуникативными действиями, в которых общение происходило не просто через знаки, но и через символы.

Агитационно-пропагандистская деятельность партии большевиков, связанная с революционными празднованиями, особенно широко развернулась в первый год диктатуры пролетариата. Именно в это время массово-политическое

воздействие революционных торжеств было особенно необходимо. В соответствии с задачами политического воспитания трудящихся праздники активно использовались как для политической информации населения, разъяснения сущности, пропаганды дальнейшего развертывания социалистических преобразований, так и для воспитания масс, расширения социальной базы советской власти, приобщения к политической жизни новых слоев рабочего класса, пролетарской молодежи и тружеников деревни.

В годы гражданской войны празднования носили также и мобилизующий характер: они не только агитировали за советскую власть, но и организовывали массовую запись добровольцев на командирские курсы, сбор пожертвований и отправку подарков красноармейцам [Шерпелев, с. 10].

Организацией революционных праздников и юбилеев занимался Центральный комитет партии. Его агитационно-пропагандистский отдел рассылал на места циркуляры, письма, телеграммы о характере и задачах праздничных кампаний, утверждал призывы, лозунги, тексты воззваний, обращений, листовок. Для местных пропагандистов издавались пособия и рекомендации. На местах эту работу проводили соответствующие отделы губкомов, горкомов, укомов, райкомов, волкомов партии, а также местные партийные ячейки, советские, общественные организации и специально организованные праздничные комиссии.

Ежегодные праздничные мероприятия и демонстрации трудящихся 7 ноября стали своего рода спектаклями, игравшимися по определенному сценарию, со временем принявшие черты политического ритуала.

Отмечать праздник революции стали с первой его годовщины в 1918 г., и с самого начала существования советского государства он был одним из самых значительных явлений социального порядка.

Тогда же начинают складываться праздничный ритуал и элементы символической репрезентации власти. Для первых лет советской власти были характерны театрализованные постановки на площадях и улицах города. Городское пространство заполняется театрализованными многолюдными представлениями. Праздничные мероприятия в первую годовщину сводятся к маршам колонн, торжественным похоронам жертв революции (как, например, на Марсовом поле в Петрограде) и сжиганию символов старого мира под пение «Марсельезы». Традиционные центры праздничных шествий — Марсово поле, а затем Дворцовая площадь (Площадь Урицкого). Обрядовая сторона ограничивалась «шествиями с оркестрами, знаменами и пением» [Пиотровский, с. 56].

Историческую хронику праздников воссоздал в 1926 г. Адриан Пиотровский — один из режиссеров-постановщиков театрализованных представлений на улицах Петрограда, ставший впоследствии руководителем киностудии «Ленфильм».

А. Пиотровский обращал внимание, что первыми участниками революционных празднеств стали красноармейцы. И не только потому, что это была наиболее активная часть общества, но и в связи с тем, что военная организация и дисциплина способствовала в 1918–1920-х гг. массовости праздничных мероприятий.

Особую роль в создании юбилейного мифа играло и то, что руководителями Красной армии были непосредственно сами участники революции. Ни о какой самодеятельности или низовой инициативе в это время говорить не приходится.

Ярким примером создания представления об исторических событиях 1917 г. стало разыгранное красноармейцами в 1919 г. к годовщине Февральской революции «игрище» «Свержение самодержавия». Обрядово-бытовой принцип манифестации и митинга, положенный в его основу, способствовал его восприятию неосведомленным населением. Драматургически и сценически изображая «манифестацию», сопровождавшуюся монологами и песнями, а также имитацией митингового крика [Пиотровский, с. 74], представление разыгрывалось неоднократно в казармах, на лестницах зданий, на Дворцовой площади. Постепенно трансформируясь содержательно и обрастая новыми подробностями, к концу 1919 г., т. е. ко второй годовщине Октября, «Свержение» было дополнено частью, посвященной октябрьским событиям, и переименовано в «Красный год». К декламациям и митинговым речам добавилась балаганная интермедия, в которой участвовали символические фигуры врагов революции — «генерал», «министр», «поп», «капитал», ставшие впоследствии постоянными участниками всех театрализованных политических карнавалов [Там же, с. 75]. В заключительной части по сюжету на противоположных мостках противостояли друг другу «Керенский» с юнкерами и «Вождь рабочих». Далее изображался «штурм» рабочих и бегство юнкеров. Для этой постановки была создана «Красноармейская театрально-драматургическая мастерская» (1919–1920) [Там же, с. 74].

Изменилась топография театрального пространства. Раздвигая и ломая жесткие рамки условностей театральной сцены, революционные «игрища» выходили на улицы и площади городов, нетрадиционные и несценические пространства обеспечивали массовость и побуждали к активному участию [Там же, с. 75].

Условность сценического времени и пространства давала зрителю и условность в понимании хода исторических событий, не позволяя задуматься о соответствии изображаемых событий реальным. Переходы в сценарии празднества от 1905 г. к 1917 г. «без занавеса и антракта» [Там же, с. 76] создавали представление о преемственности в революционном движении и ее закономерном итоге — Октябрьской революции.

Постепенно театральные постановки отошли в прошлое, а элементы театрализации были внесены в демонстрации и шествия в виде праздничного карнавала.

Официальный дискурс праздничных мероприятий тщательно формировался и контролировался властью. Как следствие, миллионы людей учились видеть и воспринимать новые духовные и нравственные ценности, создаваемые взамен разрушаемых революционными сдвигами в обществе, так, как это предлагалось идеологами большевизма.

Кроме того, партийными организациями широко проводились беседы, торжественные заседания, собрания, доклады, лекции, беспартийные конференции и делегатские собрания. Организовывались специальные агитпоезда,

агиттрамваи в городах и агитповозки в деревнях, вечера воспоминаний старых коммунистов, клубные вечера, массовые демонстрации и уличные шествия.

Неотъемлемой частью каждого революционного праздника являлись инсценировки, карнавальные шествия, концерты, спектакли и кино. Особой популярностью пользовались массовые театрализованные представления, отражавшие героику первых лет советской власти.

В праздничные дни активно реализовывался план монументальной пропаганды. Постановка памятников и обелисков во время революционных празднований (а только в Москве за время октябрьских торжеств 1918 г. было воздвигнуто 11 памятников и обелисков) формировала места памяти.

Десятью годами позже, подчеркивая важность празднования революционных дат, нарком просвещения А. В. Луначарский отмечал, что каждый праздник, каждая годовщина революции — «это подведение итогов, это планы на будущее, это смотр своих сил». При этом он обращал внимание на психологический аспект праздника — «момент высокого коллективного переживания, коллективной радости», который и должен был оказывать воздействие на общество. Форма раскрытия революционной темы должна была быть «приподнятой», «парадной» [Луначарский, с. 126].

Участники ритуализированных парадов, демонстраций, митингов советского периода воспроизводили и интерпретировали события революции, закрепляли их в своем собственном сознании и сознании будущих поколений. Опираясь на исследования Мориса Блоха, можно говорить о том, что коммуникативный код ритуала советских государственных праздников был весьма формализован, что выражалось в склонности к ораторству с трибун и использовании таких архаичных форм, как маски и костюмы, во время политических карнавалов [Bloch, p. 123–138].

Политические празднества достаточно быстро начинают доминировать в повседневной жизни городского населения, превращаясь в политические ритуалы.

Важной функцией исполнения ритуала является формирование общественных эмоций. К. Белл отмечает, что ритуалы «формируют опыт искупительной гармонии», который заключается в требовании идеала справедливости и справедливого вознаграждения [см.: Feuchtwang; Bell]. В советской практике это означало утверждение, что существующая власть является социально искупительной. Участие в ритуале также являлось частью обучения, предлагая опыт модельной ситуации — в каждом конкретном случае участие в юбилейных мероприятиях навязывало эмоциональное восприятие революции как единственно верного пути развития общества, а отождествление себя с другими членами общества предполагало следование за советской моделью поведения. Значительную роль в закреплении новой модели поведения населения играли изменения, происходившие в стране, в первую очередь экономического плана.

Ежегодные ритуалы празднования создавали определенную память о событии, которое при повторении закреплялось в сознании. В зависимости от частоты

повторения, знание того, что произошло, пополнялось, его контекст менялся в зависимости от исторической и политической ситуации. Юбилеи революции были не только и не столько средством для воспоминаний. Прошлое, как миф, призвано было объяснять и направлять. Это отразилось в многочисленных речах и докладах, которыми изобиловали все праздничные мероприятия. Ни один митинг, ни одна демонстрация не обходились без выступления руководителей партии и государства, участников революционных событий. Риторика публичных выступлений менялась, но основные принципы построения речей оставались неизменными.

Советский государственный праздник, как и любой другой праздник, соответствует основным теоретическим положениям праздника как ритуала, где ритуальное повествование о героическом прошлом как о мифе, как о прошлом, объясняет, направляет или имеет смысл настоящего и его универсальной истины [Feuchtwang, p. 287].

Революционное прошлое в государственных праздниках первых лет советской власти представало как уникальное повествование о событиях и обстоятельствах, в котором оно становилось образцом для настоящего. Памятные обряды конструировали общее прошлое текущего настоящего. При этом создание «истории» провоцировало корректировку настоящего. Таким образом, можно говорить, что сложившийся в первую четверть существования советской власти ритуал празднования годовщин Октябрьской революции 1917 г. был элементом воспитания, отражал взаимное признание памяти, событий и эмоций. Опираясь на человеческую память, ритуал выполнял функции обучения памяти, создания запоминающихся переживаний и обмена различными воспоминаниями с целью организации публичного совместного подчинения ему и насаждения его как «нашего», «единственно правильного» [Ibid., p. 295].

При рассмотрении массовой политической культуры периода 1920–1930-х гг. нужно обратить особое внимание на факторы, формирующие массовое сознание: с одной стороны, деятельность и мотивы действий образованных лидеров, с другой — смысл, вкладываемый в эти действия следующими за ними массами. На восприятие политической власти большое влияние оказывают также политические установки, стереотипы, ценности и традиции, существующие в социальных группах. Их укоренению в массовом сознании способствовала организованная соответствующим образом практика коммеморации. В большевистской России именно коммеморативные практики оказали влияние на складывание государственного ритуала празднования революционных юбилеев и дат.

В ходе эволюции ритуалы формировали свой рассказ о революционных днях и событиях революционной борьбы. Под их влиянием складывались легенды о героической борьбе рабочего класса за освобождение от буржуазно-капиталистического гнета. При этом надо иметь в виду, что ритуалы — это предсказуемые речевые и телесные действия, которые имеют определенную последовательность. По сравнению с обычной речью ритуал гораздо менее коммуникативен, он не логичен, а декларативен, и является не высказыванием, а проявлением

традиционного авторитета. Он обладает иллюзорной силой власти. Ритуал — это спектакль, которому сознательно подчиняются и зрители, и участники действа. Что ожидается от завершения ритуала-спектакля? Внушение идеи обновления жизни в результате революции и уверенность, что никогда больше не вернется старый режим, формируется твердая решимость, что жертвы революции были принесены во благо светлого будущего [подробнее см.: Feuchtwang, p. 282].

Изменения в социуме, происходившие в первые годы советской власти, коснулись и пространства между историей и памятью. Процесс потери культурных практик мира дореволюционного и возникновение практик «пролетарских» формировало новые формы «исторического воспоминания», которое проявлялось в организации праздничных ритуалов. Такого рода организованные «исторические воспоминания» служили задаче объединения людей под определенной идеологией [Winter, p. 313–314]. Собравшись вместе на праздничном мероприятии, посвященном очередной годовщине революции, советские люди делились своими воспоминаниями не просто как памятью, а создавали общий рассказ о революции, который их объединял. Стирая в памяти воспоминания о жизни до революции, советские граждане должны были идентифицировать себя в обществе.

День 7 ноября как день свержения старого режима и установления нового символизировал новый порядок и вызов его всемирным врагам. Мускульная гордость, которой веяло от физкультурников, принимавших участие в демонстрациях, или от военных, маршировавших на Красной площади и других площадях по всей стране, демонстрировала авторитет революции как внутри страны, так и внешнему миру. Создание таких памятных дат было частью более широкого движения в рамках того, что некоторые ученые назвали «изобретением традиции» [Feuchtwang, p. 316].

Источники

Луначарский А. В. О детском революционном празднике // Луначарский А. В. О массовых празднествах, эстраде и цирке. М. : Искусство, 1981. С. 126.

Пиотровский А. Хроника ленинградских празднеств 1919–1922 годов // Массовые празднества. Сборник комитета социологического изучения искусств / Гос. ин-т истории искусств ; предисл.: Н. Извеков. Л. : Academia, 1926.

Исследования

Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М. : Языки славянской культуры, 2004.

Барышева Е. В. Политические дискурсы государственных праздников // Будущее нашего прошлого : материалы всерос. науч. конф., Москва, 15–16 июня 2011 г. / [редкол.: А. П. Логунов (отв. ред.) и др.]. М. : РГГУ, 2011. С. 55–65.

Нора П. Как писать историю Франции // Франция-память / [Пьер Нора и др. ; пер. с фр. Д. Хапаевой]. СПб. : Изд-во СПбГУ, 1999.

Рольф М. Советские массовые праздники. М. : РОССПЭН, 2009.

Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2–3 (40–41). С. 8–27.

Хаттон П. История как искусство памяти. СПб. : Владимир Даль, 2003.

Шерпелев Л. И. Агитационно-пропагандистская работа Коммунистической партии в связи с проведением революционных праздников и юбилеев (1918–1927 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.00 / Горьк. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. Горький, 1971.

Bell C. Ritual Theory, Ritual Practice. Oxford ; New York : Oxford Univ. Press, 1992.

Bloch M. Ritual and Deference // Bloch M. Essays on Cultural Transmission. Oxford : Berg, 2005. P. 123–138.

Feuchtwang S. Ritual and Memory // Memory: Histories, Theories, Debates / ed. by S. Radstone, B. Schwarz. New York : Fordham Univ. Press, 2010. P. 281–298.

Winter J. Sites of Memory // Memory: Histories, Theories, Debates / ed. by S. Radstone, B. Schwarz. New York : Fordham Univ. Press, 2010. P. 312–324.

References

Assmann, J. (2004). *Kul'turnaia pamiat'. Pis'mo, pamiat' o proshlom i politicheskaia identichnost' v vysokikh kul'turakh drevnosti* [Cultural Memory. Letter, Memory of the Past and Political Identity in the High Cultures of Antiquity]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury. (In Russian)

Barysheva, E. V. (2011). *Politicheskiye diskursy gosudarstvennykh prazdnikov* [Political Discourses of Public Holidays]. In A. P. Logunov (Ed.), *Budushcheye nashego proshlogo* [Future of Our Past] (pp. 55–65). Moscow: RGGU. (In Russian)

Bell, C. (1992). *Ritual Theory, Ritual Practice*. Oxford; New York: Oxford University Press.

Bloch, M. (2005). Ritual and Deference. In M. Bloch, *Essays on Cultural Transmission* (pp. 123–138). Oxford: Berg.

Feuchtwang, S. (2010). Ritual and Memory. In S. Radstone, & B. Schwarz (Eds.), *Memory: Histories, Theories, Debates* (pp. 281–298). New York: Fordham University Press.

Halbwachs, M. (2005). Kollektivnaia i istoricheskaia pamiat' [Collective and Historical Memory]. *Neprikosnovennyi zapas,* 2–3 (40–41), 8–27. (In Russian)

Hatton, P. (2003). *Istoriya kak iskusstvo pamiati* [History as an Art of Memory]. St Petersburg: Vladimir Dal. (In Russian)

Nora, P. (1999). Kak pisat' istoriiu Frantsii [How to Write the History of France]. In P. Nora et al., *Frantsiia-pamiat'* [France-Memory]. St Petersburg: St Petersburg State University Press. (In Russian)

Rolf, M. (2009). *Sovetskiie massovyie prazdniki* [Soviet Mass Holidays]. Moscow: ROSSPEN. (In Russian)

Sherpelev, L. I. (1971). *Agitatsionno-propagandistskaia rabota Kommunisticheskoi partii v sviazi s provedeniiem revolyutsionnykh prazdnikov i yubileiev (1918–1927 gg.)* [Propaganda Work of the Communist Party in Connection with the Revolutionary Holidays and Anniversaries (1918–1927)] (doctoral dissertation). Gorky State University named after N. I. Lobachevsky, Gorky. (In Russian)

Winter, J. (2010). Sites of Memory. In S. Radstone, & B. Schwarz (Eds.), *Memory: Histories, Theories, Debates* (pp. 312–324). New York: Fordham University Press.

Барышева Елена Владимировна
кандидат исторических наук,
заведующая кафедрой истории и теории исторической науки
Российский государственный гуманитарный университет
125993, Москва, Миусская пл., 6
E-mail: barysheva.ev@gmail.com

Barysheva, Elena Vladimirovna
PhD (History), Head of the Department of History and Theory of Historical Studies
Russian State University for the Humanities
6, Miusskaya Sq., 125993 Moscow, Russia
Email: barysheva.ev@gmail.com
Researcher ID: Y-7820-2018
Scopus ID: 57191610083

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.059
УДК 070.23:355.1(470) + 81'42

В. М. Амиров
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

«МАЛОЙ КРОВЬЮ, МОГУЧИМ УДАРОМ...» Особенности конструирования образа Красной армии в советском предвоенном газетном дискурсе

Настоящая работа посвящена исследованию влияния идеологизированной социально-политической среды предвоенной Советской России на газетные тексты о развитии Красной армии, уровне ее боевой готовности, классовом характере формирования, ключевых политических установках обучения и воспитания, роли в обеспечении безопасности страны от воздействия внутренних и внешних врагов. В статье ставится задача проанализировать аспекты детерминирования публикаций о Красной армии политическими установками большевистской идеологии, выявить основные концепты советского предвоенного газетного дискурса, формирующие образ армии у военного и гражданского читателя. На многочисленных примерах из материалов главных газет страны показаны особенности функционирования этих концептов в дискурсе средств массовой информации предвоенного периода.

Для реализации замысла и цели статьи использована методология критического дискурс-анализа, в ходе которого выявляются, классифицируются и характеризуются концептуализированные определения и политические метафоры, использованные в публикациях советских газет 1937–1940 гг.

Источниками для анализа послужили публикации советских газет «Красная звезда», «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Литературная газета», посвященные различным вопросам развития Красной армии за 1937–1940 гг. Всего изучено более 50 публикаций, отобранных по ключевым словам *армия*, *война*, *оборона*, *большевизм*, *враг*.

На основе проведенного исследования отобранных газетных публикаций делаются выводы о пропагандистском характере текстов о Красной армии. В этих текстах реальный журналистский анализ успехов и проблем боевой подготовки заменяется концептами политической агитации и пропаганды. Концепты носят характер аксиом, не нуждаются в доказательствах и призваны сформировать у читателей идеальный образ армии, готовой победить любого врага с небольшими потерями и на его территории.

К л ю ч е в ы е с л о в а: армия; война; дискурс; оборона; большевизм; враг; партия; народ.

Ц и т и р о в а н и е: *Амиров В. М.* «Малой кровью, могучим ударом...»: Особенности конструирования образа Красной армии в советском предвоенном газетном дискурсе. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.059 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 245–254.

Поступила в редакцию 22.04.2019
Принята к печати 25.06.2019

© Амиров В. М., 2019
CC BY-NC

Valery M. Amirov
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

"WITH LITTLE BLOOD SHED AND A MIGHTY BLOW..." The Peculiarities of Designing an Image of the Red Army in Soviet Prewar Newspaper Discourse

This article examines the influence of the ideologised social and political environment of prewar Soviet Russia on newspaper texts about the Red Army, its tactical efficiency, class principle of formation, key political principles of teaching and upbringing, and the ability to protect the country from internal and external enemies.

The author analyses aspects conditioning the determination of publications about the Red Army by Bolshevist ideology and establishes the main concepts of Soviet prewar newspaper discourse forming the image of the Army in the military and civilian reader. Referring to numerous examples from materials of the main newspapers of the country, the author demonstrates features of these concepts functioning in the discourse of mass media of the prewar period.

For the purpose of the article, the author employs methods of critical discourse analysis revealing, classifying and characterising conceptualised definitions and political metaphors used in publications of the Soviet newspapers between 1937 and 1940.

The article refers to issues of the Soviet newspapers *Krasnaya Zvezda*, *Pravda*, *Izvestiya*, *Komsomolskaya Pravda*, *Literaturnaya Gazeta* devoted to various aspects of the development of the Red Army between 1937 and 1940. Overall, the author considers over fifty publications containing the keywords "army", "war", "defense", "Bolshevism", and "enemy".

Based on the analysis of newspaper publications, the author draws some conclusions about the propaganda nature of texts about the Red Army. In these texts, the real journalistic analysis of progress and issues of battle training is replaced with concepts of political propaganda. They are presented as axioms with no need for proof and are designed to create an ideal image of the Army ready to defeat any enemy suffering insignificant losses and in the enemy's territory.

K e y w o r d s: army; war; discourse; defense; discourse; Bolshevism; enemy; party; people.

C i t a t i o n: Amirov, V. M. (2019). "Maloi krov'iu, moguchim udarom...": Osobennosti konstruirovaniia obraza Krasnoi armii v sovetskom predvoennom gazetnom diskurse ["With Little Blood Shed and a Mighty Blow...": The Peculiarities of Designing an Image of the Red Army in Soviet Prewar Newspaper Discourse]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 245–254. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.059

Submitted on 22 April, 2019
Accepted on 25 June, 2019

Одной из задач, рассматривавшихся руководителями Советской России в качестве первоочередных, являлось всемерное укрепление контроля над Красной армией при одновременном создании у населения ее положительного образа. Работа в этих направлениях особенно усилилась в 1937–1938 гг. на фоне быстрого роста военных приготовлений в нацистской Германии, представлявших перспективу большой неотвратимой войны, и начала репрессий внутри страны. При этом, хотя главный упор делался на систему военной печати, к проблеме глорификации армии и флота были привлечены и гражданские газеты.

Замыслу способствовало установление после революции полного политического и государственного контроля над газетами и журналами, в соответствии с идеями В. Ленина, рассматривавшего печать в качестве «колесика и винтика единого партийного механизма» [Ленин, т. 12, с. 100].

В короткие сроки газета «Красная звезда», первый номер которой вышел 1 января 1924 г., стала одним из ведущих СМИ страны, распространяемых не только в армии, но и среди рабочих и крестьян. На концепцию развития газеты оказали большое влияние идеи наркома военно-морских дел Л. Троцкого, изложенные в его речи «Задачи военной печати» [Троцкий]. Именно «Красная звезда» в значительной степени формировала концепты «непобедимости» и «легендарности», победы «малой кровью, могучим ударом», продвигая их в армейскую и гражданскую аудиторию. Вместе с тем, эти концепты могут быть выделены и в публикациях общественно-политических СМИ, таких как «Правда» или даже «Литературная газета», которые также проанализированы в данной статье.

Прежде чем рассмотреть, как именно эти концепты функционировали в текстах «Красной звезды» и гражданской печати исследуемого периода, определимся с тем, что мы будем понимать под газетным дискурсом.

В последние годы понятие «дискурс», введенное в оборот философом М. Фуко [1996] и развитое Т. А. ван Дейком [2013], активно используется в лингвистике. Помимо словарного значения дискурса как вида речевой коммуникации, ориентированного на обсуждение и обоснование любых значимых аспектов действий, мнений и высказываний ее участников, в филологических исследованиях даются и иные определения дискурса. Некоторые из этих определений представляются нам принципиально важными.

Например, Н. Д. Арутюнова в своих работах видит дискурс как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами... речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие...» [Арутюнова, с. 136–137]. Свое терминологическое видение *дискурса* предлагают и другие российские исследователи, которые понимают его как «связную речь» [Почепцов, с. 13], «поток речи, сверхфразовое единство, сложное синтаксическое целое» [Борботько, с. 15] и т. д.

При этом характеризующим признаком газетного дискурса, являющегося частью медиадискурса [Алефиренко, с. 31] является то, что «он объединяет

множество коммуникативных систем, репрезентированных в языке газеты» [Бобровская, 2011, с. 1].

Для выявления прагматической сути газетного дискурса ключевым видится понимание его «информирующе-воздействующей функции» [Бобровская, 2004, с. 9], а также функционирование в нем прецедентного феномена, «вербализуемого в виде цитат, имен, названий и представляющего готовые интеллектуально-эмоциональные блоки» [Семенец, с. 87].

Исследователи дискурса журналистских материалов подчеркивают необходимость анализа текстов СМИ с «широкой вовлеченностью в контекст, без чего невозможно ни читательское, ни исследовательское осознание текстов СМИ» [Алексеева, с. 124]. При этом нужно понимать, что «структура дискурса соответствует структуре определенного исторического типа сознания и общества, а развитие дискурса происходит относительно некой доминирующей ценности в определенное время культуры» [Ухова, Эфа, с. 154]. Многие лингвисты указывают в своих исследованиях на различные формы детерминированности газетного дискурса политическим фоном [Грушевская, Гассий, с. 38] и выделяют политические новости как особый вид газетного дискурса [Гончарова, с. 100]. Таким образом, мы можем рассматривать публикации, глорифицирующие образ Красной армии в определенных исторических и политических условиях советского общества конца 1930-х гг., в контексте происходивших в стране событий и навязанных обществу доминирующих ценностей.

Обратимся к текстам газетных публикаций и рассмотрим функционирование в дискурсе некоторых определяющих концептов. Всего нами рассмотрено 50 текстов, опубликованных в 1937–1940 гг. в газетах «Красная звезда», «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Литературная газета» и отобранных по ключевым словам *армия*, *война*, *оборона*, *большевизм*, *враг*. Методикой анализа является дискурс-анализ, позволяющий исследовать тексты с учетом социально-политического фона и культурно-исторических особенностей среды.

Анализ текстов, посвященных Красной армии, опубликованных в советских газетах, позволяет выделить пять концептуализированных определений (определений-концептов): «***непобедимая, победоносная***», «***любимая***», «***героическая***», «***народная***», «***большевистская***». Определения-концепты, формирующие семантическое поле материала, отобраны по частотности употребления и по семантико-образующим признакам.

«***Непобедимая, победоносная***». Публикации показывают Красную армию как заведомо непобедимую по нескольким обстоятельствам, представляемым читателям в качестве бесспорных: «*Красная Армия стоит на страже границ Советского Союза, охраняет его земли, богатства и население. Если враг посмеет хоть в какой-либо точке нарушить советские рубежи, он будет беспощадно разгромлен*» [Против парадности и недооценки боевой тревоги]; «*Люди сталинской эпохи, вспоенные матерью-родиной, выпестованные партией Ленина-Сталина, не могут знать в бою иного пути, кроме пути к уничтожению врага*» [Армия героев].

«***Любимая***». Материалы показывают любовь населения к Красной армии, всенародную поддержку, которой она пользуется, доверие трудящихся к надежности защиты от врагов: «*Безгранична любовь советского народа к непобедимой, крепнущей день ото дня рабоче-крестьянской Красной Армии*» [Писатели и укрепление обороны]; «*Красная Армия — знающая, за что она борется, горячо любимая и поддерживаемая всем народом, руководимая партией большевиков, — не может не побеждать*» [Армия героев].

Непобедимость презентуется как результат народной любви и знания целей — этих двух обстоятельств уже достаточно, с точки зрения авторов и редколлегий, для того, чтобы победить любого врага. Вторым важным фактором непобедимости является руководство Красной армией большевистской партией. Репрезентация высокого уровня боевой выучки частей Красной армии, готовности к войне вооружения и техники, хотя и присутствует в публикациях, однако осуществляется в гораздо меньшей степени. Такая аргументация не может рассматриваться в дискурсе иначе, как имеющая догматическую основу. Красноармейцам и красным командирам, гражданскому читателю газет предлагается верить в аксиому о непобедимости армии, не требующую доказательств и очень напоминающую по своей формулировке религиозный догмат.

«***Героическая***». Этот концепт органично вытекает из предыдущего и является его логическим продолжением. В заведомо непобедимой армии не могут не служить заведомо непобедимые воины, наделяемые сверхкачествами, обеспечивающими им превосходство над любым потенциальным противником и восхищение со стороны населения. Совершенно неслучайно употребление для характеризации своих военных таких романтизирующих эпитетов, как «*чудесные*», «*славные*», «*прекрасные*» и «*замечательные*»: «*Наши замечательные стрелки и пулеметчики, прекрасные танкисты, превосходные артиллеристы, чудесные летчики показали свое высокое мастерство и умение решать самые сложные и трудные боевые задачи*» [На страже советской Родины]; «*Когда наши славные летчики прилетели в Америку, американские журналисты обратились к ним с вопросом: что движет вами в героических подвигах? Ответ летчиков был кратким: Родина!*» [Абрамов].

«***Народная***». Поскольку Советская Россия является государством рабочих и крестьян и все в ней принадлежит народу, то Красная Армия тоже формируется по классовому принципу и защищает имущество, принадлежащее народу.

Здесь важно отметить два определяющих нюанса. В о - п е р в ы х, демонстрацию в текстах неразрывной связи армии и народа, обеспечивающую преданность армии интересам народа и поддержку народом своей армии: «*Большинство командиров-начальников Красной армии были раньше слесарями, машинистами, механиками, вышли из среды батраков, пастухов, из рабочего класса и крестьянства... Они кровно связаны с народом*» [Огин]; «*Советский народ дал Красной Армии лучшую свою молодежь*» [Сыны народа идут в Красную Армию]; «*Советский народ, превративший свою страну в мощную индустриальную державу,*

вооружил Красную армию самыми современными орудиями обороны» [На страже советской Родины].

В о - в т о р ы х, коренное отличие народной армии от армий капиталистических государств состоит в том, что последние укомплектованы против воли самих солдат и обслуживают интересы их классовых врагов — богачей-капиталистов: «*Армии капиталистических государств — это орудие в руках буржуазии против народа. Они предназначены для защиты интересов капиталистов*» [Емаев]. При этом указывается на изначальную слабость такой армии, поскольку «*Для эксплуататорских классов великие слова "отечество", "родина" являются пустым звуком и нужны как ширма, за которой скрываются грабеж и дикая эксплуатация трудящихся масс*» [Абрамов].

«***Большевистская***». Задача установления постоянного политического контроля над армией требовала от власти обеспечения непрерывного партийного присутствия и подчинения задач боевой подготовки партийному влиянию. Поэтому в публикациях тщательно подчеркивается верность красноармейцев и командиров большевистской доктрине. При анализе текста видно, что дискурс фиксирует несколько аспектов.

Аспект «***верность большевизму***», преданность идеям Ленина — Сталина: «*Боец Красной Армии — это олицетворение лучших качеств нашего народа, его смелости, его любви к родине, его преданности великому делу Ленина-Сталина*» [Огин]. Верность эта, по мысли автора публикации, носит искренний характер, военнослужащие вдохновлены идеалами большевизма совершенно естественно и не выражают ни малейших сомнений в их истинности: «*Красноармейцы, командиры и политработники преисполнены величайшей радостью, что эти успехи позволяют им еще раз засвидетельствовать свою беспредельную преданность родине и большевистской партии*» [Буденный].

Аспект «***партийность командования***»: «*Командир, как и комиссар, обязан быть, прежде всего, воинствующим большевиком, независимо от того, является ли он членом партии или нет*» [Авторитет командира].

Это некоторым образом входит в противоречие с концептом ***«народная»***, поскольку показывает, что на самом деле армия находится под руководством одной политической силы и выполняет поставленные этой силой задачи, а командиром в армии не может стать человек, не принимающий идеологию партии.

Концептуализированные определения взаимодействуют с системой политических метафор: «***осажденная крепость***», «***маски врага***». Метафоры делят пространство дискурса на «свое» и «чужое».

«***Осажденная крепость***» и «***маски врага***». Эти политические метафоры имеют несомненное мобилизующее значение, поскольку, с одной стороны, доказывают необходимость сплочения в условиях враждебного окружения вокруг политического руководства и ленинско-сталинской идеологии, а с другой — очерчивают круг врагов. Кроме внешних врагов, дискурс фиксирует указание на врагов внутренних, опасность от которых не менее сильна для советской

государственности. Внешние враги — международная буржуазия и фашисты: «*Мы сильны! Мы будем бить врага на той территории, откуда он придет, мы должны быть еще сильнее, чтобы окончательно раздавить всех врагов Советского Союза. Укрепим обороноспособность нашей страны так, чтобы враги разбили свои фашистские лбы о наши границы*» [Будем бить врага на его территории]. Внутренние враги — шпионы, троцкисты, агенты зарубежных разведок: «*Некто Л. работал продолжительное время инспектором политуправления. О чем писали нам заявления? О том, что на квартире жены Л. собирались шпионы, переходившие границу <...> А через некоторое время Л. был разоблачен, как враг*» [Александров]; «*А пока существует капиталистическое окружение, будут существовать у нас вредители, шпионы, диверсанты и убийцы, засылаемые в наши ряды агентами иностранных государств*» [Выше идейный уровень политзанятий].

Внешние и внутренние враги, согласно дискурсу, тесно связаны друг с другом и координируют свою подрывную деятельность против армии и государства рабочих и крестьян: «*Шпион, агент иностранных разведок, наймит Гестапо, троцкист умеют натягивать на себя невинные маски*» [Красноармейская присяга].

Далее в текстах используются маркеры дискурсивного пространства «***бить врага на его территории***». Внутри дискурса появляются пространственные границы.

«***На чужой территории***». Этот маркер можно считать продолжением концепта «***непобедимая, победоносная***», его смысл заключается в том, чтобы доказать внутренней и внешней аудитории силу армии, способной обеспечить неприкосновенность границ и разгром потенциального противника до реализации его попыток прийти в Советскую Россию. Косвенно концепт отражает настрой партийно-политического руководства страны на превентивную войну и на экспансию коммунистической идеологии, в том числе, и с применением силы: «*Могучая, непобедимая Красная Армия стоит на страже советских границ. И тот день, когда обезумевший враг попытается перейти советские рубежи, будет началом его сокрушительного разгрома на его же собственной территории*» [Героическая армия советского народа].

Успех Красной армии в Гражданской войне бездоказательно распространяется на войну предстоящую, в которой предполагаемым врагом определены фашисты. Такой подход полностью повторяет идею концепта «***непобедимая, победоносная***», где тоже не содержится доказательств превосходства в уровне боевой подготовки, иначе как политического характера: «*...Красной Армии, отстоявшей в кровавых и грозных боях с российскими белогвардейцами и иностранными интервентами социалистическое отечество и готовой в каждую минуту ответить ударом на удар врага и громить его на его собственной территории*» [Писатели за укрепление обороны]; «*...любая армия фашистских захватчиков будет разгромлена на ее же территории, не перешагнув красных рубежей нашей родины*» [На страже мирного труда].

При огромном количестве декларативных заявлений о непобедимости Красной армии и ее готовности к победе над любым противником, публикаций,

рассказывающих об успехах собственно в боевой учебе, относительно мало, материалы не содержат анализа успехов и недостатков: «*План летного дня был продуман хорошо. Летный день прошел организованно. Летчики, предупрежденные командиром подразделения, успешно справились со своей задачей в сложных условиях аэродрома и погоды. Самолеты отработали без малейших происшествий, подготовка материальной части была хорошая*» [Парфенов].

Зато присутствуют формулы самого общего пропагандистского характера: «*Воины и командиры Красной Армии на полях тактических учений оттачивают свое мастерство, проверяют свои знания и умения победоносно действовать в самой сложной обстановке*» [Сыны народа идут в Красную Армию].

В качестве выводов отметим следующее. Публикации о Красной армии, относимые к предвоенному газетному дискурсу, в значительной степени детерминированы большевистской идеологией и содержат пропагандистские концепты, искажающие представление читателей о подлинной боевой готовности вооруженных сил. Семантическое поле опубликованных материалов формируют пять концептуализированных определений: «***непобедимая, победоносная***», «***любимая***», «***героическая***», «***народная***», «***большевистская***».

Материалы указывают на интенсивную морально-психологическую подготовку армии и населения в целом к войне с фашистской Германией. При этом газетный дискурс фиксирует формирование коллективного двусоставного образа врага — внешнего (международная буржуазия и фашисты) и внутреннего (шпионы, наймиты, агенты иностранных государств).

Истоки силы Красной армии представляются авторами в основном с пропагандистских позиций (преданность марксистско-ленинской идеологии, большевистской партии, трудовому народу, готовность к подвигу и т. д.), мало подкрепляются анализом проблематики боевой подготовки и технической оснащенности.

Все это может свидетельствовать о знании политическим руководством реального уровня подготовки Красной армии к войне, а также о попытке создать в глазах населения образ гораздо более боеспособной армии, нежели она была на самом деле, что подтвердили трагические события 1941 г.

Источники

Абрамов Я. О советском патриотизме // Красная звезда. 1937. 6 окт.
Авторитет командира // Красная звезда. 1938. 5 окт.
Александров А. Уловки врага // Красная звезда. 1938. 17 окт.
Армия героев // Красная звезда. 1938. 2 нояб.
Будем бить врага на его территории // Правда. 1937. 17 июня.
Буденный С. Грозная сила // Красная звезда. 1937. 7 нояб.
Выше идейный уровень политзанятий // Красная звезда. 1937. 27 нояб.
Героическая армия советского народа // Комсомольская правда. 1939. 23 февр.
Емаев М. Бесправие солдат капиталистических армий // Красная звезда. 1937. 2 нояб.
Красноармейская присяга // Правда. 1937. 28 апр.
Парфенов А. Первый летный день // Красная звезда. 1937. 16 дек.

Писатели за укрепление обороны // Литературная газета. 1937. 30 июня.
На страже мирного труда // Известия. 1938. 23 февр.
На страже советской Родины // Красная звезда. 1937. 2 нояб.
Огин П. Красная Армия и народ // Красная звезда. 1937. 12 окт.
Писатели и укрепление обороны // Литературная газета. 1937. 30 июня.
Против парадности и недооценки боевой тревоги // Красная звезда. 1938. 4 окт.
Сыны народа идут в Красную Армию // Красная звезда. 1937. 2 окт.

Исследования

Алексеева Е. А. Дискурсные особенности текстов СМИ: публицистичность и достоверность // Вестн. НГУ. Сер. : История, филология. 2014. Т. 13. Вып. 6 : Журналистика. С. 124–129.

Алефиренко Н. Ф. Медиадискурс — modus vivendi на рубеже XX–XXI вв. // Вестн. Вят. гос. гуманитар. ун-та. 2009. № 4. С. 30–33.

Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М. : Сов. энциклопедия, 1990. С. 136–137.

Бобровская Г. В. Теория фигур речи и прагматическая специфика газетного дискурса // Вестн. Вят. гос. ун-та. 2004. № 4 (2). С. 7–11.

Бобровская Г. В. Газетный дискурс в проблемном поле коммуникативно-прагматической лингвистики // Электрон. науч.-образоват. журн. ВГПУ «Грани познания». Декабрь 2011. № 4 (14). С. 1–4.

Борботько В. Г. Общая теория дискурса : Принципы формирования и смыслопорождения : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01. Краснодар, 1998.

Дейк Т. А. ван. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации : пер. с англ. М. : Либроком, 2013.

Гончарова Н. А. Новостные тексты политического характера как особый вид дискурса // Вестн. Адыг. гос. ун-та. Сер. 2 : Филология и искусствоведение. 2013. № 1. С. 100–106.

Грушевская Т. М., Гассий Т. И. Политический газетный текст через призму маркеров субъектности // Вестн. Адыг. гос. ун-та. Сер. 2 : Филология и искусствоведение. 2013. № 3 (126). С. 38–41.

Ленин В. И. Партийная организация и партийная литература // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М. : Госполитиздат, 1958–1965. Т. 12 : Октябрь 1905 — апрель 1906. 1960. С. 99–105.

Почепцов Г. Прагматические особенности текста // Прагматическая интерпретация и планирование дискурса : тез. совещания-семинара. Пятигорск : Изд-во Пятигор. пед. ин-та ин. яз., 1991. С. 12–33.

Семенец О. П. Прецедентный заголовок в газетном дискурсе начала XXI века: традиции и новаторство // Изв. Рос. гос. пед. ун-та. 2017. № 183. С. 86–96.

Троцкий Л. Задачи военной печати // Красная звезда. 1924. 11 мая.

Ухова Т. В., Эфа С. Г. Дискурс СМИ: репрезентация концепта war в контексте времени культуры «9/11». DOI 10.15688/jvolsu2.2017.3.15 // Вестн. ВолГУ. Сер. 2 : Языкознание. 2017. Т. 16. № 3. С. 154–162.

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М. : Касталь, 1996.

References

Alefirenko, N. F. (2009). Mediadiskurs — modus vivendi na rubezhe XX–XXI vv. [The Media Discourse as a Modus Vivendi at the Turn of the 21st Century]. *Vestnik Viatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta*, 4, 30–33. (In Russian)

Alekseeva, E. A. (2014). Diskursnye osobennosti tekstov SMI: publitsistichnost' i dostovernost' [Discourse Features of Media Texts: Publicity and Reliability]. *Vestnik NGU. Series: Istoriia, filologiia, 13*(6: Zhurnalistika), 124–129. (In Russian)

Arutyunova, N. D. (1990). Diskurs [Discourse]. In V. N. Yartseva (Ed.), *Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar'* [Linguistic Encyclopaedic Dictionary] (pp. 136–137). Moscow: Sovetskaia entsiklopediia. (In Russian)

Bobrovskaya, G. V. (2004). Teoriia figur rechi i pragmaticheskaia spetsifika gazetnogo diskursa [The Theory of Figures of Speech and Pragmatical Peculiarities of Newspaper Discourse]. *Vestnik Viatskogo gosudarstvennogo universiteta*, 4 (2), 7–11. (In Russian)

Bobrovskaya, G. V. (2011, December). Gazetnyi diskurs v problemnom pole kommunikativno-pragmaticheskoi lingvistiki [Newspaper Discourse in the Problematic Field of Communicative and Pragmatical Linguistics]. *Elektronnyi nauchno-obrazovatel'nyi zhurnal VGPU "Grani poznaniia"*, 4 (14), 1–4. (In Russian)

Borbot'ko, V. G. (1998). *Obshchaia teoriia diskursa (printsipy formirovaniia i smysloporozhdeniia)* [The General Theory of Discourse (Principles of Formation and Sense Generation)] (habilitation dissertation). Krasnodar. (In Russian)

Dijk, T. A. van. (2013). *Diskurs i vlast'. Reprezentatsiia dominirovaniia v iazyke i kommunikatsii* [Discourse and Power. The Representation of Domination in Language and Communication]. Moscow: Librokom. (In Russian)

Foucault, M. (1996). *Volia k istine: po tu storonu znaniia, vlasti i seksual'nosti* [The Will to Knowledge]. Moscow: Kastal. (In Russian)

Goncharova, N. A. (2013). Novostnye teksty politicheskogo haraktera kak osobyj vid diskursa [Political News Texts as a Special Type of Discourse]. *Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Series 2: Filologija i iskusstvovedenie*, 1, 100–106. (In Russian)

Grushevskaya, T. M., & Gassij, T. I. (2013). Politicheskii gazetnyi tekst cherez prizmu markerov sub"ektnosti [The Political Newspaper Text through the Prism of Subjectivity Markers]. *Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Series 2: Filologiia i iskusstvovedenie*, 3 (126), 38–41. (In Russian)

Lenin, V. I. (1960). Partiinaia organizatsiia i partiinaia literatura [Party Organisation and Party Literature]. In V. I. Lenin, *Polnoe sobranie sochinenij* [Complete Works] (5th ed.). (Vol. 12: October 1905 — April 1906, pp. 99–105). Moscow: Gospolitizdat. (In Russian)

Pocheptsov, G. (1991). Pragmaticheskie osobennosti teksta [Pragmatical Features of Text]. In *Pragmaticheskaia interpretatsiia i planirovanie diskursa: tezisy soveshchaniia-seminara* [Pragmatic Interpretation and Discourse Planning: Conference Theses] (pp. 12–33). Pyatigorsk: Pyatigorsk Pedagogical Institute of Foreign Languages Press. (In Russian)

Semenets, O. P. (2017). Pretsedentnyi zagolovok v gazetnom diskurse nachala XXI veka: traditsii i novatorstvo [Precedent Headline in Newspaper Discourse of the Early 21st Century: Traditions and Innovation]. *Izvestiia Rossiiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta*, 183, 86–96. (In Russian)

Trotsky, L. (1924, May 11). Zadachi voennoi pechati [Tasks of the Military Press]. *Krasnaia Zvezda*. (In Russian)

Ukhova, T. V., & Efa, S. G. (2017). Diskurs SMI: reprezentatsiia kontsepta war v kontekste vremeni kul'tury "9/11" [Mass Media Discourse: The Representation of the War Concept in the Context of "9/11" Culture Time]. *Vestnik VolGU. Series 2: Iazykoznanie*, *16*(3), 154–162. doi: 10.15688/jvolsu2.2017.3.15 (In Russian)

Амиров Валерий Михайлович
кандидат филологических наук, доцент кафедры периодической печати и сетевых изданий
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: vestnik-va@mail.ru

Amirov, Valery Mikhailovich
PhD (Philology), Associate Professor
Department of Periodicals and Online Media
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Email: vestnik-va@mail.ru
ORCID: 0000-0003-3371-2939

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.060
УДК 811.161.1'366.56 + 811.161.1'373 + 81'42

Б. Ю. Норман
1) Белорусский государственный университет
Минск, Республика Беларусь
2) Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

ОСОБАЯ ПРАГМАТИКА 3-ГО ЛИЦА*

Категория грамматического лица служит для распределения синтаксических ролей среди участников речевого акта. Это типичный шифтер, обеспечивающий переход от языковой системы к речевой реальности (Р. Якобсон). 1-е лицо обозначает говорящего, 2-е лицо — слушающего (адресата речи). У 3-го лица особое положение в системе лиц: оно обозначает предмет или человека, не участвующего в акте общения. Поэтому некоторые ученые считают его «не-лицом» (Э. Бенвенист). Тем не менее, в русском языке встречаются ситуации, когда 3-е лицо используется для обозначения слушающего (адресата), и при этом передается или значение подчеркнутой вежливости (уважения) или, наоборот, антивежливости (неодобрения, возмущения и т. д.). В первом случае 3-е лицо подчеркивает особый статус адресата, например: *Чего желает уважаемый гость?* Для русского языка это несколько архаичное средство. Но существуют и современные жанровые условия, в которых 3-е лицо, используемое по отношению к собеседнику, получает положительную коннотацию. Это публичное интервью с известными личностями, когда обращение приобретает дополнительную репрезентативную функцию. Во втором случае 3-е лицо имеет негативную окраску, оно используется для демонстративного исключения собеседника из круга участников коммуникации (например, *Она еще будет меня учить!*). При этом смена лица (со 2-го на 3-е) может сопровождаться изменением грамматического времени или числа. В статье описываются сопутствующие языковые средства (выступающие

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-02005 «Репрезентация и интерпретация внутреннего мира человека в русском языке: семантика, дискурс, прагматика»).

© Норман Б. Ю., 2019
CC BY-NC

вместе с 3-м лицом) и соответствующие дискурсивные условия. Во всех случаях использование 3-го лица по отношению к собеседнику представляет собой сильное прагматическое средство. Представлены примеры из русской художественной литературы.

К л ю ч е в ы е с л о в а: грамматическое лицо; слушающий; диалог; интервью; дискурс; прагматика; вежливость; речевой конфликт.

Ц и т и р о в а н и е: *Норман Б. Ю.* Особая прагматика 3-го лица. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.060 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 255–268.

Поступила в редакцию 05.01.2019
Принята к печати 21.06.2019

Boris Ju. Norman
1) Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus
2) Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

SPECIAL PRAGMATICS OF THE THIRD PERSON

The category of grammatical person serves for the distribution of syntactic roles among the participants of speech acts. This is a typical shifter that provides the transition from the language system to speech reality. The first person denotes the speaker, while the second person denotes the person spoken to (hearer). The third person has a special position in the system of persons, i.e. it denotes an object or person who does not participate in the communicative act. Therefore, some scholars consider it “non-person” (É. Benveniste). Nevertheless, there are situations in the Russian language when the third person is used to designate the hearer, with either emphasised politeness (respect) or, vice versa, anti-politeness (disapprobation, indignation, etc.). In the first case, the third person emphasises the special status of the addressee, for example *Чего желает уважаемый гость?* For the Russian language, it is a somewhat archaic means. But there are modern genre conditions in which the third person used in relation to the interlocutor receives a positive connotation. This is a public interview with famous people when the appeal acquires an additional representative function. In the second case, the third person has a negative connotation; it is used to deliberately exclude the interlocutor from the circle of communication participants (for example *Она еще будет меня учить!*). In this case, a change of person (from second to third) may be accompanied by a change in the grammatical tense or number. In all cases, the use of the third person in relation to the interlocutor is a powerful pragmatic tool. The article refers to examples from Russian fiction.

K e y w o r d s: grammatical person; hearer; dialogue; interview; discourse; pragmatics; politeness; speech conflict.

Acknowledgements
The study was supported by a grant of the *Russian Scientific Foundation* (project 16-18-02005 "The Representation and Interpretation of Man's Inner World in the Russian Language: Semantics, Discourse, Pragmatics").

C i t a t i o n: Norman, B. Ju. (2019). Osobaia pragmatika 3-go litsa [Special Pragmatics of the Third Person]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 255–268. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.060

Submitted on 05 January, 2019
Accepted on 21 June, 2019

Грамматическое лицо — категория, распределяющая коммуникативные роли между участниками речевого акта. Формы 1-го лица служат своего рода точкой отсчета для говорящего: это основной способ его речевой самопрезентации, психологический символ границ его личной сферы. 2-е лицо, обозначающее позицию слушающего (конкретного или потенциального), замыкает собой круг общения. Со времен известной работы Р. Якобсона [Jakobson] в языке принято выделять класс ш и ф т е р о в — «подвижных определителей», совмещающих в себе роли символа и индекса. К таким «дискурсивным словам» относят прежде всего личные местоимения, хотя, как известно, аналогичные функции успешно выполняются личными окончаниями глагола.

В реальности при разговоре, кроме собеседников, могут присутствовать и другие люди, однако язык своими средствами проводит условную границу — между участниками коммуникации и всеми остальными — теми, кто не участвует непосредственно в общении. Тем самым 3-е лицо оценивается в социопсихологическом плане наиболее низко: оно обозначает субстанции, находящиеся за границами коммуникативного акта. Это «некто» и «нечто», требующие именования (в отличие от 1-го и 2-го лиц, данных «самими по себе» в глагольных или местоименных формах). Даже если говорящий и слушающий в ходе диалога обмениваются своими ролями, это не меняет их противопоставленности объектам, составляющим тему разговора, но не более того.

Э. Бенвенист, исследуя природу глагольных форм, характеризовал 3-е лицо как «не-лицо» или «отсутствующее лицо»: «Так как третье лицо не предполагает никакого лица, оно может принимать любой субъект или не иметь никакого субъекта, и этот субъект, выраженный или невыраженный, никогда не представляется как "лицо"» [Бенвенист, с. 264]. Судя по всему, в этой цитате смешиваются два значения слова *лицо*: общеупотребительное («человек», «персона») и терминологическое, собственно шифтерное. Но особое положение 3-го лица применительно к коммуникативному акту действительно обосновывает глобальную оппозицию, в которой 1-е и 2-е лицо составляют один совокупный полюс, а 3-е лицо — другой полюс, иную семиотическую константу. Это проявляется, в частности, в развитии целого класса безличных глагольных форм и синтаксических конструкций, составляющих важную часть грамматики славянских языков.

Однако при такой в целом ясной картине практика русской речи демонстрирует нам некоторые случаи функционирования форм 3-го лица, требующие специального лингвистического комментария.

В частности, человек может и сам подумать или сказать о себе в 3-м лице. Это своего рода объективизация описываемой ситуации, попытка говорящего взглянуть на себя со стороны:

> Он зажег свет, лег на кушетку и накрылся пальто. Почему-то было неудобно кисти левой руки. Ах, конечно, часы. Он снял их, завел, да еще при этом подумал: «Удивительная вещь, этот человек сохраняет полное хладнокровие. Он даже не забывает завести часы. Это хорошо» (*В. Набоков*. Подлец)[1].

> Он казался себе очень спокойным и взрослым. Поджимал губы, делал твердое лицо, рассматривал себя в оконном стекле, думал о себе в третьем лице разные вещи (*А. Битов*. Дверь).

Существуют в русском языке стандартные формулы, в которых говорящий даже обязан назвать себя в 3-м лице. Это, в частности, начало телефонного разговора (*Вас беспокоит Иванов*), доклад воинскому командиру (*Рядовой Иванов по вашему приказанию прибыл*), объявление в салоне самолета (*Говорит командир корабля*) или в зале суда (*Суд удаляется на совещание*) и т. п. Но перечень этих формул «самопрезентации» невелик, фактически они заданы списком.

Значительно интереснее, когда форма 3-го лица (местоимения или глагола) употребляется по отношению к собеседнику (адресату речи). Ясно, что перед нами своего рода речевая аномалия, нарушение коммуникативного стандарта. И, выводя слушающего за пределы непосредственного диалога, говорящий, очевидно, должен преследовать какие-то особые цели.

Конечно, человек может оказаться в позиции «случайного» 3-го лица — свидетеля разговора, в котором затрагивается его личность [Норман, 2017, с. 268–270]. В таком случае он ощущает недостаточное уважение или даже пренебрежение к себе; язык как бы сигнализирует: «Тебя это не касается». Такое снижение речевого статуса порождает по меньшей мере чувство неловкости, дискомфорта. Примеры:

> Так они продолжали долго, говоря то о картах, то обо мне, как будто меня не было в комнате, как будто я был тенью или бессловесным существом, — и эта их шуточная привычка, оставлявшая меня прежде равнодушным, теперь казалась мне полной значения, точно я и вправду присутствую только в качестве отражения, а тело мое — далеко (*В. Набоков*. Отчаяние).

> Некоторое время они говорят обо мне в моем присутствии так, как будто меня здесь нет. А я стою, прислонившись к стенке с идиотской улыбкой... (*А. Арканов*. Вареная курица в четверг).

[1] Полные сведения об изданиях, из которых взяты литературные контексты, см. в списке источников.

Если другой человек говорит о присутствующем «он», или «этот», или «тот», то это вполне может быть произнесено сознательно и тогда будет воспринято адресатом как прямая обида, угроза или даже оскорбление, ср. примеры:

> Пастернак... говорил о вещах простых... Я вдруг подняла голову и сказала: «Единственная в мире страна, которая справилась с рабочим движением...» Пастернак вздрогнул, как мне показалось, от отвращения, и спросил Мандельштама «Что *она* там говорит?» Я точно помню, что он сказал обо мне в третьем лице... (*Н. Мандельштам*. Вторая книга).

> — За вами стоял, гражданин? — наконец обращается он к лысому. <...>
> — За мной, — признается кто-то.
> — А ты за кем? Вон *за тем*, что ли?
> Седой, благообразный старик вдруг вспылил:
> — *Что значит — за тем? Как вы смеете — за тем?*
> Тот стоит, смотрит. Потом говорит:
> — Извините... (*В. Попов*. На прощанье).

Характерны и авторские комментарии к такому использованию третьеличного местоимения в приведенных контекстах: *вздрогнул от отвращения*, *вспылил*... Очевидно, что 3-е лицо в пейоративной функции выступает в комплексе с прономинализацией: вместо имени — собственного или нарицательного (которое говорящему наверняка известно) — человек обозначается безликим местоимением! «Обезличивание» участника речевого акта, его деперсонализация — верный путь к разрастанию конфликта, а далее все зависит от распределения социальных ролей в разговоре (типа «главарь» — «новичок», «мать» — «дочь» и т. п.), ср. следующие цитаты:

> Жирные щеки Свистка, изображая веселье, задрожали, а маленькие глазки переползли с рук на лицо Сержа. — А *этот* такой молоденький. Прямо цыпленочек. — Он говорил о Серже в третьем лице, как об отсутствующем.
> С Сержа слетел весь гонор (*Н. Леонов*. Трактир на Пятницкой).

> — Мы с бабушкой в восемь встали и на дачу отправились, а *эта* спала. Знаете, что меня взбесило?
> — Говори.
> — *Эта* у меня из шкафа розовую футболку взяла! (*Д. Донцова*. Но-шпа на троих).

Особое положение, которое занимают среди шифтеров формы 3-го лица, отражается в разнообразных с психологической точки зрения речевых коллизиях. И тут мы еще раз обратимся к статье Э. Бенвениста: «Благодаря своему статусу неличной формы “третье лицо” приобретает способность становиться и формой уважения, которая возвышает человека над уровнем обычного лица, и формой оскорбления, которая может уничтожить его как лицо» [Бенвенист, с. 265].

Действительно, референтная «опустошенность» 3-го лица позволяет использовать его в речи как своего рода джокер, наделяя тем или иным прагматическим

значением (вплоть до полярно противоположных). Можно сказать, что в графическом представлении употребление 3-го лица образует своего рода параболу, положительная и отрицательная ветви которой максимально удалены от стандартного нейтрального значения «неучастия в речевом акте».

Начнем с «положительной» ветви. В русском языке с помощью 3-го лица речевой статус собеседника может повышаться, объективизироваться до некоторого надстандартного уровня. Существуют устойчивые лексические формулы обращения, рассчитанные на такой эффект, например: *Чего желает уважаемый гость? Не хочет ли высказаться господин президент?* Тому же служат уже устаревающие или иронические обозначения, включающие в себя местоимение *ваш*, типа *ваша милость, ваше благородие, ваше сиятельство;* вполне живое *ваш брат* и т. п., ср.:

> МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ. ...А что было бы, если бы то же самое случилось с волшебным мечом?
>
> ГЕНЕРАЛ. Ну, мало ли что бывает!.. Уж не прикажет ли *господин министр* драться на войне палками? (*С. Маршак.* Умные вещи).

> Я говорю:
>
> — Где же это *ваша милость* пропадает?
>
> Мишка говорит:
>
> — Ситро пил (*Д. Драгунский.* Ровно 25 кило).

П. Форчхаймер, охвативший своим обзором множество экзотических языков, свидетельствует, что такое описательное обозначение адресата речи нередко сопровождается плюральной формой глагола [Forchheimer, p. 38]. Множественное число здесь по-своему подчеркивает степень уважения. Очевидно, для подобного использования «статусных» существительных в качестве обращения необходимы определенные личностные условия: степень знакомства или зависимости собеседников, стиль общения (официоз или ирония) и т. п.

Именование собеседника «статусным» существительным (вся конструкция при этом, разумеется, строится в 3-м лице) активно используется в исторических повествованиях как выражение подчеркнутого уважения, даже подобострастия. Характерны, например, те фрагменты романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита», в которых начальник тайной службы Афраний обращается к прокуратору Иудеи Понтию Пилату (в тексте оговаривается: «пришедший говорил по-латыни»). Это, в частности, такие фразы, как: *Прокуратору здравствовать и радоваться! Я слушаю приказания прокуратора*; *Прокуратор не любит Ершалаима? Прокуратор, как всегда, тонко понимает вопрос*; *Прокуратор слишком добр! Что именно интересует прокуратора? Прокуратор может быть уверен в этом* и т. д. Понятно, что в данном случае мы имеем дело с некоторой стилизацией (архаизацией) речи.

Заметим также, что некоторые славянские языки (польский, чешский, словацкий) канонизировали форму 3-го лица с десемантизированным *Pan* в качестве вежливого обращения или упоминания. Скажем, польское *Czy mówi Pan*

po rosyjsku? означает «Вы говорите по-русски?». Возможно, скрытая отсылка к архаичным или «западным» формам этикета служит дополнительной предпосылкой к употреблению гоноративных форм 3-го лица в русской речи.

Но, кроме указанных предпосылок, на употребление формы 3-го лица в качестве обращения к собеседнику действуют еще некоторые дискурсивные факторы. Речь идет о традициях определенных литературных или публицистических жанров — в частности, жанра публичного интервью.

Здесь нередка ситуация, когда вопрос интервьюера вместо вежливого *вы* включает в себя фамилию и/или статус интервьюируемого (разумеется, вся конструкция строится в 3-м лице). Так, популярный еженедельник «Аргументы и факты» регулярно публикует в своих номерах интервью с известными личностями: российскими режиссерами, актерами, певцами, художниками, писателями. Приведем в качестве примеров несколько реплик интервьюера.

> В основе ленты — судьбы звезд советской эстрады, в том числе и народной артистки СССР Эдиты Пьехи. Как жила и как живет сегодня *легендарная певица*? (АиФ, 2015, № 9; вместо: *как вы жили и как живете...*).

> *Стоянова* считают специалистом по женским душам — столько женских ролей сыграно вами в «Городке» (АиФ, 2018, № 36; вместо: *вас считают специалистом...*).

> Знаю, *Серебряков* — собачник. Сколько у вас собак? (АиФ, 2018, № 39; вместо: *знаю, вы — собачник*).

> У вас ведь не так давно появилась еще одна «роль» — стали петь в группе «Крестный папа». Музыка для *Безрукова* — возможность поведать то, что не сказано в кино, в театре? (АиФ, 2018, № 47; вместо: *музыка для вас*).

> Сегодня достаточно часто вспоминают советскую культуру с ее худсоветами — мол, этот институт сдерживал безвкусицу. Судя по тому, что вы говорите, *Гафт* — за возврат цензуры? (АиФ, 2018, № 51; вместо: *вы — за возврат цензуры?*).

Первое условие такого способа обозначения собеседника через 3-е лицо — это специфический речевой акт — интеррогатив (вопрос, запрос информации). Причем это должна быть ситуация публичного общения (подразумевающая некоторый общественный фон), и вопрос к собеседнику ставится, так сказать, «от имени публики». Подобный журналистский прием свойствен и другим славянским языкам [см.: Пехливанова, Буров].

То, что в качестве адресата выступает известная, публичная личность, позволяет сделать ее представителем некоторой части социальной элиты (подразумевается смысл ‘такой, как вы’, ‘один из подобных вам’). И долг журналиста — представить артиста публике, напомнить его фамилию, а возможно, и какие-то иные достоинства («легендарная певица» и т. п.). В частном случае интервьюер может процитировать какую-то автохарактеристику артиста; это тоже освобождает его от необходимости повторять в качестве обращения личное местоимение. Вот певица В. Цыганова сетует на обилие программ со сценами насилия на российском телевидении:

Вы же видите, сколько на разных каналах идет бандитских сериалов. Это я их пропагандирую, что ли? Это делают наши федеральные каналы за государственный счет. А вы простую девушку спрашиваете о таких серьезных вещах (смеется).

На что корреспондент реагирует цитатным обращением:

— Может мне «*простая девушка*» сказать, зачем она хотела попасть на проект «Дом-2»... (АиФ, 2018, № 45; вместо: *зачем вы хотели попасть?*).

Получается, что используемые в интервью формы 3-го лица в применении к собеседнику совмещают в себе по крайней две функции: с одной стороны, это функция обращения, а с другой — функция репрезентативная, вводящая артиста в круг зрительских интересов. И хотя можно говорить о формах 3-го лица как одном из жанрообразующих средств интервью, следует признать, что и за границами данного дискурса обращение часто скрывает за собой «представительскую» подоплеку. Вот, например, один из участников гаражного кооператива выступает на собрании дольщиков:

СИДОРИН. ...(Смирновскому.) Павел Константинович! *Вы крупный ученый*, говорят, с мировым именем. *Вы — член-корреспондент*, в институте все зависят от вас... (*Э. Брагинский, Э. Рязанов.* Гараж).

Спрашивается: кому, зачем он это говорит? Ясно, что по форме это обращение к Смирновскому, а по сути — это презентация Смирновского, его статуса и роли в коллективе. Иначе говоря, эти слова рассчитаны не столько на самого ученого, сколько на внимание собравшихся.

Если имя существительное содержит в себе оценочную коннотацию, то при именовании собеседника (т. е. адресат опять-таки выступает в 3-м лице) в нем могут актуализироваться различные эмоции — упрек, гордость, сожаление и т. п. Пример:

— Алеша, донеслось из маминой комнаты, — я сейчас схожу ненадолго, а ты сиди и занимайся. Просто стыд, как мне приходится краснеть за тебя на собраниях. *И это внук Скропышева!* — добавила она со скорбью (*А. Битов.* Фиг).

Здесь *И это внук Скропышева!* — не просто констатация факта, а выражение эмоции, которое должно достичь ушей Алеши («и это ты — внук Скропышева»).

Таким образом, формы 3-го лица, используемые в качестве прямого или косвенного обращения к собеседнику, придают высказыванию сильные прагматические оттенки; при этом они могут сочетать в себе различные функции.

Однако до сих пор речь шла о, так сказать, положительной ветви семантической параболы 3-го лица в особых речевых ситуациях. Истинная амбивалентность этой формы обнаруживается при сравнении с ее употреблениями в негативных, пейоративных значениях.

Как уже говорилось, обозначить присутствующего человека формой 3-го лица — значит в принципе устранить его из речевого акта, вывести за его пределы.

Это конфронтативная, конфликтогенная тактика, часто встречающаяся вместе с повтором предыдущей реплики. В таком случае 3-е лицо выступает как языковое средство выражения «антивежливости» [Норман, 2018, с. 191–193]. Примеры из литературных источников:

— Да ведь я израненный нашей проклятой жизнью! Но главное, конечно, я в душу раненный, так сказать...

— В душу *он раненный*, бедолага, — съехидничал я. — Жулик ты порядочный, вот ты кто... (*В. Пьецух.* Я и прочее).

— Нормальные у ней азеры живут, с рынка, при регистрации, я их знаю, все тип-топ...

— *Знает он их!* — запоздало возмущалась, глядя на меня, женщина (*Д. Донцова.* Бенефис мартовской кошки).

СОЛОВЕЙ. Райка, тебе пить нельзя, ты лаять начинаешь, тихо!

РАИСА. Да я еще не пила!

АНТОНИНА. А я вообще молчу.

РАИСА. *Молчит она.* Вам хорошо, вы всю жизнь в золоте плавали, а я, бедная? (*Н. Коляда.* Землемер).

— Прекрасный город, — возразила Маша. — Жаль только, мы его и не видели совсем. Нам надо туда просто так поехать, без работы. Он вам понравится, Дмитрий Андреевич, обещаю вам.

— Да не надо мне ничего обещать, — вдруг вспылил Родионов. — *Обещает она мне!* (*Т. Устинова.* Саквояж со светлым будущим).

— Если не будешь кормить, я с тобой разведусь, — пообещала Настя, рисуя на экране таблицу.

— Да куда тебе! *Разведется она,* — проворчал Чистяков, собирая со стола свои записи. — Тебе даже бутерброд сделать лень, не то что разводиться (*А. Маринина.* Убийца поневоле).

В приведенных цитатах говорящий представляет присутствующего собеседника как бы со стороны; тем самым он формально обобщает, «объективизирует» свою точку зрения. Но по сути он выражает свое несогласие с только что произнесенной репликой или даже негодование по поводу сказанного. (Показателен и сопровождающий авторский комментарий — глаголы *съехидничать, возмущаться, вспылить, проворчать.*) Одновременно «отстранение» собеседника призвано повысить речевой статус самого говорящего: он пытается таким образом оправдать свои негативные эмоции. Разумеется, делает он это не вполне осознанно, такая транспозиция лица входит в число языковых «техник».

Характерна для подобного использования форм 3-го лица инверсия — глагольная форма предшествует личному местоимению, рематическая часть высказывания переносится в позицию темы. Кроме того, в устной речи очень важна особая — передразнивающая, издевательская — интонация. Иными словами, конфронтативная реакция использует целый комплект языковых средств,

причем среди ее составляющих доминирующая роль принадлежит самому факту дублирования реплики, препозиции глагольной формы и ее эмфатическому выделению, а перевод реплики в 3-е лицо — скорее дополнительное, сопровождающее и усиливающее, средство. В монографии Н. Ю. Шведовой, в которой существенное внимание уделялось репликам-повторам, в том числе с экспрессивными оттенками недовольства, раздражения, пренебрежения, было показано, что разные виды отрицательного отношения к сказанному не обязательно требуют формального вывода собеседника за пределы коммуникативного акта. «Насмешливое недоверие, окрашенное иронией возражение выражается повторением глагольной формы, сопровождаемой постпозитивным местоимением-подлежащим» [Шведова, с. 308]. Там же приводились примеры диалогов: *Я чувствую — Чувствуешь ты! Я заплачу — Заплатишь ты!* и т. п.

Н. Ю. Шведова отмечала также используемый в репликах-повторах перевод ситуации в будущее время (*Он увиливает — Увильнет он! Врет он. — Соврет он у меня!*), преследующий выражение «угрожающего запрещения» [Там же, с. 351]. Очевидно, что транспозиция лица в сочетании с транспозицией времени только усиливает данную коммуникативную интенцию. Актуальную ситуацию момента речи говорящий представляет как фантастическую, невероятную, перенося ее в план будущего. Перед нами — речевой прием, используемый в ситуациях несогласия, неодобрения, раздражения, негодования. Симптоматично, что повтор контактной реплики (как в прошлом случае) здесь не обязателен, достаточно семантической связи между ними. Примеры:

— Почему вы выскочили заступаться за продавцов? Я, правда, не был вчера в магазине...

— Иди проспись сперва! Понял? *Он еще будет останавливать...* «Поговорить». Я те поговорю! Поговоришь у меня в другом месте! (*В. Шукшин.* Обида).

Они оба замолчали, уставились друг на друга, сбившись с толку. Потом старик, пряча глаза, забормотал, пытаясь опять разъяриться, но у него никак не получалось:

— Про любовь *она мне будет...* Твой-то, гладкий, приехал, понюхал, чем пахнет, да и от ворот поворот, плюнул, да и уехал... (*Ф. Кнорре.* Родная кровь).

— ...Как только фээсбэшники и журналисты докопаются до вот этого, — и она постучала красным ноготком по договору, — а они докопаются, у них сразу возникнут к вам вопросы. И к Баширову тоже, между прочим.

— Да идите вы к черту! *Пугать она меня будет!* Вы договор прочитали, который я вам показал по крайней душевной доброте? И давайте чешите отсюда, рабочий день в разгаре! (*Т. Устинова.* Пять шагов по облакам).

Запрет, да еще совмещенный с угрозой, — эффективный речевой акт, сопровождаемый высокой степенью экспрессии и способный изменить развитие коммуникативной ситуации. Разумеется, говорящий применяет его автоматически, не задумываясь об особенностях семантики 3-го лица и будущего времени. Прагматика тут доминирует над грамматикой.

Свою лепту в формирование атмосферы диалога вносит и взаимодействие категорий лица и числа. Выше мы уже говорили о возможности использования плюральных форм для выражения подчеркнутого уважения. Но те же формы множественного числа могут применяться в ситуации несогласия, дезапробации — тогда они способствуют «обезличиванию» собеседника. В следующем отрывке из рассказа А. П. Чехова персонаж по фамилии Пимфов обращается к собеседнику со словами: *Вы говорите* (2-е лицо), и тут же, через пару предложений, обозначает ситуацию как *говорят* (3-е лицо). Речь идет об употреблении на письме буквы *ять*:

— ...Для чего он, спрашивается? Напиши ты хлеб с ятем или без ятя, нешто не все равно?

— Бог знает, что *вы говорите*, Илья Мартыныч! — обижается Пимфов. — Как же это можно хлеб через е писать? Такое *говорят*, что слушать даже неприятно (*А. П. Чехов*. Мыслитель).

Здесь *говорят* — не столько выведение собеседника за пределы речевого акта, сколько осуждение его через принижение речевого статуса: Илья Мартыныч оказывается уже «недостоин» упоминания во 2-м лице. Сложная психологическая коллизия обозначается с помощью доступных языковых средств — и назревает речевой конфликт.

В другом рассказе писателя перебив лица в обращении к собеседнику подкрепляется сменой не только числа, но и временного плана (настоящее время противопоставляется прошедшему). Отец семейства разговаривает с несостоявшимся женихом для своей дочери:

— ...Милостивый государь, *вы... отвиливаете*... Нечестно-с!

— Я... я... я не знаю, как же это я отвиливаю?

— *Ходил* сюда целое лето, *ел*, *пил*, *обнадеживал*, балясы тут с девчонками от зари до зари *точил*, и вдруг, на тебе, уезжаю!

— Я... я не обнадеживал...

— Конечно, предложения *вы не делали*, да разве не видно было, к чему клонились *ваши поступки*? (*А. П. Чехов*. Жених и папенька).

Здесь словоформы *ходил*, *ел*, *пил*, *обнадеживал*, *точил* рисуют ситуацию как бы объективно, со стороны, а сам деятель (молодой гость) из собеседника на это время превращается в «постороннее лицо». Затем 2-е лицо в обращении восстанавливается (*вы не делали*, *ваши поступки*), но психологический «укол» уже нанесен. Писатель мастерски использует возможности русского языка, чтобы показать атмосферу диалога и его развитие.

К подобным случаям использования форм лица, времени, числа вполне применимо следующее заключение: «Языковая техника, отражая предшествующие стадии мышления, не всегда отвечает требованиям современной научной идеологии» [Виноградов, с. 89]. Это значит, что формальные средства языка начинают использоваться в новых, вторичных функциях, первичные же их

функции отходят в тень. Сочетаемость граммемы 3-го лица с различными временами и числами составляет особую проблему [см.: Норман, 1999, с. 216–220]; в нашем же случае все осложняется очевидным экспрессивно-стилистическим эффектом, ради которого эти третьеличные конструкции и используются.

Таким образом, 3-е лицо может использоваться в русском языке как в целях передачи маркированной позитивной вежливости, так и в качестве средства «негативной вежливости», антипатии, возмущения или негодования. При этом следует подчеркнуть два уже отмеченных условия.

Во-первых, такое 3-е лицо используется в комплексе с другими языковыми средствами. Прежде всего, «подчеркнутая вежливость» сочетается с выбором определенных лексических средств (формул типа *ваша милость*, имени или статусных обозначений собеседника). «Подчеркнутая антивежливость» предполагает свои языковые составляющие. Это обозначение собеседника личным местоимением 3-го лица (часто в составе ответной реплики-повтора), возможность сочетания с глагольными формами будущего времени, характерная интонация (эмфатическое выделение глагола) и др.

Во-вторых, особые, прагматически насыщенные случаи употребления 3-го лица требуют соответствующих дискурсивных условий. Для «сверхвежливого» 3-го лица — это архаизованный официоз или интервью в ситуации публичного общения (и там, и там имеет место дистанция в ролевом статусе собеседников). Для «антивежливого» 3-го лица — это диалогическая разговорная речь и более или менее равный ролевой статус общающихся.

Наши наблюдения над употреблением граммемы 3-го лица наглядно демонстрируют связь грамматики с дискурсивными условиями. Говорящий, реализуя свою иллокутивную интенцию (в том числе укладывающуюся в противопоставление «эмпатия — антипатия»), несвободен в выборе грамматических средств. Жанрово-стилевые рамки общения обусловливают использование тех или иных «языковых техник», заложенных в памяти носителя языка. Грамматика оказывается распределена, рассредоточена по разным дискурсивным условиям.

Источники

Арканов А. Вареная курица в четверг // Арканов А. Всё. М. : ИКПА, 1990.

Битов А. Дверь // Битов А. Аптекарский остров. Л. : Сов. писатель, 1968.

Битов А. Фиг // Битов А. Аптекарский остров. Л. : Сов. писатель, 1968.

Брагинский Э., Рязанов Э. Гараж // Брагинский Э., Рязанов Э. Ирония судьбы, или С легким паром. Комедии для театра. М. : Сов. писатель, 1983.

Булгаков М. Мастер и Маргарита. Frankfurt/Main : Посев, 1971.

Донцова Д. Бенефис мартовской кошки. М. : ЭКСМО, 2003.

Донцова Д. Но-шпа на троих. М. : ЭКСМО, 2003.

Драгунский В. Ровно 25 кило. URL: https://deti-online.com/skazki/rasskazy-dragunskogo/rovno-25-kilo/.

Кнорре Ф. Родная кровь. URL: http://www.lib.ru/PROZA/KNORRE_F/rodkrov.txt.

Коляда Н. Землемер // Коляда Н. Собр. соч. : в 12 т. Т. 6 : Пьесы. Екатеринбург : Каменск-Уральская тип., 2016.

Леонов Н. Трактир на Пятницкой. Л. : Лениздат, 1989.
Мандельштам Н. Вторая книга. М. : Московский рабочий, 1990.
Маринина А. Убийца поневоле. М. : ЭКСМО, 1995.
Маршак С. Умные вещи. Сказка-комедия. М. : Дет. лит., 1966.
Набоков В. Отчаяние // Набоков В. Собр. соч. : в 4 т. Т. 3. М. : Правда, 1990.
Набоков В. Подлец // Набоков В. Собр. соч. : в 4 т. Т. 1. М. : Правда, 1990.
Попов В. На прощанье // Попов В. Две поездки в Москву. Л. : Сов. писатель, 1985.
Пьецух В. Я и прочее. М. : Худож. лит., 1990.
Устинова Т. Пять шагов по облакам. М. : ЭКСМО, 2006.
Устинова Т. Саквояж со светлым будущим. М. : ЭКСМО, 2006.
Чехов А. П. Жених и папенька // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем : в 30 т. Т. 4. М. : Наука, 1976.
Чехов А. П. Мыслитель // Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем : в 30 т. Т. 4. М. : Наука, 1976.
Шукшин В. Обида // Шукшин В. Избр. произведения : в 2 т. Т. 1. М. : Молодая гвардия, 1975.

Исследования

Бенвенист Э. Общая лингвистика. М. : Прогресс, 1974.
Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М. ; Л. : Учпедгиз, 1947.
Норман Б. Лицо и другие грамматические категории глагола // Personalität und Person / Hrsg. von H. Jachnow [et al.]. Wiesbaden : Harrasowitz Verl., 1999. С. 203–232.
Норман Б. Ю. Прагматический потенциал русской лексики и грамматики. Екатеринбург ; М. : Кабинетный ученый, 2017.
Норман Б. Ю. О собеседнике — в 3-м лице // Вежливость и антивежливость в языке и коммуникации : материалы Междунар. науч. конф., состоявшейся в Институте лингвистики РГГУ 23–24 октября 2018 г. / сост. и отв. ред. И. А. Шаронов. М. : Полит. энциклопедия, 2018. С. 188–194.
Пехливанова П., Буров С. За един особен начин на обръщение в интервю // Български език. 1988. Кн. 5. С. 446–450.
Шведова Н. Ю. Очерки по синтаксису русской разговорной речи. М. : Изд-во АН СССР, 1960.
Forchheimer P. The Category of Person in Language. Berlin : Walter de Gruyter & Co., 1953.
Jakobson R. Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb (Russian Language Project. Department of Slavic Languages and Literatures). Cambridge, Mass. : Harvard Univ., 1957.

References

Benveniste, É. (1974). *Obshchaia lingvistika* [Problems in General Linguistics]. Moscow: Progress. (In Russian)
Forchheimer, P. (1953). *The Category of Person in Language*. Berlin: Walter de Gruyter & Co.
Jakobson, R. (1957). *Shifters, Verbal Categories and the Russian Verb (Russian Language Project. Department of Slavic Languages and Literatures)*. Cambridge, Mass.: Harvard University.
Norman, B. (1999). Litso i drugie grammaticheskie kategorii glagola [The Person and Other Verbal Categories]. In H. Jachnow et al. (Eds.), *Personalität und Person* (pp. 203–232). Wiesbaden: Harrasowitz Verlag. (In Russian)
Norman, B. Ju. (2017). *Pragmaticheskii potentsial russkoi leksiki i grammatiki* [Pragmatic Potential of Russian Lexis and Grammar]. Yekaterinburg; Moscow: Kabinetnyi uchenyi. (In Russian)
Norman, B. Ju. (2018). O sobesednike — v 3-m litse [Referring to the Interlocutor in the Third Person]. In I. A. Sharonov (Ed.), *Vezhlivost' i antivezhlivost' v yazyke i kommunikatsii: materialy Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, sostoyavsheisya v Institute lingvistiki RGGU 23–24 oktyabrya 2018 g.* [Politeness and Anti-politeness in Language and Communication: Proceedings of Intern. Scholarly Conf. Held at the Institute of Linguistics RSUH on 23–24 October 2018] (pp. 188–194). Moscow: Politicheskaya entsiklopediya. (In Russian)

Pekhlivanova, P., & Burov, S. (1988). Za edin osoben nachin na obrashchenie v intervju [About One Special Way of Address in an Interview]. *Balgarski ezik*, 5, 446–450. (In Bulgarian)

Shvedova, N. Yu. (1960). *Ocherki po sintaksisu russkoi razgovornoi rechi* [Sketches on Syntax of Colloquial Russian Speech]. Moscow: USSR Academy of Sciences Press. (In Russian)

Vinogradov, V. V. (1947). *Russkii yazyk. Grammaticheskoe uchenie o slove* [The Russian Language. The Grammatical Doctrine about the Word]. Moscow; Leningrad: Uchpedgiz. (In Russian)

Норман Борис Юстинович
доктор филологических наук, профессор,
профессор кафедры теоретического
и славянского языкознания
Белорусский государственный университет
220030 Беларусь, Минск,
пл. Независимости, 4;
ведущий научный сотрудник
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: boris.norman@gmail.com

Norman, Boris Justinovich
Dr. Hab. (Philology), Professor
Department of Theoretical and Slavonic
Linguistics
Belorussian State University
4, Nezalezhnasti Ave., 220030 Minsk, Belarus;
Leading Researcher
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Email: boris.norman@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8520-5387
Scopus ID: 57192290727

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.061
УДК 811.161.1'282.2(470.1/.2) +
+ 81:39 + 641.568(470.1/.2)

К. В. Осипова
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

К РЕКОНСТРУКЦИИ ТРАДИЦИОННОГО РАЦИОНА КРЕСТЬЯН РУССКОГО СЕВЕРА ПО ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ ДАННЫМ (на примере названий блюд из толокна)*

В статье анализируются севернорусские названия похлебок из толокна, которые входили в состав традиционного рациона крестьян и ценились за питательность и легкость приготовления. Статья основывается на диалектном материале, собранном на территории Архангельской, Вологодской и Костромской областей. Материал извлекался из словарей и неопубликованных источников — лексической картотеки Топонимической экспедиции Уральского университета. Этнолингвистическое исследование включает семантико-мотивационный анализ лексики, ее ареальную характеристику, а также интерпретацию фольклора и акциональных форм культуры. Автором была выявлена специфика приготовления и употребления блюд из толокна, определены основные мотивационные модели, на основе которых сформировалась эта группа лексики. Слово *дежéнь*, употребляемое на Русском Севере в значении 'жидкое блюдо из муки', является архаичной формой, которая сохранила здесь свою исконную семантику. В мотивационных моделях, характерных для названий похлебок из толокна, отразились следующие их особенности: блюдо не требует варки (*сыровéга, суровéга*), готовится из сухих ингредиентов путем замешивания, битья (*сухомéс*, *тяпýшка*, *мятúшка*), имеет вязкую консистенцию (*хлю́па*), готовится на сырой, холодной воде (*сиверýха*). Выявленные мотивационные модели позволили прояснить этимологию таких слов, как *заепéря*, *пя́тево*, *то́кра*, *шуроéга* (и других фонетико-словообразовательных вариантов), *ши́пель* и пр.: большинство лексем относится к исконно русской лексике. Основные обрядовые функции блюд из толокна были связаны с дожинальными обрядами (ср. *хлю́па* 'похлебка из толокна', 'празднество по окончании жатвы'): дежень символизировал собранный урожай, сытость и достаток предстоящего осенне-зимнего периода.

К л ю ч е в ы е с л о в а: русский язык; диалектология; этнолингвистика; Русский Север; традиционная пища; блюда из толокна.

Ц и т и р о в а н и е: *Осипова К. В.* К реконструкции традиционного рациона крестьян Русского Севера по лингвистическим данным (на примере названий блюд из толокна). DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.061 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 269–285.

Поступила в редакцию 22.02.2019
Принята к печати 21.08.2019

* Исследование выполнено в рамках проекта 34.2316.2017/4.6 («Волго-Двинское междуречье и Белозерский край: история и культура регионов по лингвистическим данным»), поддержанного Минобрнауки РФ.

© Осипова К. В., 2019
BY-NC

Ksenia V. Osipova
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

THE RECONSTRUCTION OF THE TRADITIONAL PEASANT DIET OF THE RUSSIAN NORTH ACCORDING TO LINGUISTIC DATA (with Reference to Oatmeal Dishes Names)

This article analyses names of oatmeal chowder, which were part of the traditional peasant diet of the Russian North and were valued as nutritious and easy to cook. The article is based on dialect material of Arkhangelsk, Vologda, and Kostroma regions. The author refers to published lexicographic sources, as well as to lexicographic files of the Russian North Dialects Dictionary and the Ural Federal University Toponymic Expedition. The ethnolinguistic research carried out includes a semantic and motivational analysis of the vocabulary, its areal characteristics, interpretation of folklore and action-based cultural forms. The author emphasises the peculiarities of cooking and eating oatmeal and highlights the main motivational models of this lexical group. The word *дежéнь* widely used in the Russian North in the meaning of "liquid flour dish" is an archaic form that has preserved its original semantics. The following features are reflected in the motivational patterns of oatmeal chowder nominations: the dish does not require cooking (*сыровéга*, *суровéга*), it is prepared from dry ingredients by kneading or beating (*сухомéс*, *тяпýшка*, *мятúшка*), has viscous consistency (*хлю́па*), is prepared with raw or cold water (*сиверýха*). The motivational models identified help clarify the etymology of such words as *шуроéга* (and other phonetic and derivational variants), *шúпель*, *заепéря*, *пя́тево*, *сиверýха*, *тóкра*, etc.: most of the lexemes belong to the original Russian vocabulary; the words *лýда* and *тóкра* are borrowed from the Finno-Ugric languages. The main ceremonial functions of dishes made of oatmeal chowder were related to harvest ceremonies (cf. *хлю́па* 'dezhen', 'celebration at the end of the harvest'): dezhen symbolised the harvest, satiety and prosperity of the coming autumn-winter period.

K e y w o r d s: Russian language; dialect studies; ethnolinguistics; Russian North; traditional food; oatmeal dishes.

Acknowledgements
The research was carried out as part of project 34.2316.2017/4.6 "The Volga–Dvina Interfluve and the Belozerye Area: History and Culture of Regions according to Linguistic Data" supported by the *Russian Ministry of Education and Science*.

C i t a t i o n: Osipova, K. V. (2019). K rekonstruktsii traditsionnogo ratsiona krest'ian Russkogo Severa po lingvisticheskim dannym (na primere nazvanii bliud iz tolokna) [The Reconstruction of the Traditional Peasant Diet of the Russian North according to Linguistic Data (with Reference to Oatmeal Dishes Names)]. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 269–285. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.061

Submitted on 22 February, 2019
Accepted on 21 August, 2019

Одна из особенностей традиционной севернорусской кухни состояла в широком распространении блюд из овса, который в силу климатических условий давал здесь хорошие урожаи. В состав ежедневного крестьянского рациона входили кушанья из *толокна* — муки, приготовленной из заранее пропаренных и высушенных овсяных зерен. Толокно любили за вкус, питательность и легкость приготовления — эти качества были незаменимы для блюда, употребляемого ежедневно. Толокно — пища славян с древних времен, традиция его приготовления оказалась наиболее сохранной именно в севернорусском регионе. Как писал О. Н. Трубачев, **tolkъno* «известно главным образом в северных славянских языках: рус. *толокно*, польск. *tłókno*, но восстановимо косвенным путем и для словенского языка, из которого немецкие диалекты получили формы *Talken*, *Talggen*. Вообще, овсяные каши — характерное кушанье Севера Европы. Рус. *толокно* употребляется также в значении ‘толченая, немолотая овсяная мука’, в таком виде толокно заготовлялось в больших количествах впрок как полуфабрикат» [Трубачев, с. 726]. Это лингвистическое наблюдение подтверждают и антропологические исследования А. В. Павловской о пище древних народов: «Запекание или другая тепловая обработка зерен, в том числе и самым простым способом, на открытом огне или углях, позволяли, с одной стороны, легко избавиться от их несъедобной внешней оболочки, с другой — превращали зерна в практически готовый “полуфабрикат”. Достаточно было растереть такие обжаренные и очищенные зерна, смешать небольшую их горстку с холодной или горячей водой (а позднее с молоком или каким-то кисломолочным продуктом), и готово сытное и питательное блюдо!» [Павловская, с. 116].

На Русском Севере из толокна готовили каши, его использовали как начинку или приправу для пирогов, добавляли в напитки. Особенно любимы были каши-похлебки, которые готовились путем замешивания толокна с водой, квасом, молоком или простоквашей. В Архангельской, Вологодской и Костромской областях, где на протяжении многих лет работала Топонимическая экспедиция Уральского университета, было записано немало вариантов названий похлебок из толокна. Именно эти слова, часть которых до сих пор не известна опубликованным лексикографическим источникам, составили основной корпус материала статьи. Данные картотек [КСГРС; ЛКТЭ] были дополнены сведениями из региональных словарей [АОС; СВГ; СГРС; СРГК], а также севернорусскими материалами из политерриториального Словаря русских народных говоров [СРНГ]. Данные СРНГ выявили особенность географического распространения блюд из толокна, которые, как и их названия, сохранились лишь на территории Русского Севера.

Статья опирается на принципы анализа, сформулированные в работах Уральской этнолингвистической школы под руководством Е. Л. Березович. Согласно принципам «узкой» этнолингвистики, изучение лексической группы подразумевает выделение культурных смыслов путем семантико-мотивационного анализа лексики [см., например: Березович; Леонтьева; Кривощапова; Родионова; и др.]. Предлагаемое исследование названий толоконных похлебок включает анализ их этимолого-словообразовательных связей, а также выявление особенностей

приготовления и употребления, роли в крестьянском рационе и обрядовых функций, которые получили номинативное воплощение. Таким образом, лингвистические данные служат основой для реконструкции традиционного рациона севернорусских крестьян, а также символических представлений, связанных с изучаемым видом пищи. Несмотря на то, что пище Русского Севера посвящено немало научных трудов [см. например: Воронина; Желтов; Ильинская; Судаков], блюдам из толокна не уделялось пристального внимания, хотя по частоте употребления они занимали одно из первых мест в повседневном рационе.

В данной статье характеризуются состав, особенности употребления блюд из толокна, выявляются их региональные разновидности, отразившиеся в семантико-мотивационных особенностях этой группы лексики. Кроме того, определяются особенности вторичного семантического развития названий, раскрывается роль блюд из толокна в традиционном застолье, в календарных и семейных обрядах.

Общая характеристика, наименования, региональные разновидности. Жители Архангельской, Вологодской и Костромской областей готовили похлебку из толокна, густо замешанного на воде, простокваше, молоке или квасе, иногда их поливали сметаной или маслом. Одно из распространенных названий этого блюда, которое непосредственно отражало его состав, — арх. *толокóнница*, *толокня́ница*, волог. *толокня́нка* [КСГРС; СРНГ, т. 44, с. 201–202].

Обычно блюдо из толокна называли *дéжéнь* (*дежéн*, *дёжня́*, *дежня́*, *дежóнь*) [АОС, т. 10, с. 423, 424; ЛКТЭ; СГРС, т. 3, с. 201; СРНГ, т. 7, с. 333]. Иногда кушанье делали густым, так что приходилось резать его ножом. Несмотря на простоту приготовления и состава, дежень был любим крестьянами: «Легкая пища дежень — толокно да простокваша, хорошая еда» (костр.) [ЛКТЭ]. В Архангельской области и северных районах Вологодчины его готовили из толокна и творога, ели со сливками, молоком или ягодами [СГРС, т. 3, с. 201]. *Дежень* как жидкое блюдо из толокна дал название и жидкому пресному тесту на молоке или простокваше, а также начинке для ватрушек на молоке или простокваше, иногда с добавлением ягод (арх.) [Там же, с. 201–202].

Согласно О. Н. Трубачеву, рус. *дежень* «представляет собой производное от рус. *дежа*, праслав. **děža* ‘квашня, посудина для замешивания теста’, слова индоевропейского происхождения <...> Значения родственных слов указывают, что рефлексы праслав. **děža* в большинстве славянских языков имеют непервоначальное значение ‘посудина, в которой замешивают тесто’. В то же время производная форма *дежень*, *дежня*, известная мне только из русского языка, сохранила значение, которое можно считать более древним: ‘тестообразное, кашеобразное кушанье’. Эта важная форма, не отраженная до сего времени в этимологических словарях, является вместе с тем указанием, что слав. **děža* обозначало вначале тесто или тестообразное кушанье, ср. готск. *daigs* ‘тесто’. Переход значения слав. **děža* ‘тесто’ > ‘сосуд для замешивания теста’ был осуществлен позднее. Отношения рус. *дежа*: *дежень* свидетельствуют, что древнее

значение основной формы во многих случаях сохраняется производной формой, морфологически вторичной» [Трубачев, с. 736]. Слово *дежень*, записанное на Русском Севере в значении ‘жидкое блюдо из муки’, является той архаичной формой, которая воплотила исконную семантику, а вместе с ней сохранилось и блюдо из древнейшего рациона русских.

В Вологодской области в значении ‘блюдо из толокна с ягодами’ употребляются слова *сыровéга* или *сыроéжка* (Бабуш., Уст., У-Куб.) [КСГРС; СВГ, т. 10, с. 178]. Название отразило особенность приготовления кушанья, которое не требовало варки и замешивалось на сырой воде с добавлением толченой брусники. Это слово представлено в севернорусских говорах множеством фонетико-словообразовательных вариантов с *у* в первом слоге: *суревя́га* (Вож.) [СРНГ, т. 42, с. 275], *суровéга* (К-Г, Ник.), *суроéха* (К-Г), *суроéга* (Гряз., Ник.), *суровéшка* (В-Т), *суроéжка* (Лен.), *су́ровица* (Плес.) [КСГРС], а также вариантом с метатезой *р* и *в* — волог. *суверя́га* [Воронина, с. 84]. Исторически корень *сур-* (**sur-*) связан чередованием гласных с гнездом *сыр-* (*сырой*) и характеризуется сходным с ним спектром значений: др.-рус. *суровъ* ‘сырой, дикий’, болг. *су́ров* ‘сырой, жесткий, свежий, сочный’, в.-луж., н.-луж. *surowy* ‘сырой, невареный; суровый, строгий’ [Фасмер, т. 3, с. 807]. Как и дериваты прил. *сырой*, слова с корнем *сур-* называют качество блюда, приготовленного из сырых, термически не обработанных ингредиентов. Именно отсутствие варки отличало *суровегу*-дежень от других блюд из толокна или муки, которые варились или запаривались в печи, ср. *кисли́ха* ‘похлебка из брусники, запаренной с мукой в печи’ (К-Г): «Суровегу сразу кушали, а кислуху намешают с мукой — и в печь» [КСГРС].

Лексемы с вариантами корня *сур-* представлены в севернорусских говорах чередованием *сур-*/*шур-*, которое, возможно, стало результатом дистактной ассимиляции *с* и *ш* в формах типа *суроéжка*, *суровéшка*: ср. *шуровéшка* (Лен., Бабуш., Нюкс.), *шуровéска* (Уст.), *шуровéха*, *шурови́ха* (Вил.), *шуроéга* (Ник.) [Там же]. Учитывая перечисленные фонетические варианты на *шур-*, можно предположить, что к этому же гнезду относится *шурубя́га* (Плес.) [Там же]. Чередование *с-*//*ш-* находим также в *шировéга* (Бабуш., Ник.) [Там же], возникшей из *сыровéга*. К этому гнезду, вероятно, относятся и *шариéга* (Ник.), *шаравéха*, *шеварéха*, *шеравéха*, *шавари́ха* (Вил.) [Там же], в которых закрепились дальнейшие метатезы согласных *р* и *в*, а также гласных *а* и *е*. Таким образом, формы *сыроега* и *суроега* представлены вариантами с метатезой гласных: *широв-*//*шерав-*//*шарав-* и согласных: *шавар-*//*шарав-*. Одной из причин фонетических изменений и возникновения вариантов с начальным *ш-* может быть влияние некоторой прибалтийско-финской формы, ср. карел. *šurvuo*, *šurvua*, *survuo* ‘толочь, разминать’, ‘колотить’ [ССКГК], особенно учитывая, что типовые контексты показывают использование этого глагола по отношению к приготовлению блюд из толокна: *šurvuo muarjat talkunan kera* «растолочь ягоды с толокном»[1]. Решение, являются

[1] Автор искренне благодарит А. А. Макарову за ценные идеи и критические замечания, высказанные относительно этимологии рус. *суровега*, *луда*, *шипель*.

ли сущ. *суровéга* / *сыровега* / *шировега* и пр. исконно русскими или заимствованными, не кажется однозначным и должно стать предметом будущего самостоятельного исследования.

Широко распространенным названием похлебки из толокна с ягодами было *сухомéс*. Особенность *сухомеса* состояла в том, что обычно он готовился на воде и без масла, а потому считался бедной пищей: «Раньше-то исти нечего было, так мучницу делали, еще сухомес с суровешкой» (арх.); «Сухомес бедной делают как: воды намешают и есть, а саламат — он с маслом» (волог.) [КСГРС; СВГ, т. 10, с. 166]. В голодные годы существовал вариант *сухомеса* с ягодами и толченой травой вместо толокна (волог.) [КСГРС]. Название *сухомес*, образованное на базе корней *сух-* и *мес-* (*меш-*), отразило, с одной стороны, особенность состава блюда, которое готовилось из сухих ингредиентов — толокна или муки, с другой — постный, нежирный состав кушанья, в котором отсутствовали скоромные компоненты: значение прил. *сухой* ‘употребляемый в пищу во время поста, постный’ широко распространено во многих русских говорах [СРНГ, т. 43, с. 13], ср.: «Сухой день, — еда, — щи», «У нас и в мясоед сухие щи не в диво» [Даль, т. 4, с. 365–366]. «Сухомесы» представляли категорию блюд, отдельную от похлебок и каш, поскольку не требовали долгого приготовления и просто замешивались в жидкости, заваривались водой. Эту особенность приготовления отражает, например, волог. *суховáра* [СРНГ, т. 43, с. 7], а также названия с корнями *болт-*, *бот-* и *меш-*: арх. *болтýха*, волог. *болтýшка*, *ботани́на* [КСГРС; СВГ, т. 1, с. 42; СГРС, т. 1, с. 142]; волог. *замéшка* [СВГ, т. 2, с. 131; СРНГ, т. 10, с. 246], волог. *мешани́на* [КСГРС; СРНГ, т. 46, с. 101–102]. Поскольку блюда из толокна быстро и без особого труда готовились в полевых условиях, они стали подобием крестьянского «фастфуда»: их названия соотносятся с обозначениями пищи быстрого приготовления, ср. волог. *тяпýшка* ‘толокно, замешанное с водой’, ‘наспех состряпанное блюдо, непонятное по содержимому’ [КСГРС].

Приготовление толоконных похлебок путем замешивания, разбалтывания становится одним из основных мотивов, воплощенных в их названиях. К таким относятся слова с корнем *тяп-* (ср. *тя́пать* ‘бить, шлепать, хлопать’): арх., волог. *тя́пýшка* [КСГРС; СВГ, т. 11, с. 93–94; СРНГ, т. 46, с. 101–102], волог. *тя́пка* [КСГРС], волог. *тепня́*, *тепéнка* [Даль, т. 4, с. 400], а также волог. *чапýшка* ‘кушанье из толокна, замешанного на воде’ [КСГРС]. Жидкая *тяпушка* противопоставлялась более густым и калорийным блюдам, например, *соломату* — каше с салом или маслом: «Тяпушка жиденька толокняна с ягодам, а густую соломатом называли» (волог.) [Там же]. В голодные военные годы вместо толокна в «тяпушку» добавляли истолченные головки клевера (волог.) [СРНГ, т. 46, с. 101–102]. Вариантом «тяпушки» был напиток из пива, в которое подмешивали толокно: такое блюдо готовили во время праздников (волог.). Особо лакомой считалась волог. *тяпýшка с полúвой* или волог. *полúва*, *полéва*, т. е. толокно, заправленное сметаной: «Полеву ставили на стол, шти, братыни с пивом» [СВГ, т. 7, с. 137]. При приготовлении дежень традиционно прихлопывали ложками

и затем заливали молоком со сметаной (волог.) [СРНГ, т. 46, с. 101–102]. Консистенцию блюда отражает название арх., волог., костр. *тяну́шка* [СВГ, т. 11, с. 92; СРНГ, т. 46, с. 93], хотя, возможно, это наименование возникло как фонетически закрепившееся переосмысление более распространенного *тяпу́шка*.

В Ленском районе Архангельской области ритуальным блюдом из толокна, которое готовили в конце жатвы, была *хлю́па* (*хлюп*): «Толокно густо замешают на кислом молоке, хорошую сделают и со сливками хлюпу эту прихлёбывают» [КСГРС]. Свое название блюдо получило по причине вязкой, кашеобразной консистенции, ср., например, арх. *хлюпова́то* ‘вязко, топко’ [Там же]. Вязкая консистенция и специфический цвет блюд из толокна стали основой устойчивой метафоры, соотносящей толоконную похлебку с топкой грязью, ср. арх. *дежня́* ‘топкая грязь’: «Увязла коровка в дежне этой»; «Дежня така на дороге, дорога-то глиняна» [СГРС, т. 3, с. 202], волог., вят. *тепня́*, *тепе́нка* ‘толокно на квасу, ягоды на квасу, месиво’, ‘липкая, вязкая грязь’ [Даль, т. 4, с. 400], волог. *тяпу́шка* ‘похлебка из толокна с квасом или водой’, ‘жидкая грязь, слякоть; дождь со снегом’ [КСГРС; СВГ, т. 11, с. 93–94], волог. *тя́пка* ‘блюдо из толокна на воде или на квасе’, ‘грязь на дороге’ [КСГРС], арх., волог. *тяпша́* ‘жидкая грязь на дороге’, арх. ‘жидкая каша’ [Там же].

На территории рязанских, севернорусских и уральских говоров записано название *лу́да* ‘толокно, замешанное на молоке’ (волог., перм., ряз.), ‘толокно с сахаром’ (сев.-урал.), ‘ягоды с толокном и сахаром’ (перм., урал.) [СРНГ, т. 17, с. 177; Трубачев, с. 735–736]. Не преследуя в данной статье цель выяснить происхождение слова, предположим, что значение ‘блюдо из толокна’ может быть семантически связано с известными на Русском Севере *лу́да́* ‘глинистая почва’ (*лу́да́* ‘твердая неплодородная (глинистая, суглинистая, каменистая) почва’ (арх., волог., вят., киров.), ‘плотная глина’ (арх., волог.), ‘белая галька в песке и глине’ (перм., урал.) [СРНГ, т. 17, с. 177; СГРС, т. 7, с. 153–154]) или ‘мель’ (арх., олон. *лу́да́* ‘мель в море, реке, озере’, ‘каменистый высокий берег’, ‘небольшой каменистый остров’ [СРНГ, т. 17, с. 178]). Например, О. Н. Трубачев, рассматривая ряз. *луда* ‘саламата, завара’, предполагал его родство с коми-зыр. *l’ut* ‘тина, ил’, к которому М. Фасмер возводил *лу́да* ‘илистая, холодная глинистая почва’ [Трубачев, с. 735–736]. Версию о коми происхождении сущ. *луда* ‘блюдо из толокна’ не поддерживает А. Е. Аникин, полагая, что коми-язьв. *луда* ‘кушанье из скатанных комочков толокна’ является заимствованием из русских говоров [Аникин, с. 359–360].

В качестве мотивационной поддержки перехода *луда* ‘почва’ → ‘каша’ стоит рассмотреть *шипу́ля* ‘кушанье из толокна с молоком или сметаной’ (Гряз.), *шипе́ль* ‘похлебка из толокна’ (Нянд.) [КСГРС], которые фиксируются наряду с *ши́пе́ль* ‘слой замерзшей грязи на дороге’ (Вил., Котл., К-Б, Лен.) [Там же], волог. *шип* ‘уплотненный ком земли, глины’ [СВГ, т. 12, с. 88]. Подобно сущ. *лу́да*, которое имеет значения ‘каша’ и ‘глинистая почва’, лексемы *шипе́ль* ‘блюдо из толокна’ и *шипе́ль* ‘замерзшая грязь, ком земли’ можно отнести к одному

этимолого-словообразовательному гнезду, предположив отношения семантической деривации между ними[2].

Специфичным для района Костромского Поветлужья, находящегося на юго-востоке севернорусской территории, было название *заепéря*: «Суп заеперей называли. Замешаешь толокна или заспы, будет заеперя» [ЛКТЭ]. Чаще всего слово встречается в сочетаниях *заепéря с дры́гальцем*, *заепéря с дрыганцей*, *заепéря с дрыгозóй* ‘кушанье из толокна с простоквашей или сметаной’: «Готовили как дежень заеперю с дрыгальцом — с холодцом, сверху накладывали, а это есть заеперя, из сырого толокна замешивали, кто на молоке, кто на чем, кто на простокваше» [ЛКТЭ; СРНГ, т. 10, с. 80]. Согласно комментариям местных жителей, это выражение пришло на Костромскую территорию «извне». Костромичи заимствовали его из речи жителей соседней Кировской области (Вятки) и использовали как экспрессивный синоним привычному *дежень*: «У нас дежень, а у ветчанёнков заеперя с дрыгозой. Смеялись над ними»; «Ветчана всё или заеперю с дрыгозой — толокно замешают, побольше сметаны туда. У нас дежень звали, а над ими смеялись: “Где, ветчана, заеперя с дрыгозой?”» [ЛКТЭ].

Существительное *заепéря* образовано от экспрессивного глагола *заепéрить*, который употребляется как в физическом значении ‘ударить, стукнуть’ (костр.) [ЛКТЭ; ОСВГ, т. 4, с. 97–98], ‘затолкнуть, запихнуть, засунуть’ (вят.) [ОСВГ, т. 4, с. 97–98; СРНГ, т. 8, с. 362], так и в переносном — *заепéрить* ‘причинить неприятность’ (вят.), ‘отругать’ (костр.) [ЛКТЭ], *епéриться* ‘выхваляться; выставлять себя напоказ’ (костр.) [СРНГ, т. 8, с. 362]. Название похлебки из толокна *заепéря* восходит к *заепéрить* ‘ударить, стукнуть’ подобно тому, как рассмотренное выше сущ. *тяпу́шка* связано с *тя́пать* ‘бить, шлепать, хлопать’: обе лексемы отражают технологию приготовления блюда[3].

Экспрессивность глагола *епéрить* придала иронические коннотации и самому названию блюда, которое в представлении костромичей стало маркером вятской речи (о различиях в речи жителей Костромской области и Вятки см. [Бондаренко, с. 109]). Любопытно, что сущ. *заеперя* в Областном словаре вятских говоров отсутствует, а в СРНГ приводится только как костромское. Это можно объяснить как лексикографической лакуной (слово просто не было записано на территории Вятки), так и тем, что слово возникло в костромских говорах и, будучи экспрессивным, соотнеслось с образом соседа, «чужака» с Вятки. Впоследствии к сущ. *заепéря* присоединилось название *дрыгоза́* как обозначение холодной желеобразной добавки — холодца или сметаны, которые употреблялись вместе с толокном, ср. арх., волог. *дры́гать* ‘дрожать, трястись, качаться’ [СГРС, т. 3, с. 140; СРНГ, т. 8, с. 221], арх. *дры́гало* ‘студень, холодец’ [СГРС, т. 3, с. 140], ср. также аналогичные формы в говорах, южных по отношению

[2] По предположению А. А. Макаровой, диал. *шипель* может иметь прибалтийско-финское происхождение, ср. фин. *sipale* ‘кусочек, крошка, полоса, ломтик’ [SKES, o. 4, s. 1035].

[3] Названия, образованные от глаголов с семантикой битья, удара, характерны для обозначений жидких, постных похлебок, ср. костр. *лощёнка* от *лощить* < праслав. **loščiti*, в том числе в значении ‘драть, бить, наносить удары’ [Березович, Осипова, с. 258].

к костромским: ворон. *дры́га*, пенз. *дрыгалка* ‘студень’ [СРНГ, т. 8, с. 221]. В речи информантов выражение *заепе́ря с дрыгозо́й* сопровождают эротические коннотации, формированию которых способствовали особенности приготовления толоконных похлебок путем битья, замешивания и способность готового холодца трястись, покачиваться. Звуковое оформление выражения *заеперя с дрыгозой* и глаголов *еперить* и *дрыгать* также ассоциируется с типичными наименованиями сексуальных действий, а значение глагола *еперить* ‘затолкнуть, запихнуть, ударить’допускает его использование как эвфемистического наименования.

Раритетным фактом представляется костромское название *пя́тево* ‘толокно’ [СРНГ, т. 33, с. 218] и выражение *запе́тить мяти́шку* ‘замесить или смешать толокно с водой’: «Мама, запеть мятишку», записанное еще В. И. Далем с пометой «Не из офенского ли языка?» [СРНГ, т. 10, с. 313]. В выражении *запе́тить мяти́шку* оба слова обладают сходной внутренней формой, связанной с мотивом битья, растирания. Сущ. *пя́тево* и глагол *запе́тить* входят в гнездо праслав. **pęti*, *рьпǫ* ‘натягивать, растягивать, поднимать’: слова этого гнезда не только проявляют праславянскую семантику натяжения, растяжения, но и развивают значение ‘бить, давить’, типичное для слов — обозначений интенсивных действий, ср. блр. *пяць* ‘напрягать, давить; пинать, пихать’ [ЭСБМ, т. 10, с. 322], яросл. *напятить* ‘поколотить’ [СРНГ, т. 20, с. 116]. Это значение могло стать толчковым при формировании семантики *пя́тево* ‘толокно’, поскольку отражает технологию приготовления толокна путем растирания, битья. Словообразовательно сущ. *пятево* можно соотнести, например, с сущ. *крошево* (от *крошить*) и *месиво* (от *месить*).

Упомянутое В. И. Далем костр. *мяти́шка* ‘толокно с водой’ [СРНГ, т. 10, с. 313] относится к гнезду **męti* (рус. *мять*) ‘бить, давить’, а костр. *мики́шка* ‘кушанье из густо замешанного на воде толокна, сверху залитого молоком’: «Поедим хоть микишку» [СРНГ, т. 18, с. 158] и *мяки́шка* ‘кушанье из сметаны, молока и творога’ [СРНГ, т. 19, с. 79] — к гнезду **mękati* ‘мять’ (ср. рус. диал. *мя́кать* ‘мять, бить’, ‘ударять кулаком’, ‘усиленно трудиться’ [ЭССЯ, т. 18, с. 240]), подчеркивающим физические свойства готового продукта. Здесь можно вспомнить, что праславянский глагол **mękati* ‘мять’ родственен форме **mǫka* (:**mękъkъ*), которая в русском языке представлена общенар. *му́ка* ‘сильное физическое и нравственное страдание’, пск., смол., тамб. *му́ка* ‘тяжелая, изнурительная работа’, а также *мука́* ‘мелко смолотое зерно’ [ЭССЯ, т. 20, с. 135–136]. Семантико-мотивационными связями в одном гнезде **mękati* и **mǫka* объединены лексемы, называющие действия, производимые с тяжелым физическим усилием, — бить, мять, тяжело работать — и названия измельченных злаков. Подобная семантико-мотивационная связь отражает архаическую традицию приготовления круп и муки путем измельчения, растирания зерна.

Как отмечает О. Н. Трубачев, основными способами обработки и измельчения зерен было разбивание их между камнями, толченье в ступе и перетирание жерновами. Внутреннюю форму «то, что истолкли, измельчили» имеет само название *толокно*, которое восходит к глаголу *толочь* ‘измельчать, дробить, мять’

(ср. также волог. *толкýшка* ‘кушанье из толокна’ [СВГ, т. 11, с. 33–34]), а также многие названия круп и продуктов из зерна разной степени помола, ср. *пшено* и *пшеница*, родственные *пихать* (< **рьхати*) ‘толочь’ [Трубачев, с. 718], *кандёр* ‘постная каша из пшена’, образованное от глагола *драть* с помощью префикса *кан-* [Там же, с. 724]. Мотив приготовления толокна и блюд из него путем растирания, битья находим и в волог. *месятка* ‘толокно’: «Месятку, толокно делали, из овсяной крупы мешали» при *месякать* ‘бить, колотить’ [СГРС, т. 7, с. 289].

Название волог. *сиверýха* ‘хлебный квас с толокном’: «Тяпушка — это похлёбка — квас, соль, толокна накидаешь — вот или тяпушка, или сиверуха» [КСГРС; СВГ, т. 10, с. 5], возможно, отражает технологию приготовления блюда из холодных ингредиентов, поскольку на этой же территории слова гнезда *север-* употребляются в значении ‘север, мороз’: волог., орл., том. *сúвер* ‘мороз’, арх., волог. *сúверно* ‘о холодной погоде с сильным ветром; холодно’ [СРНГ, т. 37, с. 269, 271]. Аргументом в пользу этой версии могут служить названия аналогичных жидких холодных блюд на основе кваса: волог. *холóдная* (*холóдное*) [КСГРС], волог. *подхолóдное* ‘холодное кушанье из кваса с зеленью и мясом, окрошка’ [СВГ, т. 7, с. 116]. Именно температурная особенность приготовления отличает *сиверýху* от горячих блюд, требующих варки или запекания, ср. волог. *горячéнько* ‘собир. домашняя выпечка’ [СГРС, т. 3, с. 115], а также общенар. *подать горячее*, *холодные закуски*, *холодные супы*.

Некоторые названия жидких блюд с квасом семантически производны от названий холодных похлебок типа тюри, ср. волог. *тю́ря* ‘кушанье из разведенного в воде толокна с ягодами’ [СВГ, т. 11, с. 87]. Блюдо из толокна, в котором обязательным компонентом были ягоды брусники, клюквы или калины, называли *я́годница* (арх., волог.) [КСГРС]. Арх. *цеж* ‘блюдо из толокна с толчеными ягодами’ [Там же], восходящее к глаголу *цедить*, объясняется тем, что обязательным компонентом блюда были размятые ягоды, дававшие сок, ср. арх. *цеж* ‘ягодный сок’ [Там же]. Помимо этого, *цеж* ‘блюдо из толокна’ могло стать результатом семантического развития более распространенного *цеж* ‘кисель’ (подробнее обозначение *цеж* рассмотрено нами в связи с названиями киселя [Осипова, 2017б]).

В Белозерском районе Вологодской области жидкое блюдо из толокна называлось *то́кра*: «В жару хорошо токры ести» [КСГРС][4]. Происхождение слова следует связывать с прибалтийско-финскими источниками. Сущ. *токра* может быть заимствованием финской диалектной формы *tokero* ‘блюдо из муки, замешанной с водой’ [SKES, o. 5, s. 1332], ср. также *tökerö* ‘то же’; ‘густой, вязкий, как каша’, *tökertää* ‘делать кашу с брусникой’ [Ibid.]. Редуцированный гласный <e> во втором, заударном слоге в формах *tokero* и *tökertää* в русских говорах был утрачен, в остальном фонетическое оформление форм языка-источника и реципиента совпадает. Помимо формы *то́кра* ‘похлебка из толокна’ в севернорусских говорах встречается вариант с корневым *п — то́пра*: «Густую делали, как каша, это топра»;

[4] Автор сердечно благодарит О. В. Мищенко за помощь и ценные рекомендации, высказанные относительно возможной финно-угорской этимологии диал. *токра*.

«Жидка топра: квас, соль, толокна ложки две и как скусно», также здесь записано *топру́шка* ‘напиток типа браги из толокняной муки’ [КСГРС]. Мена *к*//*п* могла произойти в процессе адаптации заимствования в русском языке: примеры подобного фонетического изменения встречаем, например, в позиции перед гласным в белом. *накоме́шне* ‘в тягость’ при арх., олон., пск. *поме́шня* ‘помеха’ [Михайлова, с. 216], в начале слова — в вят., орл., перм., свердл., сиб. *костромка* ‘часть конной упряжи’ при шир. распр. *постро́мка* [Там же, с. 186]. К сожалению, нами не были обнаружены мены *к*//*п* в неначальной позиции перед согласным. Раритетность мены *к*//*п* для русских говоров позволяет предполагать, что она могла произойти еще в финно-угорском источнике. Подобному звуковому изменению способствовала экспрессивность семантики, которой характеризуются слова гнезда *toker-*// *töker-*, ср. фин. *tokertaa*, *tokeltaa* ‘шепелявить, бормотать’, *tokero* ‘глупый, неуклюжий человек’ [SKES, o. 5, s. 1332]. Последняя форма, вполне возможно, также была заимствована в русский язык, где в процессе адаптации произошла мена *к*//*п* и семантический сдвиг ‘глупый, неуклюжий’ → ‘неряшливый, неопрятный’, ср. *то́пра* ‘неряшливая, неопрятная женщина’ (Бел.) [КСГРС]. Аналогичный пример семантической деривации в русском языке встречается в арх., волог. *тяпша́* ‘похлебка из толокна’ и ‘неряшливая женщина’ [Там же].

Роль блюда в застолье. Похлебки из толокна входили в состав основного рациона севернорусского крестьянина. Особенно удобным такое блюдо было во время полевых работ и сенокоса, поскольку не требовало варки и замешивалось непосредственно перед употреблением. Похлебки из толокна ели и в посты с растительным маслом и в скоромные дни со сметаной, простоквашей, маслом или молоком: «В пост старики только и жили на тяпушке» (волог.) [КСГРС]. В постные дни у зажиточных крестьян подавали *сухомесь* из толокна на холодной воде, который заменял молоко [Тенишев, т. 5, ч. 1, с. 140].

Питательными и легкими для усвоения похлебками из толокна кормили детей — об этом, например, говорит название арх. *тятя*: «Сухомесники еще тятями зовут» [КСГРС], которое восходит к детской речи и составляет семантико-мотивационную пару широко распространенному на территории Русского Севера *нана* ‘хлеб’. Наименования типа *нана*, *тятя* соответствуют особенностям детской речи, поскольку просты с точки зрения звукового оформления, а в их мотивационной основе лежат термины ближайшего родства, понятные ребенку. Образ отца (*тятя*, *нана*), главы семьи, отражает значимость хлеба и мучных похлебок для ежедневного крестьянского рациона.

Пристрастие крестьян Русского Севера к толокну закрепилось в коллективных прозвищах жителей некоторых местностей, ср. *толокня́нники* ‘жители Каргопольского уезда Олонецкой губернии’, *толоко́нники* ‘то же’, ‘вологжане’, а также арх. *толоко́нник* ‘любитель толокна’ [СРНГ, т. 44, с. 202, 203][5]. Впослед-

[5] Аналогичные коллективные прозвища записаны в финском языке, ср. фин. *talkkunamahat* «толоконники» [Карлова, с. 80].

ствии вокруг этих антропонимов выстроился фольклорный текст о том, как вологжане и каргополы замешивали тесто, насыпая толокно в реку [подробнее см.: Осипова, 2017а, с. 102–103]. Помимо того, что сюжет заваривания толокна в реке обыгрывает внутреннюю форму антропонима *толоконник*, он, возможно, отражает некоторую ритуальную практику. Бросание толокна в воду напоминает обрядовое действие «кормления» водяного, распространенное среди северно-русских рыбаков [Виноградова, Толстая, с. 603]. Так, в некоторых вариантах сказки появляется образ водяного, который якобы съел все толокно, которое кашевар бросал в реку:

> Старинная сказка о вологодцах — как они толокно месили в Волге — доселе сохраняется в народных преданиях. Говорят, что когда-то они собрались в дорогу и взяли с собой вместо хлеба — толокна. Подходят к Волге; время было обеденное. Вот и расположились на берегу обедать. Кашевар вынул мешок с толокном и стал разводить дежень в Волге. Мешал, мешал ложкой и стал потчевать земляков. Взяли ложки дружно вологодцы, принагнулись и полезли в Волгу за деженем. Попробуют — вода водой. Где дежень? Никто не знает, не ведает. Пристали к кашевару. Бедный, сколько ни уверял, а должен был, опустясь в Волгу, отыскивать толокно. Опустится на дно Волги и вынырнет ни с чем. Земляки не пускают его на берег. Догадался кашевар, что делать, а догадавшись, сказал: «Водяной съел». «На водяном не будешь отыскивать», — сказали вологодцы и воротились обедать в свою деревню. Ведь не голодным же было идти в путь? [Сахаров, с. 277][6].

Дежень в календарных и семейных обрядах. На Русском Севере похлебки и каши из толокна были главным обрядовым блюдом, которое готовилось в завершение жатвы (арх., волог., костр.). Обычно на дожинках угощали скоромным вариантом блюда — с простоквашей, сметаной или молоком. Дежень из толокна нового урожая, подаваемый со скоромной заправкой, символизировал сытость и изобилие. Как писал корреспондент Тенишевского архива, дежень — «уважаемое кушанье на помочах, на дожинках, на домолотах и пр. и в простые дни» [Тенишев, т. 5, ч. 3, с. 24]. Дежнем обязательно угощали работников, помогавших в жатве, а также близких родственников, в том числе и тех, которые не участвовали в полевых работах (арх.) [СГРС, т. 3, с. 201]. Будучи главным блюдом на дожинках, дежень завершал трапезу, а вместе с этим и символизировал конец полевых работ: «На помочах дежонь мешали, это уж как закон: стол полный, а дежонь в конце» (арх.) [Там же, с. 202].

Дежень символизировал собранный урожай, сытость и достаток предстоящего осеннее-зимнего периода. В Вологодской области дежень перед подачей на стол разравнивали, а в центр ставили овсяный колос, который затем вынимали [КСГРС]. В Тотемском и Никольском районах по дежню предсказывали жизнь на будущий год: считалось, что если колос, воткнутый в дежень, упадет

[6] Рассказы о замешивании толокна распространены также у карелов, например, в сюжете о жителях карельского села Киндасова: в карельском варианте сюжета мужики утонули, по очереди прыгая в прорубь в поисках толокна [Kaskuja, s. 30–33].

в сторону старого человека, то старик или старуха умрет, если же в сторону парня или девки — то женится или выйдет замуж [СРНГ, т. 7, с. 334].

В Ленском районе Архангельской области словами *хлю́п* или *хлю́па* называли и похлебку из толокна, и само празднество по окончании жатвы: «Кончила ты жать, дострадовалась, хлюп из толокна и замешивай, говорят, хлюп — конец страды»; «Сёдни кончили жать, ой, сёдни хлюпа» [КСГРС; СРНГ, т. 50, с. 283]. Подобные значения, характерные для севернорусских говоров, соотносятся с ритуальными функциями блюд из зерна, которые готовились по окончании полевых работ и должны были обеспечить сытость и довольство предстоящего года: ср. арх., волог. *каша* ‘праздник по окончании жатвы’ [СГРС, т. 5, с. 110; СРНГ, т. 13, с. 148], арх. *фи́ла* (*фю́ла*) ‘коллективная помощь при жатве’, ‘искрошенный колоб, залитый маслом, который ели по окончании полевых работ’ [КСГРС].

На свадьбе дежень упоминается в песне, с которой невеста обращалась к матери и подругам после рукобитья: «...Собери-тко ты, матушка, на столы-то на дубовыё скатерти-то бранные <...> Намешай-ко, матушка, *деженьки* с поливочкой и соломатицу-то с маслицем. Тебе спасибо, батюшко и матушко, за хлебсоль великую!...» [Тенишев, т. 5, ч. 2, с. 401]. Здесь он становится одним из знаков сытой и спокойной жизни в родительском доме, с которым прощается невеста.

В целом лексическое разнообразие группы, множество словообразовательных вариантов и исконное происхождение названий блюд из толокна позволяет говорить, что на Русском Севере блюда из овсяной муки употреблялись с древнейших времен и повсеместно. Свою популярность кушанье приобрело благодаря тому, что простая технология приготовления позволяла быстро получить сытное и питательное блюдо, которым кормили даже детей (см. название *тятя*). Наиболее употребительным названием жидкого блюда из толокна было *дежень*. Именно на Русском Севере это слово сохранило свою древнейшую семантику ‘тесто, тестообразное кушанье’, тогда как на других территориях слова́ этого гнезда употребляются только в значении ‘емкость для замешивания теста’ (см. приведенное в начале статьи наблюдение О. Н. Трубачева). Основная часть лексем, называющих кушанье из толокна (*толоко́нница*, *сырое́га* (*суровёга*), *сухоме́с*, *тяпу́шка*, *мяти́шка*, *сиверу́ха* и пр.), отражает особенности состава и способа приготовления блюда, в ходе которого толокно замешивали, «били» или «мяли» в холодной воде. Среди названий толоконных похлебок встречаются заимствования из финно-угорских языков, свидетельствующие о том, что употребление похлебок из толокна было свойственно многим северным народам. Простота и незатейливость блюда была осмыслена в экспрессивном названии *заепе́ря*, образованном от глагола *заепе́рить* ‘ударить, стукнуть’: на территории Костромского Поветлужья это название связывается с образом соседа-чужака с Вятки.

Любовь жителей Русского Севера к толокну закрепилась в коллективном прозвище *толоко́нники*. С толокном связан фольклорный сюжет о вологодцах, которые замешивали толокно в реке, в том числе для кормления водяного.

Дежень на Русском Севере выполнял обрядовую функцию блюда, которым завершались полевые работы: так, название *хлюп* (*хлю́па*) использовалось не только как обозначение дожинального кушанья из толокна, но и самого времени завершения жатвы.

Сокращения

В названиях административно-территориальных единиц

Бабуш. — Бабушкинский район Вологодской области
Бел. — Белозерский район Вологодской области
Вил. — Вилегодский район Архангельской области
Вож — Вожегодский район Вологодской области
В-Т — Верхнетоемский район Архангельской области
Гряз. — Грязовецкий район Вологодской области
К-Б — Красноборский район Архангельской области
К-Г — Кичменьгско-Городецкий район Вологодской области
Котл. — Котласский район Архангельской области
Лен. — Ленский район Архангельской области
Ник. — Никольский район Вологодской области
Нюкс. — Нюксенский район Вологодской области
Нянд. — Няндомский район Архангельской области
Плес. — Плесецкий район Архангельской области
У-Куб. — Усть-Кубенский район Вологодской области
Уст. — Устьянский район Архангельской области

В названиях языков и диалектов

арх. — архангельские говоры русского языка
белом. — беломорские говоры русского языка
блр. — белорусский язык
болг. — болгарский язык
в.-луж. — верхнелужицкий язык
волог. — вологодские говоры русского языка
ворон. — воронежские говоры русского языка
вят. — вятские говоры русского языка
готск. — готский язык
др.-рус. — древнерусский язык
карел. — карельский язык
киров. — кировские говоры русского языка
коми-зыр. — коми-зырянский язык
коми-язьв. — коми-язьвинский язык
костр. — костромские говоры русского языка
н.-луж. — нижнелужицкий язык
олон. — олонецкие говоры русского языка
орл. — орловские говоры русского языка
пенз. — пензенские говоры русского языка
перм. — пермские говоры русского языка
польск. — польский язык
праслав. — праславянский язык
пск. — псковские говоры русского языка
рус. — русский язык
ряз. — рязанские говоры русского языка
свердл. — свердловские говоры русского языка
сев.-урал. — русские говоры Северного Урала
сиб. — сибирские говоры русского языка
слав. — славянское
смол. — смоленские говоры русского языка
тамб. — тамбовские говоры русского языка
том. — томские говоры русского языка
урал. — уральские говоры русского языка
фин. — финский язык

Прочее

диал. — диалектное
общенар. — общенародное
прил. — прилагательное
собир. — собирательное
сущ. — существительное
шир. распр. — широко распространенное

Источники

Аникин А. Е. Этимологический словарь русских диалектов Сибири. Заимствования из уральских, алтайских и палеоазиатских языков. М. ; Новосибирск : Наука, 2000.

АОС — Архангельский областной словарь / под ред. О. Г. Гецовой. М. : Изд-во МГУ, 1980–. Вып. 1–.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М. : ГИС, 1955.

КСГРС — картотека Словаря говоров Русского Севера (кафедра русского языка, общего языкознания и межкультурной коммуникации УрФУ, Екатеринбург).

ЛКТЭ — лексическая картотека Топонимической экспедиции Уральского университета (кафедра русского языка, общего языкознания и межкультурной коммуникации УрФУ, Екатеринбург).

Михайлова Л. П. Словарь экстенциальных лексических единиц в русских говорах. Петрозаводск ; М. : Изд-во КГПА, 2013.

ОСВГ — Областной словарь вятских говоров / под ред. В. Г. Долгушева, З. В. Сметаниной. Киров : Коннектика : Изд-во ВятГГУ : Радуга-ПРЕСС, 1996–. Вып. 1–.

Сахаров И. П. Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. Русское народное чернокнижие. Русские народные игры, загадки, присловья и притчи. СПб. : Изд. А. С. Суворина, 1885.

СВГ — Словарь вологодских говоров : в 12 т. / под ред. Т. Г. Паникаровской. Вологда : Изд-во ВГПИ/ВГПУ, 1983–2007.

СГРС — Словарь говоров Русского Севера / под ред. А. К. Матвеева. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001–. Т. 1–.

СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей : в 6 т. / гл. ред. А. С. Герд. СПб. : Изд-во СПбГУ, 1994–2005.

СРНГ — Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф. П. Филин (вып. 1–22), Ф. П. Сороколетов (вып. 23–42), С. А. Мызников (вып. 43–). М. ; Л. ; СПб. : Наука, 1965–. Вып. 1–.

ССКГК — Словарь собственно-карельских говоров Карелии = Karjalan varšinaismurtehien šanakirja / сост. В. П. Федотова, Т. П. Бойко ; под общ. ред. В. П. Федотовой. Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2009.

Тенишев — Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы : Материалы «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. 5 : Вологодская губерния. СПб. : Деловая полиграфия, 2007. Ч. 1 : Вельский и Вологодский уезды ; Ч. 2 : Грязовецкий и Кадниковский уезды ; Ч. 3 : Никольский и Сольвычегодский уезды.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М. : Прогресс, 1964–1973.

ЭСБМ — Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / ред. Г. А. Цыхун. Мінск : Акадэмія навук БССР : Беларуская навука, 1978–. Т. 1–.

ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / под ред. О. Н. Трубачева (вып. 1–32), А. Ф. Журавлева (вып. 33–39), Ж. Ж. Варбот (вып. 40–). М. : Наука, 1974–. Вып. 1–.

Kaskuja = Были-небылицы : сказки-анекдоты на карел. и рус. яз. / [сост. и пер. А. С. Степанова]. Петрозаводск : Карелия, 2004.

SKES — Suomen kielen etymologinen sanakirja. 1–7 / toim. E. Itkonen, A. J. Joki, R. Peltola. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1955–1981. (Lexica societatis Fenno-ugricae ; XII).

Исследования

Березович Е. Л. Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция. М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2014.

Березович Е. Л., Осипова К. В. Названия некачественной пищи: пустой суп и некрепкий чай // Березович Е. Л. Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция. М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2014. С. 255–267.

Бондаренко Е. Д. Наивная лингвистика диалектоносителей: этносоциолингвистический аспект : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Урал. федер. ун-т. Екатеринбург, 2016.

Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Кормление ритуальное // Славянские древности : этнолингв. словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М. : Междунар. отношения, 1995–2012. Т. 2 : Д — К (Крошки). 1999. С. 601–606.

Воронина Т. А. Использование естественных растительных ресурсов в традиционном питании жителей Русского Севера (XIX — начало XX в.) // Традиционная культура. 2012. № 2. С. 84–94.

Желтов А. А. Некоторые особенности традиционной пищи населения Присухонья и Поважья // Традиционное русское застолье : сб. ст. / сост. А. В. Костина, Л. Ф. Миронихина. М. : Гос. респ. центр рус. фольклора, 2008. С. 216–236.

Ильинская Н. Г. Лексика, обозначающая выпечные изделия (на материале архангельских говоров) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01. М., 1986.

Карлова О. Л. Коллективные прозвища жителей карельских деревень // Вопр. ономастики. 2014. № 1 (16). С. 75–83.

Кривощапова Ю. А. Русская энтомологическая лексика в этнолингвистическом освещении : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 2007.

Леонтьева Т. В. Модели и сферы репрезентации социально-регулятивной семантики в русской языковой традиции : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.01 / Урал. федер. ун-т. Екатеринбург, 2015.

Осипова К. В. Диалектные прозвища Русского Севера, образованные от названий пищи: этнолингвистический аспект. DOI 10.15826/vopr_onom.2017.14.1.005 // Вопр. ономастики. 2017а. Т. 14. № 1. С. 87–109.

Осипова К. В. Кисель на Русском Севере: основные обозначения и этнокультурная символика // Вестн. Волог. гос. ун-та. Сер. : Гуманитарные, общественные, педагогические науки. 2017б. № 4. С. 72–78.

Павловская А. В. От пищи богов к пище людей. Еда как основа возникновения человеческой цивилизации. М. : Ломоносовъ, 2018.

Родионова И. В. Имена библейско-христианской традиции в русских народных говорах : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / Урал. гос. ун-т. Екатеринбург, 2000.

Судаков Г. В. Застолье по-русски. Из истории слов. Вологда : Легия, 2012.

Трубачев О. Н. Из истории названий каш в славянских языках // Трубачев О. Н. Труды по этимологии : Слово. История. Культура. Т. 1. М. : Языки славян. культуры, 2004. С. 714–744.

References

Berezovich, E. L. (2014). *Russkaja leksika na obshheslavjanskom fone: semantiko-motivatsionnaja rekonstruktsija* [Russian Vocabulary in the General Slavic Context: Semantics and Motivation Reconstruction]. Moscow: Russkij Fond Sodejstvija Obrazovaniju i Nauke. (In Russian)

Berezovich, E. L., & Osipova, K. V. (2014). Nazvanija nekachestvennoj pishchi: pustoj sup i nekrepkij chaj [Names of Low-Quality Food : Thin Soup and Weak Tea]. In E. L. Berezovich, *Russkaja leksika na obshheslavjanskom fone: semantiko-motivatsionnaja rekonstruktsija* [Russian Vocabulary in the General Slavic Context: Semantics and Motivation Reconstruction] (pp. 255–267). Moscow: Russkij Fond Sodejstvija Obrazovaniju i Nauke. (In Russian)

Bondarenko, E. D. (2016). *Naivnaia lingvistika dialektonositelei: etnosotsiolingvisticheskii aspect* [The "Naive Linguistics" of Dialect Speakers: Ethno- and Sociolinguistic Aspects] (doctoral dissertation). Ural Federal University, Yekaterinburg. (In Russian)

Iljinskaya, N.G. (1986). *Leksika, oboznachaiushchaia vypechnye izdeliia (na materiale arkhangel'skikh govorov)* [Vocabulary Denoting Baked Food (with Reference to Arkhangelsk Dialects)] (doctoral dissertation). Moscow. (In Russian)

Karlova, O. L. (2014). Kollektivnye prozvishcha zhitelei karel'skikh dereven' [Collective Nicknames of Karelian Villagers]. *Voprosy onomastiki*, 1 (16), 75–83. (In Russian)

Krivoshchapova, Yu. A. (2007). *Russkaja entomologicheskaja leksika v etnolingvisticheskom osveshchenii* [Russian Entomological Vocabulary in the Ethnolinguistic Aspect] (doctoral dissertation). Ural State University, Yekaterinburg. (In Russian)

Leontyeva, T. V. (2015). *Modeli i sfery reprezentatsii sotsial'no-reguliativnoj semantiki v russkoj iazykovoj traditsii* [Models and Spheres of Representation of Social Regulatory Semantics in the Russian Language Tradition] (habilitation dissertation). Ural Federal University, Yekaterinburg. (In Russian)

Osipova, K. V. (2017a). Dialektnye prozvishcha Russkogo Severa, obrazovannye ot nazvanij pishchi: etnolingvisticheskij aspekt [North Russian Dialectal Nicknames Derived from Names of Food: Ethnolinguistic Approach]. *Voprosy onomastiki, 14*(1), 87–109. doi: 10.15826/vopr_onom.2017.14.1.005 (In Russian)

Osipova, K. V. (2017b). Kisel' na Russkom Severe: osnovnye oboznacheniia i etnokul'turnaia simvolika [*Kissel* in the Russian North: Basic Semantics and Ethnocultural Symbols]. *Vestnik Vologodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: Gumanitarnye, obshchestvennye, pedagogicheskie nauki*, 4, 72–78. (In Russian)

Pavlovskaya, A. V. (2015). *Ot pishchi bogov k pishche liudei. Eda kak osnova vozniknoveniia chelovecheskoi tsivilizatsii* [From the Food of Gods to the Food of People. Food as the Basis for the Emergence of Human Civilization]. Moscow: Lomonosov. (In Russian)

Rodionova, I. V. (2000). *Imena bibleisko-khristianskoi traditsii v russkikh narodnykh govorakh* [The Names of the Biblical Christian Tradition in Russian Dialects] (doctoral dissertation). Ural State University, Yekaterinburg. (In Russian)

Sudakov, G. V. (2012). *Zastolje po-russki. Iz istorii slov* [Russian Feast. From the History of Words]. Vologda: Legiia. (In Russian)

Trubachev, O. N. (2004). Iz istorii nazvanii kash v slavianskikh iazykakh [From the History of Porridge Nominations in the Slavic Languages]. In O. N. Trubachev, *Trudy po etimologii : Slovo. Istoriia. Kul'tura* [Works on Etymology: Word. History. Culture] (Vol. 1, pp. 714–744). Moscow: Iazyki slavianskoj kul'tury. (In Russian)

Vinogradova, L. N., & Tolstaya, S. M. (1999). Kormlenie ritual'noe [Ritual Feeding]. In N. I. Tolstoy (Ed.), *Slavianskie drevnosti: etnolingvisticheskij slovar'* [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary] (Vol. 2, pp. 601–606). Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia. (In Russian)

Voronina, T. A. (2012). Ispol'zovanie estestvennykh rastitel'nykh resursov v traditsionnom pitanii zhitelei Russkogo Severa (XIX — nachalo XX v.) [The Use of Natural Plant Resources in the Traditional Diet of the Inhabitants of the Russian North (19th — Early 20th Centuries)]. *Traditsionnaia kul'tura*, 2, 84–94. (In Russian)

Zheltov, A. A. (2008). Nekotorye osobennosti traditsionnoi pishchi naseleniia Prisukhon'ia i Povazh'ia [Some Features of the Traditional Food of the Population of Prisukhonye and Povazhye] In A. V. Kostina, & L. F. Mironikhina (Eds.), *Traditsionnoe russkoe zastolje: sbornik statei* [Traditional Russian Feast: A Collection of Articles] (pp. 216–236). Moscow: Gosudarstvennyi respublikanskii tsentr russkogo fol'klora. (In Russian)

Осипова Ксения Викторовна
кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник
топонимической лаборатории кафедры
русского языка, общего языкознания
и речевой коммуникации
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: osipova.ks.v@yandex.ru

Osipova, Ksenia Viktorovna
PhD (Philology), Senior Researcher,
Toponymic Laboratory, Department
of the Russian Language, General Linguistics
and Verbal Communication
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Email: osipova.ks.v@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-2285-6112
Researcher ID: F-4554-2017
Scopus ID: 57194388640

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.062
УДК 316.722 + 930.24(100)“04/14”

А. С. Козлов
Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ ПОЗДНЕАНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Рец. на кн.: Late Antiquity in Contemporary Debate / ed. R. L. Testa. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2017. 280 p.

Рецензия раскрывает концептуальную и содержательную стороны сборника статей западных антиковедов и специалистов по истории раннего Средневековья, анализирующих особенности развития и функционирования преимущественно хронологических и культурных реалий средиземноморской цивилизации III–VIII вв. Указана актуальность избранной исследователями тематики в рамках заявленных проблем. Подчеркнута спорность решения вопросов, касающихся проявлений самодостаточности и цивилизационной прочности поздней Античности в обстановке христианизации и освоения миром VII–VIII вв. античного наследия. Особое внимание обращено на статьи сборника, по сути противоречащие проблеме, поставленной на обсуждение сессией XXII Конгресса исторических наук, но сосредоточенные на узких, хотя и интересных вопросах истории позднеантичной цивилизации.

Ключевые слова: поздняя Античность; раннее Средневековье; хронологические рамки поздней Античности; эмпирические реалии Средиземноморья.

Цитирование: *Козлов А. С.* Проблема границ позднеантичной цивилизации. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.062 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 286–293. Рец. на кн.: Late Antiquity in Contemporary Debate / ed. R. L. Testa. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2017. 280 p.

Поступила в редакцию 08.09.2018
Принята к печати 01.07.2019

© Козлов А. С., 2019

CC BY-NC

Aleksandr S. Kozlov
Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

THE PROBLEM OF BORDERS OF THE CIVILIZATION OF LATE ANTIQUITY

***Review of*: Testa, R. L. (Ed.). (2017). *Late Antiquity in Contemporary Debate*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 280 p.**

This review describes the concept and content of a collection of articles authored by Western specialists in antiquity and the history of the early Middle Ages analysing the peculiarities of development and functioning of mostly chronological and cultural realities of the Mediterranean civilization between the 3rd and 8th centuries AD. The reviewer points out the relevance of the topic as part of the scope of issues considered. He also emphasises the debatable character of solutions proposed by the authors for a number of questions which have to do with manifestations of self-sufficiency and civilizational stability of late antiquity during the process of Christianisation and the world's familiarisation with the heritage of antiquity between the 7th and 8th centuries. The review focuses on the articles that contradict the problem put forward at the 22nd Congress of Historical Studies but focusing on narrow albeit interesting questions of history of the civilization of late antiquity.

K e y w o r d s: late antiquity; early Middle Ages; chronological framework of late antiquity; empirical realities of the Mediterranean.

C i t a t i o n: Kozlov, A. S. (2019). Problema granits pozdneantichnoi tsivilizatsii [The Problem of Borders of the Civilization of Late Antiquity]. *Review of*: Testa, R. L. (Ed.). (2017). *Late Antiquity in Contemporary Debate*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 280 p. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 286–293. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.062

Submitted on 08 September, 2018
Accepted on 01 July, 2019

Судя по «Введению», рецензируемый компендиум стал формироваться с момента встречи нескольких специалистов на XXII Международном конгрессе исторических наук в Цзинане (Китай) в августе 2015 г. (p. VIII). Редактор книги, Р. Л. Теста, директор департамента истории Рима Университета Перуджи, инициировала на этом форуме сессию, нацеленную на обсуждение «определения хронологии» и «географического контекста» поздней Античности (Ibid.), т. е. вопросов, которые Эрве Энгльбер (директор департамента истории Университета Париж X — Нантер) назвал «двумя крупными проблемами в исследованиях поздней Античности» (p. 215). Тем не менее, только половина докладов, помещенных в книге (К. Эндо, П. К. Диас, И. Тантилло, Ж.-М. Карриэ и Э. Энгльбер) («Введение», мастерски выполненное Тестой, не в счет), обращается к периодизации и определению предмета изысканий, вынесенного на сессию итальянской

коллегой. Географию предмета всерьез не затрагивает никто. Из десяти докладов только два (К.Эндо и Н. Ленски) были презентованы на английском языке, остальные были позже подвергнуты переводу (что понятно), но переводы явно оставляют желать лучшего. Более тщательная корректура, скорее всего, устранила бы этот недостаток, как и типографские огрехи, режущие глаз. Странно, но в книге нет ни одной карты и ни одной перекрестной ссылки — и это при заявленной тематике и поставленных задачах! Нет и какого-либо индекса — указателя имен, географических и предметных названий и т. п.

Для оправдания постановки на сессии Конгресса указанных вопросов *Р. Л. Теста* посвящает «***Введение***» обзору новой и новейшей историографии поздней Античности, наскоро преодолевающему проблемное поле (совершенно справедливо акцент делается на трудах Э. Гиббона, А.-И. Марру, С. Маззарино А. Момильяно, А. Х. Джонса, П. Брауна и Б. Уорд-Перкинса, но почему-то забыты знаменитые немцы — даже Т. Моммзен и О. Зеек, а из современных — А. Демандт). На первый план правомерно выдвигаются поворотные историографические ситуации, связанные с А. Пиренном, школой «Анналов», М. Фуко, с обращением к иным осмыслениям культуры, ментальностям и новому материализму. Но нетрудно заметить, что это «Введение» — по сути хороший учебник для слушателя специализированного семинара, эссе, предваряющее сложность, на преодоление которой вроде бы настроена книга: поздняя Античность на сегодняшний день — академический предмет удивительной силы и популярности, и именно из-за этого (а может быть, вопреки этому) определение его объема и проблематики только умножает остроту соответствующих вопросов. Недавние диспуты о темпоральных и пространственных границах позднеантичного мира отразили глубокие разногласия относительно характеристик его структурного поля — социальных, политических, экономических, культурных реалий. Ясно, что анализ этих характеристик должен быть поставлен на первое место (выше существующего баланса представлений о континуитете, креативности общественных сил IV–V вв., катастрофе и т. п.) и постепенно давать информацию для формирования концепций и создания обобщающих трудов. В данный момент, если большинство специалистов более или менее согласно отнести начало поздней Античности к концу III в., то датировка финала эпохи и характеристика его природы, как подчеркивает Теста, намного более проблематичны (p. XXXIII–XXXVIII). Мало того, исследования экономики, социальных структур, религии и культуры идут в разных ритмах, с колебаниями в самые разные моменты, — факт, иллюстрируемый и докладами, собранными в рецензируемой книге.

На призыв Тесты обсудить заявленные ею темы полноценно отреагировали только трое коллег. Другое дело — к а к отреагировали. Так, работа *К. Эндо* «Империя и последствия» провокативно преображает вопрос о начале и конце исследуемой эпохи через переосмысление «упадка и разрушения» в сочинениях двух авторов XVIII в. — Ш. Монтескье и У. Робертсона. В самом деле, считает Эндо, если признавать позднюю Античность, как это делают многие нынешние западные специалисты, «здоровой», то предельно «ограниченным» следует

полагать подход, который применяют при оценке римской и постримской цивилизации оба интеллектуала эпохи Просвещения. Ибо размышляя о связи между империей, человеческим достоинством и свободой, а также воспринимая распад Римской империи как предпосылку для рождения их родной постимперской Европы, они воспринимают этот процесс как возведение республиканского, но по имперской кальке сработанного здания, — строительство, которое активизировало потенциал «упадка». Семена «падения» Рима были посеяны во II в., когда проявилась несовместимость гражданского достоинства с доминированием насилия со стороны власти. Примечательно, однако, что для Эндо еще большую, дезорганизующую «ограниченность» демонстрируют современные исследования — демонстрируют своими *circumscribed ambition* («ограниченными амбициями»). По сути, речь о том, чтобы вернуться «к исследованию эмпирики», ибо у нас не получается использовать историю как «форму критики» (p. 2). Именно это (то, о чем в данном случае сожалеет Эндо) можно оценивать и как потенциальный вклад исследователей поздней Античности в аналитику даже современных политических отношений[1].

«Падение» империи (понимаемое в более узком смысле) находится в центре внимания работы *П. К. Диаса* с опять-таки провокационным названием — «Полезность бесполезных категорий». Цель испанского специалиста — подтверждение пока еще существующей правомерности употребления понятий «кризис» и «падение» для написания истории поздней Античности. «Главный кризис Западной империи» (p. 21), согласно Диасу, развернулся между 405 и 411 гг., и был ускорен продвижением варваров в Италию и западные провинции. Виной тому была некомпетентность власть предержащих в принятии стратегических решений, а результатом — утрата налоговой базы и территорий (p. 25). После этого падение лояльности к этим властям со стороны крупных землевладельцев побудило последних договариваться с «формирующимися властями варваров» (p. 27), — точка зрения, весьма близкая к той, которую в советской историографии высказывал В. Т. Сиротенко. К VI в., отмечает Диас, несмотря на яркие проявления континуитета, «все изменилось», и Европа стала выглядеть весьма мрачно (p. 29). Хотя подобные суждения исследователя и трудно назвать новаторскими, они подчеркивают одну из фундаментальных дилемм поздней Античности — исчезновение Западной Римской империи и расцвет позднеантичных порядков частично совпадают.

Данная проблема лежит в основе и одной из самых удачных статей рецензируемой книги «От трансформации к разрыву тканей» *Ж.-М. Карриэ*. Размах работы французского специалиста серьезен. Уделяя основное внимание (но отнюдь не априорно) экономическим и социальным структурам, Карриэ увязывает конец античного мира (и, таким образом, конец его заключительного

[1] О влиянии новой политической ситуации в Европе рубежа XX–XXI вв. как одного из важнейших факторов на выработку «концепции поздней Античности» (прежде всего, британскими исследователями) см.: [Ващева, с. 222–223].

этапа) с коллапсом «мировой экономики», являвшейся «фундаментальной новацией» империи (p. 199). Приближение к дефрагментации Европы ассоциируется с распадом Западной империи в V в. (то, что распад оказался жестким, объясняется германскими вторжениями), а затем реконкистой Юстиниана, чумой и изменением климата; финальный же «разрыв тканей» имел место в связи с переходом Сирии и Египта в исламскую сферу влияния в начале VII в. (p. 199). Иначе говоря, «переход античного мира в принципиально новый мир пришелся на седьмое столетие» (p. 200). Пиренн, полагает Карриэ, верно определил временные рамки конца эпохи, но причины конца назвал неверно. По Карриэ, поздняя Античность также начинается с расставания с прошлым, когда инновационные политические, административные, фискальные и военные структуры способствовали между 285 и 330 гг. трансформациям, ставшим реакцией на кризис III в. и положившим начало «новой империи», отличавшейся от прежней, финальной фазе античного мира (p. 178, 183).

Первый же доклад «***Методологического раздела***» (в понятиях российской науки — раздел вспомогательных исторических дисциплин) демонстрирует результат более скромный, нежели то, что было заявлено в его задачах. Будучи актуальным сокращенным вариантом весьма значимой работы *Ю. Дрескен-Вейланд*, доклад ограничивается периферией вопросов, заданных инициатором сессии и, соответственно, рецензируемой книгой. Заявляя «обзор христианских портретов» (p. 52), на деле он демонстрирует лишь изображения на памятниках искусства III — начала V в. частных (но не общественно значимых) лиц, заведомо охарактеризованных как христиане. Преобладают в обзоре изобразительные контексты на погребальных памятниках и изображения на предметах «повседневного характера» — с изрядным акцентом на содержании (но не стиле) образа. Не очень внятное заключение утверждает, что после IV в. в силу изменений в погребальной практике «изображения христиан вроде бы обрели место в церквях» и на «литургических объектах» (Ibid.). Последний пассаж призвана подтвердить тематическая вырезка из каталога отнюдь не современной выставки, отражающей бытие поздней Античности.

В эссе *И. Тантилло* основными являются вопросы периодизации, решаемые весьма нетрадиционно, ибо итальянский ученый подходит к ним, проводя различие в объеме и весомости соответствующих данных латинской и греческой эпиграфики. Убедительно показано, что последняя, особенно после работ Л. Роббера о стихотворных посвятительных надписях и работ Ш. Роше об Афродисии, демонстрирует знаковые черты, способные выделить поле позднеантичной греческой эпиграфики, начинающееся с конца III в. и завершающееся «резким переломом в эпиграфической практике около 600 г.» Западный, латинский материал — менее определенный. Практические выводы по нему, сделанные в XIX в. (прежде всего — Т. Моммзеном и Д. Б. де Росси), задолго до выделения поздней Античности в особую эпоху, фиксировали перемену в рамках VI–VII вв. как последний рубеж для компоновки собрания латинских надписей. Параллельно было подтверждено выделение в особую группу «христианских» эпиграфических

текстов. Этот хронологический рубеж долго никем не оспаривался (p. 60), и если изредка и брался под сомнение, то медиевистами. Лишь относительно недавно, поскольку внимание к эпиграфическим источникам (как к памятникам и как к текстам) резко возросло (p. 68), ученые занялись постижением многостороннего смысла и специфических форм их позднеантичного массива. В этом тренде к большему «глобальному пониманию» развития эпиграфики Тантилло видит признаки того, что именно последняя поможет склонить чашу весов к «краткосрочной периодизации» поздней Античности (p. 71).

Раздел «***Исследования казуса***» содержит три работы. *Жиль Брансбург* презентует четкий обзор взглядов римлян на фискальные проблемы и особенно их «стремления к справедливости» при налогообложении (p. 105). По сути, отслеживается имперская эволюция — от «хищного юридического лица» III в. до н. э. (p. 80) до приближения вплотную к «государству консенсуса» (после обнародования Антониновой конституции) и фискальных реформ Диоклетиана и Константина (p. 92). Брансбург стремится показать, что такое «приближение» действительно было, и для этого вновь поднимает данные нескольких папирусных собраний. Действительно, эти документы показывают довольно беспристрастную таксацию обложения и взимание податей сообразно статусу конкретных социальных групп Египта VI в. В «финансовой доктрине» и «налоговой философии», которые он, по сути, отождествляет, Брансбург обнаруживает «одно из основных наследий поздней Античности в области политической экономии» (p. 105), генезис которой он относит к периоду тетрархий и династии Константина.

Ноэль Ленски, в отличие от Брансбурга, обращается к весьма почтенной по возрасту теме и подвергает сомнению «относительную значимость труда свободных, должников и рабов в производстве прибавочного продукта» в поместьях стран Магриба (p. 114). Отвергая аргументацию Ж.-М. Карриэ и К. Харпера относительно господства рабского труда в поместьях IV в., американский исследователь доказывает, что «основными производителями» в «крупных и средних поместьях Северной Африки» были «долгосрочно зависимые и полузависимые арендаторы» (p. 120). Эта система, настаивает Ленски, преобладала здесь (с некоторыми вариациями рабства) со времен древнего Карфагена (?!) и до VI в. Как и Брансбург, Ленски не связывает свои наблюдения с глобальными задачами, поставленными Тестой. Однако и у него в качестве «водораздела» эпох (p. 132), пусть и в незначительной степени, фиксируется время Константина, — на основании издания последним законов, которые, создавая прикрепленных к земле колонов, сокращали различия между свободным и рабским трудом даже при том, что Африка оставалась «страной сельскохозяйственной аренды с крестьянством, частично лишенным прав» (p. 149) до конца VI в., а то и до арабского завоевания, когда эта система рухнула. Остается сожалеть, что читатель вынужден лишь воображать дискуссию между Брансбургом, Ленски и Карриэ, исследования которых отчасти совпадают по предмету, но весьма отличаются подходами и методикой.

В третьем докладе «Исследований казуса» *Ф. Блондо* стремится разъяснить концепт «геоэкклезиология», с помощью которого, по его мнению, следует попытаться «ярко осветить аутентичную динамику церковных проблем» (p. 168). Эссе компактное, весьма рассудительное и является реакцией на конкретные нападки, согласно которым для обладания нормальным потенциалом, объясняющим те или иные явления, геоэкклезиологии препятствует либо серьезная редуктивность, либо излишняя ориентированность на «политические эффекты» за счет своего «доктринального или религиозного содержания» (p. 163). По сути, такое эссе предпринимает лишь слабую попытку обратиться к темам сессии, заявленным инициатором.

Сборник завершается эссе *Эрве Энгльбера* «Рождение новой, короткой поздней Античности», умело расчленяющим достижения сессии в ходе «дебатов» о времени и пространстве изучаемой эпохи на четыре группы: концептуальная терминология (например, понятия «кризис» и «Упадок»), *"non-literary" media* (источники информации «нелитературного» характера, в частности, памятники изобразительного искусства и надписи), новые «образцы герменевтики» (геоэкклезиология) и «исторические особенности» (таксация, категории сельских тружеников, типы дискурсивного анализа). Однако гораздо важнее мысль Энгльбера о том, что темы, выбранные для дискуссии, вылились в презентацию «религиозных и культурных трендов» (p. 218), а реальная польза свелась к констатации «краткосрочности» поздней Античности, поскольку исчезновение позднеримского государства оказалось синхронным с переломом в четко очерченных социальных и экономических структурах поздней Античности (Ibid.). Точно так же, как изыскания Б. Уорда-Перкинса и П. Хизера, представленные эссе (доклады), поясняет Энгльбер (p. 218–221), приводят доводы в пользу существования новой краткосрочной поздней Античности, охватывающей период с конца III в. до конца VI или даже начала VII в., что эквивалентно прежней хронологии (например, предлагаемой А. Х. М. Джонсом). Это общество, однако, имело более широкую (нежели считалось раньше) базу и распространялось на земли, ранее считавшиеся периферийными, маргинальными (в сравнении со Средиземноморьем: например, часть Центральной Европы и часть державы Сасанидов). Это общество и в то же время период, процветающие благодаря «римской власти и римскому миру» (p. 219), но не ярким культурным и религиозным экспериментам долгосрочной поздней Античности, описанной Питером Брауном. Можно ли методологически примирить эти две поздние Античности? На уровне теоретических спекуляций, — скорее всего, да. Но категоричные выводы Энгльбера возвращают нас к понятиям упадка, переходного периода, трансформации и т. д. Столкновение подобных подходов неизбежно побуждает специалистов к новым вопросам и обобщениям.

Исследования

Ващева И. Ю. Концепция поздней античности в современной исторической науке // Вестн. Нижегор. ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2009. № 6 (1). С. 220–231.

References

Vashcheva, I. Yu. (2009). Kontseptsiia pozdnej antichnosti v sovremennoj istoricheskoj nauke [The Concept of Late Antiquity in Modern Historical Studies]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo*, 6 (1), 220–231. (In Russian)

Козлов Александр Сергеевич
кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории Древнего мира
и Средних веков
Уральский федеральный университет
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51
E-mail: alarich@olympus.ru

Kozlov, Aleksandr Sergeevich
PhD (History), Associate Professor
Department of History of the Ancient World
and Middle Ages
Ural Federal University
51, Lenin Ave., 620000 Yekaterinburg, Russia
Email: alarich@olympus.ru

DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.063
УДК 94(470.5)“1861/1900” +
+ 622.3(470.5):316.48

С. А. Нефёдов
1) Институт истории и археологии УрО РАН
2) Уральский федеральный университет
Екатеринбург, Россия

ГОРНОЗАВОДСКИЙ УРАЛ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.: НЕПРЕРЫВНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ

Рец. на кн.: *Гаврилов Д. В.* Горнозаводский Урал 1861–1900 гг.: власти, предприниматели, рабочие. От согласия — к конфронтации. М. ; СПб. : Нестор-История, 2018. 464 с., ил.

Рецензируемая монография посвящена изучению социально-политической динамики на Урале во второй половине XIX в. Основными акторами, двигателями социального процесса вступали три главные социально-политические силы – государство, предприниматели и рабочие (формирующийся рабочий класс). Эти три актора функционировали в составе единого производственного организма, взаимодействовали и сотрудничали друг с другом, но также отстаивали собственные интересы. Периоды социального согласия между ними сопровождались «неурядицами» и конфликтами. Широко используя архивные материалы, автор демонстрирует детальную картину нарастающей социальной конфликтности. Усилия государства по смягчению противоречий между рабочими и заводчиками оказались недостаточными и разрастание конфликтов в конечном счете привело к революции 1905 г.

К л ю ч е в ы е с л о в а: Урал; промышленность; вторая половина XX в.; социальная динамика; социальные конфликты.

Ц и т и р о в а н и е: *Нефёдов С. А.* Горнозаводский Урал второй половины XIX в.: непрерывный социальный конфликт. DOI 10.15826/izv2.2019.21.3.063 // Изв. Урал. федер. ун-та. Сер. 2 : Гуманитар. науки. 2019. Т. 21. № 3 (190). С. 294–299. Рец. на кн.: *Гаврилов Д. В.* Горнозаводский Урал 1861–1900 гг.: власти, предприниматели, рабочие. От согласия — к конфронтации. М. ; СПб. : Нестор-История, 2018. 464 с., ил.

Поступила в редакцию 21.01.2019
Принята к печати 01.07.2019

© Нефёдов С. А., 2019

CC BY-NC

Sergey A. Nefedov
1) Institute of History and Archaeology UB RAS
2) Ural Federal University
Yekaterinburg, Russia

THE MINING INDUSTRY URALS OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY: CONTINUOUS SOCIAL CONFLICT

***Review of*: Gavrilov, D. V. (2018). *Gornozavodskii Ural 1861–1900 gg.: vlasti, predprinimateli, rabochie. Ot soglasiia — k konfrontatsii* [Ural Industrial Mining 1861–1900: Authorities, Businessmen, Workers. From Consent to Confrontation]. Moscow; St Petersburg: Nestor History. 464 p., ill.**

The monograph reviewed studies the socio-political dynamics in the Urals in the second half of the 19th century. The main actors of the social process were the state, entrepreneurs, and workers (the emerging working class). These three actors functioned as part of a single production organism, interacted and collaborated with each other, but they also defended their own interests. Periods of social harmony were accompanied by "turmoil" and conflicts. The author makes extensive use of archival materials and demonstrates a detailed picture of the growing social conflict. The state's efforts to mitigate the contradictions between workers and factory owners were insufficient and the proliferation of conflicts led to the 1905 revolution in the long run.

K e y w o r d s: Urals; industry; second half of the 19th century; social dynamics; social conflicts.

C i t a t i o n: Nefedov, S. A. (2019). Gornozavodskii Ural vtoroi poloviny XIX v.: nepreryvnyi sotsial'nyi konflikt [The Mining Industry Urals of the Second Half of the 19th Century: Continuous Social Conflict]. *Review of*: Gavrilov, D. V. (2018). *Gornozavodskii Ural 1861–1900 gg.: vlasti, predprinimateli, rabochie. Ot soglasiia — k konfrontatsii* [Ural Industrial Mining 1861–1900: Authorities, Businessmen, Workers. From Consent to Confrontation]. Moscow; St Petersburg: Nestor History. 464 p., ill. *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2: Humanities and Arts, 21*, 3 (190), 294–299. doi: 10.15826/izv2.2019.21.3.063

Submitted on 21 January, 2019
Accepted on 01 July, 2019

Монография известного уральского историка, профессора Д. В. Гаврилова «Горнозаводский Урал 1861–1900 гг.: власти, заводчики, рабочие. От согласия — к конфронтации» представляет собой фундаментальное исследование социально-экономического и политического развития важнейшего промышленного региона страны, Урала, в период раннеиндустриальной модернизации. Автор давно занимается изучением истории уральской промышленности, уральской металлургии, общими вопросами социально-экономического развития региона и вполне естественным стал его переход на исследование социально-политических проблем региона.

Важным достоинством рецензируемого труда является его обширная источниковая база. Автор широко использовал имеющуюся по теме литературу, опубликованные сборники документов, а также солидный комплекс новых документов, обнаруженных им в местных и центральных архивах. Это позволило осветить рассматриваемую тему с исчерпывающей полнотой и достоверностью.

Отдельная глава монографии посвящена проблемам историографии и источниковедения. Автор указывает, что в дореволюционный период внимание историков, экономистов и публицистов было сосредоточено на личностях горнозаводчиков и критике их «нерационального» хозяйствования. В советский период, по мнению либеральной историографии, историки «строго придерживались» классового подхода, были «апологетами классовой борьбы»; в постсоветский период многие российские историки занялись, в первую очередь, изучением деятельности предпринимателей, заводчиков, банкиров. Автор полемизирует с С. П. Постниковым и М. А. Фельдманом [2011], которые предложили новую трактовку социальных отношений на уральских заводах, утверждая, в частности, что мастеровые этих заводов не были рабочими в узком смысле слова, поскольку владели земельными наделами и, помимо работы на заводе, занимались обработкой земли (с. 78–84).

Первая глава монографии «*Три актора раннеиндустриальной модернизации Урала*» посвящена характеристике рассматриваемых в работе главных социально-политических сил. Основными акторами, инициаторами, двигателями социального процесса в стране и в регионе в тот период, отмечает автор, выступали три главные социально-политические силы — государство (власти), предприниматели (заводчики) и рабочие (нарождавшийся и формирующийся рабочий класс), которые, функционируя в составе единого производственного организма, взаимодействовали и сотрудничали друг с другом, но также одновременно отстаивали собственные корпоративные интересы. Этот подход близок к структурному подходу американских исторических социологов (Т. Скочпол, Дж. Голдстоуна и др.), которые рассматривают социальные процессы в структуре «государство — элита — народ».

Государственная власть, отмечает автор, заинтересованная в усилении военного потенциала страны и укреплении ее экономики, традиционно покровительствовала промышленному развитию страны, постоянно предоставляла заводчикам ссуды, кредиты, льготы, выгодные правительственные заказы. В конфликтах между рабочими и заводчиками правительство и местные власти обычно поддерживали заводчиков (с. 15–23).

Уральские горнозаводчики, как отмечает автор, и после отмены крепостного права продолжали оставаться крупнейшими землевладельцами, каждый из которых владел сотнями тысяч десятин земли. В пореформенное время большинство заводовладельцев личного участия в управлении заводами не принимали, предоставив руководство предприятиями своим управляющим. Сохранение в руках горнозаводчиков огромных земельных владений и оставление за ними привилегий на монопольное занятие горным промыслом давали им возможность

держать местное население в полукрепостнической зависимости, позволяли при отсталой технике и рутинных способах ведения хозяйства получать большие дивиденды. «В конце XIX в. современники свидетельствовали, что “несмотря на техническую отсталость уральской горнозаводской промышленности, она дает предпринимателям громадные прибыли (до 100 % и выше на складочный капитал)”» (с. 27).

С другой стороны, своеобразный способ формирования рабочих кадров уральских заводов, обусловленный слабой заселенностью края в период его промышленной колонизации, отдаленность и оторванность региона от центра страны обусловили особенности социального облика уральских рабочих, их более тесные связи с землей, домашним хозяйством по сравнению с рабочими центра страны и Западной Европы. Наделенные мизерными земельными наделами рабочие были прикреплены к заводам и оказались в полной экономической зависимости от заводовладельцев. Заводчики использовали эту зависимость рабочих от земельных наделов для того, чтобы сохранить низкий уровень заработной платы рабочих, притесняли их и подвергали преследованиям за «самовольное» пользование покосами, землей, лесными материалами. Поэтому в пореформенный период рабочие, кроме отстаивания своих пролетарских интересов, вели борьбу против остатков крепостничества, которые выражались в выставлении аграрных требований, имевших целью ослабление или разрыв их зависимости от заводов (с. 30–47). «Такова была диспозиция главных социально-политических сил региона, — властей, предпринимателей и рабочих — на поле социальных боев, на котором в 1861–1900 гг. развернулась борьба между трудом и капиталом...» (с. 48).

Тяжелое социально-экономическое положение, бесправие, низкий жизненный уровень толкали рабочих на борьбу за свои права и за улучшение материального положения. Описание этой борьбы и составляет основное содержание монографии. Это описание структурировано по периодам: 1860-е гг. (глава 3 «*Великая реформа*»), первая половина 1870-х гг. (глава 4 «*Рост неурядиц*»), 1874–1884 гг. (глава 5 «*Расширение “несогласия”*»), 1885–1894 гг. (глава 6 «*Нарастание конфронтации*»), 1895–1900 гг. (глава 7 «*Крах иллюзии о “гармонии интересов”*» и глава 8 «*Приближение бури*»).

Автор сосредоточил внимание на формах и методах взаимодействия главных социально-политических сил изучаемого периода — властей, заводчиков и рабочих. Много места уделяется выяснению возникавших между ними соглашений и разногласий, рассмотрению обстоятельств, когда периоды их социального взаимопонимания сопровождались «неурядицами», «недоразумениями», конфликтами.

Чтобы показать нарастание социальной напряженности, Д. В. Гаврилов привлекает огромное количество документов, описывающих конфликты на отдельных заводах. В этом привлечении массы архивных источников заключается основное достоинство работы. Описываемые в монографии десятки забастовок и сотни «неурядиц» в динамике дают детальную картину нарастающей

социальной конфликтности. Суммируя описываемые эпизоды, автор приводит статистику конфликтов: если в 1871–1875 гг. за 5 лет имели место 18 стачек и 12 волнений, то в 1898–1900 гг. за три года — 45 стачек и 15 волнений (с. 215, 417), т. е. в первом периоде в год происходило в среднем 3–4 стачки, а во втором — 15 стачек; конфликтность возросла в 4–5 раз.

Рост числа конфликтов сопровождался появлением рабочих кружков и организаций. «Стихийные, неорганизованные или плохо организованные протестные выступления рабочих за свои права и интересы, ранее ограничивавшиеся экономическими, местными, локальными запросами, стали сменяться стачками и волнениями, проходившими под лозунгами революционных партий» (с. 367). В монографии подробно описывается деятельность первых марксистских групп на Урале и их усилия по организации пропагандистских акций (с. 372–396), хотя к концу рассматриваемого периода в стачечной борьбе по-прежнему преобладали стихийные формы.

В конечном счете, стачечная борьба привела к определенному росту заработной платы. В период с 1861 по 1900 г. среднегодовая заработная плата рабочих в горнозаводской промышленности региона увеличилась на 50–100 % и более, а стоимость жизни выросла в меньшей степени — на 10–40 %. Это свидетельствует о некотором улучшении материального положения рабочих, но это улучшение было незначительным. Нужно учитывать, что параллельно шел процесс пролетаризации, когда мастеровые утрачивали свои земельные наделы и становились настоящими рабочими. К 1900 г. примерно половина горнозаводских рабочих уже не имела наделов, и для многих этот процесс означал реальное снижение уровня жизни. В целом жизненный уровень уральских рабочих оставался невысоким, он недалеко ушел от бедного, нищенского уровня крепостнического времени (с. 37, 424).

Государство (как один из акторов социального процесса) принимало некоторые меры для того, чтобы сохранить социальное спокойствие в фабрично-заводских районах. Появилось фабричное законодательство и следившие за его исполнением фабричные инспектора и окружные инженеры. В 1897 г. под натиском рабочих выступлений был издан закон, устанавливавший продолжительность рабочего дня в дневное время — не более 11,5 часов, в ночное время — 10 часов. Однако попытки государственного регулирования были слишком нерешительными и не смогли предотвратить социального взрыва, произошедшего в 1905 г. (с. 425–426).

Автор делает вывод о том, что в условиях рыночных отношений успешное социально-экономическое развитие региона было возможно только при согласованном взаимодействии трех основных акторов, двигателей социального прогресса — властей, заводчиков и рабочих, связанных цепью производственных и правовых взаимоотношений. Их прочное, надежное социальное сотрудничество могло существовать только при взаимном учете интересов других участников партнерства, готовности к компромиссу, взаимным уступкам, достижению согласия, поискам классового мира. Но, как показывает автор, слаженного

сотрудничества не получилось. Всё это вело к накоплению в населении, среди массы рабочих протестного материала, создавало потенциал для мощного социального взрыва, российских революций 1905–1907 и 1917 гг. (с. 431–436).

Вызывает сожаление, что автор не продолжил анализ протекавших на горнозаводском Урале социально-политических процессов непосредственно до предреволюционного 1904 г. — времени, когда эти процессы получили логическое завершение. Будем надеяться, что такой анализ станет предметом будущих исследований автора.

Исследования

Постников С. П., Фельдман М. А. Власть и рабочие Урала в 1917 г. Очерки истории и историографии. Екатеринбург : АМБ, 2011.

References

Postnikov, S. P., & Feldman, M. A. (2011). *Vlast' i rabochie Urala v 1917 g. Ocherki istorii i istoriografii* [The Power and Workers of the Urals in 1917. Essays on History and Historiography]. Yekaterinburg: AMB. (In Russian)

Нефёдов Сергей Александрович
доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник
сектора методологии и историографии
Институт истории и археологии УрО РАН
620990, Екатеринбург,
ул. С. Ковалевской, 16;
профессор кафедры истории России
Уральский федеральный университет
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19
E-mail: hist1@ya.ru

Nefedov, Sergey Aleksandrovich
Dr. Hab. (History), Leading Researcher
Department of Methodology and Historiography
Institute of History and Archaeology UB RAS
16, Sofia Kovalevskaya Str.,
620990 Yekaterinburg, Russia;
Professor, Department of Russian History
Ural Federal University
19, Mira Str., 620002 Yekaterinburg, Russia
Email: hist1@ya.ru
ORCID: 0000-0003-0136-5020
Researcher ID: Q-1642-2015
Scopus ID: 40861593700

ИЗВЕСТИЯ
УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Серия 2
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
2019. Т. 21. № 3 (190)

Редактор и корректор *А. А. Макарова*
Редактор перевода *Т. С. Кузнецова*
Компьютерная верстка *Л. А. Хухаревой*

Журнал не подлежит маркировке в соответствии с п. 2 ст. 1
Федерального закона РФ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
как содержащий научную информацию.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-48320 от 27.01.12
Учредитель — Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
620000, Екатеринбург-83, пр. Ленина, 51

Дата выхода в свет 30.09.2019. Формат 70 × 100 $^{1}/_{16}$
Уч.-изд. л. 25,07. Усл. печ. л. 25,03. Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg
Печать офсетная. Тираж 500 экз. Заказ 294.

Издательство Уральского университета.
620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4
Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре УрФУ.
620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 358-93-22
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press-urfu@mail.ru
http://print.urfu.ru

ПРАВИЛА
направления, рецензирования и опубликования научных статей
в журнале «Известия Уральского федерального университета.
Серия 2. Гуманитарные науки»

I. Порядок приема рукописи

1. Журналу предлагаются не публиковавшиеся ранее научные труды объемом не более одного учетно-издательского (авторского) листа (40 000 знаков с пробелами). Публикация в журнале *бесплатная*.

2. Журнал принимает к публикации научные статьи, научные обзоры и научные рецензии, освещающие актуальные вопросы филологии, истории и искусствоведения.

3. Авторский оригинал предоставляется в электронной версии. В статье должны присутствовать следующие метаданные: название статьи; аннотация (в которой указываются тема и цель работы, методология исследования, источники, основные результаты и выводы, объемом не менее 200 слов); ключевые слова (7–10); библиографический список, включающий источники и исследования; сведения об авторе (фамилия, имя, отчество; ученая степень, звание, должность; название организации (с указанием адреса); e-mail, ORCID, Researcher ID, Scopus ID (при наличии)). Все метаданные предоставляются на русском и английском языках.

4. Страницы должны быть пронумерованы, переносы не расставляются. Иллюстрации к статье высылаются отдельными файлами в формате JPEG. Все иллюстрации должны быть пронумерованы. К статье отдельным файлом прилагается список иллюстраций, в котором содержатся подписи к иллюстрациям на русском и английском языках.

5. Статьи принимаются к рассмотрению в течение всего года.

II. Порядок рецензирования и опубликования научных статей

1. Редколлегия журнала осуществляет двойное «слепое» рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, соответствующих ее тематике, с целью их экспертной оценки. Срок рецензирования статей — от 2 до 6 месяцев.

2. В качестве рецензентов выступают признанные специалисты по тематике представленных на экспертизу материалов, имеющие в течение последних 3 лет публикации по проблеме рецензируемой статьи.

3. Редакция журнала хранит рецензии в течение 5 лет. При поступлении в редакцию издания соответствующего запроса она направляет копии рецензий в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

4. Редакционная коллегия на основании заключения рецензентов принимает решение о публикации поступивших материалов.

5. Редакция уведомляет автора рукописи о том, принят или не принят к публикации материал, направляет авторам копии рецензий или мотивированный отказ.

III. Требования к авторскому оригиналу

Подготовка электронного варианта рукописи

- **Формат бумаги** — А4 (210 × 297 мм), ориентация книжная.
- **Программа** — Word, **гарнитура** — Times.
- **Поля** — все по 2 см.
- **Размер шрифта** (кегль) — 14 (алгоритм набора: Формат — Шрифт — Размер 14).
- **Межстрочный интервал** — полуторный (Формат — Абзац — Междустрочный — Полуторный).
- **Межбуквенный интервал** — обычный.
- **Абзацный отступ** — 0,7 (Формат — Абзац — Первая строка — Отступ 0,7).
- **Выравнивание текста по ширине** (Формат — Абзац — Выравнивание — По ширине).
- **Нумерация страниц** (Вставка — Номер страницы — Внизу, справа).
- **Переносы** не расставляются (Сервис — Язык — Расстановка переносов — Нет).
- **Квадратные скобки** — на латинской клавиатуре.
- **Межсловный пробел** — один знак. Пробелы обязательны после всех знаков препинания (включая многоточие), в том числе в сокращениях *т. е., т. п., т. д.* Два знака пунктуации подряд пробелом не разделяются, например: *М., 1995*. В личных именах все элементы разделяются пробелами, например: *А. С. Пушкин*.
- **Дефис** должен отличаться от тире, например: *Творчество Н. Заболоцкого конца 1920-х — начала 1930-х годов*.
- **Тире** должно быть одного начертания по всему тексту, с пробелами слева и справа, за исключением оформления пределов «от... до» в числах и датах, например: *1941–1945 гг., с. 8—61*.
- **Кавычки** должны быть одного начертания по всему тексту («...» — внешние, "..." — внутренние).
- **Точка**, **запятая и точка с запятой** при слове с надстрочным знаком сноски ставятся после знака сноски, например: *«Наши дети — энциклопедисты по самому характеру своего мышления», — говорил Маршак*[1].
- **Римские цифры** набираются с помощью латинской клавиатуры.
- **Буква *ё*/*Ё*** заменяется буквой *е*/*Е* за исключением важных для смыслоразличения контекстов, например: *Всем обо всём*.
- При наборе не допускается использование стилей, не задаются колонки.
- Не допускаются пробелы между абзацами.

Виды и приемы выделений в тексте

- Основные виды выделений в рукописи — **рубрикационные** (заголовки рубрики) и **смысловые** (термины, значимые положения, логические усиления).
- Смысловые выделения в авторском тексте оформляются разрядкой (Формат — Шрифт — Интервал — Разреженный — 2).
- Короткие примеры в авторском тексте выделяются светлым курсивом, при необходимости используется полужирный курсив, например: «неблагозвучны громоздкие сочетания согласных на стыке слов (*пу**сть встр**еча состоится*)». Отдельные фрагменты цитируемого текста выделяются мелким шрифтом с отбивками от основного текста.

Примечания и библиографические ссылки

- Примечания оформляются с помощью подстрочника и арабской цифры-индекса в качестве знака сноски. Ссылки на литературу в составе примечания приводятся в виде отсылки в квадратных скобках.
- Ссылки — затекстовые, оформляются в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка», введенным с 1 января 2009 г. Обязательно

указание на страницы цитируемых статей. Для публикаций, имеющих DOI, необходимо указывать соответствующую ссылку. Ссылки на иностранные источники следуют после русскоязычных.

- Отсылки в тексте — в квадратных скобках с указанием фамилий авторов (если документ создан 1–3 авторами) или названий (4 и более авторов, коллективные сборники), а также при необходимости номера тома и страницы при прямом цитировании. Например: [Толстой, т. 4, с. 287]. Год издания указывается лишь в том случае, если есть ссылки на другие книги этого автора.

Примеры оформления библиографических ссылок

Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древние языки / под ред. В. С. Расторгуевой. М. : Наука, 1979. С. 272–346.

Полдников Д. Ю. Этапы формирования цивилистической договорной теории ius commune // Государство и право. 2012. № 6. С. 106–115.

Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак (краткий биографический очерк). Париж : Изд. Воен.-Мор. Союза, 1930.

РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота. Ф. 406, 418, 609, 701, 716. Р-181, Р-183, Р-187.

Ћосић Д. Косово. Београд : Новости, 2004.

Blasco Ferrer E. Tracce indeuropee nella Sardegna nuragica? DOI 10.1515/9783110243390.177 // Indogermanische Forschungen. 1993. № 98. P. 177–185.

Bryson G. Man and Society. The Scottish Inquiry of the Eighteenth Century. Princeton : Princeton Univ. Press, 1945.

Emerson R. The Social Composition of Enlightened Scotland: The Select Society of Edinburgh 1754–1764 // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. CXIV. 1973. P. 291–329.

United States Department of State // Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1941. General, The Soviet Union (1941). URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1941v01 (accessed: 12.07.2013).

Список исследований должен быть продублирован в формате APA (American Psychological Association). Принципы оформления библиографической записи в формате APA описаны на сайте: http://www.apastyle.org/, а также на многочисленных сайтах библиотек.

Названия изданий должны быть транслитерированы и переведены на английский язык (за исключением названий периодических изданий, а также публикаций на немецком и французском языках), при этом в качестве основного названия используется транслитерация оригинального названия, а после нее в квадратных скобках дается английский перевод.

При транслитерации используются правила Библиотеки Конгресса США (ALA-LC Romanization или LC Romanization), описанные на сайте: http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html. Для транслитерации кириллических названий можно воспользоваться автоматическими системами транслитерации, например: translit.net (в выпадающем меню «Варианты...» выбрать LC). При этом имена собственные и названия периодических изданий необходимо транслитерировать в соответствии со сложившейся традицией (например: В. Янин = V. Yanin, а не V. Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, а не Voprosy iazykoznaniia и т. п.).

Примеры оформления списка References

Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian Languages]. In V. S. Rastorgueva (Ed.), *Osnovy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki* [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian Languages] (pp. 272–346). Moscow: Nauka. (In Russian)

Berezovich, E. L. (2007). *Iazyk i traditsionnaia kul'tura: etnolingvisticheskie issledovaniia* [Language and Traditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik. (In Russian)

Blasco Ferrer, E. (1993). Tracce indeuropee nella Sardegna nuragica? [Indo-European Traces in Nuragic Sardinia?]. *Indogermanische Forschungen*, 98, 177–185. doi: 10.1515/9783110243390.177 (In Italian)

Coss, P. (1989). Bastard Feudalism Revised. *Past and Present*, *125*, 27–64.

Coss, P. (1991). *Lordship, Knightood and Locality. A Study in English Society, c. 1180–1280*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gammeltoft, P. (2005). Islands Great and Small: A Brief Survey of the Names of Islands and Skerries in Shetland. In P. Gammeltoft, C. Hough, & D. Waugh (Eds.), *Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names* (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.

Harvalík, M. (2004). *Synchronní a diachronní aspekty české onymie* [Synchronic and Diachronic Aspects of Czech Proper Names]. Praha: Academia. (In Czech)

Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l'article: le cas des noms propres métonymiques. *Journal of French Language Studies*, *2,* 185–205. (In French)

Kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). *Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo iazyka* [A Great Explanatory Dictionary of the Russian Language]. St Petersburg: Norint. (In Russian)

Lysova, E. V. (2002). *Ornitonimiia Russkogo Severa* [Ornithonymy of the Russian North] (doctoral dissertation). Ural State University, Yekaterinburg. (In Russian)

Sprache [Electronic Dictionary of the German Language]. Retrieved from http://www.dwds.de/. (In German)

Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch Bark Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. *Voprosy jazykoznanija*, 4, 3–11. (In Russian)

Сведения об авторе

Фамилия, имя, отчество	Surname, name, middle name or patronymic
Ученая степень, звание, должность	Academic degree, position
Организация	Organization
Почтовый адрес места работы	Mailing address
E-mail	Email
	ORCID
	Researcher ID
	Scopus ID

RESEARCH FIELDS, REVIEW, AND SUBMISSION
of Articles to *Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts*

I. Submission of Articles

1. The Journal accepts previously unpublished articles whose volume does not exceed 40 000 characters including spaces. Articles are published *free of charge*.

2. The Journal accepts academic articles and reviews devoted to relevant issues of Philology, History, and Art Studies.

3. Articles are submitted via email and must include the following metadata: an abstract (reflecting the topic and purpose of research, methods, sources and main results and conclusions; it must contain at least 200 words); keywords (7–10); a list of references including the sources and studies; data about the author (first and last names, patronymic (whenever applicable); academic degree, working position and title; name of organisation (including the address); email; ORCID, Researcher ID; Scopus ID (whenever applicable)). All the metadata must be provided in Russian and in English.

4. The pages of the paper must be numbered; there must not be any hyphenation. In case of illustrations, they must be sent as separate .JPEG files. The article must be accompanied by a list of illustrations containing captions for illustrations in Russian and in English.

5. Articles can be submitted throughout the year.

II. Peer-Review and Publication Procedures

1. All articles submitted for publication and devoted to the fields of knowledge of the Journal are subject to double blind peer-review. The peer-review process takes between 2 and 6 months.

2. Articles are reviewed by recognised specialists in the field having publications in the corresponding field of the article over the past 3 years.

3. The Editorial Board keeps the reviews for 5 years. Whenever necessary, the Editorial Board will send copies of reviews to the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation.

4. The Editorial Board takes a decision regarding every article relying on the conclusions of reviewers.

5. The Editorial Board informs the author of the article about the results of the reviewing process and whether the article submitted has been accepted for publication and forwards copies of reviews or an explanation in case the article is declined to the authors.

III. Requirements

The preparation of the electronic paper

- **Page layout** — A4 paper size (210 x 297 mm), portrait
- **Word Processor**: MS Office Word
- **Font**: Times New Roman

- **Margins**: 20 mm — top, bottom, left, right
- **Point size**: 14
- **Line spacing**: 1.5
- **Letter-spacing**: normal
- **First line indent**: 0.7
- **Justification**: full
- **Page numbers**: numbered
- **Hyphenation**: none
- **Square brackets** (Latin layout)
- **Word spacing**: normal. A space must always follow a punctuation mark, including dots and abbreviations, such as the Russian *т. е., т. п., т. д., т. к.* Two punctuation marks must not be separated, e.g. *М., 1995.* In proper names, all the elements must be spaced: *A. S. Pushkin.*
- **A hyphen** must be different from a dash, e.g.: *Творчество Н. Заболоцкого конца 1920-х — начала 1930-х гг.*
- **A dash** must have the same length throughout the whole text with spaces on either side, excluding time and quantity limits: *1941–1945, p. 8–61.*
- **Quotation marks** must be the same throughout the text («...» — inner quotation marks, "..." — outer quotation marks).
- **The full stop, comma, and semicolon** must follow the footnote index, e.g. *«Наши дети — энциклопедисты по самому характеру своего мышления», — говорил Маршак*[1].
- **The Cyrillic letter *ё*/*Ё*** must be substituted by *е*/*Е* excluding the cases where *ё*/*Ё* performs a meaning differentiating function, e.g. *Всем обо всём.*
- No styles or column formatting is allowed.
- No additional spaces between paragraphs are allowed.

Methods and Use of Emphasis

- Emphases in the text may be provided either in headings and **subheadings** or in **notional emphases** (terms, statements of important meaning, and logical emphasis).
- Statements and words of important meaning have a more open letter-spacing.
- Short citations or examples are italicised and, whenever necessary, written in bold italics, e.g. «Неблагозвучны громкие стечения согласных на стыке слов (*пу**сть вст**реча состоится***)». Passages of prose must be given in small print and separated from the main text with a space.

Footnotes and References

- Footnotes must be placed at the bottom of the page and numbered consecutively with Arabic numerals. Reference to sources within footnotes must follow the general rules of reference formatting.
- References must follow the standards of Russian Federation State Standard R 7.0.5–2008 for References (РФ ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка») as of January 1, 2009. There must always be numbers of articles cited. Add DOI where possible. Non-Russian materials must be placed after Russian ones.
- References in the text must be given in square brackets indicating the author's last name (or, in case of multiple authors, all the authors' last names), separated from the page number by a comma (in case of direct citation: e.g., [Толстой, т. 4, с. 287]). In case of 4 or more authors, a shortened name of the book must be given. The year of publication must only be mentioned when there are other books by the same author referred to in the article.

Sample Reference List (in Russian)

Абаев В. И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. Древние языки / под ред. В. С. Расторгуевой. М. : Наука, 1979. С. 272–346.

Полдников Д. Ю. Этапы формирования цивилистической договорной теории ius commune // Государство и право. 2012. № 6. С. 106–115.

Смирнов М. И. Адмирал Александр Васильевич Колчак (краткий биографический очерк). Париж : Изд. Воен.-Мор. Союза, 1930.

РГАВМФ — Российский государственный архив Военно-морского флота. Ф. 406, 418, 609, 701, 716. Р-181, Р-183, Р-187.

Ћосић Д. Косово. Београд : Новости, 2004.

Blasco Ferrer E. Tracce indeuropee nella Sardegna nuragica? DOI 10.1515/9783110243390.177 // Indogermanische Forschungen. 1993. № 98. P. 177–185.

Bryson G. Man and Society. The Scottish Inquiry of the Eighteenth Century. Princeton : Princeton Univ. Press, 1945.

Emerson R. The Social Composition of Enlightened Scotland: The Select Society of Edinburgh 1754–1764 // Studies on Voltaire and the Eighteenth Century. CXIV. 1973. P. 291–329.

United States Department of State // Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1941. General, The Soviet Union (1941). URL: http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1941v01 (accessed: 12.07.2013).

The reference list must be accompanied by one of the APA format (American Psychological Association). Its principles of editing of reference lists can be found at http://www.apastyle.org/ or websites of libraries.

Names of publications must be transliterated and translated into English (with the exception of periodicals and publications in German and French), where the main title is a transliteration of the original title followed by an English translation in square brackets.

When transliterating, the author must use the standards of the Library of Congress of the US (ALA-LC Romanization or LC Romanization). It can be found at http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html. To transliterate Cyrillic names, the author can use automatic transliteration services, e.g. translit.net, using the LC standard. Proper names must be transliterated in accordance with the existing tradition (e.g. В. Янин = V. Yanin, not V. Ianin; Вопросы языкознания = Voprosy jazykoznanija, not Voprosy iazykoznaniia etc.).

Sample Reference List (APA style)

Abaev, V. I. (1979). Skifo-sarmatskie narechiia [Scytho-Sarmatian Languages]. In V. S. Rastorgueva (Ed.), *Osnovy iranskogo iazykoznaniia. Drevneiranskie iazyki* [Elements of Iranian Linguistics. Ancient Iranian Languages] (pp. 272–346). Moscow: Nauka. (In Russian)

Berezovich, E. L. (2007). *Iazyk i traditsionnaia kul'tura: etnolingvisticheskie issledovaniia* [Language and Traditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik. (In Russian)

Blasco Ferrer, E. (1993). Tracce indeuropee nella Sardegna nuragica? [Indo-European Traces in Nuragic Sardinia?]. *Indogermanische Forschungen*, 98, 177–185. doi: 10.1515/9783110243390.177 (In Italian)

Coss, P. (1989). Bastard Feudalism Revised. *Past and Present*, *125*, 27–64.

Coss, P. (1991). *Lordship, Knightood and Locality. A Study in English Society, c. 1180-1280*. Cambridge: Cambridge University Press.

Gammeltoft, P. (2005). Islands Great and Small: A Brief Survey of the Names of Islands and Skerries in Shetland. In P. Gammeltoft, C. Hough, & D. Waugh (Eds.), *Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names* (pp. 119–126). Lerwick: NORNA.

Harvalík, M. (2004). *Synchronní a diachronní aspekty české onymie* [Synchronic and Diachronic Aspects of Czech Proper Names]. Praha: Academia. (In Czech)

Kleiber, G. (1992). Quand le nom propre prend l'article: le cas des noms propres métonymiques. *Journal of French Language Studies*, *2*, 185–205. (In French)

Kuznetsov, S. A. (Ed.). (2000). *Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo iazyka* [A Great Explanatory Dictionary of the Russian Language]. St Petersburg: Norint. (In Russian)

Lysova, E. V. (2002). *Ornitonimiia Russkogo Severa* [Ornithonymy of the Russian North] (doctoral dissertation). Ural State University, Yekaterinburg. (In Russian)

Sprache [Electronic Dictionary of the German Language]. Retrieved from http://www.dwds.de/. (In German)

Zaliznyak, A. A., & Yanin, V. L. (2003). Berestianye gramoty iz novgorodskikh raskopok 2002 g. [Birch Bark Manuscripts from Novgorod Excavations in 2000]. *Voprosy jazykoznanija*, 4, 3–11. (In Russian)

Author's details

Фамилия, имя, отчество
Ученая степень, звание, должность
Организация
Почтовый адрес места работы
E-mail

Surname, name, middle name or patronymic
Academic degree, position
Organisation
Mailing address
Email
ORCID
Researcher ID
Scopus ID